

|| 2 ||

Ж (О) В Ъ И У
М У Р

Ж (О) В Ъ И У
М И Р

|| 1964 ||

2



1964

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 2

Февраль, 1964 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
С. ЗАЛЫГИН — На Иртыше. (Из хроники села Крутые Луки)	3
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Новые стихи. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского	81
В. АЛАТЫРЦЕВ — Да, мы жестоки были на войне... Стихотворение	83
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК — Стихи о доме	84
ЛЕВ СЛАВИН — Неудобная жертва, рассказ	88
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Из лирики. Перевел с балкарского Я. Козловский	98
АЛИМ КЕШОКОВ — Лермонтову. Стихотворение. Перевел с кабардинского Я. Козловский	100
ХУАН ГОЙТИСОЛО — Народ в походе. Перевел с испанского А. Макаров	102

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МЕХТИ ГУСЕЙН — Месяц и один день (Пугевой дневник). Перевела с азербайджанского Т. Калякина	140
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

ЛЕВ КАТОЛИН — Большой поиск. (У киевских кибернетиков)	168
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

И. БЕЛОВ — Общежитие в Сегеже (Из блокнота корреспондента)	186
--	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

БОР. МЕДВЕДЕВ — Перелистывая страницы истории... (О кинопублицистике)	198
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. БЕРЕЗКИН — Беседа впадает в океан (К 50-летию Аркадия Кулешова)	217
МИХ. ЛИФШИЦ — В мире эстетики	228

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	252
Арсений Тарковский. Языком поэзии.— М. Сокольский. Еще о славе и о тоске.— Н. Крымова. Телевидение и первая книга о нем.— Ст. Рассадин. «Нужна мне розовая дымка».— В. Павлова. Неизвестные страницы Слепцова.	
<i>Политика и наука</i>	267
А. Калачников. В жизни — сложнее.— И. Ермашев. Опасные иллюзии одержимых.— Б. Галанов. На Севере дальнем.— Г. Федоров. История и поэзия.— Ю. Попков. «Некто в черном».	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

С. ЗАЛЫГИН

★

НА ИРТЫШЕ

(Из хроники села Крутые Луки)

Глава первая

Стоял март месяц девятьсот тридцать первого года. Неделю буранило сильно, замело дороги, избы по самые крыши замело. После буран утишился. Погода настала ясная, мужики говорили: это последний в нынешнюю зиму играл буран. Теперь ударить мог еще морозец прощальный, либо сразу пойдет к теплу.

И похоже было — идет к теплу. Быстро проступила темная, унавоженная полоска дороги на льду Иртыша, и сугробы тоже быстро осели на улицах Крутых Лук, так что избы сразу окошками блеснули... Торопливо солнце вздымалось с той стороны Иртыша, а ночью тяжелые, низкие тучи поползли над самым яром...

Нынче в ночь от густых этих туч даже талым чем-то повеяло, дождливым, земляным, они Крутые Луки от крайней до крайней избы укутали.

На все село лишь четыре желтых оконца маячили: два — в ту сторону, где чуть виднелся синеватый увал с телеграфными столбами трактовой дороги, два — глядели в темную щель оврага.

Окна эти мерцали на втором этаже фофановского дома. Совсем еще недавно свет в них гаснул едва ли не раньше, чем во всех других избах, но и зажигался тоже раньше всех — такой в доме был порядок. Когда же с месяц назад Кузьма Фофанов вошел в колхоз, он отдал второй этаж под контору — вот с тех пор четыре оконца и привыкали к бессонным ночам, моргали, прислушиваясь к собачьему лаю.

Непривычно моргал небольшими зелеными глазками сам Фофанов, полуночничая на втором этаже своего дома. Каждую ночь то правление заседало, то просто так мужики рассаживались на полу вдоль всех четырех стен конторы, без конца судили и рядили об одном деле и о другом. Но все равно еще и на следующую ночь оставалось о чем судить и рядить...

Председателя, Печуру Павла, в Крутых Луках видели теперь вовсе редко — тот в районе заседал, приезжал домой на воскресенье еще больше поседевший, встрепанный и шумный; не торопясь же, подолгу что-то обдумывая, рассматривая на свет каждую бумажку, присланную из района, делами руководил Фофанов Кузьма.

Выбрали его заместителем в тот самый день, как он вступил в колхоз. Фофанова этого ни в Крутых Луках, ни в окрестных селах ни по фамилии, ни по имени-отчеству сроду не звали, хотя человек он и был

известный. Звали просто — Фофан. Он был мужиком грамотным, в каждом деле старательным, на лицо плоский и с огромными, тоже плоскими, но умелыми руками. Кроме пашни, водил Фофан сад, и агрономы писали о нем в газетах, а года три назад так агроном прожил у него с осени и до самого почти покрова.

После напечатана была книжка культурника Фофанова о том, как он сад свой разводит и какой доход садоводство может дать крестьянину в Сибири.

На книжке — портрет, Фофанову можно было дать на этом портрете лет пятнадцать, не больше, а у него подрастали уже две девчонки-погодки такого же возраста.

Девочки эти вместе всегда были, вместе потряхивали четырьмя длинными тонкими косичками и боялись Печуру Павла — Печура Павел приставал к ним с одними и теми же расспросами:

— Отец-то хребтину ломит, дом поставил двухрядный, а для кого? Ить если б были бы вы не девки, а хлопцы — понятно. А на вас стараться? Взамуж — и вся отцова справа — в чужие руки?! Девки вы девки — неправдишный народ!

Вошел Фофанов в колхоз — Печура девчонок попрекать перестал, но боялись-то они его, как прежде, и, когда слышали громкий голос Печуры в конторе на втором этаже, враз умолкали у себя на первом...

Нынешней ночью в конторе спокойно было: Печуру снова вызвали в район, и мужики вели беседу, не различая уже друг друга в табачном дыму.

Говорили о том, что вот засыпали наконец-то семенное зерно.

Кони давно уже были сведены на колхозную конюшню, плуги, сеялки, косилки поставлены длинными рядами в общественном сарае, а зерно все не шло — уберегали его мужики в амбарушках и подполах.

Сполна засыпали семена нынче — когда подняли пол в амбаре Александра Ударцева.

Сухощавый, с редкой бородкой, с тонким голоском, Ударцев не в пример Фофанову очень был проворный, держал когда-то на тракту ямщину, скот подряжался перегонять и сам скотом приторговывал, а потом все занятия бросил и пошел в гору по крестьянству.

Случилась у него одна только незадача: хорошие постройки Ударцевых — дом пятистенный, амбар, подворье и огород у самого Иртышского яра были, а яр этот что ни год — рушился. Теперь от завалинки ударцевского пятистенка и до кромки обрыва оставалось-то шагов пятьдесят, не больше. И когда нынче выгребали у него зерно, он вначале стонал, едва не плакал, жаловался на болезни — свои, жены и старика отца, но после ударил шапкой об землю:

— Гребите все! Гребите до зернышка! Слово не меняйте! Обещано слово — перенести меня народом на бывшее Митрохино место! Обещано ведь? Нету отказа?!

Ударцеву не ответили, а когда кончили дело и собрались вечером в конторе, он тоже пришел, сел в угол и слушал молча, что говорят кругом. Угощал мужиков самосадом с донником и газетку давал на прикурку, а сам глядел, глаз не спускал с Фофанова.

Наконец Фофанов сказал:

— Шапку-то ты кидал, Александра, об землю...

— Ну?

— Однако она поперечь правды легла, шапка твоя...

— Почто это — поперечь?!

— Сперва бы тебе семена привезти в колхоз...

Ударцев снова сорвал с головы треух, но, поглядев на него, нахлобучил обратно.

— Так ведь, мужички, миром ведь жить-то... Кто там хорош, кто, может, плох, а жить-то миром... Ежели меня Иртыш понесет с ребятами -- как глядеть будете? Не котята они, чтобы забавы ради глядеть на их...

Ударцеву и тут не ответили.

Немного спустя он ушел из конторы, а в конторе продолжался разговор о том, чтобы как-нибудь не перепутать в амбаре семена разных сортов, сортную пшеницу с несортной, сорную с чистой, чтобы не проглядеть головню или еще какую болезнь семян.

И вдруг кто-то истошно крикнул с улицы:

— Горим! Гори-им ведь, горим!

Как раз месяц снова вынырнул из тучи, и навстречу ему полыхнул яркий, веселый огонь...

Горел амбар с зерном...

Вспыхнув, огонь тотчас унялся и, когда к нему подбежали люди, ушел в угол черного, приседающего к земле амбара, вверх же рвался фонтан продолговатых темно-красных искр. Безмолвно и ярко горел только снег вокруг амбара, и те, кто бежал на огонь, как будто спотыкались об это марево.

— Зерно этак-то горит! Семена ведь! — удивился кто-то.

— Не бóльший амбар... Пристройка... Вот как тот займется, вот полыхнет!

Дым окутывал людей, и под ногами хлюпал розовый тающий снег...

— Все, товарищи колхознички, отсеялись! — пропел бабий голос, а его другой прервал, грубый — Кузьма Фофанов, на чем свет стоит выругавшись, потребовал:

— Чо рты-то разевать — рви двери, выноси зерно с другого угла!

— Снегом его, огонь-то, снегом, ребята! У кого лопаты — режь снег кирпичами!

— Кто смелый — наверх! Кирпичики побрасывать!

— Кто догадливый — тому и наверх!

— И что же ты думал, а ну, ребята, подсади!

Из распахнутых уже дверей на другой стороне амбара валил густой дым, и в дыму тоже кричали в несколько голосов сразу:

— Тулупами его, зерно! Тулуп шерстью книзу, один — за рукава, другой — за подол, воз можно вытаскать за два раза!

— Тут не то тулуп — всякая лопотина к делу! Сбрасывай, бабы, юбки!

— А девкам можно?

— Цыц, вы, сопляки! Разгребайте вон снег-то — не на снег же зерно таскать!

Бежали из переулков, из темных изб, поблескивающих багряными пятнами... Тащили лопаты, ведра, ломики, багры, и никто уже не кричал, не размахивал руками... Те, что с лопатами, резали сугробы снега, глыбы подавали по цепи из рук в руки и наверх, а там, наверху, уместившись на тлеющем бревне, человек бросал их в огонь...

— Степша это Чаузов или — кто?

— Он!

— Сгорит! Живьем!

— Очень даже просто!

Рядом с дверями мужики, навалившись, выломали простенок и кидались в огромное отверстие, в дым и чад, в яркие отблески огня, а от туда ведрами, в тулупах и полшубках, в платках и кацавейках — кто как мог — тащили зерно... Сразу человек десять — пятнадцать, задыхаясь, улюлюкая, волокли огромный полог, и зерно — побольше воза —

сверкало в этом пологе и курилось паром, а когда его ссыпали в кучу, сразу поблекло, потемнело...

Отдышавшись, снова полезли в дым и чад, крича друг другу:

— Рядом-то со Степшей еще кто уместился наверху?

— Вдвоем весельше жариться...

— Так их трое уже!

— Со святыми упокой!

— А огонь-то книзу падает!

— Разевай рот ширше — в тебя и падет!

— Жара...

Фофанов бегал из конца в конец амбара.

— Сюда, бабы, сыпь сюда — в эту кучу! А ну, ребяташки, еще сгребайте снег! — Задрав голову кверху, кричал: — Степан! А, Степша?! Вы уж потерпите малость наверху! Опростаем с другой стороны амбар — пропади он после пропадом! А? Еще малость? А?!

Степан Чаузов молчал, боролся с огнем, ловчился и обманывал его: то закидывал огонь в противоположном углу, то прямо перед собой, то не пускал его в тот конец амбара, откуда выгружали зерно.

Временами Степана вовсе не было видно в дыму, и снизу спрашивали:

— Степка? Живой или как?

Огонь же все наступал в разные стороны, будто чувствуя за собой силу, досадуя на минутное замешательство, и два чаузовских напарника, чихая, задыхаясь, спрыгнули на землю.

— Дыхания там — никакого!

— До костев прожигает, ей-бо!

Снова подбежал Фофанов, подставил лестницу и стал тянуть Степана Чаузова вниз за полы тлеющего полушубка.

— Все, Степа! Что вытащили — то и наше... На остатнее пожадничай — жизни решишься! Слазь, говорю...

Чаузов соскочил вниз, пошатываясь, бросился в сугроб, и снег затрещал под ним, зашипел, будто тоже загорелся, тонкими струйками дыма курился полушубок, облако дыма и пара окутало Чаузова.

Присев на корточки и шаря в этом облаке рукой, Фофанов спрашивал:

— Обжогов нет ли на тебе, Степа?

Чаузов чихал, плевался.

— А ребята, со мной были, те живые?

— Они-то живые...

— А бабы моей, Клашки, тут не видать, на пожаре?

— Не видать...

— Она же у меня жалючая очень... И за меня пужливая. Нет чтобы по-бабьи, в рев. Замрет заживо и не дышит.

Облако над Степаном рассеивалось, и при свете пожарища пятна сажи как будто вдавливались в глубину его скуластого лица; светлые, почти белые волосы, прилипшие к потному лбу, к ушам, к шее, местами подгорели и порыжели, над правым глазом тоже были совсем черными от копоти, а голубой и зоркий левый глаз глядел на Фофанова и куда-то дальше через него упрямо, насмешливо-весело, так что Фофанов спросил:

— Ты чему это лыбишься-то, Степа?

— А живой остался! — ответил Чаузов. — Живой, непокалеченный — кого ж еще мне надобность? Ты, Фофан, мужик шибко степенный, ты этого не поймешь. А я сколь вот разов уже живой оставался — и каждый раз выходит тебе вроде престольный праздник!

Ничто больше не мешало огню, и он, метнувшись в сторону, вскочил

на стропила, поплясал на них, как бы своей тяжестью уронил стропила вниз, а сам взвился еще выше, в черное небо.

— Ишь ты, видать, зло взяло! — сказал кто-то весело и задорно. — Давай по пустым-то засекам...

— Благодать — ветру-то нету... Уж он бы по деревне па-алыхнул!

— Уж он бы посмеялся...

— В колхозную жизнь благословил бы нас — без портков!

— Светло-то! Карасину в избах и жечь не надо!

Амбар полыхал теперь со всех сторон, бревна трещали где-то в середине, в самой глубине огромного костра, ребяташки бросали в этот костер снежки, люди подбадривали огонь:

— Давай-давай!

— Кончай дело, коли начал!

— Глядьте, однако, сельсоветская пожарка порет!

— Как есть — она!

— Ого-го! Со смеху на карачки сшибешься!

— Пожарная часть, покорми сперва кобылу-то. После тушить займешься!

Пожарник без шапки — потерял шапку дорогой — сидел на бочке растерянный, обалделый... Кричал и на людей и на лошадь в один прием:

— Вот люди — черти! Сдурели, чо ли?! Тьп-ру, проклятая! Амбар полыхаить, а они ржут, ровно скаженные! Стой, язвило бы тебя! Мужики, да вы умом поперхнулись или как?! Горить, а они ржут!

Потом заметил, должно быть, кучи зерна, успокоился, огляделся и тоже удивился огню:

— Ну, змей! Ну, буровит!

Наконец пламя рухнуло на землю, поползло в глубь головешек.

Кто-то позвал:

— Фофанов, ты где будешь?

Фофанов как раз свернул две сигарки и одну протянул Чаузову, подле которого он все еще сидел на корточках, а другой затянулся сам, вынул сигарку изо рта и отозвался:

— Здесь...

— Фофан, а Фофан, сколь же мы зерна все ж таки лишились?

Зерно лежало в четырех больших кучах, темных с одной стороны и красно-золотистых там, где на них падал свет пожарища... Люди щупали эти кучи, погружали в зерно руки, жевали, пробовали на зуб — не подгорело ли?

Поднялся и Фофанов, долго, задумчиво глядел на зерно, несколько раз снимал и снова надевал шапку, шевеля губами, считал, прикидывал...

— Я, мужики, думаю, потеря, может, в одну четверть обойдется... Однако не более того. А насчет всхожести надобно проверить...

— У тебя, Фофан, завсегда не худо получается. Ну, а если б и потвоему — четверть, так игде ее обратно взять?

— Опять же по избам шарить, по закромам?

— У кого по закромам, а у кого из последней квашенки тесто выгребать на семена?!

— А ведь это, ребята, чье-то дело! Не то какого странника, не-ет — это свой, крутолучинский, удумал!

Поднялся со снега Чаузов и крикнул:

— Александра Ударцев, здесь ли? Подай голос, когда здесь?!

Стало тихо как-то вдруг... Потрескивал огонь в красных угольях.

— Александра Ударцев, спрашиваем: нету тебя среди народу?

Пожарник, привстав на бочке, оглядел народ сверху и подтвердил:

— Нет... И встречу мне никто не бежал. На пожар бегли, а с пожару — ни одна собака.

— Не шумите Александру... Нету его...— сказал, волнуясь, женский голос.— Убег он...

Голос прерывался треском огня в головнях.

Говорила Ольга Ударцева, жена Александра. За подол ее держались двое ребятишек, один глядел кругом с веселым недоумением, другой, когда люди стали приближаться к Ольге, сунул голову в складки ее юбки и захныкал:

— Мамка, кого это они? А? Мамка, кого они?

Ольгу окружили, она стояла в кольце людей, высокая и неподвижная, у ног ее в темноте копошились ребятишки, в полушалке, на плечах и голове прыгали огневые зайчики.

— Он же вот — Александра твой — час который был в конторе. Когда убег-то?

— Хотите верьте, хотите нет...

— Не может же быть?!

— Зерно у его выгребли, так нечто с этого можно решиться?

— В убег?! А баба? А ребятишки? Вот сладил именины...

— Не шумите вы, народ!.. Как произошло-то? Ольга?

— Пришел с конторы... Сказал: срочно нарядили в город... Хлеба взял, масла было в тuesке... Деньжонки какие... На ребятишек-то не глядел.— Ольга быстро взмахнула рукой и закрыла лицо рукавом мужской шубейки.— Да ведь он же не пеший, он конный подался... Спросите вон у конюхов...

Несколько человек бросились на конюшню. Возвращались по одному с разными подробностями:

— Игреньку взял, бывшего своего меринишку...

— А кошевка Андрея Зотова...

— Овса меру засыпал...

— Две...

— Обещался вместе с Печурой с Павлом вернуться.

— Торопился шибко... Сказывал конюху-то: Фофан его нарядил...

— Фофан, может, ты и наряжал куда?

— Вы что, ребята, вместе же в конторе сидели!

— Верно, значит — кругом хитрость!..

Помолчали, разглядывая Ольгу, о чем-то думая. Снова заговорили:

— А еще просил миром его на Митрохино место перенести...

— Скажи, не уважили мужичка!

— Он и осерчал...

— Он-го осерчал, а мы-то на угольках стоим...

Ребятишки теперь уже оба дергали Ольгу за юбку, за рукав шубейки, повизгивали тоненькими голосками:

— Мамка, а мамка, кого они? Мамка, загасили огонь-то — пойдем в избу!

— А все ж таки, может, он дома, Александра! -- сказал Чаузов.— В таком деле всякое может быть! — Повернулся и пошел...

За ним с чем были — с ломиками, с лопатами — пошли мужики, человек двадцать—тридцать...

Еще недавно крутолучинские мужики вот так же толпой хаживали к Лисьим Ямкам.

Ямками на тракте называли ничем не приметное место с небольшой избушкой, поставленной когда-то пастухами, а потом заброшенной ими, хотя до сих пор вокруг были пастбища.

Место это ровное и открытое, и по нему издавна проходила граница с землями деревни Калман соседней Панферовской волости. Случалось,

что крутолучинцы угоняли к себе скот калманцев, бывало и наоборот, и все потому, что соседи не могли установить между собой «границы».

Споры эти решались драками, но не в летнюю пору, когда драться некогда, а зимой...

Летом через «грань» только ругались: «Постойте, калмыки православные, мы вам на масленке, а то, бог даст, и в рождество башки-то поотрываем!»

Кто зимой брал верх, за тем и оставалась правда — никаких судов и других разбирательств между собой ни крутолучинцы, ни калманцы не признавали.

Бывало, что ходили друг на друга не с пустыми руками — у кого стожок, у кого и еще что-нибудь, и в разное время на месте столкновений было закопано уже немало мужиков, но зимой копать нелегко, землицей прикрывали больше для порядка в неглубокой ямке, а все остальное делали уже волки и особенно лисицы... Так и пошло название — Лисьи Ямки.

Крутолучинских мужиков обычно водил на Ямки Степан Чаузов. Вот так же, как и сейчас, шагал он впереди всех будто бы и не быстрым, но податливым шагом, невысокий, неприметный, но, как ни старались калманские мужики, ни разу не свалили его наземь, зато уж он валил с попыток подряд.

Но только прежде, когда гуртом с Чаузовым впереди мужики спешили к Лисьим Ямкам, на всю неблизкую дорогу хватало прибауток и побасенок, озорных песен, всяческой ругани, — теперь же шли они трезвые и молчаливые... Толкались в узких, занесенных снежными сугробами переулках. Спешили.

Позади всех бежала Ольга Ударцева, подхватив на руку одного мальчика и волоча за собой другого.

Тот, что сидел на руках, крепко обхватил ее за шею, мешал дышать, а другой терял то шапку, то валенок и, дрыгая босой ножонкой, пощечячьи поскуливал:

— И-и-и... И-и-и...

Ольга останавливалась, приседала и, придерживая на коленях одного ребенка, натягивала шапку или валенок на другого...

— Господи... Господи, да что же это будет? Да что же это случилось-то нонче? Господи!!

Впереди под ногами мужиков отчетливо и громко хрустел снег, никто не оглядывался на Ольгу...

Около ударцевских ворот Степан Чаузов поднял руку:

— Погодьте! Не топчите, мужики, следов!

Вспыхнули огоньки спичек, но и без огня, при свете месяца, на слегка запорошенной дороге ясно проступали следы узких кованых полозьев кошевки...

— Так оно и есть — был, да весь вышел...

— Свернул-то не в улицу, а проулком, да круг бани, да задами, задами...

— Считаешь, в город? Держи карман — на станцию подался... А то — к киргизам...

— У его полстепя кунаки...

— Ну, ребята, пошли в избу? Или как?

— Так ведь нету его... С кого спросишь-то?

— Не-ет... Сказке не конец!

— Проведаем!

Распахнули ворота, вошли в дом.

— Кто здесь живой? Засвечивай огонь!

Из теплой, покойной тьмы отозвался стариковский голос:

— Ты, что ль, Ольга? Кого там на улице-то деетсяя?

Слышно было, как на печи пошарила рука, нашла спички, а навстречу этому шороху мужики тоже чиркнули о коробки... Кто-то шагнул вперед, зажег лампу в простенке над кухонным столом.

С печки под настил полатей высунулась кудлатая стариковская голова, вслед за нею — рука с горящей спичкой... Покуда огонь спички не достал пальцев, старик глядел неподвижно, серьезно, ничуть не удивляясь и ничего не спрашивая, и только из бороды его вдруг вывалился большой тяжелый крест и закачался на длинной цепке, словно маятник...

Бросив спичку, старик помусолил на губах пальцы и спросил:

— Шапки-то сьмают в дому или как ноне? В колхозе это ни к чему? — Зевнул. Перекрестил рот с редкими длинными зубами, потом спустил с печи костлявые ноги в исподних штанах до колен и сам неторопливо спустился вниз. Сел на прилавок, зевнул, заправил крест за рубаху и ответил себе: — Совсем даже ни к чему...

Степан Чаузов, нагнувшись к старику, крикнул:

— Сын где у тебя? Где Александра?

— Сын-от? Так он — не мой, сын-от... Он теперя ваш. Сказать — колхозный. Обчественный... Вот объясните, где он? Где подевали? Чей он приказ сполняет?

Мужики как-то разом шумнули, кто-то крикнул:

— Не дури, отец! Александра твой зерно спалил. Семена. Понятно тебе?!

— И-ишь ты! До чего крестьянин дошел — зерно жгет! Семена! Хлебушко, значит, и в огонь! Времена-а... Ну, огоньку-то, видать, ишшо премного будет... Ишшо не одно зернышко сгорит в огоньке-то...

— Э-эх, старый! А еще просил Александра-то твой перенести его всем миром на Митрохино место! Сегодня только и просил...

— Как-как?

— Избу вот эту просил перенести, говорю!

— А и что же? Опять же и дом-от нонче без хозяина. Сказать, так хозяевов у его — вся деревня... Обчественный вроде. Ну и обчество обявано об доме заботиться, коли Иртыш ограду моет... Чтобы все было в аккурате. Или — не так говорю?!

— Ты, старой, не крути! — крикнул Егорка Гилев, сорвавшись на высокую ноту. — Мы уже без тебя шибко крученые: раз перекрутишь, оно на обратную-то сторону знаешь как р-развернется?!

— Все может быть, все может быть... Вот и ты, Егорша, ночью ко мне без спросу пожаловал и шапку не скидываешь... Да ить не как-нибудь — с оружием, а? — Старик взял из рук Егора ломик, поднялся с прилавка, подошел к лампе. — Острый ли ломик-то? — Потрогал острие большим костлявым пальцем... — Острый, видать... — И вдруг, закинув ломик за плечо, повернулся, всхрапнул и дико заревел через бороду: — А ну, цыть отседова, проклятушие!!! С глаз долой! Пришибу любого, на святую икону, на Христа-бога не погляжу — пришибу! Днем зерно выгребаете с амбара, а ночью ордой разбойничать?! Пришибу, хады!

В длинной исподней рубахе, в рваных штанах до колен, откинувшись назад и высоко слева от себя закинув ломик, старик Ударцев медленно двинулся правым ребристым боком вперед, заслоняя собою лампу и бросая на людей огромную колеблющуюся тень без головы — тень головы уползала за настил полатей...

Он дышал тяжело и хрипло сквозь клыкастый, широко раскрытый рот, все дальше заламывал обнаженные до локтей сухожильные руки, и все пронзительнее двумя тонкими полосками, словно лезвиями, блестел в его руках круглый ломик.

— Ну, хады, не одного пришибу! Не-ет, не одного...

Люди попятились прочь, потом кто-то метнулся в дверь, и тех, кто был на крыльце, столкнули со ступеней, тех, кто стоял в сенках, выдавили на крыльцо...

И только Степан Чаузов, упершись плечом о косяк, остался в избе...

На полатах вдруг сначала тихо, а потом во весь голос, страшно завопила девчонка:

— О-о-ой, мамынька-а-а!

Но старик не дрогнул, не поднял глаз, а, все круче разворачиваясь боком вперед, медленно двигался на Степана...

А Степан все стоял и глядел на старика, не спуская глаз, и по грязному, в саже и копоти, лицу его катились капли пота, и потому, что лицо иногда вздрагивало, капли оставляли на нем ломаные белые линии — на лбу, на щеках, на бледных, плотно сжатых губах...

— Ма-а-мынька! — снова крикнула девчонка на полатах, и в дверь ворвалась Ольга...

— Батя! Опомнитесь, батя, человека убиваете! Человека! — Она бросилась на старика, повисла на нем, обхватив за шею, а подбородком, головой старалась достать его заломленную вверх руку...

Старик остановился...

Он задрожал, и ломик заколебался над его головой...

Потом ломик с грохотом ударился об пол, а на него рухнули старик и Ольга. Мужики снова подались в дом, и Степан Чаузов, смахнув шапкой пот с лица, сказал быстро и требовательно:

— А ну, вытаскивай всех живых отседова! Одежонку какую, сундучишки — выбрасывай! — Выскочил на улицу. — Вышибай с подполу венец, ребята! Подкладывай лежни... Готово ли? Готово! Подмогай навалиться!

Дом Ударцева дрогнул, что-то заскрипело в нем, что-то упало и покатилося внутри... На спину Чаузова откуда-то сверху прыгнула кошка и, не по-кошачьи дико заревев, метнулась в сторону. На мгновение, будто оглушенные этим ревом, мужики затихли, потом снова закричали, заругались:

— Поддерживай с боков-то, поддерживай, чтобы не враз завалился!

— Вверх-то слегами упор сделайте: рухнет — задавит...

— А ну — взяли!

Дом полз по лежням под уклон... Распахнулась ставня — в кухне все еще горела лампа, на подоконнике стоял чугунок, а в нем вздрагивали зеленые листья невысокого цветка... Другой цветок в жестяной банке лежал плашмя, то прижимаясь к оконному карнизу, то отшатываясь от него в сторону.

Дом повис над обрывом, и что-то треснуло в нем, сломалось.

Из него выпала печка — с хватками, с кочергой, с чугунками...

...Начала крениться одна стена — покачалась, опрокидывая на себя весь дом... Глухо хлопнуло вниз, под яром. На снегу осталось несколько бревен и досок, а в воздухе — запах жженого кирпича, хлеба, щей, чего-то теплого и съестного...

Потом повеял холодок...

Крупянистый, редкий-редкий снежок падал с ночного неба... Упадет крупинка, а другой долго нету... Спокойно было кругом...

Сверкала гладь Иртыша, рассеченная надвое темной, унавоженной линией дороги, и кажется, был виден противоположный берег — зыбкая и ломкая полоска, которая почему-то иногда вдруг приближалась, а иногда уходила в глубину ночи...

Кто-то сказал:

— Попа как раз сюда бы...

— Это зачем?

— Он бы и спел: «Мир праху твоему...»

Никто не откликнулся.

Прибежал с пожарища Фофанов, потоптался на темном и теплом пятне, на месте, где стоял недавно дом Ударцевых, подошел к перевернутой колоде, на которой, закутавшись в тулуп, сидел старик Ударцев и Ольга с ребятишками... Потом Фофанов приблизился к мужикам и тоже заглянул вниз, в глубину Иртышского яра, кое-где пронизанную голубоватыми полосами лунного света.

— Дом-от добрый был,— вздохнул Фофанов.— Вместо его в какой-никакой другой дом людей-то надо селить... Надо...— Подумал еще.— От она с чего пошла, наша общая-то жизнь...

Глава вторая

Помолчали.

Потом Степан Чаузов сказал:

— Ну, пошли, мужики...

Откликнулись сразу в несколько голосов:

— Куды?

Он не ответил. Повернулся, пошел не торопясь, будто был совсем один, а за ним двинулись другие. Дорогой кое-кто отбивался по домам, сворачивая в переулки, остальные толпой вернулись к дому Фофанова, толкаясь на крутой и темной лестнице, поднялись в контору. Сели вдоль стен по тем же самым углам, кто где сидел, когда на дворе раздался крик: «Горим! Горим ведь, горим!»

Пора бы всем разойтись — что-то не пускало, что-то держало всех вместе в остывшей комнате.

Ждали, кто начнет разговор.

— От ярмарка нонче в ночь так ярмарка... Зерно спалили и дом-от ударцевский — вовсе по дешевке продали!..— выскочил было Егорка Гилев, но понял, что слушать его никто не будет.

Устали мужики с пожара с этого, с нынешней ночи устали и даже думать об ней не хотели. Егорка Гилев еще раз мужиков оглядел и позвал:

— Нечай, где ты есть? Либо нету тебя?

Из полутемного угла вроде бы нехотя отозвался высокий, с седо-ватой бородой мужик:

— Здеся я... Ну и что? — Он был хром и уже несколько раз вставал и снова усаживался в своем углу, покряхтывая и пристраивая хро-мую ногу сверху здоровой.

— Не слышать чтой-то тебя...

— Услышишь, чай...— Сел, пошевелил одной, потом другой ногой и согласился: — В самом деле, долгая же эта ярмарка выходит...

Стало совсем тихо, мужики ждали, куда Нечай дальше поведет речь. Он сказал:

— Было дело с Колчаком, а заодно и промежду собой погрызлись. Прошло чуть времени, гляди — мужик опять друг на дружку зубы шерит... От какая выходит политика.

— Мужик — он политикой не занимается, дядя Нечай,— ответил ему Фофан.— Он испокон века жизнью занимается. Землю пашет, скотину пасет, ребятишек родит. Политика ему все одно какая, ему жизнь на-добна — урожай, приплод.

Фофан сидел за столом под тусклой лампой, дымил сигаркой и гово-рил медленно, тихо, он тоже устал до смерти. Договорил — обратился лицом к Нечаеву.

Нечай отвечать не торопился, сначала покряхтел...

— Да ить как сказать... Урожаю-то ему, мужику, не достало, приплоду тоже, он и надумал ишшо политику припречь.

В углу засмеялись, Фофан тоже усмехнулся, плоское лицо его сморщилось, потом он как-то вдруг улыбнулся, поднял к тусклому свету лампы широкое, будто детское лицо:

— Ягодник бы нам в колхозе завезть... Малину, кружовник. Одному это не по силам. Одному невозможно. Сад — он удивительно сколь силы требует... Его по-настоящему ради пользы справить — десяток полных мужиков нужно да еще вдвое-втрое баб. Тогда будет сад... А вообще-то очень он, кружовничек, на арбуз похожий. Каждая ягодка — что игрушечный арбузишко. И разводья те же в точности на нем, и от пупка росточек. Склонишься над кустом — он весь теми игрушечными арбузишками усыпанный. Только что арбуз для солнца вовсе непроницаем, интересно даже, как он под шкурой своей мякоть наливает, а кружовник — этот скрозь кожу искоркой светит... Солнце очень приемлет. Так и выходит: одно солнце на весь мир, да и в каждой ягодке свое. — Фофан посмотрел вдоль стен и по углам, где один к другому вплотную сидели мужики — кто на корточках, кто ноги крест-накрест, и вздохнул... — Вот выселим за болото поджигателей, навек от них избавимся — и все! Хозяйство надо ладить. Сад.

— Это как день запросто — матерого кулака выселить за болото, за город Тобольск либо в Турухан! — согласился Нечай. — Тот первый кулачина — очень прямой, слепому видимый. Спроси: «Кто?» — каждый пальцем укажет: «Вот этот обирал, этот охмурил всех без разбору!» А на ком кончатся будем? Ты скажи мне, Фофан, кто ее, эту самую точку, заметил, что, мол, точка и, значит, конец? Ведь почто кулак образовался? Богатеть хотел, останову не знал. А ты начал раскулачивать — ты свой останов знаешь ли?

Пока Нечай думал, кто-то сказал:

— Дядя Нечай, на тебе и остановимся!

— Метка на мне или как? Может, хрбых за болото не сгоняют?

— Не-ет! — убежденно сказал Фофан. — Нечая никто не тронет: об жизни в Крутых Луках толковать некому будет!

— Ну, ладно, — кивнул Нечай, — тогда как раз тебя, Фофанов, и возьмут за ленок.

— Меня?

И еще кто-то удивился:

— Фофана?

— Очень даже просто: двухрядный дом имел? Имел! Батрака прошлый год держал? Держал!

— Дурь! Вот он дом — сам половину в колхоз отдал. Батрак — так я того Кирюху, можно сказать, спас: у его же на пашне ни зернышка не проклюнулось!

— А это как раз закон жизни и есть — спасителей наперед всех других с места гоняют. Им на земле не судьба. Понятно говорю?

Фофанов заморгал глазками, заулыбался виновато. Нечаев откашлялся, сказал:

— Вот так, Ягодиночка Фофан, за болотом, за городом Тобольским, будешь свою правду доказывать! — Потом усмехнулся: — Шутку шуткую...

Тускнел в дыму свет лампы, все больше сгущался сумрак в углах конторы, и в сумраке все слабее проступали фигуры мужиков с распущенными ушами мохнатых шапок. Нечай долго вглядывался в этот сумрак, вздохнул, осмотрел самого себя — неуклюжие свои ноги, узловатые, со скрюченными пальцами руки. Продолжил разговор:

— Вот мы — мужики. Самый что ни на есть мелкобуржуазный эле-

мент. За нас до конца собственность держится, а мы — за ее. Так оно и есть, как в газетах пишут. А почто нам ломку делают куда больше, как сознательному пролетарию? Рабочий при царе по гудку на завод ходил и по сю пору ходит. Ему тот же гудок жизнь определяет: отгудел смену, он картуз на лоб — и пошел в казенную квартиру... Нам вот гудка — нету, казенной квартиры — нету, жалование не положено, а новую жизнь с нас очень даже спрашивают. Хорошо. Я согласный и на это. Только так: ты сперва отбери от меня мою собственность, чтобы не за что было держаться, а после — гуди в любое время, командовай налево, направо либо кругом марш! Мне без ее, без собственности, любую фигуру выполнить будет запросто, ровно солдату без скатки. Почто солдату помирать легко? Да при ем — ни избы, ни жены, ни мало-мальского какого телка! Одна вша! Отбери, говорю! — крикнул вдруг Нечай и локтем с силой толкнул соседа: — Ну?!

Сосед поежился, спросил:

— А отдашь? Самовольно?

— Самовольно не отдам. Силой возьмешь — спасибо скажу!

— На словах. А на деле-то вон Лександра-то Ударцев как отблагодарил? А? И мы его — как?

— А почему? Почему такое?

— Вот и отвечай сам — почему?

— В середку-наполовинку меня поставили — вот почему! Наживал — теперь которую часть отдай в колхоз, которую — в государство, которую — себе оставь. Не-ет, ты испытания мне не делай, не терзай! Ты отбери у меня все и казенную работу дай. По гудку! Так, что ли, Фофан?

— Не так. Мужик, он покуда живой — хозяйствовать должен. Врозь ли, миром ли, какая бы ни была напасть — он у хлеба. Пахать-сеять на другой год не отложишь, по гудку хлеба не вырастишь. Заря занялась — вот тебе гудок. День-то, попы сказывали, божий, а хлеб-то — мужичкий. Другого хлеба покамест никто не выдумал.

— И ягоду рóстить — тоже мужичье дело?!

— А хотя бы! Не война ведь — про ягоду забывать!

— Фофан ты, одно слово что Фофан! — засмеялся неловким смехом Нечай. Замолк, засмеялся вроде бы еще раз. — А войны-то, мужики, и в самом деле не должно случиться...

— Тебе сказывали? Либо в газете объявлено?

— Именно. Покуда меня в газетке мелким буржуем величают — войны не жди. Перед войной мужика завсегда героем представляют!

— Ну, гляди, Нечай, ежели война объявится, мы тебя не то с яра спихнем, а еще и в Иртыше утопим!

Но это было уже шуточно сказано кем-то, все незлобиво усмехнулись, а Степан Чаузов громко зевнул...

Он сидел на корточках, прочно, всей спиной прислонившись к стене. Кажется, дремал, сигарка притухла у него в руке, но слышать — все слышал, что говорили мужики.

Зевнув, он открыл глаза, оглянулся и подумал: «Ишь какой он, дом-от, легкой у Лександры Ударцева оказался! Живешь в таком цельный век и думаешь: это твердыня, весу в нем тысячи пудов, а подошел народ, толкнул, пальцем шевельнул — и нет его?!» И Чаузов повел плечами в рваном, все еще пахнущем дымом полушубке, шевельнул одной рукой, другой...

Бывало, когда нужно было поднять какой груз, он раз глянет и увидит сразу — поднимет или нет... На конском базаре тоже с точностью мог сказать, какая лошадь сколько пудов увезет, а ежели два барана сходились лбами — заранее знал, у которого удар сильнее. Когда есть сила своя, то и на чужую у тебя глаз вострый. Потом перед ним возник

старик Ударцев — тощий, будто хворый конь, что из-под кожи светит ребрами, с редкими зубами в открытой пасти, и тоже сильный... Только уже от страха сильный, с отчаянности, это бывает, когда человек уже ничего не чувствует, ничего не понимает, а только рушит все, вслед за тем и сам тоже падает. Будто бы снова сверкнул двумя ледяными полосками ломик в руках старика и еще вспыхнула искра на самом острие... «А ведь он меня не в голову бил, не-ет...— догадался Степан.— Он знал: в голову ему не угадать — увернусь я. В тулово он бил... Не то чтобы зараз, а все ж таки он меня бы решил... Не поднялся бы я на ноги...»

Дремота совсем покинула Чаузова, он подумал: «Вот и силу чувствуешь за всех, а помирять — все равно одному, никто тебя не спасает, каждый спасает сам себя... В дом к Ударцеву взошли — десятка, может, два было людей — стена стеной, а замахнулся старик ломиком — и сдуло всех ровно ветром... Хотя и так можно было сообразить: как бы перед ним ни один не встал поперек, перед стариком,— он бы вдогонку тоже не одного бы ломиком достал... Уж это как есть двух, а то и трех бы покaleчил... По затылкам бы и вдарил... И никак ведь не получается: совсем в одиночку жить мужику — разве что в наказание, и всем вместе — тоже боком выходит... Где оно только есть, правильное для мужика место?» Затем Чаузов себя поругал: «А все ж таки дурной ты, Степша, дурнее тебя под ломик подставляться не нашлось!»

Стал слушать спор Нечая с Фофаном.

Они было успокоились, но ненадолго — Нечаев уже чинил допрос Фофанову:

— Вот объясни мне, Ягодка Фофан, к примеру, я нонче утром слажу с печи, похлебал шей, после — подался в колхозную контору. Спрашиваю: «Что мне, товарищ мой начальник, робить?» Ты подумал, пораскинул: «Подавайся, Нечай, на двух по сено... За Иртыш, на Татарский остров». Ладно, я иду, две розвальни запрягаю, сажусь на переднюю, поехал. А ведь назавтра-то снова да ладом я у тебя спрашиваю: куда ты меня определишь?

— Ну и что? Что из того? Ты на артель работаешь. И я — обратно на артель. Ну, а значит, артель — и на тебя и на меня. Чем плохо?

— Так неужто я после того крестьянин? А?! По-крестьянски-то я с вечера обмечтал, как запрягу, да как мимо кузни проеду, возьму у кузнеца по пути необходимый гвоздок, да как моя кобыла у той кузни поржет, а близи околицы дорогу помочит, да какими вилами я стожок в сани метать буду. Я каждый день заранее себе отмерил, день за день, и вся линия моей жизни складывается. А тут? Ты, значит, будешь думать, а я — сполнять. Год, другой минул — из тебя уже какой-никакой начальник вылупился, ты командовать в привычку взял, а я — как тот поросенок с рогулькой на шее — в одну дырку мне рогулька ходу не дает, в другую — и не думай, ходи, где позволено. Так ведь люди — не поросята, их по одной стежке не погонишь, они — разные. Это сорочки дети — те верно что все в одно перо рдятся...

— Мы с тобой, дядя Нечай, переменяемся через год-то: я буду налево кругом вертаться, а тебя начальником выберем.

— Не-ет, Фофан Ягодка, шалишь! Это нонче тебе запросто сказать. А через годок-то тебе командовать шибко поглянется, и ты мне объяснишь уже по-другому. Скажешь: «Я команду знаю, изучил, а тебе, Нечай, в этом деле сызнава учиться надобно, и один бог знает, что с твоего ученья получится. Когда каждый год председатели да заместители будут у нас ученик да ученики — это колхозу страшно во вред!» Вот как ты правильно скажешь, и портфелью заведешь, и с начальством из города будешь кататься, а меня начальство не посадит, хотя бы нам и по пути было.

— У тебя, дядя Нечай, с нонешней ночи, с нашей ярмарки, ум повернутый не в ту сторону!

— Постой, постой... Гляди дальше! Коли ты будешь такой надо мной начальник — так и держи ответ за моих ребятишек, чтобы сыты были, обуты, в школу в чистеньком бегали. А то ить как? Летом ты меня посылаешь туда-сюда, а зима пришла: «Что-то, дядя Нечай, у тебя не баско зароблено, поисть твоей орде досыта не хватит!» Этак-то я со своей кобылой справедливее обходился: я ей в зиму не считал, сколь она летось заробила. Мало — так себя ругал, не ее...

— Так ведь у нас, чать, не кобылы в колхоз записывались, дядя Нечай, а люди! — Фофанов засмеялся весело и совсем по-детски, когда засмеялся еще кто-то — он еще обрадовался, погрозился Нечаяю пальцем: — Вот и будь человеком, сознательно в общий котел зарабливай, не только что за себя — за всех думай, и колхоз будет не понарошке. Головой же ты думал, когда устав артели голосовали, или как? Несознательно руку поднял?

— Я тебе не Иисус Христос. Иисус беспрременно был сознательный, так с его с одного колхозу не сладить. А уже середь святых апостолов Июда объявился, тот делов наделал — по сю пору не распутано. Я тебя, начальника, ругаю, а поставь меня на твое место — я, может, во сто крат хуже буду. И даже очень просто. Ты — смиренный, а я портфелью-то не просто так помахивать буду, а по башкам колотить, сознательность вкочлачивать. Я, брат, тебя ни бояться, ни совеститься не буду! Надо мной тоже будет начальник, тот с меня спросит, чтобы я его приказ исполнил. Исполню — вот я и буду перед им куда как хорош, а ежели тебя раз другой портфелью шибану — это от него же мне и простится. Нонче мы избу Лександры Ударцева под яр бросили — ты пришел и сказал: «Вот она — с чего общая-то жизнь начинается!» Верно сказал. Говоришь верно, да забываешь скоро!

— Ты скажи, какой это у нас Нечай! — удивился Фофан, будто в первый раз Хромого Нечая видел и слышал. — Какой он есть! А в колхоз наперед других ступил. В красных сватах по избам ходил, в колхоз уговаривал?!

— Я, брат, Ягодка Фофан, как бы вступил последним — я бы уже вперед не глядел: гони меня куда хошь, как ту овечку. Ты споткнулся, а я бы уже следом за тобой прыг да прыг на ровном месте. То-то и есть, что я наперед других ступил, и мне кочки-то кое-которые видать... С немцем мужик воевал, ему объяснили как? «Отвоюешь — человеком будешь!» Вот как. А на Колчака я уже хромый ходил и опять же за чело-вечью жизнь — без обмана мужику. Теперь, ежели я свою кобылу с ограды в колхоз свел, то и до конца должен быть уверенным, что для себя это, не для чужого дяди. Агитировать — на это и хромый, и вовсе безрукий-безногий способен, а вот хлебушко рóстить, ребятишек досыта кормить — тут сила нужна немалая и чтобы правильная была, без порчи... Вот я и еще гляжу — не заботится ли кто в моем деле об себе.

— Не плохо любишь, Нечай! — сказал кто-то и усмехнулся. Усмехнулся горько. — Видать, эксплуатации обратно захотел?

— Плохо для себя никто не любит. И мне эксплуатация тоже без шуток не глянется. К моей единоличной жизни голодуха тоже каждый год приноживалась, а случись — та моя кобыла в работе захромела — уже разор полный. Под таким страхом жизнь не сладкая, вот потому и пошел наперед в колхоз. Но я и обратно не хочу, чтобы от беды да в беду же.

— Углядел?

— То-то что нет... Вот и спрашиваю: долгая ли еще будет такая жизнь, чтобы меня в ей туда-сюда болтало? Меня хотя бы и в мою же

сторону добровольно-принудительно ломать — толку не будет. Я, положим, левша, так ты мне по этой причине правую руку не руби. С двумя-то я мужик, и государству и себе работник. А с одной — на что годный?! Указчиков мужичьей жизни премного народилось. Это верно — мужик, он земляной. Темный. Дикой мужик-сибиряк. Но ведь государство-то — от такого кормится. Другого-то мужика нету, хоть ищи, хоть выдумывай — а нету!

Нечай замолчал было, но тут же кто-то снова спросил его:

— Замолк, значит?

— Замолк... Ленин, мужики, вовсе не вовремя помер... Пожить бы Ленину еще хотя бы годов с десятком...

Ах, Нечай, Нечай, ну как он скребет за душу! Как бередит!

Поежился Степан, плотнее прижался спиной к стенке... Только вроде бы приладился к новой жизни, почувешь ее вот как эту стенку — тут заговорит Нечай.

И не вредный вовсе мужик, нет. Такой же, как и все другие, только у других душа молча ноет, а у этого — вслух. С такой душой ему жить ничуть не легче, куда труднее. Это понятно. И оттого, что понятно — к Нечаю в Крутых Луках уважение.

Это не просто так — человека уважают. Когда-то и над Фофаном смеялись за его цветочки-ягодки, и сейчас еще к месту в глаза его колют, так то — в глаза и любя, и за глаза — уже никто: уважают. Вошел Фофан в колхоз — в Крутых Луках вроде праздник случился, только что благовеста не было.

Вот и он, Степан Чаузов, в своей деревне тоже не последний человек, хотя по другой причине: умелый до разного мастерства и смелый очень.

Разное оно бывает — уважение.

Идет по улице мужик — богатющий, десяти-, а то и пятнадцатиконный мужик — и бабы поддают своим ребятишкам по затылкам: «Кланяйся, сучонок! Или не видишь, кто идет!» А бывает по-другому — мальчонка заприметит первым, тянет мать за юбку: «Мам! Мамка! Глянь-кось, кто идет?!» Они на уважение очень чувливые, ребятишки!

Степан по себе это знает и не то чтобы собою гордится, но с другими уважаемыми в Крутых Луках людьми и много постарше себя — он запросто. И они с ним тоже так же.

Нынче они не сказали с Нечаем друг другу ни слова, а тот нет-нет да и глянет в его сторону: «Ладно ли, Степа, говорю? По-мужицки ли? Не свихнулся ли на пустую какую болтовню, на бабьи сплетни, а то, может, похоже на то, как в церковном селе Шадринной на паперти мелет невесть что горбатый, красномордый и сопливый дурачок Давыдка?» Эту Нечаеву заботу Степан тоже понимает. Который мужичонка подлый и совершит подлость — от него не убудет, нечему убывать; трусливый испугается — на то он и трусливый, а вот когда однажды в жизни испугался бы Степан Чаузов либо Нечай сболтнул бы глупую глупость — им это прощено не будет. Ни в век!

Ах, Нечай, Нечай! Ах, Фофан, Фофан! Время нынче нелегкое, но на которых привыкли в Крутых Луках глядеть, которых слушать привыкли — тем оно куда труднее!

Отвалился в своем углу от стенки Степан.

— Ну, мужики, до завтрева, однако... — Пошел на выход. Знал, что за ним и другие потянутся по домам.

Еще раз повторил Степан:

— До завтрева...

А и хорош же он все-таки — вольный мир! До того хорош и прекрасен, что сердце щемит, кружит голову, дыхание схватывает.

Темь на земле, а видно ее далеко-далеко, родимую эту землю.

Вот она — совсем будто бы рядом череда телеграфных столбов на увале, иные столбы, которые на самом взгорке, достигают чуть ли не луны, черные их тени рассекли увал до самых огородов прямыми, но нехоженными тропками...

Вот она — березовая роща, ее в Крутых Луках зовут дубравой, и как только девчонку или парнишку поманило к ночи в эту дубраву — значит, девка выросла в семье либо парень, и уже не в голос они там разговаривают между собой, а шепчутся шепотом и думают, будто никто не знает, о чем...

Вот она — копань на пути весеннего ручья. Мужики выкопали ее миром как раз перед войной с немцем, и с тех пор каждую весну наполняется она водой, воды хватает для водопоая, а ребятишки, которые еще малые, чтобы по яру спускаться к Иртышу, балуются здесь по брюхо в воде. Сейчас копань, будто чаша какая, наполнена искрами. Искры, ей-богу, солнечные, неужели так заискривает землю луна? Как будто и не может так быть, а значит, может...

Вот оно — кладбище, холмиков не видно, кресты стоят на ровном, гладком и тоже заискренном снегу черные и прямые, а печали в них нету, стоят они для порядка, чтобы живые помнили: не век им дышать, топтать подшитыми пимами хрусткий снег, в дубраве шептаться, пожары зажигать да тушить. Мертвое ко всему слепо и глухо, ничто его не тревожит, потому, должно быть, оно и вечно.

Смерть не тревожит, тревожит жизнь — как ее нынче человеком прожить?

И как будто вот она, разгадка твоей тревоги, где-то здесь же, близко — то ли в небе прямо над тобою, то ли снег как раз этой разгадкой искрится, то ли это она сама, разгадка, и кружит голову, сердце щемит, схватывает грудь — сумей вздохни грудью шире-шире, и все-то тебе прояснится до конца жизни!

До того хорош, до того прекрасен вольный мир, до того певуч и снежным хрустом, и ночной тишиной, а больше всего любит он молчать о судьбе твоей...

Постоял Степан Чаузов у ворот своего дома, еще поглядел в небо, и потянуло его к Клашке — жене своей... Он удивился. Но удивился не себе, а сказал вслух:

— Ты скажи, зима как зима! К концу подходит, воздух вроде талый становится, на буран. А буран — тоже ладно, буранистый март к урожайному лету.

За бечевку потянул щеколду, вошел во двор.

Под ноги молчаливо ткнулся Полкашка, он пихнул его несильно ногой. Полкашка не обиделся, пошел от хозяина шагах в трех, задрал большую нескладную голову, потягивая носом — от Степанова полубубка все еще, должно быть, несло дымом, гарью.

Дверь из сенок в избу открыл Степан и вздохнул: вот он, свой дом, свой запах. Наконец-то. Но, как тот Полкашка, сразу почуял чужое.

Подумал: может, уполномоченный Митя приехал — совсем парнишечку уполномоченного прислали в Шадрину, оттуда он разъезжал по деревням и, когда случалось быть ему в Крутых Луках, останавливался в избе Чаузова. Нет, это не Митя был, не тот дух...

Засветил Степан спичку. Так и есть — не то. Уполномоченный всегда ночевал в кухне, на сундуке рядом с печью, теперь сундук этот был завален чьей-то одежкой, и пимы чужие сушились на печи, много пимов. Степан одежку эту и обутку рассматривать не стал, прошел в горницу и снова чиркнул спичкой.

На полу на двух тулупах лежала Ольга Ударцева со своими ребятишками.

Она будто бы спала, а на самом деле открыла веки и тут же их снова закрыла, стала слушать. Ждать стала — что будет?

У нее лицо было строгое, видное, при свете спички походило на лицо покойницы, но ожидание и страх все равно нельзя было на нем схоронить — веки и закрытые чуть вздрагивали, губы тоже. Дышала Ольга Ударцева тяжело. Клашкина шубейка, под которой она лежала накрывшись, покачивалась на Ольгиной груди стоячим воротником, а с ног шубейка у нее сбилась — видно было одну ногу неразутую, в чулке, повыше колена перехваченную белой завязкой.

Девчонка Ольгина подняла голову и снова ткнулась в подушку, а двое парнишек — один справа, другой слева — спали и тоненько по очереди всхрапывали. Один спал в шапке, закусив тесемку шапкиного уха.

Спичка пожгла пальцы и потухла.

— Так...

Степан сбросил с себя полушубок, пимы, размотал портянки, прислонившись рукой к печи. Подошел к постели.

Запустил пальцы в густые, теплые Клашкины волосы, коснулся затылка и с силой Клашку встряхнул.

Она чуть-чуть охнула, а может, только вздохнула. Пока ложился в постель, так и держал голову в руке, и голова ворочалась туда-сюда вслед за ним.

Лег.

— Ну,— сказал спустя еще какое-то время,— привела в дом подружку свою? Привела — так иди к ей, приголубь! Иди! — И задрал кверху Клашкину голову. Разжал пальцы.

Клашка села на постели, опустила вниз ноги, а голову подперла руками... Посидела так и стала с постели вставать... Вставала сама не своя, пошатываясь. Видно было, как шатало ее из стороны в сторону — ставня одна неплотно закрыта была, луна в избу светила.

И тут он схватил ее за рубаху и бросил рядом с собой. Она лежала на спине, щеки на скулах ее натянулись, она глядела чуть раскосыми глазами в темный потолок, и он туда же глядел, а видел ее всю, как есть. Не видел только — плачет Клашка или нет. Она плакала редко и молча, всего-то одной-двумя слезами.

Страшно вдруг стало, что Клашка сейчас опять свесит ноги с постели, потом встанет, пошатываясь, и уйдет. Стало страшно остаться одному.

Он приказал:

— Лежи, говорю!

Он бы сейчас ткнулся, будто ребенок, ей в грудь, и завыл бы, и зашептал невесть что, лишь бы полегчало на душе.

Не мог. Не мог, потому что — мужик. Нельзя мужику выказать слабость хотя бы и перед женой своей.

На чем после будет стоять дом, и семья, и вся жизнь, если мужик вдруг заревет бабьими слезами?

Глава третья

Когда Клашка была еще в девках, пуще всего не любили ее пожилые бабы, у которых сыновья входили в возраст.

Бегала Клашка по деревне голосистая, тоненькая, со взрослыми была обходительная, а у баб сердце замирало — кто-то из парней вот-вот окажется в ее власти, не минует ее, приведет к себе в дом.

Посватался Степша Чаузов, и бабы вздохнули с облегчением: слава тебе, господи, пронесло, ровно градовую тучу, пронесло мимо, на чужой двор!

Чаузова-мать приняла все бабьи тревоги на себя одну, причитала, будто по покойнику:

— Ой, Степа! Об матери об родной подумай! Для чего она тебя родила? Не для кривули же косоглазой! Голимая бедность за ей, как жить будешь?

И Степан думал, спрашивал себя, как жить будет, и выходило — правильно мать убивается, правильно ревмя ревет.

Чаузов-отец не ругался, сказал только, что отделит сына с одной хромой овечкой, не поглядит на новый закон. Может, Степка надеется на советскую власть — так в этом деле отцу никакая власть не указчик.

Отец был мужик сердитый, из крутолучинских драчунов, в драку ходил не только на соседей-калманцев, но еще и в дальние села. Как только слухом пользовался, что где-то стенка собирается идти на стенку, — запрягал и ехал поглядеть. Однако приезжал он с тех погляделок сильно битый. Не выдерживал: только одна стенка дрогнет, пойдет в отступ — он уже переживает, грозитя бить отступающих, а после за них же и дерется.

А добрым не был, нет. Доброту — и чужую, а если случалось, и свою — считал глупостью. Конокрадов бил смертным боем и страшно охочий был до самосуда. Городской суд и вся городская власть никогда по нему правыми не были, прав был только суд всем миром.

Сыновей он отделял, как женились, без промедления и при отделе не баловал: сумел вырасти, не помер, в Иртыше не утонул, бабу завел — сумей и добро наживать.

Степану давал советы:

— Бабу, Степа, выбирать надо с заду. В ее, как в кобылу, глядеть надо — в кость, в зубы. Ей работу работать, ребятишек носить-кормить. Это в городе бабенки наперед всего лицом кажутся, так то — от безделья. В городе и собачонок с собой водят на цепке, и баб под крендель, все — для показа: «Глядите, люди, сивку какую оседлал!» Так друг перед дружкой бабами да собачонками и выхваляются!

Мать слушала, соглашалась, но и соглашаясь, упрекала отца:

— Уж больно грешно говоришь-то... Грешно о человеке, ровно о скотине, судить!

Отец не спорил:

— Может, и грешно. А что из того? Я вот тебя с заду выбирал, и что — плохо выбрал? Хорошо выбрал. Ты из всех девок могучая была костью, а время настало — и за себя в поле ломила, и за коня, и который раз еще за меня, когда воевал либо тверезый не был!

А Степан все слушал, слушал, и снова выходило — отец правильно говорит.

Она тоненькая была, Клашка, совсем ненадежная. Какая из нее баба получится — страшно было подумать. Может, никакой. Вернее всего, это было у нее от бедности: досыта не ела, взамуж пойти и то в стираном-перестиранном.

Она и на гулянках-то до тех пор веселилась, покуда парни не начинали гонять девок вокруг общественного амбара с зерном. Тут она, словно вкопанная, становилась спиной к амбару, руки наперед, чтобы оттолкнуть любого парня. Боялась, что парень ухватит ее за кофтенку и порвет. Нечаянно, а может, и с умыслом — за то, что глаза пялит на одного только Степшу Чаузова, ни на кого больше не поглядит. И стояла она так подолгу молча, а если уже решалась побежать, так летела стрелой, убегала невесть куда, не скоро возвращалась стороной и, бледная в лице, испуганная, спрашивала у подружек: гнался ли кто из парней, чтобы поймать ее, или никто не гнался?

Она и плясать не могла — берегла обутку, и только петь не боялась в голос, однако и тут был случай, когда распелась Клашка, а Овчинникова Шурка — девка гордая, богатая, прибежавшая на гулянки с отцовской заимки верст за пять — крикнула однажды:

— Побереги глотку-то! Она тебе еще на базаре в престольный праздник вот как сгодится!

Была бы Шурка парнем — ей эти слова даром бы не прошли.

В Крутых Луках богатые обязаны были держать себя строго, к людям уважительно, иначе запросто могли окон в избе лишиться либо на гумне огонька понюхать. И об гражданской войне куражливому богатеему могли напомнить, и налогом в первое же обложение предостаточно наградить.

И тот раз тоже говорили, будто до Шуркиного отца эта ее куражливость дошла, и мало Шурке не было. Но Клашка-то все равно замолкла, не видать ее как-то стало и не слышать, хотя по-прежнему приходила она на игрища. С того случая она будто возненавидела Степана — глаза злые стали у нее, когда же он являлся в новых сапогах и в галошах новых — убегала прочь. Злую, он ее и обнимал в дубраве, а она его — никогда.

Этот ее норов был Степану не по сердцу. Подглядел бы кто-нибудь из парней либо из девок, как он ее милует, а она сидит молчит, будто каменная, не пошевелится, только свою же косу все теребит-теребит... Подглядел бы кто — смеху было бы надолго.

Пять верст до Овчинниковской заимки вечерок-другой к Шурке сбегать — и была бы Клашке наука. Поглядеть, какая стала бы она учная!

Вместо этого спросил однажды:

— Видать, боишься меня, Клавдья?

— Чего бы это ради? — ответила она, усмехнувшись непонятно, будто и недобро. — Тебя — бояться?

— Кого же тогда?

Клашка вдруг поглядела на него, задрожала.

— Боль ты моя, Степа! Себя я боюсь! Себя, а никого больше!

— Это как же?!

— А вот так: зачну тебя целовать — зацелую до смерти! — Схватилась и бросилась бежать из дубравы. И убежала.

После он ее вызывал, ходил под оконцем развалившейся малухи, в которой Клашка жила с матерью, с братишками и сестренками, засылал в малуху парнишек, чтобы мигнули Клашке на выход, а сам боялся: вдруг выйдет?! Она его по-честному предупредила: зацелую, завлеку окончательно — и от греха убежала, а он ее вызывает, себя уговаривает, будто вызывает для интереса только — вот вызову и выстою, и не поддамся косоглазой!

Она вышла, он поддался.

Себя забыл, сознание замутило. Смотрел в чуть раскосые коричневые какие-то глаза и сзади заглядывал, как велел отец... Две косы разглядывал — толстые и прямые, то ли рыжие, то ли под цвет глаз. Как она их носит, как не переломится?

За нее страшно и за себя страшно и непонятно — как он решился ей сказать: «Ну, Клашка, хватит... Хватит нам в прятки баловаться. Все! Не отпущу я тебя от себя!»

Она его целовала, и говорила что-то, и говорила, а он сидел на тухлявом пеньке, молчал и вдруг спросил:

— А ежели я тебя бить буду?

Клашка чуть от него откинулась, вздохнула, глаза закрыла и тихо так сказала:

— Ударь... Ну — ударь!

У него же слабость прошла по рукам, по голове. Будто не он хотел бить, а его кто-то пригрозил измолотить до полусмерти, и он, парень совсем не боязливый, угрозы этой вдруг испугался.

— А убегу я от тебя? Поживем сколь, а после брошу. В город убегу либо в тайгу, на золото стараться?

— Догоню я тебя, Степа...

— Не догонишь...

— Тогда — удавлюсь...

Ну вот, она лежит рядом — Клаша. Жена.

Тихая, бессловесная. Убивай ее сейчас — не заревет, не заголосит.

С самого того дня, как вызвал он ее из малухи-развалюшки, она к нему до самой смерти привязанная, и сейчас ей бы кричать в голос обо всей его и ее жизни, о ребятишках ихних. Ей бы сейчас клясть, упрекать, угovarивать.

Молчит...

Сколько же ночей пролежала она рядом с ним — с трезвым и с пьяным, со спящим и с бессонным, когда тревога какая нападала на него или забота?

Все заботы, и тревоги, и зависть, какая была, и злость, и корысть — все-все пересказывал он Клашке длинными зимними ночами. Все слова, которые были отпущены ему, чтобы он сказал их людям, говорил он только ей одной. На людях — слушал и, слушая, думал, что и как следует сказать в ответ на речи Хромого Нечая, как нужно с Фофаном побеседовать об пашне и об ягодниках, но все, что собирался, все, что мог он сказать им, опять же говорил Клашке.

И вот она молчит сейчас, ничего ему о себе не объясняет, ничего о нем не спрашивает.

Лежи и ты молча и думай: то ли ты жизнь живешь не по-человечьи, то ли жизнь вертится вокруг тебя какая-то нечеловеческая?

Лежи с женой рядом, будто неженатый какой мужик... А не женатый, в нем мужичьего — чуть, одна капля. Капля эта его, не мужика, мутит, он с нее, с одной капли, водку пьет, в карты играет, в драку лезет, и все — над самим собой в насмешку. Таловый это мужик получается. Растет дерево, а еще растет на мокрой земле тальник — в печи жару не дает, креста на могилку и то из него не изладишь, не то что для службы какую поделку...

Лежи и думай: а что за баба рядом с тобой? Что за судьба у нее через тебя сложилась?

Бабыя судьба всегда надвое делится: одна живет с мужиком, другая — за мужиком. Огромная это разница — с им живет либо за им. Который мужик бабу свою каждый божий день вот так-то за волосенки волочит, а думает: она за им живет. А она — только что с им, не более того. Баба тогда только взаправдишная, душой привязанная, когда она себя за тобой чувствует. Тут, из-за спины твоей, она и то достанет, чего тебе самому в руки не дается. Тут-то она тебя мужиком и делает.

И до нынешней ночи он так понимал: береженная у него Клашка, береженная, за мужиком живет... А вдруг — и не так вовсе?

Весь-то день вертит Клашка чугунами своими, встает чуть свет, а то заметишь — лежит себе утром под покрывалом каралькой круглой. Вот тут ты ее с койки не понужай, не подавай виду — иди дровишек наколоть либо еще что, а когда вернешься — чугуны уже стонут у нее в руках, за стол ей присест недосуг, и она уже потому сыта, что досыта накормит мужика и ребятишек.

Мало того, который раз нужно ей удивление выказать.

В сенках на длинных гвоздях висят у Степана разные найденные предметы. Висит кнут ременный, петля на рукояти порванная, в остальном — совершенно целый кнут, а еще висит шапка.

Шапка та совсем новая, баранья, баран поставлен и снаружи и внутри очень кудрявый, должно быть, нездешней, а какой-то дальней породы. Она из-под снега годов пять тому назад оттаяла, эта шапка, и вдалеке от дороги. Ветром ее с пьяной чьей-то головы сдуло и понесло и понесло. Может, человек и гнался за шапкой, но не догнал, может, и так до него дошло, что шапку он свою найдет, да только замерзнет в ней, пьяный, заколечет в снегу. Может, конь был у него норовистый, ненадежный, возьмется бежать — и шапке рад не будешь, догонять в ней такого коня.

А Степан ее заметил — сам удивился тот раз, как заметил ее далеко в сугробике. Он с соломой ехал, с последним возом по последней зимней дороге.

Кнут и шапку никто в сенках с гвоздей не трогает, разве только который раз побалуется ими в избе ребятишки, ну, и, бывает, еще Васятка нахлобучит баранину эту на голову, когда очень спешит на двор, младший и того не может — не достает до гвоздя. Но со двора найденное никто не выносит — строго наказано.

Вдруг подойдет кто и спросит малого, а то и взрослого: «Откуда это у тебя? Где взял?» — и объясняй, что да как — где нашел, когда нашел. Нет, пусть они висят на виду у всех, кнут и шапка, пусть каждый, кто в сенки входит, так и поймет: ждут они здесь хозяина, может, найдется когда хозяин, а люди, которые в доме этом живут, чужого не хотят, чужим эти люди пользоваться брезгуют, своим обходятся. Найденное — не заробленное, глазами любуйся, руками брать — погоди.

Так вот и Клашка. Будто она в доме этом не совсем своя, а придет кто и спросит: «Чья же это у вас?» Мало того, чтобы и свой мужик вроде бы как подумал: «А откудова же я ее взял такую? И что мне с ней с такой. делать?»

И действительно, он вроде этого думал. Виду Клашке особого не подавал, а думал.

Приходило же в голову, будто не она его, а он ее когда-то завлек: «Такой парень, такой парень был — никому девку не уступил, ото все-то ее отбил!» Удивлялся: сроду не любил ни перед кем выхваляться, и вот на тебе — сам перед собой выдумывал! Ему бы не выдумывать, а ругать себя. Было за что себя ругать...

Иной раз живет в избушке во время пашни либо в таловом шалаше на сенокосе и вдруг ни с того ни с сего запрягает, гонит домой. Приезжает на Клашку злой, глаза бы на нее не глядели, а она охает да вздыхает, да еще и жалеет его, как это неотложно запонадобрилось ему ехать, и, вздыхая-охая, бежит топить баню. Покуда он парится — моет в горнице, подушки взбивает выше грядок. То ли она смеется над ним?

...Не узнать. И ни к чему узнавать, разговор заводить. Не ее, бабье-его, ума дело.

Еще не забрезжит — он уже обратно то ли Рыжего, то ли Серого нахлестывает, а мнится — это нахлестывает он сам себя: «Урожай не будет — так ты вспомнишь, мужик, денек-то нынешний, гулевой... Пожалеешь, что загонку лишнюю не сдвоил, что еще одну копешку сена не поставил, по кустам не пошарился с литовкой!»

Не сломилась в замужестве Клашка, как отец нарекал когда-то, совсем наоборот — стала бабой справной, гладкой. Глядеть глазами стала перед собой вроде совсем прямо, косой ее никто уже и не называл. Ребятишек принесла двух, оба были парнишками, это в чаузовском роду велось — парни да парни.

Но от ласки кони портятся, не то что бабы, и для того, чтобы не забавлялась, чтобы себя помнила, для порядка, хоть и берег, а иной раз объяснял — из какой бедности взял ее.

Своих же старших братьев ставил ей в пример — те взяли богатых, а ведь он был против большаков побойчее, пограмотнее, в любом деле сноровистее.

И тут Клашка замолкала, жалостливо как-то начинала звякать чугунами своими, заслонкой и ухватами — ровно в церковные колокольцы на похоронах, а он посмеивался: бабий ум! Что было, то было, из-за чего сердиться, впадать в нервы? Ежели ты рыжий — не говорить же, будто чернота у тебя цыганская? Ежели вся деревня знает — не для себя же одной в секрет играть?

На то пошло — он в этом деле глупее ее оказался: не с того мужик мужицкую жизнь должен начинать, не с того, чтобы поддаваться девке, но кори себя, не кори — дело такое было.

Может, с этого дела сразу после женитьбы и бегал он на Лисьи Ямки — сам себе хотел доказать, что мужик — настоящий. Даже не понятно, как голову тогда сносил. Отцовское, что ли, это играло в нем? Или свое?

Когда возвращался с Ямок и рубаха была исполосована на нем что вдоль, что поперек и молчаливая, бледная Клашка ставила ему на плечи и на грудь траву-примочку — он глядел на нее и зарекался на Ямки бегать, но без него что-то там не получалось у крутолучинских мужиков, и он снова шел, а потом снова в голову ему приходила странная какая-то догадка... Казалось, будто бабьим своим умом Клашка знает что-то, чего ему, мужику, и вовсе неизвестно...

Догадка эта не то чтобы пришла — и нет ее, он и после того все к Клашке приглядывался, угадывал войти в избу, когда Клашка совсем одна и не ждет никого.

Стояла она, бывало, среди избы молча, глядела на окна, на стены, на голубые полаты, на утюг. Скатерку гладила на столе... Вынимала из сундука сапоги с галошами, в которых он когда-то перед нею, девкой, форсил на гулянках, и гладила их сперва руками, после лицом, одной щекой и другой.

Нравилось Клашке в это время быть хозяйкой в доме, по глазам это было видать, и рот у нее вздрагивал, будто у ребенка малого, и руками вокруг себя она тоже по-ребячьи все-то ласкала и еще и еще ими что-то узнавала...

Нравилось Клашке быть хозяйкой, а настоящего ума хозяйского — упрямого, настырного — у нее не было. Скажет про добро какое — и тут же забудет. Прибежит с улицы, глазенками сверкнет: «Евдокии Локотковой мужик шаль купил — век бы на такую любовалась!» — и все, обшали об этой больше и не помнит.

А Степан все помнит. Ночью заведет разговор:

— У Евдокии у Локотковой мужик не простой — трехконный. Ежели такой мужик бабе своей не заведет доброй шали либо кофты плюшевой на сатиновом подкладе — это значит, он без стыда и без совести...

Дальше больше — вспоминал хозяев, у кого дом крестовый, у кого выездные кошевки, сбруя выездная, кто машину купил самосброску, кто еще что...

Клашка молчала, слушала, потом и сама начинала говорить, у кого на деревне какое добро, мечтать начинала, как бы ей то, как бы другое. И опять ненадолго — наутро уже и не помнит ночного своего шепота, про мечты и забыла, хлопочет с ребяташками, со скотиной...

То же самое — не боялась Клашка бедности.

Уж она бы должна была знать, что это такое, но вроде не знала, не помнила.

А как о ней не помнить, как забывать о ней, когда вот она тут, рядом, ходит бедность, только и ждет, как бы ты подвернулся под костлявую ее и крутую руку.

Евдокии Локотковой мужик шаль купил оренбургскую, шубу-барнаулку, а другой братан — Локотков Захар, и не хуже вовсе человек, хватил в ту же пору лиха — век не забудешь, хотя бы и со стороны глядя.

Ночью вышел он на двор, глянул под навес, а конь его лежит и храпит страшным храпом. Захар второго запряг, бросился в Шадрину за ветеринарным доктором, а когда доктора привез — конь уже бездыханный... Этот бездыханный, второго он запалил, разве татарам отвести на махан и то не возьмут. И вот так в одну ночь был мужик Захар Локотков — и не стало мужика, только собаки, будто его отпевая, долго еще лаляли на луну в Крутых Луках; мужики ночами слонялись по дворам, глаз не смыкали, вместо сна, будто наяву, видели своих ребятишек голыми, босыми, сопливыми, голодными...

Война, неурожай — это на всех, на всю деревню, на всю Сибирь без разбору, пожар — миром заведено погорельцу помочь, а вот на хозяйство напасть без всякой причины либо потому, что ненароком где-то оступился мужик, однажды коня не так напоил-накормил — это не жди ни от кого и ничего, никакой помощи, хотя бы и от брата родного, это уже твоя судьба выпала такая — сопливые да голодные ребятишки.

А Клашка — та ребятишек день-деньской, ровно клушка, обихаживает, а такого ей и в голову не приходит. Это в самом деле — может, она просто глупая была? Может, с того самого дня, как он вызвал ее в дубраву из малухи-развалюшки, от нее обман и обман какой-то был?

Узнать бы? Разгадать бы?! Вот сейчас и узнать всю разом правду и при чужом человеке, при Ударцевой Ольге, измолотить Клашку что есть силы?! Со злости так со злости. С горя так с горя. За то, что Ольгу привела, или еще за что-то... И вовсе не для того измолотить, чтобы Клашке наука была, а для себя, себе легче сделать.

Нет, не поднять руки. Не под н я т ь!

Лежит она, Клашка, вроде бы и неживая совсем и, очень может быть, ждет от него побоев то ли для того, чтобы одним тихим словом проклясть его, то ли — чтобы завывать наконец во весь голос.

Лежит. Молчит.

Молчит, а будто спрашивает: «Степан Чаузов — мужик ты или кто? Ежели я глупая, ежели от меня обман — ты куда глядел? Ты почему верил? Почему прежде не разгадал и сейчас разгадать не можешь? Почему думаешь, будто бабьему уму известно что-то, чего тебе вовсе неизвестно?»

Почему?

Через Клашку с самого начала своей мужицкой жизни лишился он богатства. Как бы не она, как бы та же Шурка Овчинникова — жить бы ему в доме крестовом, быть мужиком о трех конях. Что там — о трех. Где три, там уже и четыре и пять, в этом-то деле он себя знает...

Только время пришло — коней позабирали в колхоз, богатых мужиков сослали за болото. Овчинниковых со всей родней — в первую голову, и оказалось — права была Клашка, будто знала она, будто чуяла, что вот-вот и наступит это время, когда богатство мужику будет в тягость... И его от этой беды спасала. И спасла.

Богатство — и в тягость! До того это было удивительно, до того не похоже ни на что! Дух перехватывало, как об этом подумаешь. А в то же время казалось который раз, будто ты и сам еще давно когда-то, раньше об этом догадывался... Потому догадывался, что понял когда-то,

что богатым тебе не быть... Ломай хребтину день и ночь — справным мужиком будешь, богатым — никогда: прошел уже в твоей жизни тот год, когда мог случиться поворот на богатство, но не случился... И в душе где-то ты возненавидел богатство за то, что оно тебе не далось в жизни.

Может быть, догадывался по другому: богатым мужикам не очень-то жилось уютно в Крутых Луках при советской власти. Богатые парни, к примеру, и на Ямки не бегали — такого там не то что чужие, калманские, а и свои же ненароком могли стукнуть... Приходил богатый мужик на бревешке посидеть над Иртышским яром, где иной вечер мужики собирались о том, о другом потолковать, — все замолкали, сигарками попыхивали, покашливали, разве только худой какой-нибудь мужичонка, крикунишка вроде Егорки Гилева, перед таким егозил, по имени-отчеству величал...

Но даже если и было, даже если и в самом деле когда догадывался об этом Степан — так, может, на минуту только, другую, в остальное же время богатство к себе манило, догдалась раз и навсегда. И теперь он ей удивлялся: как она смогла?

А Клашка, похоже было, догадалась раз и навсегда. И теперь он ей удивлялся: как она смогла?

Не в конях, выходит, счастье, еще в чем-то? В чем? Об этом Клашка тоже, может, догадывается, но молчит... Должна же быть в этой жизни за что-то ухватка? Сердцевина должна быть в ней?

И когда начался в Крутых Луках колхоз, и когда разбежался он в тот же самый день, как в газетах сказано было, что дело это добровольное и каждый разбежаться может, и когда снова стал колхоз собираться вроде по желанию, но только с твердым заданием на мужиков, которые вступать не желали, — все это время слушал Степан и Фофана и Хромого Нечая, слова не хотел пропустить от них, но слушал молча, а расспросами пытал Клашку. Все ему казалось: знает что-то Клашка, только, может, сама не понимает, что знает.

— Об чем промеж вас, баб, разговор нонче идет? — спрашивал ее и ждал, что ответит.

— Разное... — отвечала она будто нехотя, а потом плотнее прижмалась к нему в кровати: — Ты скажи, Степа, да неужто это правда, что мужиков будут в городе держать либо в лесу, чтобы лес рубили, дороги чтобы ладили, а бабы одни чтобы управлялись в колхозе? Бабам побудку каждое утро будут объявлять, ровно солдатам, и причесанная либо простоволосая — никто не поглядит. Подсчитали всех — и на работу?

— Ты гляди, у кого это язык такой долгий? — удивлялся Степан, но, удивившись и помолчав, снова спрашивал: — Еще-то что?

— Потребилровка на каждый колхоз свой ситец будет продавать — белый с красной горошиной либо красный с беленькой, и сразу видать будет, какому колхозу баба принадлежит...

— Чепуху всякую молоть бы тебе на которой раз...

— Я, Степа, об чем говорят — тебе пересказываю. Об чем сама думаю — молчу.

— Ну, а об чем — сама? Сама-то?

— Это вот у нас в Крутых Луках Фофан сад заводил — чего только не говорили, как не надсмехались... Почему так, Степа, что у человека ум на злобу повернутый? Колхоза я не боюсь — злобы-жадности боюсь. Страшно! Как будет? Хорошо — хорошее наперед пойдет, а — наоборот? Сейчас злоба по углам сидит, я в чью избу вхожу — сразу чую, если люди живут злые, а ушла — и дела мне больше до них нету. А в колхозе? Человек злой, страсть жадный — в колхозе это до всех касаться будет, всем беда.

— Тебе бы, Клавдия, в контору, на наши мужицкие посиделки. Нечая бы Хромого послушать, как он там без малого каждую ночь толкует... Нельзя — от махорки надорвешься. Своей не куришь, так от чужой враз замутнеешь.

— Как есть... Дымом ты пропах с этого колхозу, Степа, ровно смолокур какой. К своему-то я давно уже привычная, а нонешний дым — со всего Крутолучья, со всего мира собранный... Я не в обиде... Думайте, мужики, народом. Одному мысли-то эти не под силу. Друг на дружку глядите зорче — кто каков. Вам вместе быть... Мы-то, бабы, еще по своим углам останемся, а вы уже вместе. Все...

Вот она какая, эта Клашка: будто бы ничего сама не знает, ничего сказать не может, а не верится, что она — как все другие бабы. Другие за мужиками своими в контору ночь-полночь бегали, в избах мужиков-то на крючки закидывали, чтобы дома ночевали, — от Клашки он упрека сроду не слышал, хотя бы и утром возвращался... Наоборот даже — Степан долго не приходил, так она думала, он там за это время ума набрался... Добивалась — об чем говорили мужики в конторе, а что ей расскажешь? От нее ждать и ждать не перестаешь, это верно, а вот когда Степана кто-нибудь, хотя бы и Клашка, о чем-нибудь расспрашивал — он рассказать не умел.

И Клашка, с разными вопросами помучившись, всегда в конце концов об одном и том же его спрашивала:

— За ребятишек, Степа, болит у тебя сердце? У меня на ребятишек сроду обиды не было, завсегда, как покормлю их — сердце от счастья захолонется. Только нонче глядела-глядела и заревела: может, лучше им было не родиться? Мужиками родились, а кем расти будут! Им уже мужицкого ума не надо, им в отца не расти, а в кого?

— Вырастут поумнее нас с тобой. Их теперь всех подряд, ребятишак, в школе учить налаживаются.

— Так-то бы... А за меня, Степа, сердце у тебя болит ли?

И за нее — болело.

Ежели о мужиках нынче выдумываются небылицы, так о бабах — того проще. А ее, небылицу, выдумай, она, глядишь, былью обернется. И на того обернется, кто больше тревожливый и чутливый — на бабу. Недаром о пожаре баба первая подаст голос, первая дым почует и не потому вовсе, что махорку не курит, — есть у нее на это своя причина.

Хотя бы тому поверить, что ничего-то Клашка не знает, что верить ей не в чем, ждать от нее нечего. Но тут будет тебе самому окончательный расчет с жизнью, сам о себе перестанешь знать — то ли ты живой, то ли мертвый и только по-живому дышишь?

Дышишь, до утра глазами пялишь на ту шелку в ставнях, сквозь которую луна заползает в избу, падает на Ольгино покойницкое лицо, на неприбранную ее голову.

Уже луна эта ушла, когда под самое утро Клашка вздохнула, пошевелилась. Вдруг рукой по голове Степана провела, тихо так, ровно и спокойно. Он обмер даже.

— Поверь, прошу тебя, Степа! — прошептала Клашка. — Я тебя сроду верить себе не просила, ты сам догадывался — нонче прошу... Ударцев Александра зерно пожег — так это же разбой и есть, он, как варнак, после того скрылся, а ребятишки? Неужели и ты ребятишкам враг, дом ихний разорил и со своего зимой выгонишь? Ты же не чужой какой-то начальник — сделал, и нет тебя! Тебе ребятишки эти всякий день на пути будут, всякий день им в глаза глядеть! Нельзя нам их с избы гнать, нельзя мне было их и в избу не привести. Поверь ты мне, Степа, не обманывай меня: я ведь за человека взамуж шла...

Не ответил Степан на этот шепот...

Глава четвертая

Другой день было воскресенье.

Утром Клашка шей подала. Ели — молчали. Один на другого не глядел.

Перед тем Ольгины ребятишки долгое время крестились на икону. Старались, будто живыми на небо хотели влезть. А свои на них тарасились. Ольгины открестились, и свои тоже уже взаправду начали поклоны бить, губами пришепетывать, а на родителей так строго зыркать: «Не приучили, мол, нас к порядку!» Одни-то они — так левой краюшку уже в рот подают, а правой сотворят со лба на пуп — и ладно им.

Ложки о миску стукали глухо как-то. В могилу землю бросают — так же стучит...

Однако двое парнишек Ольгиных робели недолго, быстренько за мясом по миске стали гоняться, а вот старшая девчонка, годов уже тринадцати, — та, будто слепая, черпала. Только как своей ложкой о Степанову заденет — так и дрогнет вся, ужалит ее кто. Потом она совсем ложку обронила и бросилась было из-за стола прочь, но мать ее к скамейке придавила.

Сама Ольга себя держала, будто к родне приехала либо к знакомым с выводком своим переночевать, и больше ничего. На покойницу уже не походила — не то что ночью, когда Степан ее спичкой на полу осветил.

...А что ей и делать? Как быть? Жить ей надо хотя бы всего один нынешний день, а все равно — жить...

Клашка виду старалась не показывать, а глотнет — у нее застрянет, она и шарится глазами-то, не заметил ли кто. Она, верно, и состарится — и под конец жизни все равно на девчонку будет похожая.

Утром встала — не живая и не мертвая — боится, что Степан укажет Ольге на порог либо просто слово обидное ей скажет. За стол посадит ли — не знала.

Он посадил.

Теперь она не знает, что же дальше-то будет.

Он и сам этого не знал...

Поели.

Вздохнули вроде после тяжкой какой, непосильной работы. Ребятишки снова взялись гуртом креститься, а потом по избе разбрелись — на печку, на полатах луковичными вязками шелестят, по углам — везде они, в глазах от них рябит. Будто их не пятеро, а душ пятнадцать разом откуда-то взялось. Им даже интересное житье — всем вместе...

Бабы тоже хотя и молчат, но у печки хлопотать взялись супряжно, со стороны и не поймешь, кто в избе хозяйка.

Степан повременил сколько, откинул западню, наказал ребятишкам осторожнее быть, не провалиться, и спустился в подпол. Не надо бы лезть. И наверху сидя, знал, что там есть, а чего нет, в подполе. Клашка, та само собой разом догадается, зачем он туда спустился, хотя он и взял с собой молоток, пилу-ножовку и гвоздей-трехдюймовок с дюжину.

Подпол — хороший, сухой, сроду в нем ни плесени, ни запаха. Соседи, когда случалось заглянуть, завидовали, говорили: вполне жить можно в таком.

Степан внизу морковь, песком засыпанную, поглядел, не проросла ли. Кое-где, верно, начала расти. Картошку рукой пошарил. Ее порядочно было — которую часть Степан еще вчера прикидывал на базар. Вчера утром они об этом с Клашкой как раз и говорили: взять в колхозе коня и то ли пять, то ли семь кулей отвезти в город. Пока ямы на улице с по-

севной картошкой еще не раскрыты — ей самая цена. И так прикидывали и этак — пять или семь?

Но то — вчера утром, вчера и едоков-то в избе было четверо, а нынче их восемь ртов. Что часть из них — рты малые, на это не надейся. Они, ребятишки, в рост идут — уминают за твое здоровье. Особенно когда гуртом за столом. Тут они уже стараются один перед другим. По отдельности им сроду того не съесть, что ордой одолеют. У них наоборот, скажем, чем у поросят. Поросенка отсади от других — ему и делать нечего, только чавкать цельные сутки...

Глядя на картошку, Степан раздумался и об мясе и, главное, о хлебушке. Ласково он о хлебе думал, и всегда-то так к весне бывало, когда уже небогато остается, — в мыслях его милуешь, хлеб.

Надо было зря не задерживаться — пораньше других в колхоз идти. Все одно к этому вышло, а покуда зиму одинолично жил и два одиночных задания нынешним хлебом выполнил.

Хлебушко был у Степана еще в одном месте, не считая того, который любому и каждому можно показать — вот чем располагаю, только-только до нового, еще как раз и не хватит недели на две.

Но и то сказать, схороненный запас пудов двадцать всего. По-нынешнему считать — три центнера. И так ли думай либо по-другому, вопрос один: долго, нет ли еще Ольга со своими ребятишками в избе пробудет?

Ждать надо: Ольга сама об этом Клашке шепнуть должна бы... Может, покуда он тут сидит — она как раз и шепнет?

И он все сидел, ждал. Молотком кое-когда по гвоздям постукивал — которые не совсем плотно в тесовую обшивку были забиты, у тех шляпки торчали. Надо было бы в амбарушку пойти, там у него был инструмент, в амбарушке, разный, печурку растопить и чего-ничего для дома поладить. Но он сидел и ждал. Сухим картошкиным запахом подполье отдавало. Через открытую западню падал к нему неяркий свет, но все равно по этому свету он угадывал, что на улице солнышко выглянуло.

И ты скажи — дождался ведь!

Вдруг в подполье Клашка будто свалилась, зашептала в ухо:

— Ольга-то до теплой дороги у нас просится жить. С мужниной-то родней не может она и со свекром — тоже. Я тебе объяснять не стану, почему нельзя ей с ними, после когда скажу. Опять же она, Ольга, говорит: нонче же вечером, как стемняет, на санках муки куль привезет... И картошек, может, куля два. Подполье-то у них ненарушенным осталось, только стыдно ей днем-от на людях...

— А потом она — куда? Ольга?

— На родину свою. К родителям. Он же, Лександра, ее какую даль с тракта взамуж-то брал. По теплу и обратно уедет... А ты, Степа, на меня не серчай нонче. Уедет Ольга — после серчай, я потерплю!

Она всегда, Клашка, такой была. Но и про него самого сказать — знал, какую за себя берет.

Счет простой...

Конечно, муки куль да картошек два — этим четыре рта прокормятся не бог весть сколько... А все ж таки корм. После того, как думал, будто ни крошки своего Ольга не принесет, вроде тебе и облегчение выпало. Как бы и весна еще пораньше, чтобы теплую-то дорогу не так уже долго ждать...

Вылез из подполья Степан — наладился пимы Клашкины подшивать.

Ребятишки, опять все враз, натянули на себя кто чего, и свое и со взрослых, высыпали на улицу. Видать, солнцем их потянуло.

Час спустя в Степановых пимах пошла к скотине Клашка, в избе остались Степан и Ольга.

Ольга туда-сюда метнулась, тоже хотела куда-нибудь выскочить, но ей уже не в чем было, она взяла Клашкино вязанье, села в углу и начала быстро так спицами шелестеть.

Молчали оба...

Сказать бы надо было чего, а что скажешь? Он, может, и весь-то таковой, белый свет, нынче, наизнанку вывернутый? Чего в нем нельзя, а чего можно?

Нельзя было Александру Ударцеву зерно поджигать, а он взял, да и спалил... Нельзя было за это дом ударцевский разбивать, а его разбили. Нельзя было Ольге в дом к Чаузовым идти, а она пришла... Может, все, что прежде нельзя было, нынче можно? Нет, и так — нельзя! Где он, тот закон, по которому мужицкая жизнь определяется? Попы сколько веков об своем говорили, а жизнь, она не из одних слов складывается. Нынче коммунисты ладить ее затеяли — получится ли? И хотя бы они на пробу взяли тысячу мужиков в одном месте, ну — мильон, и поглядели бы, как дело пойдет. Так нет же, сколько есть мужиков — и русских, и татар, и хохлов — все мильоны до последнего испытание проходят... Вот в этот самый миг которые мужики едят, пьют, спят или работу работают — все и во сне и наяву переживают, о жизни так же, как и он, Степан, загадывают. Такого видать еще не было, но чем дальше жить, тем все покруче да покруче узелки завязываются. Ладно, коли нынешний узел — последний.

И другое тут же надо понять: если бы знатье, что и как, — дорого бы отдал за новую-то жизнь, за справедливую. Верно Нечай говорит: мужику нынешнему особая доля — и с немцем воевать выпало, и с колчакими, и засуха была, и такое время, когда не то что спичек коробок, одной спички и той не сыскать было. А того не говорит Нечай, что, может, через все через это до настоящей-то жизни и совсем уж близко осталось, руками ее запросто достать, а только мужик уже боится и руки свои за спину прячет?!

Вдруг в избу Егорка Гилев явился...

Через порог еще не ступил, очень уж весело сказал:

— Здорово, Степша! Чай с сахаром!

— Здорово. Садись.

— По делу я.

— Ну хошь бы и по делу.

«Не даст он, Егорка, однако, дело кончить. Звать куда-то пришел...»

— Вроде и пимы-то новые совсем шьешь?

Степан отвечал не торопясь:

— Глядеть, так баба моя, Клашка, на обе стороны ровная, а в действительности на правую шибко давит. Левый вот совершенно еще свежий пим, а правый — только что до дырки не дотертый. Я ей сказывал, чтобы на ногах меняла пимы, — не хочет, моды ей не будет. Подковать, чо ли, ее на одну? Вот прилажу на пим подкову — будет по-козьи модой своей стукать.

— Нонче доносила бы зиму-то... Сколь там и осталось.

— А осенью вдруг и вздохнуть недосуг будет.

Оставалось всего-то один шов наложить, и не длинный вовсе, а сбоку последний, дратвы конец варом натер Степан — рассчитал, что как раз должно на тот шов хватить.

Егорка хотя и сел, но шапку не скидывал.

С виду он был серьезный нынче — глазки сощуренные, усы на розовой коже оставлены торчком, а борода начисто сбритая. Это он, Егорка, любил с бородой, с усами баловаться — то одно оставит, то другое, а то начисто побреется и ходит с сединой уже в голове и с голой мордой.

Шерсть по нем росла, будто по овечке, вот он по разу на неделе и лицевалялся.

— С конторы я за тобой пришел,— сказал Егорка.— Срочно звать.

— А почто?

— Следователь явился к нам в Луки. И тебя призывает. Срочно наказывал.

Степан щетинку с дратвой опустил и шило тоже, потом и кочергу с надетым на нее Клашкиным пимом положил на пол. Кочерга была толстая, короткая, всякую обувь чинить — очень удобная. Под шестком лежала, но служила больше хозяину, чем хозяйке.

— А что я ему — следователю?

— Явился дело следовать. Как Александр Ударцев зерно пожег. Как мужики дом его под яр спихнули.

...Не говорил почему-то Егорка, дескать, «мы» дом спихнули, по-другому сказал: «мужики»... Вдохнул Степан: вот она, колхозная-то жизнь, призывают — и надобно идти! Единолично-то жил бы — строго-настрого наказал сейчас Егорке сказать, что дома Чаузова не застал, а сам бы запряд да по сено за реку, а то и кума какого вспомнил бы навестить в соседней деревне и погулял бы там денек-другой. Так оно всегда и делалось — начальство, бывало, подождет-подождет, не стерпит дальше ждать и уедет.

Так и надо. Бумагу какую тебе выправить — ну и едь к начальству этому и в Шадрину и в город. Зато уж если начальнику вдруг мужик спонадобился, он тоже посидит-подождет немало, по первому-то зову к нему худой какой разве мужичонка прибежит, и то ежели вину за собой чует либо сам же просьбу имеет. Нынче коней в ограде нет, сведены в колхоз, а без коней куда денешься?

— Может, Александру-то уже поймали где?

— Не сказывают. А на то выглядит — что не поймали еще. Старика Ударцева — того заарестовал. В Шадрину уже отправил. Ну, да ему старик — что? Старик и сам помрет не сегодня-завтра. Ему бы засудить кого поинтереснее.

Похоже, Егорка со следователем разговор уже поимел. Уже в служки приладилась по избам за мужиками бегать.

— Подожди малость. Клашка в моих пимах пошла. Сейчас и вернется.

Егорка на приступке сидел, шапку все еще не скидывал, на Ольгу глаза пялил.

А той, видать, любопытство это не по душе, она к нему все круче да круче спиной оборачивается...

Бабы эти бабы! И тут у них свой норов... Лицо у Ольги белое, узкое, а глаза на лице большие, чуть даже на коровьи смахивают. Видит же она ими, должно быть, не зорко — спицами стрижет перед самым носом. И от Егорки отворачивается, и на Степана поглядеть тоже будто робеет.

Егорка вдруг заулыбался, спросил:

— Ты, Ольга, на чьих же это ребятишек чулочки-то ладишь? На Александровых либо на Степановых?

Ольга встала, потом клубок с полу подняла и с кухни, ни слова не сказав, перешла в горницу.

Вернулась Клашка.

Ведро с водой оставила в сенках, другое внесла в избу и поставила у порога, бросила на гвоздь полшалак.

— Здравствуй, Егорша! Ты, поди-ка, по моего мужика пришел? Куды опять? — Подрыгала сперва одной, потом другой ногой — скинула Степановы пимы.

— К следователю.

— Ничто-о-о! — удивилась Клашка и, босая, в кофтенке без рукавов, уставилась на Егорку. — Он, Степан-от, украл кого или убил? Либо у нас чо украдено? Нужон-то ему твой следователь!

— Ты, Клавдия, иди-кось и ему расскажи — следователю. Он мужиков, не одного Степана тягает, как они ударцевский дом спихнули. И следователь не простой вовсе, а Ю-рист, вот он кто. Мужиков привлекает и обратно — доклады им говорит. Об колхозах и об единоличной жизни. Каждому объяснять надобно десять разов!

— И объяснишь! Правду он, что ли, Степа, рассказывает?

— Ну не балует же. Однако пошли, Егорша.

— Постой, Степа, — засуетилась Клашка. — Рубаху надень чистую!

— Жаль, коней нету на ограде, кони — так искал бы меня тот следователь! А ты — рубаху на меня напяливать!

— И то! Я об конях и сама только подумала — как бы кони были на ограде и походил бы он ко мне, Ю-рист этот, поспрашивал бы, где ты да куда ты подевался! Уж он бы у меня повдоль вот порога потоптался! Я бы ему и сести на лавку не указала!

— «Ты бы» да «я бы», — передразнил Егорка Гилев. — А он и сам бы сел! Ему твое приглашение вовсе ни к чему — он его под себя не стелет!

— Ну и пушай бы сам сидел и сам же глазами хлопал, коли совести нету! А тебе, Степа, иди к нему, так не варнаком каким-то. Я и выглажу еще рубаху-то. Он в конторе ждет? Ну и посидит подождет, ему за жданье-то, за сиденье, поди, жалованье идет.

Шлепая босыми ногами, Клашка кинулась за утюгом, мигом — к печке за углями, мигом — в горницу за рубахой.

Степан махнул рукой:

— Ты, может, выдумаешь — шелковую, новую?

— Жирно с его будет — шелковая-то. Ты не мешайся — дело это бабе виднее!

Степан поднял с пола шило, дратву, пим снова на кочергу надел — последний шов он как раз успеет наложить.

Шил, поглядывал на Егорку.

Егорка Гилев был из мужиков везучих. Ты скажи, бывают такие — им сроду везет. Такой на солнце глядит и не об урожае думает, не об том у него мысли — солнце он пузом чувствует, приятно ему на солнышке погреться, а что касается урожая — урожай сам к нему придет. Он в этом запросто уверенный и по деревне ходит, нюхает, с кем бы лясы поточить, в картишки перекинуться.

Начать с того, что надел Гилеву выпал в западинке, рядом с колком березовым, и кто-то давным-давно в том колочке уютном колодец выкопал, а какие-то пастухи, тоже давно, добрую избушку поставили.

И навесил на колодец Егорка Гилев замок амбарный, а на избушке дверь наладил и оконце застеклил, знакомцев-охотников из города завел. Охотники в избушке с осени и едва ли не до рождества прохладятся, на озеро ходят за утками, на пашне по жнивью гусей караулят, по снегу за лисами и зайчишками на лыжах бегают. Охотники городские, нерасчетливые, добыли чего или не добыли, а постреляли, припасу извели и уже за одно это Егорке деньги дают. За постой в избушке.

Видать было — Егорка в той избушке и самогонкой занимался, но и то видать, что не очень он глупый был. Глупый — либо спился бы, либо занялся гнать на спекуляцию, а потом попался бы. Этот — ни-ни... Веселый ходит, а шибко пьяным его не увидишь.

Тут подряд случались годы не то чтобы сильной засухи, но и без добрых дождей. Мужики переживали, Егорке хоть бы что: в его запа-

динку с весны натечет талой воды — до половины лета хватает. Только что сеял он позже других, покуда пашня у него просохнет.

Везучий, и только, мужик!

У крутолучинских покосы на островах той стороны, вот и разрываешься летом: то ли телегу мазать, то ли лодку смолить, за паром платить. Егорка в своем колке худо-бедно два стожка добрых по кустам поставит и скотину там же до рождества держит. И от скотины навоз у него — на месте, возить не надо.

В Крутых Луках, правду сказать, далеко не все в поле навоз возят, на землю надеются, а больше, может, и потому еще, что к покрову мужики делаются кость да кожа и та на мослах лопается. У которых слабосильных либо в тех дворах, где едоков куча, а работников один, — и мочи уже не было никакой еще и в зиму воровать. Эти к масленке только и вылазили с избы — обглядеть, каков он, белый свет, а до тех пор отсыпались, ровно барсуки, руки-ноги на себе ошупывали — целые ли к следующей пашне остались?

А Егорке Гилеву и тут запросто: у него брат Терентий уже в годах, но неженатый, потому что глухой и немой совершенно, на работу же лютый... Он и живет в избушке, за скотиной ходит, а Егорка тем временем шарится: не повздорил ли кто с кем, не подрался ли... Он до смерти любит, где двоих мир не взял — третьевать, рассуждать, кто правый, а кто виноватый.

Он вроде бы всем друг, только ему — никто. Волосы седые, а ребятишки Егоркой кличут. И не потому кличут, что, чуть весна, он по первой же талой земле в бабки играет — в эту пору не он один под солнышком балует, — даже степенные мужики и те ни бабками, ни городками, ни лапту погонять не брезгают. Только всякий мужик, если бабок наиграет, то первому же попавшему на глаза парнишке их в шапку и высыпет, Егорка же бабки эти по карманам распахает и домой тащит, гордый: «Я, должно, все ж таки очень богатый мужик буду!»

Его бы по нынешним временам как раз раскулачить за брата как за собственного батрака, а он вместо того ходит, жалуется: «Калеку кормлю... Калека, а жрет за троих, не управисься ему подносить!» Пользуется, что глухой человек, никто ему этой напраслины пересказать не сможет!

В колхоз Егорка вступал, заявление принес — все диву дались: «Осознал до края идею и прошу принять и назначить хлеба паек на семью и одежи казенную цифру и обратно — на калеку-братана».

Ну, вот — Клашка выгладила рубаху, вынесла ее Степану.

— Гребень-то при тебе ли? Лохматый — вроде в жизни ни разу не чесанный!

— Сказал же: не на свадьбу собираюсь!

Ребятишки ввалились в избу — и свои и ударцевские. Все глазенки повытарачивали. Тоже соображают чего-то там. Притихли, даром что под окнами только сейчас галдели.

Степан сбросил мятую рубаху, натянул свежую.

Вышли на улицу.

— Тёпло потягиват... — прищурился Степан, поглядев на солнышко, проступавшее сквозь серое пухлое небо.

— А ты как думал? — обрадовался Егорка, что вышли они наконец-то на волю. — В городе я в середине еще был — там уже тает только что не до ручьев.

— Городская весна — для понюшки. Все одно там — от солнца весна либо от камня нагретого. Ни пахать, ни сеять, а нюхать — любая сгодится.

— Ты гляди, городская жизнь — для ее и весна раньше, и лето длиннее!

— Завидно?

— Легкая жизнь кому не завидная?! У меня вон в избушке охотники городские... Шесть часов службу отсидят — и все труды-заботы. И домой придет — кухарка ему уже по воду сходила и дров нарубила.

— А вот скажи, Егорша, как по тебе: будет ли сколько толку от колхоза? И как ты располагаешь: может, колхоз как раз для таких, как ты, и ладят?

— А мне — что? Мне — как всем!

— Тебе, Егорша, нигде худо не будет. Вот дело-то в чем. Ты — от земли, да на крышу, да обратно в наземь. Как воробей — тот и комаришку изловчится, возьмет на лету и обратно в наземь покопаться. Везде найдет.

— Ну, а ты? Высоко полетать хочешь, чтобы светло кругом было и солнышко бы тоже кругом грело?

— Я — мужик земляной. Мне и светло и тепло, правда что — шибко глянется, но только на земле. А тебе — это все одно, где тепло-то. Хотя бы и на помойке, хотя бы и в чужой застрехе.

Может, и не стоило так Егорке говорить, но сказал: вспомнил, что это через него ведь старик Ударцев с ломиком на людей пошел, Егорка его задирает... Как бы не задирает — может, старик бы и не пошел на это, а не пошел бы он — не свалили бы мужики избу под яр.

Егорка же на эти слова обиделся:

— Легкая-то жизнь, она тоже который раз еще тяжелее. Ты вот идешь и печали тебе особой нету. Об себе только. А я иду — об Терентии еще думаю: ежели на его в колхозе отдельную бумагу заведут, так он глухой-глухой, а поймет — с колхозу отдельно получать! А ведь я его сколь годов кормил, одевал-обувал! Или вот ты — идешь, а я тебя веду и ужо что с тобой случилось — я за тебя в ответе!

— Ты скажи, у каждого сучка своя печаль! — удивился Степан и засмеялся даже. Засмеялся, потом вдруг встал, будто споткнулся обо что-то. — Так ты меня ведешь?

— Как же ты думал?

— Я, значит, под твоим караулом? И уже вправо там либо влево, так ты меня и не пустишь?

— Может, сам-то я и пустил бы, но только нельзя. Не имею права!

— Ты гляди — интересно как! И ведь сроду я под караулом не ходил и в самом деле не крал, не убивал! А еще сказать, что меня такая сопля ведет, мне и вовсе тошно!

— Так не сам же я от себя! Я от власти! Объяснять мне нонче цельный день доводится!

— Ну, ежели милиции нету — ну, мужика прислали бы мне для караула. Фофана там, Нечая Хромого, хотя бы сказать, либо Ударцева старика с ломиком! А ты?! Да ты сам-то как напустился? Неужто добровольно? А если я не постесняюсь руками-то твоей морды коснуться? Не побрезгую?!

— За это тебе, Степа, сильно ответить придется!

— Только что дурак ты и есть! Я отвечу, а ты после в Крутых Луках будешь жить либо горевать? Тебе мужики в первую же ночь темную изладят, без окон и без трубы избу оставят, и ребятишек твоих другие все ребятишки лупить будут походя!

— Ну, это было. А нонче все под властью ходят. И опять же — колхоз!

— И колхоз, и под властью ходят, и тебе морду раскровянить так ли еще успеют!

И, повернувшись круто, Степан свернул в калитку. В чью калитку — он подумать не успел.

— Ты — как это?! — метнулся за ним Егорка Гилев и уже в ограде, забежав наперед, встал посреди крыльца с тремя ступеньками. — Стой, говорю!

— В гости надумал! Воскресенье же нонче! — сказал Степан. Взял Егорку под зад, поднял на ступеньки, а потом и в сенки впихнул.

В сенках Егорка уперся было руками поперек дверей, тогда Степан сдвинул ему шапку с головы на лицо и покрепче на нее надавил. Пока Егорка обеими руками от шапки освобождался, он распахнул дверь и так, задом наперед, через порог его в избу внес.

— Здорово, хозяева! — сказал он, еще не видя перед собой ничего, кроме помятого, красного и заметно сопливого лица Егорки. — Сладко вам есть-пить! — Отстранил Егорку в сторону и поглядел — кто же тут в избе, у кого он в гостях?

Оказалось — он у дяди Локоткова. Не того Локоткова, который однажды в ночь двух коней лишился, и не брата его, Евдокима, — совсем другой локотковской линии был мужик. Звали его Пётрой и говорили, будто он Степану дядей приходится, но понять, как и через кого родственность между ними происходила, делом было сложным, однако и вовсе невысказанным.

Пётра, босый, и в самом деле пил чай, прижимая стакан к бороде, которая росла у него негусто, но вся почему-то вперед, а баба его, Нюрка, в лифчике сидела с ним рядом на прялке и, уронив веретено, глядела на гостей, открыв широкий, губастый рот.

Потом она рот закрыла рукой, отерла его и сказала:

— Дивно вы ходите-то нонче. Ей-богу! Тверезые ли?

— Ты поди облакись! — приказал ей Пётра, и Нюрка поднялась, прислонилась к стене прялку, но в дверях горницы остановилась снова.

— Будто и тверезые...

— Вот Егорша по избам шарится — не подадут ли где изведать! — сказал Степан. — Так ить не подают как есть нигде!

— И ты — с ним?! — спросил Пётра.

— А не видать разве — двое нас?! Егорша-то парень, известно, стеснительный, через чужой порог ступить робеет. Ну, я вроде ему в помощь.

— Ну, конечно! — понятиливо кивнул Пётра. — Садитесь вот... Самогонки про вас не наварено, а чай — покудова не простыл. Пейте. Белый жир нагуливайте.

И Нюрка, застегивая на себе кофтенку, снова из горницы появилась:

— Садитесь, гости дорогие... Я тебе, Егор Филиппыч, чаю спелого, слатенького сейчас и поднесу! — И глазом на Егорку повела...

Уж эта Нюрка! Ох, и Нюрка!

Из-за нее мужики в Петрухину избу стеснялись и заходить.

Годов еще пять тому назад Пётра застал ее с портным. Из беженцев был портной, пришел из России в голодный год и так по деревням вокруг Шадриной скитался — то здесь, то там. На него бы никто и подумать не мог — тихий был, степенный, но вот — случилось.

Портняжку этого Пётра гнал пастушьим бичом по тракту едва ли не до самой Шадриной, а про Нюрку после того с месяцем никто не знал, живую ли ее мужик оставил либо нет. Нигде она не показывалась, ребяташек Пётра отвел к бабке и тоже домой не пускал.

Потом Нюрка на людях все ж таки показалась — бледная, годов на десять постаревшая. А потом отошла телом и — скажи ты — повеселела душой.

Бабы ее спрашивали, что-как, она без запинки объясняла:

— Другие от мужиков страдают и вовсе без причины либо от напасти какой, от болезни смолоду помирают. А я хоть знала — за что!

— И не стыдно тебе?

— А что я — даром, что ли, взяла?! Говорю же: едва живая осталась!

И деревня Нюрку простила. Одни только ребятишки который раз ее словом обзывали, взрослые же и поминать никогда не поминали. И еще Нюркино счастье — Пётра мужик был вовсе непьющий, с первого же глотка начинал страшно маяться. С непьющим, конечно, поладить легче.

Прощено-то было прощено, но ведь не забыто. Быль небыльем не сделаешь. И Нюрка, коли и сама сделала бы вид, что забыла, — это притворство получилось бы враз заметное. Вот она и ведет себя с тех пор строго, а в то же время — будто отчаянная. И мужик уже к этой повадке ее приладил, ей подыгрывает:

— За моёй бабой — глядеть да глядеть!

Так они оба уже многие годы шуткуют, а мужики между тем в избу к ним заходить сторонятся. Дело семейное, как порешили между собой — так и порешили, со стороны же глядеть, как это происходит, ни к чему. И Нюрку пытаться, в шутку ли она на мужиков глазами играет, а который раз вдруг да и вправду — тоже ни к чему.

Егорка Гилев — этот глупый, что к чему — понять не может... Нюрка вроде бы к нему с первого же слова ластится, а он на Пётру глядит — ему боязно становится, на Степана посмотрит — его оторопь берет. Однако полушубок скидывает и вслед за Степаном чай пить садится.

Степан с хозяином о погоде разговаривают, Нюрка другого гостя занимает:

— Когда моёго Пётру в расчет не брать, так у нас на деревне и мужиков-то, на которых поглядеть, двое осталось — Степа вот Чаузов да еще и ты, Егор Филиппыч!

Егор молчал сперва, глаза долу опускал, после тоже заговорил:

— Мы со Степой... Степа со мной...

— И то сказать — Степан-то Яковлич на возраст выходит, а тебя, Егорушка, обратно клонит на молодость! Даже и понять трудно! Не обижаешься ли на меня, Степан?

— Ну, кого там обижаться! Видать по всему — так оно и есть!

Ласковость у нее, у Нюрки, в глазах какая-то, и опять же будто она пощады за что-то просит...

Глядишь на нее и обо всех-то бабах в голову мысль приходит. Что, если Клавдия правильно ему говорила, будто мужиков будут из колхоза на работы посылать, а бабы одни в колхозе останутся? Они же друг другу не указ и не управа, они в отделе от мужиков бог знает что могут натворить! После того ревмя будут реветь и, может, вот как Нюрка, объяснять, что «не задаром взяли?»! Они вот и ладные и красивые, а сколько об их будет кнутов измочалено, сколько изломано кнутовищ, сколько детишек хватят через них лиха, покуда они свой какой-то бабий порядок в жизни наведут?!

И еще, на Нюрку глядя, об Клашке своей невольно думаешь: вот тут уже верно все, всегда для тебя одного Клашка баба живая, а для всех других мужиков, сколько их есть на свете, она каменная! Это уже так, убей его на месте!

— А я слыхала — председателя колхозу снова будут выбирать! — серьезно так, ласково говорит Нюрка. — Вот бы тебя, Егор Филиппыч, поставить на место?! Не скажу об мужиках, а бабы все руки бы подняли!

— И очень может быть! — вздохнул Пётра. — Может быть, и до того доживем — как ты на это глядишь, Степа?

Егорка со стакана чаю горячего пьяный сделался.

— Я знаю, Степа-то против будет. Не будет согласный. А почему, спроси его, дядя Пётра? Пушай он докажет, что против!

— А ты почему знаешь, что я — против?

— Сказать? Ну вот и скажу сейчас хозяевам-то секрет. И скажу! Ведь между нами как? Я его к следователю веду, следователь приехал, интересуется, почто Ударцева избу мужики под яр спихивали. Вот как мы идем. А он, Степа, и друг, а не хочет со мной вместе идти. Ну вот, поспорили мы и к вам зашли... Рассудить хотели... Я к нему от власти приставлен, а он ко мне — без уважения!

— Как же это ты, Степан Яковлич! — всплеснула руками Нюрка. — И в самом деле, ведет тебя Егор, так ты иди... Кабы он меня повел, так я бы от его ни на шаг! Я бы к Егору Филиппычу — вовсе даже наоборот! А — шанежки не хотите ли свежей, Егор Филиппыч? Я сейчас!

Нюрка выбежала в сенки, пробыла минуту какую, и грохнуло что-то... Жалобно так Нюркин голос раздался:

— Кадушку я уронила, мужики! Помогите кто, помогите, Егор Филиппыч, поднять!

Егорка ближе к двери сидел, кинулся помогать. Вдруг «щелк!» — и Нюрка на пороге стоит, ключиком на бечевке помахивает.

— Вот, Степа, тебе и ключик — от караульного твоего. Хочешь, выпусти его, а то пушай посидит некоторое время в кладовке!

— Посидит! — согласился Степан. — Одному мне верно что ловчее по улице идти.

Егорка в кладовой было завопил, Нюрка с порога ему объяснила:

— Не шумите, Егор Филиппыч! Народ прибежит на шум, а тут человек в чужой кладовке нечаянно закинутый оказался! Да мы долго держать тебя не станем... Малость какую только!

И Егорка замолк, тоненько так попискивал, уговаривал не шутить с ним.

Допили чай по стакану, Степан поднялся:

— Пойду, однако...

Пётра согласился:

— Может, и мне с тобой? Я тот раз тоже дом-то ударцевский рушил.

— Надо будет — призовут. Да и не против же советской власти мы дом... спихнули? Не за собственность она нонче держится, власть?

— А Ольга, правда, что ли, у тебя в избе с ребятишками?

— Баба привела, Клавдия. После — бездомному не откажешь.

— Об этом следователь тоже, думаю, будет у тебя спрашивать...

— Ему-то не все равно? Не его забота — кормить!

— Бывай! — попрощался Пётра.

И Нюрка рядом с мужиком своим стала, руки на грудях сложила.

— Заходи, Степан, какое будет время...

Состарилась Нюрка — седина уже светится и лоб весь морщинистый... Только он это заметил, Нюрка вдруг улыбнулась:

— За друга своего не печалься — я с им ласковая буду! — И засмеялась. А смеется она — молодеет сразу на глазах.

Шел Степан улыбкой...

Бывало, раньше, давно еще, думал: на себя бы поглядеть лет через десять, каким будешь... Ломаешь хребет-то, а к чему придешь, чего достигнешь? Какое там — десять лет, хотя бы и на год вперед увидеть, каким ты мужиком в колхозе будешь? А нынче идешь и даже не так думаешь: завтра-то как она к тебе, жизнь, обернется, к мужику?..

С Егоркой же смешно получилось!

А если без смеху, так Егорка этот — вовсе правдишный кулак-эксплуататор. На пашне брата глупого всеми силами эксплуатирует, а другой у него братан в городе заезжий дом содержит, и крутолучинские

мужики, и шадринские, и лебяжинские в том доме в базарные дни ночуют, за постой платят. На станции, на железной дороге, Егоркина сестра в собственной лавочке торговала, а Егорка для нее подсолнух сеял, редиску растил... И сроду нету у него, у Егорки, мужичьей работы — заработать, о другом он мечтает: урвать бы где?!

Глава пятая

В своей избе и то каждую шелку так не знаешь, как в колхозной конторе на верху фофановского дома.

Правда, знать там особенно нечего, глядеть не на что: четыре стены и все обшарпаны мужицкими спинами.

Тот угол, в котором сидит обычно Степан, слушая, что говорят кругом, — тоже густо натерт. Дверь красная, овчиной тулупов и полушубков не обтертая. Но голубые цветы на ней от дыма табачного совершенно завяли, поблекли. Ладно, если помнишь, что были они когда-то голубым нарисованы, а не помня — не угадаешь сроду.

Сколько через эту дверь нынче народу в день один зайдет и выйдет — не счесть, а ночью еще и бабы начинают бегать за мужиками своими и ведут их отсюда домой, ругаясь: «Начало колхозу только, а табаку перекурено вами на целый век. Это что же дальше-то будет — весь же белый свет дымом застите?! Своя-то изба хотя бы и синим огнем сгорит — вам дела нет, табакуры бездомные, безлошадные!»

И только Клаша в контору не бегает. В другой раз, когда под вечер Степан по избе начнет туда-сюда слоняться, она сама ему вроде бы ненароком скажет: «Сходил бы на народ, Степа...» А когда он из конторы возвращается под утро, спрашивает: «Как порешили-то? Народом?»

Еще в конторе стоит стол...

За стол этот совсем недавно фофановская семья с ложками садилась, семь человек: хозяин с хозяйкой, старик со старухой, две девчонки-погодки с одинаковыми косичками и меньший парнишка тоже научился сам ложкой действовать...

После, когда стала здесь контора, Фофан за тем же столом сидел уже без ложки и не с торца, а посередке. Замещал председателя колхоза, за Печуру Павла сидел.

Если Печура был дома — они двое рядком сидели, но было их двое или один — всегда с боков еще мужики умишались, глядели, как это колхозные дела делаются: как бумажки читаются-пишутся, как печать круглая на них ставится, как делается подпись. И на счетах, на костяшки, тоже, глаз не спуская, глядели: как добро колхозное кладется на них. Кому не интересно?

Другой раз Фофану уже и не пошевелиться, не вздохнуть свободно — в такой тесный круг его возьмут, он тогда начинает шуметь, чтобы отодвинуться от него хотя бы на аршин... Кто-нибудь его обязательно горячо так поддержит: «Правда что, мужики, живой же он тоже, Фофан, человек!» Но это ненадолго: чуть время пройдет — его уже снова за столом вовсе не видать, Фофана. кругом одни спины да шапки.

А вот поглядел Степан сейчас на стены конторские, на окна, на стол поглядел и удивился: будто в первый раз видит все это, все здесь ему незнакомое. Потому так показалось, что в конторе сидит один только человек, и человек этот — совершенно чужой, нездешний.

— Садитесь...

Степан по сторонам глянул. Почему: «Садитесь»? Может, он не один в контору вошел? Нет, он был один.

— Садитесь!

Ну, если с одним с ним так разговаривают, то и ему вежливо надлежало ответить:

— Ничего, мы постоим...

— Садитесь!!

— Спасибо. Сядем.

— Чаузов? Степан? Яковлевич?

— Само собой!

— Год рождения?

— Девятьсотый.

— Родились в Крутых Луках?

— Здесь и родился.

— Русский?

— Русские.

— Грамотный?

— Три зимы в школу бегал.

— Женат?

— Женатые. Обязательно.

— Дети есть?

— Куда же им подеваться — детям? Слава богу, живые обои.

...Вот уже и не только о нем самом — о Клашке, о ребяташках все как есть записано.

— Кем являетесь? Бедняком? Средняком? Кулаком?

Поди-ка, все понимает, а спрашивает, ровно ребенок: «Кулаком?» Да кулаком если бы был, так сейчас перед тобой не явился бы в Крутых Луках — за болотом давно бы уже мыкался.

— Записано было середняк.

— Простой середняк или — крепкий середняк?

— Простой середняк. Обыкновенный, сказать.

— Так... Нынче колхозник?

— Вступили...

— Давно вступили?

— С того четверга второй месяц пошел.

— До вступления твердыми заданиями облагались?

— Не миновало.

— Выполнили?

— Выполнили. На тот же день — второе принесли.

О втором, однако, напрасно сказал?! Не спрашивали ведь?

— Значит, облагались дважды?

— Можно и так сосчитать.

— И снова выполнили?

— Обратно — до зернышка.

— И в тот же день вступили в колхоз?

— В который?

— В тот день, когда выполнили второе твердое задание?

— Точно чтобы сказать — не упомянул...

А догадливый, видать, следовательно-то этот... Такая работа. Не с первым беседует. Сколь перед ним вот так же мужиков сидело? Он, поди-ка, и сам всех не упомянет!

— Родственники раскулаченные есть?

— Братан. Старший.

— Вы с ним вместе когда-нибудь хозяйство вели?

— Не было. Он как с Красной Армии вернулся, женился и к бабе на Овчинниковский выселок ушел.

— Значит, богатую себе в жены взял?

— Овчинникову и взял. Александру.

— Давно это было?

— Сказать — двадцать пятый год шел. Так и есть — девятьсот двадцать пятый.

— А вы, значит, женились раньше? И тоже из богатых взяли жену?

— Беднее в Крутых Луках не было.

— Как же вы на такое решились?.. А?

— Закурить можно ли будет?

— Нельзя.

— Извиняйте! Привычные мы очень к табаку за разговором.

— Теперь расскажите, как вы разрушили дом Александра Ударцева. Как и почему? Вспомните все подробно.

— Дом-то — он стоял к яру близко. Шагов каких тридцать, может, пятьдесят. Нет, пятьдесят навряд ли и было. Ну, мы прибегли с пожару-то, который Лександра устроил, и сбросили дом его под яр.

— Дальше.

— Дальше-то он сам пошел. Под кручу.

Тут следователь поднял глаза. Лицо узкое, как у Ольги Ударцевой, а глаза на нем вострые. Вот когда они встретились! Будто даже сверкнуло что-то... Ломиком замахивался старик Ударцев — так же вроде сверкало.

Следователь молчал.

И Степан молчал...

Глядели друг на друга... Как на него глядели, так и он глядел. Это уже всегда так бывало: с чем на тебя идут, ты тем же отвечаешь... Бывало, на Лисьих Ямках с голых кулаков начиналось. Первым он с батожка не начинал сроду, но если кто начал — отвечал тем же способом и не мешкая...

— Я предупреждал вас: говорите подробно!

— Я разве отказываюсь?

И еще помолчали.

— Хорошо... Кому пришла в голову мысль сбросить дом Ударцева с берега?

— Пожалуй что, ему же и пришла...

— Кому это — ему?

— Ударцеву. Лександре.

— Он что же — вам об этом говорил? Сам?

— Почто же мне? Всем говорил.

— Когда?

— Да тот же день и говорил. И раньше — не раз. Когда просил его избу на Митрохино бывшее место перенести. Чтобы изба сама собой под яр бы не свалилась.

— Но ведь это же как раз в обратном смысле говорилось?!

— Оно бы и получилось в обратном, как бы он после того зерно не спалил. А спалил, так избу-то с места тронули, но только уже в другую сторону.

— Так вы и понимаете все это дело?

— Не сказать, чтобы я. Все так и понимают.

— Хорошо... Когда после пожара все шли к дому Ударцева, кто шел впереди всех? Кто-нибудь шел впереди вас?

— Двое кто-то шли. Один — подлиньше, другой — покорооче.

— А вот другие показывают, что впереди шли вы. Как по-вашему, это что-нибудь значит?

— Конечно, значит. Значит, я со всеми вместе и шел. Только чуток впереди. Все меня видели, а уж тех, кто впереди бежал, тех, выходит, не видать было другим-то.

— Кто же были те двое?

— То ли Егорка Гилев с кем-то, то ли еще кто-то. Нет, сказать, и не знаю кто. Тёмно было. Они намного впереди были, те двое.

— И вы не посмотрели внимательно, кто же это был?

— Не посмотрел. Не знал, что меня об них спрашивать будут.

— Хорошо... Вы вошли в дом Ударцева. И там старик Ударцев замахнулся на вас ломом. Он имел намерение вас убить?

— Убить? Сроду бы не убил. Зачем я ему? Понужнул с избы — это правильно; было...

— Именно вас Ударцев покушался убить ломом...

— Почто же он меня облюбовал?

— Ну, прежде всего потому, что все выскочили вон, а вы остались в доме...

— А кто же это доказывает, будто он меня убить наладился?

— Все, кто был с вами.

— Так выскочили же все?!

Опять помолчали.

— По-вашему, что же, старик шутил?

— Нет, не шутил. Грозился он. Испугать хотел, чтобы с избы всех прогнать. Кто, может, и взаправду испугался, ему того и надо было. А я взаправду не принял. Как бы принял — тоже выскочил бы. Кому охота под смерть подставляться? Вы подставитесь?

Следователь постучал пальцами по столу, постучал карандашом и снова сказал свое «хорошо». Во всех его «хорошо» — точно можно было сказать — ничего хорошего не было, но тут ему вдруг будто что-то интересно стало, следователю, будто он и в самом деле не знал толком, подставится он под смерть добровольно или не подставится.

— Хорошо... Все выскочили из дома и стали толкать этот дом к берегу. Вы кричали при этом? Командовали? И люди вас слушались?

— Не было. Хотя крику-то, сказать, там было ото всех много.

— Все кричали, а вы что же — молчали?

— Ну какое там — не молчал вовсе. Сказать, так матерился я.

— Были очень возбуждены? Рассержены? Ругали старика Ударцева?

— Про старика-то я ту же секунду и забыл. На кошку матерился.

— На какую кошку?

— А кто ее знает, какая она была? Тёмно же было. Людей-то толком не видать, а кошка — она же почти что махонькая...

— Почему же вы на нее так? На кошку?

— Она царапаться со мной взялась.

— Откуда же она появилась? Вдруг?

— Именно что — вдруг. Должно, с вышки свалилась.

— И — прямо на вас?

— Прямо на меня и угадала.

— Так вы, может быть, и не толкали дом?

— Раз-то успел. А тут она на меня. Ну, я и обои руки кверху — срывать ее с себя.

— Поцарапала? Сильно?

— Овчину поцарапала, а до кожи не достала.

— На спину она вам прыгнула? С вышки?

Степан провел рукой по плечам своего дубленого полушубка, расстегнул на нем еще одну пуговицу...

— На голову она мне пала.

— Покажите шапку!

Степан поднялся — шапка лежала под ним на стуле. Протянул шапку следователю:

— Правое ухо где — там и глядите. Там она и царапалась.

Шапка мехом была наружу, а матерьялом подшивалась когда-то снугри. Годов ей было, припомнить, десять, около того. За эти годы и Полкашка ее трепал, и кошка в ней ночевала когда одна, а когда и с котятами, с выводком.

Следователь повел на шапку глазом, но в руки брать ее не стал. Спросил снова:

— Значит, старика с ломом вы не испугались, а с кошкой всерьез воевали?

— У старика пушай и вовсе старое, а понятие. Он бы что сотворил, поцарапал бы кого — вы бы сейчас статью под его подбили. А с кошки какой спрос? Опять — она вдруг. Ты об ей и подумать не успел, а у тебя уха нет. На живом-то они, кошки, очень злые делаются. Другой раз ребяташки балуются и закинут кошку на корову, а того хуже — на коня, на лошадь, сказать. Так ведь беды же не оберешься!

— Хорошо... Ну, а кто-нибудь видел, как вы кошку эту с себя сдирали?

— Не скажу. Может, кто и видел. Опять же тёмно было. Ну, а слышать-то, верно, все слышали — она дивно как взревела.

— Значит, вы и дом толкнули один только раз? А потом занимались кошкой?

— Правильно-то сказать, так она на мне занималась. Ну, а после, как она ускакала, я побежал еще раз дом пихнуть. Он уже над яром весился, дом-то.

— И толкнули второй раз?

— Не удалось. Успел кого-то в спину, а тот уже руками и до стены доставал.

— Кого же вы толкали? В спину?

— Со спины-то я не узнал — кого. Тёмно было. Суматошно.

— Припомните. Постарайтесь.

— Постараться-то — так Николая Ермакова, однако. Однако, его. По голосу поминаю — он заругался еще: дескать, я его тоже следом за избой под яр пушу. А может, и не его вовсе.

Вдруг следователь снова поднял от бумаги глаза и тут же провел по глазам рукой. Он это так сделал, будто глядеть ему больно стало, но еще что-то он все-таки увидеть обязательно хотел.

— Теперь послушайте меня, Чаузов,— сказал он. И гладко, вроде по писаному, но негромко вовсе говорить начал: — Почему вы ото всего отказываетесь? Воевали с кошкой — больше ничего? Но ведь, кроме этого, было что-то? Как было? Почему было? Я думал, что дело обстояло таким образом: старик Ударцев хотел вас убить, а вы после пожара, на котором тоже едва не лишились жизни, спасая колхозное зерно, не сдержали себя, почувствовали в старике своего классового врага и призвали разрушить его дом. Это нарушение, непорядок, потому что никто не дает вам права уничтожать собственность — государственную или частную, все равно. Но это в тех обстоятельствах и не тяжкое преступление, если принять во внимание, что разрушение дома было ответом на поджог, ответом на покушение на вашу жизнь со стороны классового противника. Так я думал. Но, судя по вашим ответам, вы спасаете Ударцева-отца от справедливого наказания. Вы не видите врага даже и в Александре Ударцеве. И еще скажите: это правда, что в вашем доме нашла пристанище Ольга Ударцева с детьми?

— Ночевала.

— И еще будет ночевать?

— Ее об этом не спросишь. А сама обещалась до теплой дороги жить. После к родственникам уехать.

— Объясните: почему именно в вашем доме жена Ударцева нашла убежище?

— Клавдия ее привела. Баба моя. Очень она жалостливая баба.

— Ну, а как вы сами на это смотрите? Это очень серьезный для вас вопрос: как сами смотрите?

— Смотрю-то как? А вот спросить надо: хотя бы и в вашу избу, в дом ваш, женщина зайдет с тремя детишками — вы ее на мороз обратно выгоните либо как?

— Спрашиваю — я. Отвечаете — вы. И только в том случае, если мой вопрос непонятен вам, вы имеете право еще раз меня переспросить.

— Вот он мне и непонятный, ваш вопрос. С тремя ребятишками бабу выгоните ночью либо нет? Зимой?

— А зачем вам, собственно, знать, как поступил бы я? Я бы прежде всего не стал разрушать дом Ударцева, но разве это что-нибудь меняет в вашем деле?

— Люди ведь мы. Интересно, как человек на твоём бы месте сделал. Ученый. Который за тебя думает...

Опять они встретились глазами, и следователь спросил:

— Может быть, вы приютили Ольгу Ударцеву в благодарность за то, что она спасла вас? Ведь это она выбила ломик из рук старика?

— Да уж какие там бабы спасительницы, когда мужики дерутся?

Снова молчал следователь. После сказал:

— Вот что, Чаузов, сейчас я буду беседовать с другими людьми, а вы обождите. Подумайте: по-прежнему вы станете выгораживать старика Ударцева или нет. Подумайте.

Следователь встал, и Степан тоже встал и пошел было к выходу, но вдруг следователь остановил его:

— Нет, не сюда... Некоторое время вы пробудете вот тут! — И, поднявшись из-за стола, распахнул узенькую дверцу за печкой.

Эта дверца вела со второго этажа фофановского дома на первый и давно уже была заколочена — с тех пор, как Фофанов отдал верхнюю половину дома под колхозную контору. Но для этого случая ее открыли. И Степан ступил в маленькую горницу.

Дверь закрылась за ним. Лестница на первый этаж была завалена разным фофановским добром: койка деревянная, тазы какие-то старые, кадушки, сундук — и Степан опустился на пол, сигарку стал завертывать. Страсть хотелось курить!

Было как после драки: сначала подерешься, после вспоминаешь — что-почему произошло, кого ты побил, кто тебя достать сумел...

Теперь он о следователе вспоминал, о нем думал. Какой человек? Какой жизни? Что ему от Степана надобно? В какой угол следователь этот загнать его хочет? Чем пришибить?

Подумалось почему-то — живет следователь в каменном доме, высоко, под самой железной крышей... И как об этом подумал, так сразу же на следователя обозлился...

Ты скажи, какой нашелся судья! Нашелся кто — об мужике думать, мужика учить! Нет, ты в избушке об мужичьей жизни подумай, не в избе, а в избушке — на пашне, которая из земли мало-мало торчит, в которой крестьянин от снега до снега и весну всю, и лето, и осень живет, на топчане жердяном, а то и просто на соломе блохам на радость ночует! Поешь хлебушка в ней, когда земля-то у тебя и в глазах, и в ушах, и на зубах с тем куском перемальвается! За конями походи день и ночь, чтобы робить на конях и еще их же силу беречь, а об своей — чтобы недосуг было и подумать. Вот тогда и погляди, как ее, мужичью жизнь, ладить, кто в ней правый, а кто виноватый!

Это один как бы такой был учитель. А то проходит время — другой

такой же к мужику является, другой его учит, какая у тебя баба — и о том допрашивает. И третий так же. И пятый. И десятый. Сколько их за жизнь-то перевидишь, учителей этих, переслушаешь?!

Ну, ладно, приходят... Говорят. Уговаривают. Стращают: «Вот какой ты, мужик, неправильный, а правильный — вот такой должен быть!» Ладно, сказали свое. Сказали — и уйдите бога ради с глаз, уйдите, дайте срок!

Мужик все от вас услышал, все запомнил. Есть у мужиков Ягодка Фофан, и Нечай Хромой есть, и Печура Павел — чудной, говорливый, на ребятенка смахивает, но он же и партийный, в правду верит, он в Москве Ленина видел, хотя бы издаля, но живого!

Еще сказать, есть у мужиков Чаузов Степан, помоложе других, в разговор входит мало, но и соврать кому не даст. Егорка Гилев будет путаться, мельтешиться, так на его раз цыкнуть, а то и пинка ему... После того дайте мужикам подумать. Дайте им самосаду накуриться, не тревожьте их, не мешайте — они тоже для чего-то жизнь живут, головы на себе таскают! Они в колхоз вошли — они и уладят в колхозе как-никак дело. Они Ударцева дом под яр сбросили, так дай ты им подумать, они и надумают: другой такой же с печкой, и с лежанкой, и с подполом за три дня миром сладят. И все тут. Но следователю уже на дом наплевать, не нужен ему дом, ему куда важнее — кого бы засудить? И вот с шумом, да с гамом, да с угрозой запросто можно мимо настоящей правды проскакать, в сторону от нее метнуться... Покажи ты ее, правду, коли учен, но после дай ее запомнить, к ней прислушаться... Правда, она же, поди, не стеежко либо батожок, чтобы ею один на другого замахивался, в морду ее любому и каждому совал?! Мало того, пришибить вовсе зря можно какого человека до смерти, мало того — стежок-то крепкий, однако и он ломается! Почто ты во мне, в мужике, вражину ищешь, а коли не нашел, то на меня же и в обиде?

Но учителя эти из городских каменных домов, железом крытых, — один наперед другого стараются выскочить. Один был — у Пётры Локоткова останавливался, тот со своей ложкой приезжал, вроде кержак какой, мужицкой посудой брезговал, а доклад об том, как мужику жить, тоже говорил и кулаком по столу на которых единоличников тоже стучал!..

Вот и сейчас скажи ему, следователю: было вот так — пожар первым полез тушить, и дом ударцевский первым полез рушить, и Ударцев старик вправду убил бы его ломиком, как бы не Ольга, — попробуй скажи?! Он ту же минуту к этому былью небыль пришьет, что после вовсе будет не понять, что к чему, и еще всю эту небыль на тебя же запишет — будто ты, а не он ее выдумал. Нет уж, не было ничего, и все тут... К ничему ничего и не припишешь!

Пушай поморгает глазами-то своими под стеклышками, к мужику подход поищет! Тоже ведь — русский человек, хотя и ростом не вышел, а русский; дед ли, прадед ли его от земли был, сохой ворочал. После выучился кто-то в роду, городским стал, городских ребятишек народил, а у этого уже весь белый свет ни в руках, ни в ногах — в голове одной заложен, головой он за все на свете держится, выдумывать — работа его.

Что за человек?

Может, он Егорка Гилев, только городской? Мужицкого Егорку за версту учуять можно, а городского? Ученого? Какой-никакой мужик, а две или три десятины сеет и уже не зря землю топчет — себя кормит, свою семью и еще кого-то чужого. А этот?

Сидел Степан на полу в клетушке фофановской, сигарку за сигаркой крутил, курил, что уже и света через окошко в клетушке этой не видеть стало...

Где они, те люди, в которых всего в самый раз поровну? На какой земле рóдятся? Какой едят хлеб?

Снова вызвал к себе следователь: «Пройдите!» Снова на том же стуле и на шапке сидит Степан Чаузов, а за столом — человек махонький, личико сухощавое, френчик на локотках штопаный.

Сидят они двое, и почто бы в самом деле не сказать им друг другу все, что в мыслях имеют? Что взаперти, в клетушке, в табачном дыму только вот сейчас Степан Чаузов удумал? Что человек во френчике штопаном в эту минуту думает?..

— Где, по-вашему, может быть сейчас Ударцев Александр? — спросил следователь.

Степан поглядел, подумал, ответил:

— Не сказывался он мне...

— Так... А вы как думаете: чем он сейчас занимается, Ударцев? Снова поджигает? Грабит? Убивает?

— И об этом обратно не сказывал...

— Я и не думаю, чтобы он кому-нибудь об этом говорил. Я спрашиваю: как вы предполагаете?

— Ну, кто его знает... Вернее всего, лакеем каким поступит либо золотарем.

— Почему вы так думаете?

— Совесть нечистая — что ему остается? Угодать всем и каждому.

— Лакеев теперь нет. Нет этой должности в нашем государстве.

— Такой — найдет. Все подряд обнюхает, а найдет. На бабью работу найдется — полы мыть, с чужих исподнее обстирывать.

— А все-таки — считаете вы его врагом Советского государства?

— Такому одну поднести пошибче — и нету его... — Показал кулак. — Хотя бы вот и такую одну.

Следователь усмехнулся, отодвинул на край стола бумагу и карандаш, сказал вдруг по-другому как-то, ласковее:

— Вот видите, Чаузов, я не записываю больше ничего. Просто хочу с вами поговорить. Ближе познакомиться... Вы газеты читаете?

— Читаем.

— В избу-читальню ходите?

— Изба-то от нас — на другой край деревни. К тому же избач обратное уполномоченным служит, редко когда на месте, все больше на службе.

— Где же вы читаете?

— В избе и читаем. Только — в своей.

— Значит, подписчик газеты? Круглый год?

— Круглый-то год в крестьянстве не получается. Пашня да покос — за газетку нет расчета платить. А зимой платим, почта приносит.

— Это интересно...

— Когда бывает — действительно интерес. А когда, сказать, и не очень вовсе. Тут в одной газетке я шешнадцать разов про вредителей читал. Какой же это интерес, что и честных людей вроде не остается?

Следователь ничего на это не сказал. Подождал и спросил:

— А неинтересную газетку вы что же — на сигарки или показать соседу?

— На сигарки. А вот на двор с ей пойти — этого нету. Не заведено.

— Почему же не заведено?

— Работа чья-то. Писано-печатано. Да и в бумагу белую тоже, подика, поту немало пролито.

— Хорошо... Ну, а как вы, Чаузов, живете? Как, например, питаетесь? Сытно ли?

— По сю пору питался каждый день.

— А чем? Скажем, мясо вам хозяйка каждый день варит?

— Сырое — ни единого дня не ели...

— Так... так-так... Еще один вопрос. Если не захотите — не отвечайте. Вам советская власть нравится?

— Как сказать-то... Власть-то — она не девка, чтобы нравиться. Но и так понять — и без ее нельзя. А нынешняя — она против других выходит вроде получше. Который бедный — помогает тому. Жирному далее жиреть не дает. Ребятишек учит. Получше бы еще — тоже не плохо бы вышло, но и так бы жили... покуда.

— Покуда... А дальше — как?

— Коли с умом будет делать, мужика через колено не станет ломать — и дальше жизнь пойдет.

— Как вы считаете: кулаков правильно выслали из Крутых Лук? Село у вас зажиточное. Старожильческое. Кулаков немало...

— Которых вовсе правильно. У кого коней, сказать, десять — тому колхоз один убыток. И он сроду убытку того не простил бы, тут уж так — либо он, либо колхоз. Она их еще в девятнадцатом годе страшала, кулаков, советская власть. Вышло — не зря.

— А вы помните девятнадцатый год?

— Не забыл...

— Что же вы делали в девятнадцатом году?

— Разобраться — так воевал.

— Вы же в гражданскую в армии не служили?

— А я без армии воевал.

— Партизан?

— Может, и так.

— Я знаю всех партизан в районе. Вы в списках не числитесь.

— Ну, кабы только те и воевали, которые числятся, так ее сроду бы и не было — советской власти.

— Предположим. А в чем же отряде вы были?

— А с Христоней Федоренковым мы воевали. На пару.

— Вдвоем?!

— Больше вдвоем. А который раз и единолично.

— Объясните. Как же было дело? С самого начала?

— Началось-то с пальца с Христинино. Он не захотел Колчаку служить, на призыв к нему идти, ну и отрубил себе палец на левой. После ходил все в Шадрину на пункт призывной и за других мужиков назывался. Писарю едва ли не каждый раз четверть самогону таскал. У их там порядку мало, ему и удавалось — многих освободил... Мне девятнадцать как раз годов стало, он и меня освободил, несмотря что ему в ту пору сорок было верных. После его застукали, посадили, под расстрел приговорили. Они-то его приговорили, а он-то убежал, да еще и пулемет с припасом из Шадриной угнал. На ихней, на колчаковской, телеге и угнал. Правду сказать, партизаны очень пулемет у его просили, однако он не послушался, за свой палец сам хотел головы колчакам посшибать. Ну, взял и меня и тоже к этому делу приставил. Мы с им ямку в бору выкопаем, чтобы и травинки не нарушить, после как по линии состав с колчаками идет, мы — огонь. С паровозу и, бывало, до самого хвоста. Либо обратно рассудим — ежели где на повороте с хвоста начать, то на паровозе машинист далеко не сразу смекнет, в чем паника. Покуда состав остановится да колчаки врассыпную бор прочесывать зачнут — мы пулемет в той ямке схороним, сами на колчаковскую телегу... А который раз они и не останавливают поезд свой, шибче шуруют, о нашем нападении передают. Ну куда нас угадать?! Он беспальный, я под хромого выдавался, кому-то мы такие нужные?.. Через неделю-какую пулемет из ямки выкрадем и уже с другого места сызнава начинаем. Мы с им, с Христоней Федоренковым, да-алеко по бору пода-

вались, после припас к пулемету вышел, мы его партизанам отдали... Так вот было...

— Интересно было...— кивнул следователь.— Ну, а почему же все-таки вы воевали с Колчаком? Из-за чего?

— Как из-за чего? Он же удумал, чтобы я ему служил. А я и вовсе этого не хотел. Вот мы с им и стакнулись! Опять же он как удумал, Колчак: отымать у мужиков. Скотину. Коней. Хлеб — и тот отымать. Мужики — сопротивляться. А он их — шомполами. Мало того мужиков — баб шомполами. Вот куды зашло. Ну и обратно стакнулись с им.

— Стакнуться — это значит сговориться... Так в русском языке...

— Как сказать... Я вот скажу, будто мы с вами седни стакнулись, а вы уже сами понимаете...

И вдруг следователь усмехнулся. Недолго, но усмехнулся, ладонью по столу ударил, а после обеими руками за стекла свои ухватился.

Степан усмехнулся тоже. Хотел себя остановить: «Держись, Степа, остро, себе верь, больше никому!» — но не остановился и засмеялся.

Оказалось вдруг — это могли разговаривать. Даже интересно было вспомнить и вспомнутое объяснить. В Крутых Луках сроду так не приходилось: там и без твоего рассказа каждый все об тебе знал, и ты все — об каждом. Не пристаёт к нему больше человек, не выведывает, не учит и не страшает. Просто сказать — слушает.

— А советской власти ведь служили? Она тоже в армию призывала...— не спросил даже, сам вроде бы себе сказал следователь.

Можно было и не отвечать на эти его слова, но Степан ответил:

— Видать же было — власть сурьезная. Своим народом обходится, без японцев, без всех прочих белых. Не на день власть — жизнь с ей ладить. Ее еще при Ленине, сказать, при живом, сколько разов в Крутых Луках судили, а она с подсудимой скамейки чистая выходила...

— Это как же — судили? Судили власть?

— Ее... Мужик у партейных вопросы задаем — почто спичек-серянок нету и одежи, мази колесной и про посла советского в Турции — кто об чем. Прокурора приставим, и опять же — защита всякий раз назначена. Бывало, кто зайдет от крика: лампу негде взять, карасина, стекла лампового на десять линий... А зачем голосовать — и оправдаем власть. Не на стеклянные же десять линий ее судить и мерить?! Она же — за справедливость и мужика понять обещалась...

— Я думаю: не только мужика. И рабочего тоже понять...

— Вроде так. Однако у рабочего руки, а у мужика — руки и хлебушко. И еще сказать: рабочего на мужика никак не перековать, а с мужика завсегда рабочий класс делался.

— Ну, положим. А что же советская власть должна прежде всего о мужике понять?

— Понять-то что? Выше сознательности с его не спрашивать. Сколь мужик утолковали, сколь он сам понял — столь с его и возьми. А выше моего же пупа прыгать меня не заставляй — я и вовсе не в ту сторону упрыгну.

И опять было ладно, опять было хорошо. Удивительно, как разговор повернулся. А не разговор же это был — был допрос. Не надо бы об этом забывать...

И только Степан об этом подумал, следователь спросил его:

— Так как же, Степан Яковлевич, дело-то было с Ударцевым? Я ведь по-разному это могу истолковать. Или вы отомстили Ударцеву как своему классовому врагу, или, наоборот, простили ему поджог, а Ударцеву-отцу простили покушение на убийство, приютили у себя Ольгу?

Все снова враз на допрос обернулось. Снова за столом напротив не просто человек — следовательно возник. Ю-рист. Служащий. Человек этот из городского каменного дома под железной крышей обратно по своему заговорил.

Скажи ему, что Ударцевы и сын и старик — враги, он сейчас спросит: зачем Ольга в доме у него? И забьет, забьет вопросами и застит все дело бог весть какими придумками!

— Коли по-всякому можно толковать, то и вовсе толковать не к чему...

— А все-таки — как же было?

— Так что и не было ничего. Дом спихнули, но и то сказать — мы, мужики, гуртом того натворим, что одному после сроду не рассказать.

— Не рассказать?

— Даже ни в коем случае...

Следователь на край стола руку протянул, бумаги подвинул:

— Подпишите протокол, Чаузов.

— А прочитайте сперва, как написано?

Написано было вроде бы все ладно — лишнего ничего и про кошку записано. И вообще пустяк какой-то: кто-то на кого-то ломиком замахнулся, кто-то кого-то толкнул, а тот уже дом пихнул под яр.

Подписался.

— Писать-то мы не шибко часто пишем. Редко когда... — Про себя подумал: «Однако ладно получилось: ничего не было...»

И на улице, у крыльца, когда мужики Степана окружили, стиснули так, что и не продохнуться, стали спрашивать: как? что? — он им тоже ответил:

— Отбился я вроде бы, мужики. Нонче отбился!

Глава шестая

Удивительные были у Степана кони... Он и на колхозный баз не ходил, не глядел на них, какими они там без хозяина стали. Чтобы душу им и себе не терзать.

Но ведь мимо своего-то двора не пройдешь?! Свой-то двор и колхозником не минуешь!

И вот каждый раз, в избу ли, с избы ли, а они тебе двое мнутся, два меринка, немолодые уже, разномастные, — Серко и Рыжка. Будто на старом своем месте все еще в ограде стоят, сено жуют.

Они росту были разного, а вот поди ты — ходили в одной упряжке, будто вместе в ней и родились!

Нрава тоже были совсем разного: Серый — нетревожный был конь, на нем верно что молоко возить и не расплескаешь, и к работе очень пристрастный, в хомут мордой так и суется, но ума, сказать, в нем не очень-то было.

Рыжий, тот рыжий и был, верно что хитрюга, росту маленького, только у него и забот, что свернуть куда-нибудь с дороги.

Но это они каждый сам по себе, а вместе — как одна душа об восьми ногах, вместе они друг перед дружкой старались в любом деле.

И ежели один дома был, а другой с пашни возвращался — ржать начинали друг дружке едва ли не от поскотины, а когда два или три дня до того не виделись, так лизались после и нюхались до той поры, пока оба на брюхо не лягут и мордой в морду не ткнутся.

Людам бы так жить между собой... А то иной раз на коней глядишь, а злость на людей берет: конская душа против человеческой лучше выхо-

дит. Может, и тебе надо было конем родиться да к хорошему хозяину угадать — вот тебе и жизнь?

К такому хозяину, как тот крутолучинский мужик Чаузов Степан. И очень просто. Этот коня сроду не обидит, напоит-накормит вовремя и ночью проведает, а стегнет когда кнутом под брюхо — так за дело. Зря — никогда. У такого любой скотине живется легко, он скотину скрозь видит и понимает. Самого себя не понимает. Который раз и во все на себя незряче глядит. Но и тут другой мужик на зло сорвется и на скотине свою незадачу выместит, а с Чаузовым со Степаном этого не бывало.

Ей-богу, стыдно даже было перед конями хотя бы потому, что, на них на двоих глядя, он всегда о третьем мечтал, недоволен был — почему третьего нет коня? Третью он кобылу завести мечтал, прикидывал, с кем бы она ходила в паре — с Рыжим либо с Серко?

Трехконный — это уже был в Крутых Луках мужик стоящий, не как все. С тремя-то конями уже и на займки уходили, и по тракту извозом промышляли, уже жизнь начиналась с трех коней другая.

Сказать по правде, до трех коней он еще не дорос хозяйством, и денег у него не было таких на добрую кобылу — молодую, рабочую и на выезд годную, но он сам себе не очень-то любил признаваться, что тонкая у него кишка.

Он сам себе по-другому объяснял: с тремя конями, чтобы толком управиться, двух мужиков нужно. Ждать нужно, когда парнишки подрастут, и чтобы старший в школу бы не бегал, не терял бы время.

А сейчас, пока ребята малые, купить коня — это значит Клашку на другой же год в старухи загнать. Это так и есть — ей бы уже дома с ребятишками не сидеть, а на пашне в избушке жить, мужицкую работу работать вроде вдовы какой.

И Клашка об этом знала и помалкивала, когда он, бывало, о кобыле речь заводил, а он Клашку кобылой этой который раз и припугивал: «Вот куплю, а тогда шкура-то у тебя на мослах тот же год натянется!» Он вроде шутил, а про себя знал: были бы деньги — и купил бы кобылу, и пропала бы с Клашки ее гладь, а мослы, верно что, торчали бы из нее со всех сторон. Уж это как пить дать.

Удивительные у Степана были кони... Их уже нет, месяц, как свел в колхоз, а зайдешь в конюшню — жизнь к тебе правдишная тут же притронется, зараз напомнит, что мужиком ты родился и, что бы там ни случилось, мужиком тебе и помереть, никем больше.

А делать-то в конюшне вовсе нечего — разве что давить ногой остатний мерзлый конский катыш.

Вот и нынче стоял так-то, стоял, после подумал: куда бы пойти? К Фофану бы пойти сказать, чтобы Фофан его за сеном нарядил, может, как раз угадал бы на своих конях за сеном съездить?

А получилось по-другому: к Фофану не пошел и за сеном не поехал, а у себя же на ограде зашел в мастерскую.

Сказать, какая это мастерская — амбарушка перегородженная. В одной половине сбруя когда-то висела, которая и сейчас еще там весилась, кадушки стояли из-под капусты выпростанные, тесины сухие лежали, выдержанные на случай, чтобы всегда были под рукой. А другая половина амбарушки и называлась у него мастерской, и ключи от нее хранился отдельно от других ключей, чаще всего — при себе.

Там верстачишка был небольшой, с тисами, мех кузнечный, горн и наковальня, молотки были, точило доброе, еще отцовское, с Австро-Венгрии отцом после войны принесенное, ну а по стенке развешан инструмент столярный, шорный и для жестяной работы.

Еще на стенах мастерской этой нарисованы были углем значки разные и цифры выведены. Это запись всяким размерам велась. Чего тут не было только отмечено и отмеряно: доньшки к ведрам, и подошвы к сапогам, и каблуки были нарисованы от Клашкиных шнуровых ботинок, и табуретки, и стулья, и полозья санные, и колеса самые разные.

Все эти предметы когда-то побывали здесь и отсюда ушли, а знаки об себе на стенах оставили.

Откуда она пошла, мастерская, с чего взялась — сразу и не скажешь. Бывало, приезжали в Крутые Луки мастеравые — портной либо шорник по выездной сбруе, жестянщик или коновал, — Степан сейчас к тому хозяину идет, у которого мастеровой на работу подрядился.

Приходит, на корточках садится. Цигарку за цигаркой скручивает, но и когда крутит — на свои руки глаз не опустит, а все на руки мастера глядит, оторваться боится. Все кажется, как раз в тот миг, как глазами-то своими в сторону поведешь, тот и сделает свой секрет, фокус какой-то. Не заметишь его, проморгаешь, после сколько голову ни ломай — не отгадаешь, как сделано было.

У Клашки щи простынут, она их в печь, и обратно на шесток, и снова в печь, после Васятку за отцом пошлет, но толку от этого мало: они и вдвоем так же сидеть будут. На этот счет Васятка был отцом приученный.

Бабы над Клашкой который раз посмеивались: «Не приворожила, видать, мужика-то к дому!» Клашка злится. Однако и у нее есть чем пригрозить: «Подожди вот — придешь дырку на ведре залатать!» И верно, прохудилась жестяная посудина либо баба зазевалась, когда белье полоскала на Иртыше, и валец у нее водой унесло — куда деваться? К Чаузовой Клавдии и бежит, а та уже Степану шепчет: «Сделай, Степа, одолжение человеку...»

И надо сделать. Чтобы Клашка поменьше ругалась, когда он инструмент какой новый купит. Этот инструмент — стамески, рубанки и еще сколько разных предметов — каждый имел свою историю, о каждом вспомнить можно было — когда, у кого и где куплен был, лишнее за него было плачено или дешевле цены, долго ли он его покупать собирался, приценивался либо с ходу взял, потому что глаза вдруг разгорелись. Что Клашка после покупки такой делала — ругалась или только чугунами сердито стучала, — тоже можно было вспомнить. Клашка все ж таки ругалась, обзывала его ребенком, что и без игрушек обойтись не может, даром что сам двоих ребятишек народил... Который раз глаза обещалась выцарапать, но тут надо было помолчать. Какая она хозяйка, ежели ей все равно, куда мужик деньги подевал? За это не тронь. Не то она как раз пойдет и другим бабам о несправедливости, об обиде своей скажет. А это не дело. Это уже какая семья, какой мужик, у которого баба на сторону бегаёт жаловаться? Хотя Клашка и не болтливая, но испытывать ее тоже ни к чему...

Вот так он и приживался, инструмент, к дому.

После к инструменту этому Степан свои рукоятки прилаживал. Фабричных и вообще чужих рукояток никак не терпел — неловкие они все были, не с руки ему. Со своей рукоятью инструмент делался вроде продолжением его пальцев, а глаза вострее как-то на работу глядели. Ломалось что в поле — валец либо постромка рвалась, а он их наскоро прилаживал и привязывал просто так, без инструмента — он тогда вроде полузрячим становился либо калекой каким и ждал, не мог дожидаться, когда в мастерскую свою зайдет, когда возьмет в руки инструмент и сделает, как положено.

Бывали у него на инструмент и обиды. Редко, но бывали. Это когда он о кобыле мечтал, о третьем коне.

Не купленные, так и оставшиеся в магазине сверла и наборы стамесок делались ему тогда вовсе добрыми и справедливыми, а вот свои, за которые деньги плачены,— эти лукавством оборачивались: как бы не они, может, и в самом деле копил на кобылу? Уже половина могла бы быть скоплена, а вдруг и больше того? Но тут один уже был исход: бери инструмент и начинай что-то ладить, а тогда и обида — прочь. Еще в таком случае хорошо было послушать, как на улице Клашка с бабами разговаривает: «Что это у тебя, соседка, каблук-то скособочился? Заставь ты своего мужика либо новый сладить, либо энтот починить. Или он у тебя безрукий, мужик-то?»

Что и как делается, каким инструментом — в это Клашка не вникала, но если сделано было хорошо, так она видела, что хорошо, гладила новую вещь, которую Степан изладил, ровно ребенка, и будто ненароком каждому, кто в избу входил, ее показывала.

Нынче Степан уже сколько времени инструмента не касался. Приходил в мастерскую, глядел на него, сказать — так и любовался им, в руках держал, а работать не работал. Все думал: в суматохе в нынешней начнешь какое дело, да так его и не кончишь. Ну, а ежели ты конца дела не видишь, не болеешь, чтобы и хорошо и быстро сделать, то и начинать стоит ли?

Вот успокоится жизнь — тогда. Новая начнется. Колхозная так колхозная, лишь бы успокоилась, а тогда он сразу подойник кончит. Начал уже, заготовку из оцинкованной, очень хорошей жести сделал, но получилось неладно как-то — донышко совсем кривое, на один бок его повело. Он донышко это тот раз бросил и заготовку всю и пошел в колхоз записываться.

С тех пор, сколько сюда заходил, донышко на полу лежало под верстаком, он его не поднимал.

А тут — поднял.

Край-то в одном месте был обрезан неровно. В этом месте он себя не узнал — вроде не его работа была.

Заложил ножницы одним кольцом в тиски. Другое кольцо в правую руку взял, а в левую — новый жести кусок с донышком нарисованным... Ну — не промазать бы! И не промазал!

После в печурку дровишек подбросил, уместился так уютно на чурбаке, стал края у донышка отгибать.

А это еще надо поглядеть, чего ради он в мастерскую свою закрылся — хорошую вещь сладить, а может, который раз и хороший придумок...

Предметы, которые он изладил в мастерской, на стенах свои значки оставили, а вот какие складывались здесь придумки — те значками не обозначены... Жаль...

Ежели бы на каждой вещи было видать, что человек думал, когда ее ладил, — и вся жизнь человечья по-другому была бы делана. Тут бы предметы тоже поделились на добрые и на злые, и злые никто бы не брал ни на базаре, ни в магазине, разве что в полцены. А, к примеру, Егоркино зерно — ни одна собака бы исть не стала. Волей-неволей перестали бы люди пакостить.

Тут разное приходило ему в голову, в мастерской, а который раз кто из мужиков зайдет, на пороге потолкается, подымит и уйдет, придумки же свои тоже здесь оставит.

Последнее время с Митей-уполномоченным подолгу они тут сидели. Парнишка еще, но, может, поэтому с ним легко и говорилось, что парнишка. У взрослого за словами-то вдруг, да и корысть, а у этого что может быть? Если даже и неверно скажет — все равно не для себя это у него. Сказать, так и дружба даже была между ними.

И пошла она вовсе с чудного случая, дружба эта.

Жил Митя уже недели две у Чаузовых, на сундуке в кухне ночевал, баульчик свой фанерный держал за печкой, а сядет за стол щи хлебать — на Клашку не глядит, глаза воротит.

Ну, ладно, это бы его дело, а тут Клашка один раз стиралась, за стол сесть опоздала. И только села — Митя глаза свои сразу в пол. И не поднимает. До того сидели они, об хозяйстве вели разговор, поскольку Митя в техникуме на агронома учится, а тут срезало его — замолк.

А Клашка на Митю глядела-глядела, после ложку свою бросила и розовыми от стирки пальцами вцепилась в кудрявые Митины волосы. Сердито так сказала ему:

— Ты куда глядишь, уполномоченный? И что ты увидишь, где тёмно-то? Для чего тебе глаза дадены, спрашиваю, чтобы на свет их выстав-лять либо по тёмному ими шариться?

Митя вовсе краской занялся, вроде Клашкиных розовых рук стал:

— На кого же мне смотреть прикажете, Клавдия Петровна? На вас, что ли?

— А хотя бы и на меня! — ответила ему Клашка. — Темная я, что ли? Или уже до того раскосая, что и глядеть на меня тошно?

Вот она, Клашка, какое сказала Мите, и тут он совершенно уже смешался.

Мало того что смешался Митя — что-то тот раз и Степан подумал: «Рассмотреться, так Митя и в самом деле парнишечка — куда с добром. Чистенький. Разговор городской. Приятный очень. Грамотный. Мужички-ким потом от его не пахнет...» И припомнил даже, что Клашка-то не в первый раз уполномоченного вот так по волосенкам кудрявым треплет, и еще стал вспоминать, какие прежде того слова были Клашкой ему сказаны...

Ладно, что не высказал тогда Клашке какого слова, что не догадалась она, об чем он задумался. Ладно, что не сказал — все про себя да про себя. Прошло еще сколько дней, ложились они спать, и вдруг Клашка спросила:

— Степа, ты не замечаешь ли: Васятка-то наш с тобой на уполномоченного на Митю очень похожий? Только что не кудрявый?!

— Выдумываешь ты все, Клавдия. Откуда что берешь?!

— Ты не перечь. Матери виднее, как тебе: не с лица, говорю, похожий, а с души. Ласковый вроде, а когда и вовсе упрямый так же. И сидит-сидит, после задумается вдруг. Одинаково у их получается... Нет, ты мне не скажи, очень похожие они...

— Ну, а хотя бы? Что из того?

— Тебе-то, может, и ничто. А я с Мити глаз не спускаю — Васятку хочу угадать, какой Васятка будет... И Васятка-то к нему тянется, все на его глядит. Так пускай и он хорошее видит. На дурное-то успеет еще наглядеться.

Вот у нее, у Клашки, какая, оказывается, была забота!

И ты скажи, как раз с того дня у Степана с Митей и дружба завязалась. У них и прежде всегда уважительный шел разговор, серьезный, а после того Митя в мастерскую стал захаживать, и сидели они там немало времени. И Митя Степана слушал терпеливо, и Степан — Митю.

У Степана слова были всякий раз одни, могли бы и надоест, оскоми-ну уже набить...

— Мужик сеет-пашет, — Степан говорил ему. — Скотину водит. Ребя-тишек родит. Но по тебе, Митя, это все не так. Не та у мужика жизнь — темная, земляная. И хочешь ты мужика нарушить. Раз и навсегда нарушить хочешь его. А — не рано ли? Откудова ты знаешь, что пора для того настала? Поломать — завсегда просто, а что заместо того выду-

маешь? Какую правильную жизнь? Чтобы человек и сытым был, и знал бы, зачем живет? Точно это тебе известно? Что мужика надо нарушить, а колхоз сладить? Дело тут без обмана? Без ошибки? Потому что, поймей в виду, мужик — он земле хозяин. Она ведь как сделала, советская власть, не только что в Сибири — во всем государстве землю оставила за мужиком... Ей все одно, земле, какие тут слова, Митя, мы с тобой говорим... Ей дай хозяина, чтобы он ее пахал и миловал... Вот она, лежит сию минуту под снегом, вроде мертвая. Скоро таять зачнет. Отчего это? Ты скажешь: от солнца... А я скажу еще и другое: от дум от мужицких...

— Вы детям своим желаете ли такой же жизни, как у вас? — спрашивал Митя.

Нет, не хотел этого Степан. Детям он хотел жизни лучшей. Тем более Митя говорил, какая она должна быть: справедливая вся, все будут грамотные, и машины будут за мужика тяжелую работу делать... Но машинами единолично владеть нельзя — кто завладеет, тот сразу кулаком станет, а другие — у него батраками. Выходит одно — коллективно владеть машиной, то есть создать колхоз.

Сказать надо, метко ударял Митя-уполномоченный, хотя и мальчик. После еще говорил о комбайне: машина жать, и молотить, и веять будет. Комбайна Митя не видел сроду, и никто его не видел. Но как завод строят в Новосибирске, чтобы комбайны делать, это он видел своими глазами. Еще сказать, что и в газетке об том заводе не раз напечатано было — можно поверить.

Время такое пошло — машинам вольная жизнь наступала. И опять же — за счет мужика.

Крутые Луки еще держались, из Крутых Лук, может, с десятков мужиков, не больше, в город подалось заводы строить, в леспромхозы — лес валить. А вот Лебяжья деревня, да и Шадрина тоже — те за год-два едва ли не ополовинились, землю там побросали мужики.

И вот как выходило: и оправдания тем суматошным мужикам Степан не находил, и комбайн этот очень его интересовал, вовсе близко к сердцу мечта западала — поработать бы на таком!

Когда Митя-уполномоченный о комбайне начинал говорить, Степан умолкал враз — боялся слово пропустить, не понять что-нибудь...

Клашка сказывала: видела нынче Митю в деревне. Приехал. Приехал, но в дом к Чаузовым не заходит что-то. Или стесняется, народу нынче много в доме стало, мешать он будет? Так зашел бы за баульчиком за своим, баульчик лежит за печкой, хозяина ждет... В мастерскую зашел бы...

А вот носок у подоюника отогнуть — это самое, надо сказать, тонкое дело, тонкая работа... После еще ободок по нему изладить, вовсе ровный, чтобы от фабричной работы отличить было невозможно, а тогда ты, значит, мастер.

Еще не все было сделано, но уже чудилось: упрекать себя не придется, все как надо, так и получится.

Щепки в печке железной потрескивали, тепло стало в мастерской до того, что и без полушубка пот со лба на железо закапал. Железо было доброе, цинкованное, чисто серебро искрилось. Пот, капелька, упадет на него и этак даже звякнет — дз-зинь! — тоненько.

Вдруг дверь открылась — Печура Павел.

— Откудова взялся? — спросил Степан. — Мы уже и забыли, какой у нас председатель колхозу!

— Ну вот, ко времени, значит, пришел — об себе напомнить. Погляди, какой он есть, твой начальник!

А глядеть-то и не на что вовсе: он всегда-то был таловый мужичонка, Печура, — длинный, тощий, а нынче еще обшерстился по самые уши, вроде худобу свою хотел прикрыть, но ее не прикроешь — с одного места нос торчит хрящом, с другого — скулы выпирают, и зубья торчат тоже, редкие, клыкастые, как начнет говорить — они наружу суются. Руки — едва ли не по колено и туда-сюда болтаются. Но и то сказать, нелегкая это работа нынче — председателем ходить. Хотя и до кого доведись, тоже мослы торчать станут скоро.

Пришел Печура узнать про все. Как амбар тушили, как избу Ударцева рушили, как следователь Степана допрашивал.

Пришел узнать все это ни от кого-нибудь — от баб либо от Егорки Гилева и даже от Фофана Ягодки он уже обо всем этом знает, — а еще хочет узнать от Чаузова Степана. Не то чтобы они дружки, вовсе нет, но разговор между ними всегда бывал серьезный, хороший. И сейчас на такой разговор надеялся Павел.

Только нынче Степану все дела эти до печенок дошли, страсть осточертели, и говорить о них он не будет ни слова...

Павел туда-сюда, все в одну сторону метил, расспрашивал, а Степан помалкивал. После сам у Печуры спросил:

— Ну, как ты там, в городе? Доклады все постигаешь либо уже сам научился перед народом выставляться?

— Во-во-во! — вроде обрадовался Печура. — Сказать, так я передовой самый председатель считаюсь!

— Как же достиг-то?

— А просто. Что нам говорят в районе — я то же самое, только громче, повторяю. Довольные остаются. Говорят: сознательный председатель, все, как надо, понимает.

— Ну, а что же ты все ж таки понял-то?

— Без колхозу, Степа, жизни все одно не будет.

— Не будет?!

— Никогда, Степа. Обратного ходу нету.

— И долго вы об этом будете говорить?

— До весны. До самого, сказать, посева. Я сперва, как, может, и ты, думал: деревенское это дело — колхозы. Но не так выходит. Выходит, и в городе этим занимаются. Ну, зачем пахать-сеять, тогда уже, конечно, сами по себе станем. Может, и вызовут на заседание в месяц, а то и во все лето раз. А в остальном — не им же судить, в какую землю и кого нам сеять, каких коней в плуги запрягать, а которых — в бороны! На то у нас хотя бы и Фофан есть Ягодка. чтобы правильно в хозяйстве рассудить. И другие. Вот и твой, Степа, взять совет во внимание — разве грех? Это вовсе не надо глядеть, будто ты молодой... Я уже и не чаю всей этой посевной кампании, во сне ее вижу...

— Ну, глядеть — так мое дело десятое. Это тебе распоряжаться, а мне сполнять, и весь тут закон. Все! — Постучал Степан молотком по железу подольше, подождал, покуда Печура Павел головой, мохнатым кочаном своим покачал, упрекнул кого-то.

Когда стучать перестал, Печура и в самом деле упрекнул:

— Во-во-во! Умный ты, Степа, а сказать, так и дурной! До весны-то, до посева, все слова уже будут высказанные, а тогда мне с председателя места и уходить в самый раз. Уходить, коли я крутолучинским свой, а не враг. А какой же с меня враг — сроду нет! Я дело исделал — созвал народ в колхоз. Сам знаешь, день и ночь по избам уговаривал всячески. Год который пройдет, колхоз на ногах зачнет жить, меня тоже не забудут как первого самого агитатора нынешних, еще темных масс. А забудут — я обратно не в обиде, пушай бы только люди оправдали подход к новой жизни. Я, Степа, не обидчивый на людей — сроду нет.

Степан вовсе перестал стучать, положил молоток на верстак. Спросил:

— Это ты, значит, сам об себе рассудил?

— А кто же, как не сам? У меня понятий много, Степа, и совесть есть — силов нету... Вот пашня пойдет, у которого колхозника плуг вкось зайдется, я ведь у такого плуг-то не вырву, не показать мне, как борозду-то прогнать по ниточке. Это тебе запросто. Ну, а ежели и поломка случилась — опять же тебе раз глянуть да раз — руку протянуть, а мне? Мне, гляди, делов на неделю.

— Ну, сказать тебе, Павел, оно так и есть. Правильно ты об себе говоришь. Фофан-то Ягодка как вступил в колхоз — с того самого дня он и есть правдишный председатель, а не ты.

— Фофан, Степа, тоже негодный для этого. Насовсем — негодный.

— Фофан? Ягодка? И негодный?!

— Нисколько даже. Кроме как на первый случай. Не более того. И опять же добрый он слишком, Фофан.

— Ты, Павло, вконец заговорился в городу-то. Вот как!

— И ничуть. Он ведь, Фофан-то, правда что, ежели поутру споткнется где об ягодку — то после цельный день об ей думать уже будет. Мало того, и прибежит еще к ей помыловаться разов десять на тот же день, как не более.

— Значит, коли пристрастен, то плохо? И добрый — обратно плохо?

— Который раз — очень даже. Он, Фофан, все бы уговаривать. А где заставить — там его нету. Я по себе знаю — век добрым был, ну и что? Какой из меня хозяин? Какого там я добра-то нажил? Только что и толку — дожил до перелому к новой жизни. Дождался. А то бы и не знал, зачем жил, чего делал. А тут не об моем добре идет — об добре общем. Тут хозяин нужен вовсе правильный!

— Один тебе злой, другой добрый очень. Хозяин-то...

— Правда что. Очень к этому, к колхозу, мерку надо подбирать хитрую. На мужика мерка прежде не меряная, но и другой теперь у нас нету — по ей находить надо человека.

— В городе поищи. Там на любой, сказать, аршин, на любую метру.

— Придется, Степа. Своих не найдем, то придется. Только я считаю: найдем одного. Круголучинского. Вот тебя и найдем, Степа. И определим.

Степан по железу снова постучал дробно. Громко получилось, вроде колокольного звона на масленку.

— Слыхал? Вот так я тебе, Павел, и скажу: мне в звонари идти и то сподручнее.

А на Печуре звон этот вроде как за упокой отозвался, он долгое время молча стоял, руки сложил на груди, вроде перед покойником. После к Степану вплотную подошел, в лицо ему задышал:

— Не до смеха, Степа. И обратно скажу: вовсе не до смеха. Ты понятие за колхоз имей, ты почувуй — голова-то на тебе — не за себя только ее носить, а и за других тоже. Ты не об том сейчас думай: хорошо ли это либо плохо — колхоз, а об том, как в ем лучше исделать, в колхозе. Он есть уже, и он будет, ни ты, ни я от его не уйдем. Я по совести с тобой, Степа, и ты единого слова во мне не найдешь, чтобы не по совести было. Я тебя, Степа, уважаю очень, хотя ты и вовсе против меня молодой, а за-всегда я думал, что таких мужиков поболе в государстве, как ты, — и мы любому капиталу сколь хотят, столь наперед очков и дадим!

— Ты куда совестишься, меня, гляди-ка, следовательно уже и засудит.

— Во-во-во! Дурной ты, Степа, хотя и умный. Сказывали мне: следователю доказывать взялся! Он тебе подсказку не дает ли, как отвечать?

Дает, поди-ка, а ты свое гнешь. А ты соглашайся, Степа. Говорит он: «Виноватый!» — ты враз и соглашайся, повторяй за им: «Только в этом и виноватый, а более — ни в чем!» Да кто нонче не виноватый? Колхозником-то чистеньким никто покамест еще не родился, а все его требуют, всем его подай. Не подал — вот и виноватый. Тут бы перешагнуть скорее через период времени, до весны, сказать, когда сеять будет дело, а не между собой царапаться, а дальше и пойдём, и пойдём, и пойдём — до самой до счастливой жизни!.. Вот как ты рассуждай! Как человек, для колхозу очень нужный. На тебя же другие глядят и не просто глаза пялют — ждут от Чаузова правдишной работы, думают: раз Чаузов в колхозе — этот ворочать будет. Он будет, и я за им. Ведь пуще всего бояться — никто не потянет наперед, каждый думает: мне не боле других надо, хребтину-то свою до времени на печи поберегу. А об Чаузове об Степане такого в мыслях нет ни у кого. И не может быть.

Степан промолчал. Печура же поболтал длинными своими руками, спросил:

— А может, ты уже и понимаешь про это, Степа? А?

— По мне, этот придумок вовсе зря.

— Зря ли? Мне говорили: пожар-то был, ты наперед всех пошел в огонь?!

— Ну и что? Я и на Ямки вперед всех бегал. Не от ума же это — скорее с дурусти.

— Не скажи. Не скажи, Степа. Твоя бы изба горела — ты бы ребятишек вытащил, еще какое добро, а потом и в сторонку отошел бы. Пожалел бы себя за лопотину, за бабьи ухваты тратить. Один бы горел — один добро свое спасал, один бы и сам спасался. А тут общее зерно горело, и ты, наперед кинувшись, того не забыл, что не один ты, что за тобой и другие в огонь-то полезут. И ведь верно, полезли ведь...

Подумал Степан. Вспомнил, как было дело на пожаре. И как в избе Ударцева Александра было. И как он себя после упрекал, что дурнее его не нашлось везде наперед лезть.

— Кто его знает, Павла... Кто его знает, ходишь по земле-то — аршин при себе не носишь, чтобы как шагнул, так и смерял. А то сказать — как смерял, так и шагнул бы.

Опять поболтал длинными своими руками Павел Печура. Руки у него длинные, тонкие, не крестьянские вроде руки — не ухватистые. Переселенцами были еще его дед и бабка с Белоруссии, и все они от земли, Печуры, а вот скажи, не земляной он человек, Павел, не на крестьянскую колодку деланый. Где другому на день работы — Печура верно что три с утра до ночи пластается, а толку — чуть. Над ним и не смеялся никто в деревне, только когда пошел он по дворам за колхоз агитировать, тогда засмеялись: «Печура-то хитрый, шельма, оказался — ему с его руками да с ухваткой как раз чтобы другие робили!» И получился из него агитатор наоборот. А потом вот как было: председателей со всех деревень в город каждый божий день стали вызывать, когда и неделю не выпускали их из города, от бани до бани... Завыли председатели, и в которых деревнях мужики в колхоз согласны, а председателем никто не хочет... Один из Лебяжки из деревни бросил печать колхозную и убежал невесть куда, как тот поджигатель Ударцев Александра. И то сказать, какой это мужик, что и дома не живет, а все только доклады в городе слушает? Ведь с этих докладов свой двор начисто разоришь и колхоз весь тоже запросто — после людям в глаза не посмотришь. С докладов хлебушко не родится. А Печура Павел тут-то и вызвался добровольно на председателя и действительно из города не вылазил, доклады слушал и до весны сидеть и слушать обещался безропотно. Терпеливо

долю свою нес, а ведь у него, у вдовца, ребятишек двое было — мальчонка и девчонка.

Любил же он ребятишек своих — это пуше, чем другая баба любит, а вот скажи, сидел за весь колхоз в городе, домой не заявлялся.

Ребятишки его измаялись окончательно. Телкá им кормить нечем, самим жевать нечего, в школу сбегать не в чем. Какое там в школу — на двор выскочить, так они сперва печурку растопят да ноги накалят, покуда кожа терпит,— после уже с горячими-то ногами им и на снегу полегче.

А еще нашлись злыдни — стучались им по ночам в окошки, грозились малуху завалить.

Ладно уже бабы восстали, объявили, коли заметят этих пугал, то будут судить их своим бабьим судом и для начала глаза выцарапают, а ребятишек печуровских, хотя и худо и бедно, стали прикармливать.

Нет, не было в Печуре в Павле корысти. Не было вот ни на столько! Прислонился он к верстаку, голову опустил. Видать, по привычке: в малухе своей привык гнуться, ну и приходил куда в помещение — сгибался, хотя бы до потолка рукой не достать было. Стоял, молчал, на Степана глядел. Неловко становилось — на ребятенков так-то смотрят, да и то на сопливых. Видать было — что-то еще хотел сказать Печура. Долгое время собирался. После сказал:

— Верно, что ли, Степа, следователь-то об Ольге Ударцевой тебя выспрашивал: почто она у тебя в дому оказалась?

— Было...

— Может, и правда, куда бы ее в другой дом. Сродственники же у ее в Крутых Луках живые?

— Об этом разговору между нами нету, Печура. Как случилось — обратно не повернешь.

— Степа,— сказал снова Печура тихо, шепотом даже,— Степа, я вот ребятишек рóдных не жалею. Рóдных ведь.— И еще раз повторил: — Рóдных.

— Ты вот нонче мне же обо мне объяснял, Печура. Было? Объяснял, какой мужик Чаузов Степан?

— Это конечно. Не завсегда человеку самого себя запросто видать.

— А того не поймешь — что тебе можно, то мне нельзя.

Ушел Печура Павел незаметно как-то, после уже снова просунул в мастерскую непокрытую кудлатую голову.

— Ты подумай, Степа...

Глава седьмая

Вторник только еще, а ребятишки Ольгины уже вовсе прижились к чужому дому. Старшая девчонка и та попривыкла. Балуются. Другой раз приходится и шумнуть на них, словно ты им отец родной. И Клашка на них нет-нет тоже шумнет, и ее они слушаются, а меньше всего им забот, что мать говорит.

Ольга с Клашкой любую работу в четыре руки делают, да еще им девчонка помогает.

Ольга как обещала на санках привезти муки куль да картошек два — так и привезла. Привезла и все, видать, собиралась Степану сама, не через Клашку, объяснить об себе, что и как: что до теплой дороги думает жить, что к родственникам своим в Крутых Луках нельзя ей идти. Еще, видать, слышала и она, что следователь Степана об ней допрашивал.

А какой между ними может быть разговор?

Сказать правду — надо ей хоть куда, а деваться вон из чаузовской избы.

Ну, а ежели ей об этом не говорить — так лучше не говорить с ней ни о чем. И молчал Степан, и Ольга тоже не давала поводу разговор затеять.

Статная баба Ольга, белая, глазищами вокруг себя водит медленно и вроде все-то понимает, а еще на нее поглядеть — будто она морозом за душу прихваченная: не вскрикнет, не поторопится, против Клашки так и неживая вовсе.

И почто она за такого шелудивого мужичонку пошла, за Ударцева Александру? И как он бросил такую и ребятишек, будто щенят, чужому подкинул?

Какая же это жизнь была в том дому ударцевском, который под яр спихнули?

Все думы да вопросы. А надо было бы подойник окончательно довести до дела. Невеликая работа, а начатая, бросить ее нельзя. И после завтрака сразу Степан направился в мастерскую, но тут мимо двора прошел улицей Нечай Хромой и крикнул через прясло:

— По сено, Степа, нонче наряжают колхозничков. Давай, Степа, по сено...

— Постой, Нечай! — крикнул вслед ему Степан. — В избу забегу, ве-
ду бабе краюшку какую завернуть и подадимся вместе! Постой!

Нечай, покуда мимо прясла ковылял, цельный доклад сказал:

— А за постой, Степа, только вон сторожу в сельпе платют, да солдатам ихняя пайка идет, покуда они столбами стоят. Коли хошь — беги со мной, поделимся напополам моим куском.

Степан в сенки забежал, сорвал с гвоздя тулуп, веревку взял подпоясаться, крикнул Клашке, чтоб не ждала скоро, а еще вилы-тройчатки захватил. Догнал Нечая, сказал, запыхавшись:

— Допрежь — как человек: коня запрягешь, бывало, после в сани бросишь, что надо, понужнул и поехал. А нонче все наоборот — сперва на баз колхозный со всем припасом беги, после запрягать. До того чудно — в ум не возьмешь!

И верно, шибко неловко было идти: в тулупе не побежишь, он за спину через плечо закинута и с плеча падает, ты его рукой обратно да обратно, другая рука — вилы тащит, а еще по тебе веревка болтается, вроде на кобелишке каком худом. Хозяин с кобелишки шкуру наладился обдирать, а тот едва живой вырвался и с веревкой на шее по деревне тягу дает. Понять нельзя, кто ты есть — мужик ли, или погорелец какой, или, еще сказать, беженец окончательный с самой России прибежал. А ведь привыкать этак-то надо — на колхозный баз со всей своей сбруей и с припасом каждое утро пороть...

Из которых окошек бабы выглядывают либо с коромыслами по улице идут — глаза в сторону воротят, будто не замечают тебя. Правда что — срамота! Но и то сказать, мужики-то при чем? Сами, что ли, выдумали этак вот по деревне в сбруе бегать?

Нечай молчал, и Степан его спросил:

— Обрато на колхоз будешь лаяться? — Очень ему хотелось, чтобы Нечай слово какое покрепче высказал.

А Нечай дух перевел и ответил:

— А на его хочь весь излайся, на колхоз, — все одно тебе в ём жить и кусок с его зарабливать. Вот как.

— Это тебя кто же научил? Нечто Фофан?

— А тебя кто? Нечто Ю-рист?

— Меня — никто.

— То-то ты со мной на пару хлещешь, вроде настеганный.

Еще пробежали сколько, Нечай снова сказал:

— Вчерашний цельный день слушал, как ты все по железу-то звяк да звяк. Чего ладишь?

— Бабе подойник. А что, скажи, тебе-то?

— Как это что? Лед-то вот-вот тронется, а сено-то за рекой! А ты все бряк да бряк — и заботы тебе другой нету.

— На то есть Фофан, чтобы нарядить за сеном...

— Ну, ежели мужик Степа Чаузов без наряда не смекнет, что нонче делать надобно, тогда, правда что, весь крутолучинский колхоз седни же в могилу закопать и в самый раз получится!

И этот на Чаузова Степана тоже кивает! Что Печура Павел, что Нечай Хромой — одного нашли ответчика за крутолучинский колхоз!

Еще другие мужики, увидев Нечая со Степаном, вслед за ними на баз побежали.

Конюха же на базу никого к коням не пускали — встали двое поперек дверей и у каждого кнут в руке, а из конюшни другие двое уже захомутанных коней выводят и кому повод в руку сунут — тот уже не имеет права от коня этого отказываться, идет и запрягает в сани. Сани длинным рядом повдоль прясла выстроены и какие с краю оказались — в те и запрягай без разговору, хотя бы они коню и вовсе по росту не подходят. Запряг, отвел в сторону, после того начинай все снова — договорились, что каждый на трех поедет. Ну, которые мужики все ж таки надежды не потеряли хотя бы и в чужих саях, да на своих бывших конях съездить — водят коней в поводу, кричат, что меняются. Базар так базар. Место перед базом тесное, кони ржут, мужики лаются.

Однако запрягли таким манером все, одному только чересседельника не хватило, так Степан веревку свою, которую подпоясаться взял из дома, отдал. Веревка заместо чересседельника как раз и пришлась, ни рубить ее, ни надвязывать не надо. Поматерились еще сколько и поехали.

Степану Егорки Гилева кобылешка угадала, а других два коня позади у него было, тех даже и не признал чьи. Не стал разглядываться, а то как раз начнешь своих Серого с Рыжим искать.

Когда ехали улицей, один дорогу ему уступил и другой, поглядел Степан — а уже впереди всех едет. Ну, ладно, коли так.

Встал в рост. Шапку покрепче надвинул и воротник поднял, тулуп сбросил, в полушубке остался. Ногами ловчее к саям приладил, одну ногу вперед, другую чуть назад, и обе — малость совсем в коленях согнул, вроде бы на пружины стал. Попробовал — крепко стоит, надежно.

Два пальца в рот заложил, духу набрался — свистнул, как следует быть. Кобылешка гилевская сжалась вся, после рванулась, он ее еще два раза кнутом пожарче вытянул. Рукавицу только успел на руку надеть — и тут вот он, взвоз к реке. Взвоз этот Ивановским взвозом во все зря и назывался, он крутой был очень и по нему только вниз ездили, а вверх да с грузом совсем другим поднимались местом, от деревни в сторону, зато удобное было то место, пологое... По Иртышу ниже.

Кобылешка наметом шла, задними копытами по передку саней хлестала, который раз от саней и щепки летели, но и то сказать — и на своих конях так-то приходилось тут ездить, и от своих саней тоже, бывало, летела щепка.

По этому месту вниз да на простых — иначе крутолучинские сроду не ездили; про того мужика, который здесь шагом спускался, говорили, что он коней боится. Здесь «тпру!» не кричали.

Поворот был там впереди еще один на спуске, очень вредный поворот... На своем бы Сером либо Рыжем Степану его минут — раз плюнуть, а эта кобылешка, язвы ее, чего доброго, испугается, на дыбки перед обрывом надумает встать, а тогда задние кони навалятся, и это уже точно — все внизу будут... Чтобы кобылешка такого не надумала, Степан ее еще

раз кнутом вытянул и гикнул погромче, и она уши прижала, и уже вовсе по-собачьи скакнула...

Вниз с обрыва снег посыпался и с дороги ошметки полетели, воротник ими тоже зараз набился до отказа, но теперь Степан уже и назад поглядывал — как там, не сорвался ли кто под кручу? Но это уже известно — первый проехал, а другие кони идут по следу, только их не дергай, не понужай. И мужики не дергали и не понужали, а, завернувшись в тулупы, лежали в санях, их там, ровно мешки какие, из стороны в сторону побрасывало.

По льду, по ровной дороге тихо-мирно поехали.

Уже с другой стороны Иртыша Степан назад глянул. Всех своих надо было обождать, чтобы не врозь, а гужом дальше, в глубь острова, к стогам тронуться...

Подводы растянулись чуть что не от берега до берега, но задние торопились, догоняли передних.

А вот версты, видать, за три ниже по Иртышу обоз с сеном уже шел в обратную сторону — вот на тот обоз Степан как глянул, так и глаз оторвать не мог.

Там, ниже, калманские со своих лугов уже возвращались груженные. Калман — село от Крутых Лук считается двенадцать верст, но то считалось только, а верных пятнадцать было, грань же и на высоком берегу, и на лугах была у них общая... Луговая грань вовсе была у крутолучинских под носом, только драться там было неловко с калманскими: снег на лугах лежал и далеко ходить. Драться бегали на Лисьи Ямки, на суходол.

Нынче калманские везли сено со своего дальнего участка, и как везли: подвод, может, пятьдесят, того больше, одна за другой шли, и даже вроде бы скрип от них сюда слышался...

Такие обозы с новобранцами и то сроду не собирались.

Далеко, а видать, как вблизи, только что кони все кажутся в одну масть, и росту все одинакового, и головами трясут — тоже как одна... Воза — вот они, легко сказать, который больше, который меньше, дровень только не видать под ними, лошади будто прямо по снегу по гладкому, с ледяной искрой, везы эти волокут...

Мужиков не сразу видно, они на возах распластались, наверху, и, должно быть, в небо глядят, глазами-то наперед в таком обозе глядеть незачем, а вот на одном возу посерединке обоза, ты скажи, умостились сразу трое, а один так все время руками машет, ровно жук какой... А догадаться можно — это один доказывает, а двое слушают, посмеиваются, верно, над ним, не соглашаются. Может, там свой Нечай либо свой Фофан о колхозе доказывает. И даже сомнений нет, что так оно и есть... Этак вот по всей Сибири сейчас мужики колхозные перед ледоходом свое еще единоличное сено из-за рек с лугов спешат увезти, и вот так же спорят, и вот так же на возах лежат в небо глядят либо, в сено уткнувшись, думают...

Об чем думают — ясно. Однако они, калманцы, сегодня рано управились за сеном съездить — как при единоличной жизни. А обоз силен, велик у них обоз, верно, что глаз от такого не оторвешь.

Они, калманские, далеко не каждый год на свои луга дорогу топтали, крутолучинской пользовались. Через тот пологий спуск и ездили по сено, от Крутолучья верстах в трех ниже по Иртышу. Крюк у них выходил верст семь, может, и десять, но и то сказать, взвоз был удобный, и дорога эта всегда была куда лучше накатана: крутолучинские по ней не только по сено, а еще и по дрова всю зиму ездили в бор, за реку.

Разминулись нынче обозами, а то как тут рассудили бы, кому в снег с дороги свертывать? Крутолучинским? Так они хозяева, по своей дороге

едут. Калманским? Они груженые. Тут бы слово за слово начали, а уже чем бы кончили — это господу самому богу неизвестно.

И как ехал Степан Чаузов на передней, то как раз с него обратно же все должно было начаться и получиться.

А нынче вот как — те едут и эти едут, никто никому не перечит.

Правда, когда все свои до кучи на берегу луговом собрались, кто-то догадку высказал: может, дескать, калманские стожок с крутолучинских покосов прихватили и едут, надсмехаются? Может, на двух резвых быстренько проверить, следы на снегу проверить, а всем ждать покуда здесь, на берегу. На тот случай ждать, если калманских догнать придется, сено у них отнять и морды всем подряд хорошо разукрасить?

А еще кто-то высказался, что и ждать нечего, и следы глядеть незачем: время не теряя, догнать калманских, возов с пяток крайних с заду у них отбить и — квиты...

Когда стали слушать, кто же это говорит, — это Ероха Тепляков оказался, мужик вовсе смиренный, сроду не драчливый и щуплый вовсе.

У него спросили, что это он вдруг? Ероха вздохнул:

— Так ить, мужики, у их кольхоз и у нас кольхоз, может, в остатний раз по старому обычаю только и посчитаться?..

А ведь помимо всего прочего, он, Ероха этот, всегда душой за колхоз стоял.

Все ж таки вспоминать стали, кто кому в последний раз вред изладил и чья нынче очередь? Ежели очередь калманских, так они случа́й такой вред ли пропустят: ордой едут, народом, и себя в силе чувствуют.

Вспоминали-вспоминали и, скажи ты, не вспомнили: жизнь нынешняя которые дела вовсе от памяти отшибла.

А Степан сказал, что навряд ли все ж таки калманские хотя и ордой, а с крутолучинским сеном и по крутолучинской же дороге поехали бы. Навряд ли. Они бы тогда напрямик подались, не поглядели бы, что прямая дорога мало топтана. Они бы ее, дорогу, покуда туда на простых ехали, запросто своим обозом протоптали бы.

Ну, как сказал это — не стали больше вспоминать, кто кому обязан, путем дальше тронулись...

Тронулись, а Степан стал думать о калманских мужиках. Деревня Калман — куда беднее Крутых Лук, калманские мужики новоселов со всей России принимали, а народ, скажи, там дружнее. И с колхозом той волынки нету, как в Крутых Луках...

Проехали неподалеку от грани — верно, калманские около крутолучинских стожков и близко не были. И то рассудить: какая это задача всем обозом стожок либо два увезти? Похвастаться вовсе нечем. И опять же перед кем? Всей же деревней тут были!

Ну и ладно, что калманских не тронули.

Как это получается: собираться всем ехать — коней разбирать на базу да запрягать — правда что маята, а уже поехали да взялись работать — сроду каждый по отдельности того бы не сделал, как все вместе сделают!

Рассудили, кому в какой конец острова ехать, и к каждому стожку втроем-вчетвером приступали. Это удивление просто, как на четырех-то вилах стожок тает! Одни в розвальни мечут, а другой уже по снегу к следующему стожку тропку топчет... Кони вовсе недовольные оставались: только к стожку приладится пожевать, а у него уже из-под носа сено вилами выхватывают, супонь снова затягивают и чересседельник — пошел, милай, дальше!

Ну, по снегу от стожка к стожку коней с сеном гонять, правда что, бесподручно, так стали воза выводить на дорогу, и там уже кони по уши в сено залазили — им даже удобнее получилось, не то что из плотного,

лежалого стожка брать. На простых же все дальше ехали и дальше, к самым крайним покосам... Спорили, друг другу доказывали, где ближе к тем дальним стожкам и на какой воз сколько положить, чтобы побольше взять и коня не замаять, и кто ловчее бастрик затащит, интересно было, а уже метали на воза — от каждого пар валил вроде из бани, с полка только что будто бы слезли. Тут Степану было вовсе по душе.

Стожки самые крайние, которые в кустах были поставлены, сильно забуранило, они не то что по колено — по самый пуп в снегу стояли. И маковка тоже вся снегом завалена.

А лопат-то на четверых была одна. Хотя снег и плотный и на вилах держится, а все ж таки брать его вилами можно с грехом, где возьмешь, а где кусок и рассыплется.

Так Степан что удумал: опетляли стожок вожжами, за концы потянули — бж-жик! — снег с макушки, как ножом подрезанный, шанежкой сполз. Бери руками его — и в сторону.

А сено в эту пору, перед весной, ужасно бывает пахучее. Как будто бабы его перед праздником вместе со сдобным в печках испекли.

Очень едовитое сено, сам бы ел, а не скотину кормил. Нечай Хромой так и сказал, что брюхо у него этого сена просит, ворчит, будто кот на сливки, а в рот брал — не жует.

— Это же господь бог оплошку дал: сено косить человека научил, а жевать — нет, не научил! — печалился Нечай, а изо рта торчала у него зеленая еще, совсем свежая былинка. — И вовсе напрасно: это какая была бы мужику-крестьянину польза — умом не представить!..

Они стог на воза сметали и завернули закурить, вилы в снег поставили, Нечай же все не закуривал, все с былинкой баловался. После былинкой плюнул, за кисетом полез и еще сказал:

— С двух концов жизнь к человеку подступает: от брюха и от головы... Вот пойдет по земле овсюг, коровенки без сена останутся, ребятишки без молока, и тут брюхо у начальства заговорит, скажет ему: «Ты, дорогой мой начальник, спросил бы все ж таки у мужика: как так получилось? Почему? Как это пахать-сеять надо, как хозяйство вести, чтобы без хлебушка не насидеться и без молочка для ребятишек?» И другому подумать: ежели человек сроду будет сыт, одет, обут, забот не будет, как хлебушко делается, — откуда мысли в голове такой зародятся? Об чем? Разве такие будут, от сытости напридуманные, что их в век руками не соришь...

Ну, с Нечаем не спорили нынче и даже не очень его слушали — с пожаром с этим от работы, видать, отбились, истомились по ней и нынче покурить-то друг дружке не давали, торопились, будто нахлестанные.

И Нечай торопился тоже едва ли не больше других, сигарку свернул, а курить не стал, так незажженную обратно в кисет и кинул. Загадки бросил свои. Работа слов не любит. Она — всем загадкам ответ.

Когда вернулись с сеном, сметали его перед конюшней и пошли по домам, напоследок все говорили: скорее бы весна, что ли. Попробовать бы этой колхозной-то работы, как же оно все-таки должно получиться?

Дома Клашка удивилась: скоро как обернулись, на стол щи потащила с загнетки, а после того Степан обычно тулуп на пол стелил либо на печку лез отдохнуть — с морозу, со щей горячих морило очень. Нынче ко сну нисколько не тянуло. То ли не устал он вовсе, то ли еще чего бы руками делать хотелось.

Вспомнил: подойник так и брошен у него в мастерской. Пошел, печурку там растопил и только к подойнику приладил ушко — по ограде кто-то слышно — топ-топ — идет.

Кого бы это обратно могло принести?

Это Егорка был Гилев. Вошел, дверь за собой прикрыл, поглядел округ и тихо так сказал:

— Степа, а Степа, тебя Александра Ударцев к себе вызывает нонче.

— Кто???

— Ударцев. Лекандр. Непонятно, чо ли, говорю?

— Вовсе непонятно!

На Егорке усов уже обратно нету, морда голая, и видно, боится он. Вздрагивает, вроде кто его по морде бить по голой замахивается.

— Где же он, Лекандр твой, хоронится?

— Хоронится не знаю где, а ждать тебя будет в избушке в моей, на пашне... Сёдни же вечером.

— И не убег — значит, где-то тут и вьется? А куда же он коня с кошевкой подевал?

— Об коне не сказывал, не знаю. А тебе велел с им свидеться.

— Где же он тебя-то настиг — в избушке прямо?

— Да в леску рядом... Я за подоньями запряг ехать, только тронулся — он тут как есть.

— А зачем я ему?

— Говорю же: не сказывал.

— Ну, а ежели я приду да башку ему прошибу насмерть — он опасается? Либо он там не один?

— Ну, ты же Ольгу-то взял к себе? С ребятишками? Вот он, видать, и осмелел насчет тебя... А один-то он — это верно.

— Откудова знаешь?

— После объехал круг леса — наследил-то он один. Пеший.

— Когда было-то дело?

— Сёдни и было. Мужики на ту сторону за сеном подались, а я на конюшню опоздал, прибег, коня попросил вроде догнать вас, а сам по свои подонья подался. На твоём Рыжем и ездил.

— Ты скажи, а я на твоей на кобыленке...

— Вот так, вот так, Степа... Так и было все.

— Чудно... Чо же ему от меня надобно? Лекандре?

— Вот не знаю, Степа... Ты поди — сам обговори.

— Нужон мне Лекандра твой. Только что на самом деле отмутузить его. Больше ни для чего.

Егорка сказал:

— Ну, я пойду, однако! — Постоял, опять сказал: — Ну, я, однако, пойду... — А сам еще не уходил. Опять оглянул на дверь, послушал, нет ли кого на ограде, после подошел к Степану вплотную и прошептал: — Ты с Лекандрой-то так... Не очень на его замахивайся. А вдруг он правда что не один?

— С кем же?

— И то, может быть, их много там таких.

— Каких?

— Что ты меня пытаешь? Малой, что ли, сам-то думать? Которых за болото ссылали, так никто и не улег обратно?

— Ну, а тогда почто я им нужон-то всем?

— А по то, Степа, что выручить они хочут тебя из беды.

— Из какой, скажи?

— Следователь-то, Ю-рист, допрашивал тебя? Ольгой-то упрекал? Они тебе этого не простят. Они тебя за болото закатыют... Ю-ристы.

— Откудова же они знают об Ю-ристе?

— У их, Степа, везде свои. Они не просто так. Они сами огонька-то пустят и мужиков на это же подымут.

— А после что?

— Когда после?

— Ну, после огонька?

— Это им лучше видать, чем мне. А тобой, Степа, они очень, видать, интересуются.

— Очень даже?

— Им такого мужика к себе приохотить...

Стоит Егорка у верстака и то за один инструмент руками хватится, то за другой. Будто нюхает. Будто они как раз для него и куплены были, инструменты. А вот долото, скажем, ежели к Егорке применить — так для того разве, чтобы трахнуть его по башке. После за ноги из мастерской вытащить...

И Степан в самом деле из рук Егорки долото вырвал, обратно его поставил в гнездо. Сказал:

— Вон ты куда... Кто бы подумать мог?.. Против кого идти — это очень даже просто. Колхозный амбар стоит — иди против его и спали. Кобыла отбилась — ее промежду глаз топором. Человек, к случаю, попал — и его так же. Против это запросто. А за что? Спроси — за что? Скажешь — за жизнь. А за какую? Которая была — мы ее сами нарушили, когда колчаков прогоняли. Ту нарушили, эту не сладили, а тут Егорки с Лександрой Ударцевым вон куда глядят? — Снова вынул долото из гнезда, надвинулся на Егорку: — Ты скажи: кого ж я вот этим должен стукнуть, а? Кабы советская власть против меня офицера выслала с кокардой, с эполетами, с пушкой — я бы его, веришь не веришь, а достал бы каким стежком подлиньше. Из-за угла либо как, но достал бы. А теперь кого я доставать буду? Печуру Павла? Либо Фофана? Она же, советская власть, что ни делает — все мужицкими руками. И никто ее не спалит и не спихнет. И я своим детям не враг, когда она им жизнь обещает. Кого же бить-то? А?

— Я в ответе, чо ли? — усмехнулся Егорка. — Зыркаешь вроде пьяный, без памяти.

— Бить-то до смерти надо тебя, Егорка. От таких, как ты, вреда — как ни от кого боле! Тебе бы усь да усь — науськать одних на других, после глядеть, что из того получилось?! Нет ли тебе выгоды? Я и не хочу, а все ж таки кому-то, видать, поперек стану, и мне тоже кто-то будет поперек, только уж пушай это мы сами по себе будем, без твоего уськанья. И гляжу я, может, допрежь того, как встать кому поперек, сперва тебя пришибить? Ведь очень просто — пришибить, в прорубь на Иртыше кинуть, никто тебя не пожалеет, шелудивого.

Егорка через порог выскочил, уже из-за двери сказал:

— Дурной ты, Степа! Я ж не об себе! Я в общем! Ну, бывай здоров. Я пошел. — После повеселел: — А ведь доказывать ты на меня не победишь! Не таков мужик! Не побежишь сроду! — И калиткой стукнул...

Остался Степан один. Раз-другой по железу ударил и молоток бросил...

А ну их к черту, всех мужиков крутолучинских, а может, и всех людей! Спросить: что им от Степана Чаузова надо? Каждый со своим к нему лезет — и Печура Павел, и Хромой Нечай, и еще Гилев Егорка! Нечай, так тот вроде со всеми вслух разговаривает, а молча — со Степаном. Как свои байки сказывать, так и косит глазом в Степанову сторону. Ударцев Лександра — выродок, пошел потом-кровью выращенное зерно палить! И обратно ему тоже дело есть до Степана Чаузова! В гилевскую избушку вызывает — не иначе будет поджог свой замаливать. За отца прощения просить, что тот едва Степана не убил, за Ольгу с ребятишками, чтобы не сгонял их со двора. Деньги у Лександры могут быть, деньги будет совать на Ольгино пропитание...

Что Егорка Гилев, что Александра Ударцев — одно только звание мужики, а просто сказать: сволочи. Тут мужицкое дело решается — о земле, о скоте, о хлебе, о ребятишках, ты в этом деле поперек станешь, свое защищай, упираться, но чужое жечь, другим жизнь путать, разбойничать — вот за это ломиком-то по башкам надо бы стучать!

Мужику правдишному забота — от таких подальше уйти, не видеть таких и не слышать... Ото всего бы нынче уйти на какое время, слов бы ничьих не слышать — ни умных, ни глупых... От слов хлеб не растет и скотина не плодится. От слов голова уже замутилась и своей-то ее не признаешь, вроде с чужого на твоих плечах голова...

Запереться бы в избе, сказать Клавдии, чтобы отвечала всем: захворал мужик, с печи не слазит. Так ведь и в своем доме нынче не утаишься — Ольга там. У той — тоже слова невысказанные, она тоже случая ждет их Степану сказать. А после того, как известил Егорка Гилев об Александре, и вовсе непонятно стало — о чем и как с Ольгой говорить?

И вместо того чтобы на печь — пошел Степан на собрание. Доклад слушать. Ю-рист доклад говорить нынче будет на другом краю деревни, в избе-читальне.

Правда что подковать бы надо мужиков-то — ведь это сколь они нынче обутков в колхозе стопчут? И что она за жизнь такая — дня одного срока не дает? Дала бы срок, неделю хотя бы, сено повозить, вилами его пометать, за конями походить... Неделю пожить, будто бы и не случилось ничего — на колхозную конюшню пешим, с тулупом в руках не бегать, и чтобы ночи той не было, в которую Ударцев пожар сделал, и Ю-рист чтобы тебя не допрашивал, и Егорка Гилев вокруг не бегал, не нюхал бы тебя, и чтобы в избе твоей твоя семья была, Клавдия со своими ребятишками и никого больше...

Чтобы оглянуться кругом. О себе вспомнить, какой ты на самом деле мужик, Чаузов Степан Яковлевич? А еще до весны бы дожить, до пахоты, до настоящей работы.

Вместо того каждый день и час каждый жизнь тебя мотает, все с тебя требует, и ведь не сдержишься — в самом деле станешь такой жизни поперек. Не надо бы этого, а сделаешь?

Сказать по правде, не ходить на собрание тоже нельзя. Собрание назвали о колхозе, но это название только, потому что о колхозе слова далеко наперед уже все выговорены. О зерне — вот о чем Ю-рист собирался разговор вести. И даже не о зерне уже, а о хлебушке. О том куске, который Клавдия на стол три раза на день кладет да в четвертый ребятишки сами, глядишь, уволокут с горки на печь и там счавкают. Это он еще по себе помнит — на печи да в тепле краюшка куда вкуснее делается.

Теперь эту краюшку Ю-рист на зерно хочет перевести заместо того, которое в пожаре сгорело, и еще много сверх этого.

Нет, чтобы приехал, сказал: «Мужики погорели, мы даем вам помощь!» — другой разговор: «Дай и еще раз дай!»

Наказ Печура из города привез — сеять пшеницы куда больше против того, как общее собрание колхоза записало. Теперь за это добровольно проголосовать надо и семена дать. Для этой цели и будет Ю-рист докладывать.

Об этом Печура сказать Степану ничего не сказал, хотя и приходил к нему в мастерскую. Тогда не сказал, а нынче, не доходя до избы одного переулка, будто ненароком встретил:

— На собрание, Степша?

— Угу... — сказал Степан, но остановился: он хотя и шалопутный мужичонка, Павел этот Печура, но к людям добрый и обижать его, мимо пройти, вовсе не за что.

— Ты бы, Степа, подумал об своей жизни... А? Правое слово... Я тебе об том не напрасно говорил.

Пошли вместе. Павел тихо шел, не торопился, шапку свою, воронье гнездо, вправо скособочил, чтобы на Степана левым глазом лучше глядеть.

— Я думаю, Павел. Как с утра зачну думать — и до поздней ночи. Я-то думаю, да делают-то за меня другие. Вот как.

— И ты делай.

— Кабы знатьё — что и как...

— А то, Степа, доказать непременно нужно, что сознательный ты крестьянин.

— Это как же? Может, вон как Егорка Гилев — на побегушки к следователю приладиться? Я об Егоркиной сознательности шибко понял. Знаю. Поболе других нонче знаю.

— Нет, Степа, тебе сознательность надо личную проявить. Очень тебе надо это сделать — поверь ты мне!

— Ну хотя бы поверил? Дале что?

Печура с ноги сбился, после снова в ногу со Степаном пошел, спросил:

— Зерно у тебя есть еще? Хлеб, сказать?

Степан на ходу Павла за грудки взял, спросил, не останавливаясь:

— Вон ты подо что подбиваешься?!

— Подбиваюсь, Степа...— сознался Печура.— Подбиваюсь всеми силами своими. Но не для себя. Для тебя.— Сорвал Степанову руку с облезлого своего армячки, пошел на него грудью, зашептал: — Для тебя! Тебе этого не простится — Ольгу Ударцеву кормить, а на семена не дать! Не простится!

— Ты не простишь?

— Поимей, Степа, совесть — не обо мне же речь, об тебе! Я тебя сроду любил, сказывал уже об этом. И я бы тебе больше сказал, но правов не имею — закрыто об тебе говорено было. Скажу только: будут у тебя зерно требовать — Христом-богом прошу, не упрямясь. В избу твою приду, на коленки перед тобой паду, но только отдай, не показывай норова! Нужон ты, Степа, в колхозе, как и то зерно, которое у тебя же берут. Еще больше того.

— Ребятишек я голодными не оставлю. И сам босый-голодный я никому не нужный — ни себе, ни, сказать, колхозу.

— Может, и поголодают малость, но живыми ребятишки будут. Помни. Либо Ударцевым Лександрой вторым хочешь сделаться?

— Я, Павло, мужик есть. Им и буду. Другому чему у меня неоткуда взяться. Я не Ударцев, чтобы бечь и чужое палить. Но и взялись жизнь ладить — давайте ладить с умом, а не по злобё. На злобу сорвемся — то ли я, то ли на меня кто — толку не будет ни тому, сказать, ни другому. Разве третьему кому. И ты пойми, что покуда у меня дом свой — в том дому я и свой предел имею: сколь мог — отдал, а теперь — ни зернышка. И на кого я тут похожий буду — это вовсе для меня неинтересно.

Еще прошли, еще сказал Степан Печуре:

— В колхоз меня привели — ладно. Что было, то было. А привели ужо — так не мотай мне морду-то туда-сюда. Худую кобыленку и то уздой задергаешь, она с шагу сбилась и вовсе стала. А я — конь еще не заезженный, береги меня. Почто ты ко мне добровольно-принудительно без конца и краю льнешь? Вот обратно — план по севу обязательный из городу привез, а требуешь, чтобы я за его добровольно голосовал? И семян под его дал? А я не дам. И еще скажу: не дам! Правильно Нечай Хромой говорит: разори меня до краю, тогда и все твоё.

А ежели ты мне индивидуальный двор оставил с бабой, с ребятишками, то и я хоть какой, а хозяин в ём. А то разделили меня напополам, одну половину колхозу, другую, куда меньше первой, самому мне оставили, но я эту, меньшую, все одно больше чую... И слова твои — вовсе ни при чем. Я не богомалец какой за словом ходить... И то сказать, в Сибири богомольцев этих не шибко было, которые люди слонялись бóсье по дорогам — так, варначишки, сказать, а не богомольцы...

— Ты, Степа, в нервы ударился. Сроду я об тебе такого не подумал бы.

— Это ты — об нервах. А я — об жизни.

— Ну, гляди, Степа. Сёдни гляди, на завтра не откладывай.

Глава восьмая

Народу было в избе-читальне — не продохнуться. На ногах стояли уже. Но Степан все ж таки исхитрился, голову из сенок просунул, его тут же кто-то и признал, крикнул, чтобы лез скрозь. Коли долезет — место ему найдется.

Он пробился-таки. Локотков Пётра и мужики с ним рядом — друг к дружке вовсе прижались, и места чуть показалось на лавке. Степан покруче сел — еще их сдвинул.

Пётра мужикам рассказывал про Егорку Гилева — как он в кладовке сидел запертый, скулил, просился, чтобы выпустили, чтобы он Степана догнал и следователю его представил.

Мужики каждый по отдельности об Егорке высказывались, всякими званиями его называли, но того не знали они, каков еще Егорка...

После поговорили о сене, как за сеном нынче здорово съездили, и опять не знали они, об чем собрание будет. Догадывались, но толком нет — не знали.

А начала все не было — Ю-риста ждали...

Наконец-то он явился. Все притихли, тесниться стали, чтобы пропустить его к красному столу, а он нет, чтобы на свое место — пожелал с народом поговорить. Ему надо было показать, что он с народом заодно. Ну и приходил бы раньше, показывал, а теперь мало того что себе — и другим заботу сделал.

Которые мужики сильно за колхоз были — на первых скамейках сидели, верно, всех раньше пришли. Но и они на Ю-риста с интересом глядели — как он будет говорить, от мужиков отбиваться и подход к ним искать.

Теперь, ежели он среди мужиков примостился слушать, то и должен услышать. И понять должен, что мужики крутолучинские не мешком пуганные, что и у них мысли в голове.

Тут все поглядели, с кем он угадал на лавку сесть, кому с ним выпало разговор вести. С ним или промеж собой, но для него, чтобы слушал.

И оказалось, мужики-то рядом с Ю-ристом вовсе не говорливые были. Так, малость только, если бы их и хватило, то не на долгое время.

Конечно, можно было с задней лавки к нему Нечая Хромого пропихнуть, но тут Ю-рист сразу бы понял, что мужики своего уполномоченного к нему приставляют.

К тому же неизвестно еще, как дело обернется, когда вопросы и ответы пойдут, — может, тогда Нечай само собой понадобится.

Ероха Тепляков был рядом с Ю-ристом и Сема Фофанов — брат двоюродный Фофана Ягодки.

Они поглядели кругом — видят, подмоги им не будет. Самим надо. Посопели, еще друг на дружку и на Ю-риста поглядели — начали.

Ероха вроде полез наперед, а Семен его за полушубок:

— Лезешь-то куда сквозь народ? До бога разве? Так ведь, сказывают, нонче нету уже бога-то. Не иначе в колхоз прешь?!

Тихо стало в избе, слушать все стали, что Ероха ответит. Кое-где разговаривали еще, но вовсе тихо.

Ероха сказал:

— Я и без колхозу сроду был пролетарский крестьянин. Кого еще от меня надоть?

— Ты не хвастай породой-то от сохи! — будто рассердился Сема.— Один мужик вон хвастал-хвастал — после на его поглядели, а он уже на ладонь буржуазной шерстью обросший!

— И что же это за шерсть по ём пошла?

— Несознательность всякая. Исть-пить захотел каждый день досыта.

— Ты скажи, что выдумал! Это не иначе ему классовый враг внушение сделал. Ну, а ишшо?

— Захотел — что сробил, то, дескать, и мое!

— Его, поди-ка, да-алеко за болото выселили?

— Дальше-то некуда...

— Ну — ишшо бы! Так ему и надоть, падле!

— Ясное дело. Все несознательность деревенская. В городе вот — этакой несознательности да-авно уже нету...

Тут еще кто-то встрял из народу:

— Видать, срок настал нам, деревенским, в городе жить. Вплотную с рабочим классом смыкаться.

Но это уже за так прошло — никто и не заметил. На Ю-риста глядели.

Завсегда на них, на приезжих докладчиков, после такого вот мужицкого разговору интересно поглядеть.

Который вид делает, будто как есть ничего не понял — сидит и лыбится во весь свой рот. Который очень задумчивый делается, не шелохнется, не вздохнет — погружен и ничего не слышал. А другой в лице весь переменится, только что на него бы шайку холодной воды плеснуть.

А Ю-рист сидел, слушал, никак себя не показывал. Вроде ждал: «А ну, давайте, мужики, давайте!.. Настанет и мой черед!»

Такие тоже бывали. И не раз. Только после ни разу на мужицкие побасенки так и не отвечали... Будто побасенок этих не было. Будто нечаянно об них забылось.

Ю-рист ждал, а Сема с Ерохой жалобно так кругом глядели: «Не взыщите, мужики, больше у нас заряду нету... Давайте подмогу!»

И только к ним с задней лавки кто-то проталкиваться начал — Ю-рист поднялся и за красный стол полез.

Полез и все на Сему с Ерохой поглядывал, вроде грозил: «Вот я вам сейчас осрамлю принародно!» Правду, нет ли, Ю-рист этот так и делает? Все другие, бывало, — сначала о мировой революции, после о союзе рабочих и крестьян, еще после — о классовой борьбе, а под самый конец — о крестьянах. На побасенки же отвечать у них и вовсе времени не оставалось.

А тут Ю-рист сел за красный стол, бечевку от очков повертел и сказал:

— Ерофей Иванович и Семен Петрович, начали вы между собой интересный разговор, и за это вам спасибо! Мне остается разговор этот продолжить...

Видать было — Сему с Ерохой в жар бросило: знал он уже их по имени-отчеству...

— Значит, так вы сказали: есть-пить всегда досыта хотел человек и еще получать все, что сам заработал, и за это его сослали? Так я понял?

Кто-то крикнул погромче:

— Шутковали между собою мужики! Нечто — и это по декрету запрещенное?

— Почему же запрещенное? — спросил Ю-рист. — Ни в коем случае! Я для себя хотел узнать: если шутка — и я пошучу, и только. Если всерьез — и я должен отвечать серьезно... Как хотите, так и будет!

Сам на Сему с Ерохой глядит. Те смешались пуще. Народ им не подсказывает — дело ихнее. Заставь их признаться, что всерьез говорили побасенку свою, — кто его знает, как Ю-рист дело повернет. Ю-рист ведь Следователь.

— Мы, — сказал Сема Фофанов, — мы что же... Мы, сказать, как все. Как все, так и мы.

Засмеялись в избе, а кто-то рассердился, видать.

— По правде — надоть на сурьез повернуть дело. Дело и вовсе не шутейное!

На этот голос другой ответил:

— Помалкивай, знай. Не ты за ленок взятый!

Еще кто-то надумал дело совсем запутать, чтобы Сему с Ерохой выручить, и заорал диким голосом:

— Почто пролетариев всех стран в одно сгоняють, а мужиков — нет?! Нечто нельзя мужика тронуть? А ежели я поперек всего хочу с германцем в один колхоз записаться?!

— Значит, шутить будем? — спросил Ю-рист, но ему сказали:

— Мы энтому германцу в своем колхозе должность определим: на луну брехать.

Ероха же на Сему еще раз глянул и махнул рукой:

— Давай, товарищ докладчик, на сурьез!

— Вот вы, Ерофей Иванович, — спросил тогда Ю-рист, — вы об этом тоже мечтали всегда, чтобы сытым быть и обутым?

Ероха смешался, Ю-рист ему сказал:

— А я точно знаю, Ерофей Иванович. И могу вам подсказать: во сне видели себя богатым, будто три лошади у вас, а то и десять...

— Десять не было сроду!..

— ...и свои лошади, и еще соседские тоже будто бы вашими стали. И сами вы работник, и еще наняты работники у вас будто бы в хозяйстве. Вот так... Не спорьте — так. И, значит, мечта и цель жизни у вас всегда была одна — разбогатеть. Во что бы то ни стало разбогатеть. Но ведь богатый — он ведь всегда за счет чьей-то бедности появляется?! Только во сне вы, конечно, не додумались о том, почему ваш работник своего хозяйства не имеет? Из-за чего он к вам нанялся? Иной раз и своего соседа батраком, может, видели. Семена Петровича Фофанова не доводилось вам видеть? Своим батраком?

— Сроду не было! — сказал Ероха. — Как перед богом!

— Но ведь могло бы и в самом деле случиться!

— И не могло бы вовсе!

— А случилось — вы что же, отказались бы? Не стесняйтесь. Потому что и наоборот вполне могло быть: вы бы стали батраком у Семена Фофанова и он бы тоже против этого не возражал.

...Вот как он их поддел обоих, Ю-рист! А? Как он под мужиков подо всех подъехал, мастак! Вот и видать сразу: не просто следователь — Ю-рист! Даже и самому веселее, что такой Ю-рист тебя допрашивал, а не сапог какой-нибудь поношенный!

— Это верно,— говорил Ю-рист,— каждый человек должен быть сыт, обут, одет. А дальше что?

— Дальше видать будет!

— Вот это «видать будет» советская власть навсегда в свои руки взяла. Чтобы у людей не было желания сделать соседа своим батраком, чтобы жить по справедливости. А кто против справедливости?— Помолчал Ю-рист...— Никого нет? Несправедливую мысль на народе высказать трудно. Она один на один с нами ютится. Все-то вместе мы лучше, чем по отдельности каждый.

Ю-рист из-под стекол на Степана будто бы поглядел. А может, показалось только...

— Мечтали о богатстве... Но ведь и о справедливости тоже. За нее мужики боролись, восстания устраивали. В Сибирь от помещиков убегали. В Сибири воевали с Колчаком. После всего этого какой же мечте ход дадим — той или этой? О батраках или — о справедливости?

Говорил Ю-рист негромко, руками не размахивал, кулаками об стол не стучал. Присмирели мужики...

А Степан к Ю-ристу боком сидел, и слова эти его тоже вроде бы сбоку обходили. Слов хороших много научились нынче говорить, а дела? Завтра ты ко мне, Ю-рист, из-за Ольги Ударцевой обратно будешь прискребаться? А когда ты о зерне заговоришь, чтобы я последнее отдал?.. Уговоры все. Все-то нынче друг дружку уговаривают: городские — мужиков, мужики — баб своих, а бабам на долю уже скотина остается... Клашка тут недавно корову доила, корова смиренная-смиренная, а взяла, да и лягнулась в подойник копытом. Так Клавдия ее сколь тоже уговаривала, после пригрозила в колхоз отвести... И опять было, как тот раз на допросе: Ю-рист к нему подход искал, с той, с другой стороны заходил, а Степан глядел зорко — не проворонить бы, не дать себя словами опутать.

— Возражений против справедливости нет...— говорил между тем Ю-рист.— Кроме одного: почему это никому другому доля такая не выпала, как нынешнему мужику? И воевать — ему. И голодать — ему. И вот еще первые колхозы устраивать — опять ему. Несправедливо это — все на одних и тех же?

И как он, Ю-рист этот, и в самом деле мужиков за ленки брал?! Мужики все разом охнули! Так же оно и было: кто против справедливой жизни? Никого нету! Кто против того, чтобы не самим бы ее ладить, эту жизнь справедливую, не на себе ее испытывать? Обратного никого!

— На месте мы стоять не можем. Остановимся — мировой капитал и собственный наш эмп тотчас нас назад отбросят. Мы сами себя назад толкнем, если сегодня же решительно не уничтожим наше стремление к наживе, к личному богатству. Так история нам говорит.

— Туды-т ее, историю!— вздохнул Пётра Локотков.— Хоть бы без истории сколь пожить! А то она все наперед тебя лезет...

Степан с Пётрой согласился... Вдруг — когда это он успел, Ю-рист? — уже о скотине разговор ведет:

— ...издавна в русской деревне выпасы были общественные и скот пасли тоже сообща. И получалось гораздо лучше того, если бы каждый хозяин сам по себе пас. Значит, и дальше надо искать, что же можно делать всем вместе, коллективно?

— Корова-то, однако, молоко несет своему хозяину, а не чужому! — снова подал голос Локотков, а Ю-рист ответил:

— Но если вы хотели молоко продать и городские товары получить — вы несли его на маслодельный завод. А чей это был завод в Крутых Луках?

— Ничей... Сказать — общественный!

— Опять пришли к общественному! И посмотрите — какие сильные маслодельские союзы у нас появились? Животноводческие товарищества? Куда же мы идем? В какую сторону?

«...Обратно пришли к Печуре Павлу, — подумал Степан, — потому что до колхоза Печура был в Крутых Луках казначеем союза. Вспомнить, так долго очень спорили, кого выбрать, а после разом решили — Печуру. Он идейный, ему красть-воровать никак невозможно! И пришел Печура два потайных кармана к своей драной лопотине: один правдишный, а другой ложный, керенскими и колчаковскими бумажками набитый. Даже на ночь он ту лопотину с себя не сбрасывал. В город ездил платить за товары, так на него никто не мог и подумать, будто он при деньгах... Но — обратно спросить — какой Печура Павел мужик? На Печуре Крутые Луки держатся? И государство все?» Поискал Печуру глазами, а он — вот он! — сбоку и позади через ряд. И тоже — глаз со Степана не спускает, и кивает ему головой лохматой, и просит, просит о чем-то с души с самой... Отвернулся Степан от этого взгляда...

— А магазины? — дальше спрашивал Ю-рист. — Хлебные магазины? Ведь ссыпали в магазин с каждой десятины посева, а раздавали в голодный год по едокам? Опять — общественное и опять справедливое дело. Посмотрите на себя, где вы все вместе, там соблюдаются интересы каждого, а не отдельного хозяина. А супруги устраивали? А помочи? А школу строили или вот эту избу-читальню?

И вдруг из угла голос Нечая Хромого донесся:

— Ты гляди — жизнь-то какая у нас была хо-орошая! Мало все нам — от добра-то добра ищем!

Кто-то из мужиков даже по-бабьи взвизгнул, а Нечай еще не кончил, еще сказал:

— Или жизнь-то нам нипочем, нам история нужна? Так она, история-то, тоже, поди-кось, не кобыла, чтобы ее туды-сюды дергать?

Глядеть стали на Ю-риста, а что он теперь скажет.

Он сказал:

— Советская власть дает деревне машины. Из русской отсталой деревни она самую передовую в мире хочет сделать. Без машин этого не сделаешь. Никогда! А кто машину приобретет? Кто богатый? Значит, советская власть богача сделает, сама же батрака ему подарит? Помещиков в Сибири не было — будут. И только колхоз, владея машинами, никому не принесет разорения, а человеческую жизнь — всем. Это ленинский план кооперации! Вот это — история!

Тут опять голос подали:

— План-то есть — Ленина-товарища нету...

А Степан подумал: то же самое толковал о машинах в мастерской Митя-уполномоченный. Или сговорились они с Ю-ристом? Или знали, что от машины Степану который раз куда больше тревоги было, чем от коней? Спрашивал себя уже не раз Степан: «Кто еще в Крутых Луках машину так же чует, как я?» Он первую сноповязалку в Шадрину ездил глядеть, а когда в Крутых Луках и на Овчинниковских заимках тоже сноповязалки эти появились — убежал от них прочь, не дразниться чтобы, не зариться, не проситься на машине круг какой проехать хотя бы и на запятках где... Но об этом он с Клавдией даже не говорил. О чем говорить-то?! Жизнь бы прожил, а дальше самосброски в хозяйстве своем не пошел! Сроду!

Машина не конь. От коня хлебом пахнет и потом, его по холке потрепал — и мнится уже, будто таких же вот ласковых, понятливых три у тебя, пять — того больше.

Машина молчит, к тебе не льнет, а все равно спрашивает: «Сколько посева сеешь, чтобы расчет был меня купить? И сколько ты заплатишь»

можешь за меня?» И тут ясно и понятно: принадлежать она тебе вовсе не должна... А глаз ты с нее все равно не спускаешь. И запах ее железный — все равно чушь.

Допрос Ю-рист снимал со Степана — Степан так-то не заморгал, не захопал шарами, ровно мальчонка какой. А тут убил-таки Ю-рист его! Виду хотя бы не показать, что убил. Сказать бы Ю-ристу поперек! Крикнуть бы что?!

И скажет. И крикнет.

«Хорошо обещаешь, Ю-рист?! Так по-хорошему его и делай, хорошее. А иначе где-нигде мы с тобой сшибемся, где-нигде, а надо будет против тебя выдержать. Не выдержишь — ты и в самом деле, как ту негодную кобылешку, меня вожжами задергаешь. После объясняй: из-за хорошего задергал либо из-за плохого?!» Сегодня отступи перед ним, перед Ю-ристом, а завтра он обратно что выдумает? А в пятницу? А в субботу?

И хотя убил Ю-рист Степана, но только не насовсем убил, голову с него не снял. Голова покуда еще своя у него.

Сидел Степан и ждал... Ждал, когда о семенах Ю-рист спросит. Дышать в избечитальне вовсе невозможно стало, однако дышали.

Лампу под потолком засветили.

При лампе разглядел Степан: сразу за Печурой Павлом сидел Митя-уполномоченный. Приехал, значит, и в самом деле в Крутые Луки Митя, но к Степану на квартиру не зашел, баульчик свой фанерный не взял. Узнал, видать, что Ольга у него в доме, и не захотел прийти...

А за Митей еще одного разглядел Степан человека, не сразу признал. А это Корякин был. Корякин, из крутолучинских мужиков, самый был первый председатель комбеда. После пошел и пошел по службе. Уже и не мужик, а начальник. Уже в Крутые Луки пожаловал если — так не для того, чтобы, скажем, по сено за реку ездить. Тужурка на нем не то чтобы новая, но городская. И личность стала не мужицкая: безбородый, и глядеть на него — очень строгий. Замученный еще... Верно, по деревням ездит, из кошевки не вылезит. И молодой ли, старый ли — не сразу поймешь.

Вот оно, какое собрание-то нынче — Корякин здесь. Этот зря не приедет. Нет. Будет что-то, если Ю-риста мало одного и Мити-уполномоченного мало, а еще приехал Корякин!

Был Корякин головастый, но только вовсе не по-мужицки слаженный.

Он и в партизанах был долгое время, с Пятой армией ушел Колчака окончательно воевать, после ходил еще на Врангеля, а вернулся — бабу свою постриг под мужика, картуз на нее надел тоже мужичий, и пошли они вдвоем в таком виде агитировать против бога, против кулаков, против попов. По деревням ездили и показывали между собой равенство, какое должно быть при новой жизни. Верст на сто в окружности Корякин этот всех попов объехал, спорил с ними принародно — есть бог либо нету бога, и сказать надо, боялись попы его хуже черта рогатого.

На тракту, за Шадринной где-то, стреляли в них сразу с двух обрезов, но они живые остались и своего не бросили. И не то что говорун бы какой, а больше ничего — любую крестьянскую работу мог Корякин руками делать, но вместо того он книжки читал и бабу читать учил. Дружбу же водил в Крутых Луках с Печурой с Павлом.

Когда уехал в город насовсем, Печура постарел враз, руками стал с той поры махать шибче и говорить громче. Переживал, что без дружка остался.

И хотя живет Корякин в городе уже долгое время со своей стриженной бабой — сквозь мужика он глядит по сю пору. Это не Ю-рист, он, к примеру, про кошку спрашивать не будет и об том, как ты газетку читаешь

и мясо ешь ли каждый день — тоже нет. Про твою жизнь у тебя не спросит, он ее сам знает.

И давно он задумал жизнь эту на другой лад повернуть, и нету слова того, чтобы Корякину стало поперек: он враз перешагнет.

Это вовсе не надо глядеть, что человек, как все,— силы в нем без конца... И еще у него власть.

Вот оно какое — собрание нынче...

Так...

Ну что же, поглядеть надо. Подождать надо. И хотя верно, что тошно уже в помещении от дыма табачного, надо еще закурить...

Ждут все...

Каждый по-своему ждет... Один — слов еще от Ю-риста об справедливости ждет, другой — когда собрание кончится. Печура Павел от Степана чего-то ждет, а Степан — когда о новом плане посева речь пойдет, о семенах...

Уже о пожаре сказал Ю-рист, о классовом враге. Ладно...

О Степане Чаузове сказал: сил Чаузов не пожалел, чтобы семена спасти. Ладно...

— И вот,— сказал Ю-рист,— люди сознательные, люди, преданные нашему делу, колхозному строю, я думаю, подадут пример — из своих личных запасов пополнят семенной фонд колхоза. Для обеспечения нового плана сева.

Замолчал...

Он замолчал, и никто не говорил... Лампа под потолком мигала, мужики под лампой сопели.

— Пуд! — сказал Печура Павел. Он поднялся с лавки, стоял и руками шапчонку свою, воронье гнездо, вертел и мял. Будто не от себя пуд отдавал, а Христом-богом у кого-то вымаливал. Правда что, вот-вот на колени готовый был упасть.

— Надоть, мужики, бабам наказать, чтобы они не кормили печуровских-то ребятишек, куска не давали им,— сказал кто-то.— Пуд-то Печуре вовсе лишний!

А это дурак какой-то сказал, больше никто. Голоса не разобрать — чей такой? Это хуже бабы мужик сказать мог, не иначе. Не хочешь от себя отдавать — не отдавай, но и Печуру попрекать не смей. И ребятишки его здесь ни при чем. От попрека этого в горле заскребло.

А Печура еще раз сказал:

— Пуд!

...Э-эх, Печура, Печура!.. Как бы скинуться вот сейчас по пуду всем, по два и по три даже, а после знать, что никто хлеба твоего больше требовать не будет! Поперек колена никто тебя ломать не вздумает!

Ю-рист тоже за столом стоял, очки дергал. Вдруг обернулся и прямо к Степану:

— А теперь хочу спросить Чаузова: если Печура вносит пуд, сколько он может внести?

Поднялся Степан. Постоял. Поглядел.

— Ни зернышка! — И снова сел.

— Вопрос у меня есть к гражданину Чаузову...

Степан оглянулся, а это Корякин ставит вопрос. Молчал, молчал и вот заговорил.

— Вопрос такой: Чаузову есть чем кормить жену классового врага и поджигателя с тремя ребятишками. С тремя! А внести в семенной фонд колхоза у него и зернышка нету. Как это понять? Как объяснить? Гражданин Чаузов?

Подумал Степан, как ответить.

— Потому и нету, что едоков прибавилось. Подойти как следует — с меня на семена-то и в самом деле по этой причине не каждый спросит. Которому и стыдно будет спросить. Об остальном товарищ Ю-рист с меня допрос уже сымал. И все у его в бумагу записано.

— Значит, ни зерна? — еще спросил Корякин.

— Ни единого...

Кончилось собрание. Пуд один был на семена записан.

Мужики ушли, двери распахнули, холодом с улицы потянуло. Печура Павел поднялся на скамью, лампу снял с потолка и поставил ее на красный стол. Сам чуть в стороне сел на табурет, обе руки запустил в лохматую свою голову.

— Заседание тройки по довыявлению кулачества считаем открытым! — сказал Корякин. — Пиши, Дмитрий, протокол...

За столом сидели Корякин, по одну сторону от него — Митя-уполномоченный, по другую — следователь.

— Ну? — поглядел Корякин на того и на другого. — Какие еще будут соображения по Чаузову? Вопрос ясен? Пиши, Дмитрий: «Постановили...»

— Товарищ Корякин, — сказал Печура, подвинув табуретку чуть ближе к столу, — не ошибиться бы, товарищ Корякин... Вот он видишь как — не дал зерна, а сам-то, может, и больше значит для колхоза, чем зерно его?.. Вы же его знаете, Чаузова, на одной улице жили с им, товарищ Корякин. Его бы только в работу как можно скорее, а после он уже себя покажет! Он не тот вовсе будет... и как мы колхозникам объясним? Перекошу как бы не было с нашей стороны, товарищ Корякин. Перекос человеку сделать на всю жизнь — это легко. После того трудно бывает...

Корякин поднял удивленное лицо.

— Какие могут быть объяснения? Неясный вопрос? Хвалят тебя в районе, товарищ Печура, хвалят все как передового, а оказывается, тебе до оппортунизма — один шаг! Да, знаю я Чаузова Степана, знаю вот с таких лет! — Показал чуть-чуть над столом. — И скажу: если бы советская власть его не остановила, он бы кулаком вот каким стал!

— Но ведь остановила? — спросил следователь, не поднимая головы и подкручивая фитиль мигающей лампы. — Все-таки остановила? Для чего? Чтобы потом снова в кулаки зачислить?

— Всю жизнь за ним следить и его останавливать невозможно. Для него никогда и бедняк-то человеком не был. Это сегодня и сказалось. Проявилась его собственническая сущность.

— А жену он взял из самой бедной семьи. Не ошибаюсь я? — спросил следователь.

— Нет. Не ошибаетесь, — ответил Митя. — Но она никогда не забывала о своей классовой принадлежности. Она влияла на мужа положительно. Хотя, должно быть, этого влияния оказалось недостаточно.

— Вот именно, — подтвердил Корякин. — Жена не могла повлиять, ты, что ли, Печура, возьмешь на всю жизнь за него ответственность? Он жену-то погубил. Активисткой могла бы стать. Женским организатором. В районном масштабе или больше, а теперь?

— Да! — снова согласился Митя. — Она вполне бы могла. Ей бы среднее образование.

Следователь подкрутил наконец фитиль, и лампа засветила поярче.

— Но он же колхозник? Чаузов? Он же вступил? И не последним?

— Тем хуже для нас. Замаскировался и будет разлагать изнутри. И саботажничать, как сегодня саботажничал. Срывать любое мероприятие. Еще будем ждать таких же случаев? Или — хватит с нас?

Следователь вытер пальцы о бумажку, бумажку смял и бросил под стол.

— Чаузов воевал за советскую власть...— сказал он.

Печура вскочил с табуретки.

— Так и есть — воевал! Они с Христоней с Федоренковым шпалы повынимали из-под железки. На повороте как раз. Полный состав теплушек с колчаками ушел под откос. Такое в результате случилось крушение!

Положив обе руки на стол, следователь внимательно глядел в огонь лампы. Два огонька мерцали в стеклах его пенсне, и только за этими огоньками где-то в глубине иногда появлялись глаза, потерявшие вдруг цвет, небольшие и неподвижные. Пальцы рук следователь крепко сплел между собой и как будто не мог их разнять, а от усилий в руках и на лице его — высоколобом и морщинистом — морщины становились глубже, плотнее сжимались губы.

Корякин поглядел на следователя, встал из-за стола, прошелся туда-сюда, топая огромными валенками по скрипучим половицам, и остановился за его спиной.

— Ну? — спросил Корякин. — Ну — что еще?

— Ничего...— ответил следователь, не оборачиваясь. — Нельзя не анализировать факты.

— Знаю! — кивнул Корякин. — Для этого, для анализа, нужно высшее образование?

— Образование нужно. И вся жизнь наша тоже нужна.

— Знаю! Книжечки свои вспоминаете, которые о земском суде написали. Политическую работу среди крестьянских масс во время ссылки. Партийный стаж.

— Вспоминаю и это.

— А я скажу: вы меня и стажем своим со сталинского курса не свернете! Того больше — не допущу, чтобы и вы пошатнулись!

— Вы что, забыли «Ответ товарищам колхозникам» и «Головокружение от успехов»?

— Теперь я скажу: а в чем Сталин видит успех нашего дела? В чем успех можно видеть, если не в этом самом подходе к середняку? Будете возражать? Не будете? Правильно, потому что — диалектика...— Корякин усмехнулся, постучал пальцем себе по лбу. — Так вот — с протоколом вашего допроса я ознакомился. И сразу понял: наводили Чаузова на классовую платформу. Будто он с Ударцевым, как с врагом, хотел расправиться! И ничего у вас не вышло — он Ударцева за врага признать не захотел. Вы подумали — засудить Чаузова, дать ему каких-нибудь полгода за разорение имущества классового врага, а после пускай, мол, вернется как ни в чем не бывало?! Не вышло. И — не выйдет. Повторяю: носитель он индивидуализма и собственности. Он всегда между нами и сознательным трудящимся колхозником стоять будет. Ваш же протокол допроса начисто Чаузова обнажает. Мужики все показывают, будто Егорка Гилев подстрекателем был, когда Ударцева рушили, а Чаузова они берегут, сказать прямо — выгораживают. Смешно, Егорка Гилев — всем голова! Я на пожаре не был, но ясно себе представляю, кто за кем шел. Нынче Чаузов Степан шел пожар тушить, а завтра он пойдет колхоз рушить, и некоторые мужики его на этот случай берегут! Таких, как Чаузов, навсегда надо от масс изолировать, избавиться от их влияния. Вот вы объясняли мужикам про пастьбу, про хлебный магазин, про маслодельное товарищество. Да об этом они лучше нас с вами знают! Но я не увидел, где вы нанесли решительный удар по мелкобуржуазной сущности. Не было такого удара с вашей стороны! А ведь колхоз создаем, и атмосфера в колхозе должна быть абсолютно чистая...

Корякин чуть приподнялся на носки, потом качнулся на пятках своих огромных валенок и вдруг тихо, мечтательно сказал:

— Вот как весной капель падает — кап-кап! Кап-кап! И ничто-то ее не замутит, ни сориночки в ней нету! Будто слеза ребячья.— Погладил следователя по плечу.— Вот какую мы нынче создаем идеологию! Чтобы через пятилетку или, может, там через две мужики сами же над собой смеялись — какие, дескать, у нас были нечеловеческие устремления к частной собственности! Подумать только — зерна по три пуда на круг для своего же колхоза пожалели?! Ну, а на сегодня — борьба! И я не просто про Чаузова говорю — я действием доказал его кулацкую сущность.

— Действием? Как?! — спросил следователь.— Конкретно?

— Конкретно — я к нему одного тут мужика послал. Сказать, что Ударцев Александр его к себе ждет. Сегодня вечером на пашне и ждет. В избушке.

— Позвольте, но Ударцева здесь поблизости нет. Это мне точно известно!

— И мне — точно.

— Так... Понимаю...— Следователь поглядел на Митю, на Печуру Павла.— Так... Но Чаузов в избушку к Ударцеву не пошел! Ведь не пошел, он же был сегодня на собрании?

— Не пошел. Точно. Но ведь и мне, или, скажем, вот вам, или Печуре он же не сказал, что Ударцев здесь скрывается? Его ждет? Не признался? Не сделал этого? Пиши, Дмитрий...

— У меня есть особое мнение, товарищ Корякин...— сказал следователь.

Корякин удивился:

— То есть как?

— Я с вами не согласен.

— Ну, что же — мнение каждый может иметь. Каждый. Но не советую. Тем более вы не только следователь, а еще и уполномоченный. Совершенно не советую. По-дружески. К тому же мы — большинство, а вы — меньшинство. Пиши, Дмитрий...

Глава девятая

...Ах вы, цветики-цветочки!

И вовсе не те беззаботные, дармовые, что сами собой расцветают от солнца среди травы и хлебов, расцветают и вянут в ту пору, когда все то расцветает, все вянет, а другие — неизвестной в полях и лугах породы, безымянные, те, что нарождаются, когда убран уже хлеб и засыпан в закрома, когда вдруг поверит мужик своим глазам, на хлеб этот поглядев, поверит своим рукам, хлеб этот пощупав, а за тем вслед вспомнит и о цветочках этих... Вспомнит и призовет к себе в избу художника-маляра с двумя, а то и с тремя банками пахучей краски, подернутой глянцевой, этакой вкусной корочкой, с двумя, а то и тремя кистями и с трафаретом...

И велит хозяйке маляр-художник налить в кошачью или какую другую черепушку керосину, чтоб отмочить в нем засохшие свои кисти, и разукрасит ими дверь, а то и полати, а то еще и по кромке печи наладит он цветов, а то и на дверях, и на полатях, и на печи сразу... Мало того, если сверх договора поднесут маляру-художнику косушку — он на память еще и на табуретке, на которой сидел, косушку в рот опрокидывая, тоже цветики изладит...

И живут после те цветы в избе лето и зиму, слушают избу днем и ночью — все ее шорохи, все ее слова и песни, и вздохи, и крик ребячий, и

ругань и даже — кто о чем в избе помечтал, они и это слушают... И все-то они знают, как люди здесь рождались, как умирали...

Чего только не придумал человек: скотину домашнюю, заводскую машину, икону. Воевать придумал между собой, бить друг друга смертным боем, а вот меры своим тревогам, думам своим не установил... Нету им никакой меры, а коли хочешь об ней догадаться — гляди и гляди на те цветочки, они будто бы ее знают.

В избе Степана Чаузова они на дверях были нарисованные, цветики,— голубые по темно-красному и еще красные по голубому на матке через всю избу протянулись... И похоже было, что вот жили в Крутых Луках мужики с давних-давних пор, с далеких времен — чуть что не с самого Ермака, вольные мужики и беглые с уральских Демидовских заводов, с российских волостей и губерний, и все они копили и копили думы о мужичьей своей жизни, от прадедов к правнукам тянулись те мысли и дотянулись они до этой вот двери, до голубой с красными цветами этой матки... Дотянулись они сюда, и ты, Степа Чаузов, решай, что она такое — мужичья жизнь? Что она? Куда ее свернуло? Как ею и дальше жить? И — жить ли?

Долгое-долгое утро было в четверг, когда сидел и молча всматривался в цветочки эти Чаузов Степан.

Свои ребятишки одетые уже сидели на узлах, а Ольгины — с печи глазами пялились. Понимали, нет ли, что произошло? Своих Клашка молоком напоила прямо из ковшика: «Когда-то еще молочка попьете теперь? От своей-то коровы, может, и в жизни никогда не придется?!» Они пили — она их еще заставляла пить. Теперь сидят — одурели вроде с молока...

Клавдия с Ольгой еще одно, последнее рядом зашивали с барахлишком, торопились, ревели обе молча.

А Степан, на них не глядя, пошел по дому с плоскогубцами — где бы чего оторвать нужное?

От ухвата черенок оторвал, от коромысла — крючья, шпингалеты были на окнах — их тоже снял. Кольцо на западне было — кольцо вывернул.

Деревянное — все можно самому сладить, а железки эти хоть и не мудрые, но после локти будешь кусать, что не догадался их прихватить.

И даже вроде печалиться некогда было. Не до того было. Злость там или еще что такое — это на после, чтобы после за свою судьбу кого-то ругать, а не себя: сам все сделал правильно, как мог, так и сделал, другого ничего придумать нельзя было.

Встал на табуретку, принял ся крюк из матки вырывать. Матка крепкая была, он ее сам ставил и сам бревно для нее выбирал когда-то, чтобы ни трещинки в бревне не было, она крюк держала цепко, гудела вся, краска голубая с нее сыпалась, а крюк едва подавался... Степан уже и кочергу согнул, вырывая ею крюк, и самого от натуги в пот кинуло...

Это сколько же годов тому назад крюк был кузнецом скован, если и Степан-то сам в той зыбке качался, которая на крюке висела? А вспомнить, может, и отец Степана тоже сосунком, на спинке лежа, из зыбки на крюк этот глазенки пялил?

Спать бы избу свою сейчас, керосином бы по углам плеснуть — и спичку туда, а вместо того крюк из матки вырываешь.

Клавдия одну икону, самую малую, темную, еще матерью ей подаренную, за пазуху себе сунула...

Может, еще и не все на подводу погрузят, что бабы зашили. Может, по дороге, пока доставят до места, что бросить придется. И на этот случай Степан велел бабам одежду на взрослых зашить отдельно. С одежей мешок бросить можно будет вперед всех других, обойдутся и тем, что на

себе, опять же работники — они везде нужны, и голыми-босыми работников не оставят, а вот чем они будут есть-пить, чем горячий чугунок будут брать — ухватом либо рукой голой, чем избу снутри закинут от чужих людей — это никому не интересно... Жить надо будет... Вот Ольга Ударцева живет. Без слезинки. А — баба.

Сколько оно будет, болото это, от Крутых Лук? Пятьсот верст? Тысячу? Так нечто за тысячу верст за городом Тобольском Степан Чаузов не мужик уже? Не работник и не жилец? Ребятишкам своим не кормилец?

Зашили последний узел бабы. Сами оделись. Разоренную избу оглядели. Снова Степан поглядел на дверь, на цветочки голубые. Дверь эту навешивал — думал: его стариком древним сквозь нее ногами наперед вынесут, а вот — сам выходит прочь... Живой в роде.

Цветики вы, цветочки...

На прилавке Митя-уполномоченный сидел, молчал, не хотел, чтобы замечали его. А его и не замечали. Сам об себе пусть заботится, какой из него человек выйдет.

Одной только Ольге Митя мешал. Видать, она говорить хотела со Степаном, а Митя ей мешал. А что нынче говорить, если по сей день ничего между ними сказано так и не было?

Нынче уже поздно.

Не забыть бы чего, еще какой шпингалет...

Митя посопел у печки и вышел. Уполномоченный он, при службе. Может, и совсем ушел бы, да нельзя.

Только вышел Митя — Ольга перед Степаном на колени пала. Ее дом рушили — молчала, а тут заревела на всю избу, затрясло ее, руками за Степановы ноги хватается:

— Через меня все случилось, Степан Яковлевич! Прости ты меня, Степан Яковлевич, и ты, Клавдия, бога ради прости! И ребятишки ваши вырастут — пусть не поймут, будто знала я, как случится, когда в дом ваш взошла!

Степан ее с полу сорвал, на ноги поставил:

— Ревешь бестолково. Не корова ведь... Кто тебя упрекает?

Ольга глаза подолом протерла, тихо заговорила и торопливо — вот-вот Митя-уполномоченный мог вернуться:

— Не хотела я после той ночи к Ударцевым, к родственникам, пойти. Они же не люди, хуже зверьев! Деньги у их и золото, а деньгам ходу власть не дает, вот и озверели. Об деньгах своих день и ночь шептались, хворь их брала от забот, а я боялась тех денег коснуться, слова об них услышать страсть боялась! Они потому и взяли меня с тракта, со степей с самых, чтобы я в Крутых Луках чужой была, не сказывала бы никому об их жизни... После пожара я почему к вам пошла? Думала — они везде меня достанут, а Чаузова Степана побоятся. Тебя тронуть, Степан, не просто: объяснить же людям нужно, за что и как?! Ежели зря — то и обиду за тебя люди не простят... Так я думала-то. И обратно от Печуры от Павла к тебе уважение видела, от Фофана Кузьмы... Клавдия, какими слезами мне плакать перед тобой?!

Уже и на цветы бы не глядел Степан, которые на дверях нарисованные, и на Ольгу. И на Митю-уполномоченного не замахнуться бы, как он снова в двери войдет...

Уже времени-то осталось ничего в своем доме побыть, а все еще людям то ли от Степана что-то надо, то ли они ему что-то хотят объяснить? Он тоже хотел было сказать Ольге, что Александр ее тут где-то бродит, вокруг Крутых Лук. а только для чего ей об этом знать? Он, может, Александра-то, и видеть ее не хочет, повоет, как пес бездомный, шелудивый. и убежит. Ей от того радости немного...

Промолчал... Скорее бы побросать в сани узлы, сундучишко, ребятишек, а после того все уже не в твоей власти. Куда повезут, что с тобой будут делать — дело не твое. На месте будешь за болотом — вот тогда уже снова за жизнь хватайся, за невеселую землю, за избу какую-никакую... Вернее всего, с землянки начинать придется...

Сказал Ольге:

— Ну, отдал бы я вчерась зерно, а дальше что? На другом бы на чем не уступил, не так сказал бы. И в аккурат — то же на то и вышло бы...

Может, и еще что сказал бы, но тут Митя снова в избу вошел. А это-то что обратно надо? У него какие слова в горле застряли?

Он видишь что надумал — глазами в Клавдию уперся и тихо так называет:

— Клавдия Петровна!

Та не услышала — не до него ей. Он снова повторил:

— Клавдия Петровна!

— Ну! Кого тебе? — спросила Клавдия и, как сидела за столом, рук от лица не отняла...

— Вы, Клавдия Петровна, поскольку происходите из совсем другой классовой прослойки, могли бы заявление подать... И заявление могли бы рассмотреть положительно. И вас в Крутых Луках оставить. Даже вместе с детьми.

Она не сразу поняла, о чем Митя-уполномоченный говорит, а когда поняла, руки отняла от лица, поглядела на него:

— Кутенок ты разнесчастный! А я-то за тобой ходила, на стол тебе подавала, портки твои штопала, и все зря. Неужто зря?! Души в тебе ничуть не прибавилось? Степан вот пришибет тебя сейчас, кутенка, а я и слова не скажу — пушай пришибет!

Отвернулась.

А Митю в ту минуту правда что взять бы за ноги и головой об пол...

И не жалко. Своих ребятишек пожалеть надо было — как раз через это они и вовсе могли бы без отца остаться.

— Я, Клавдия Петровна, — проговорил Митя, — считал долгом вам об этом сказать. Не мог не сказать.

Шпингалет надо еще один отвинтить. И крюк от зыбки...

Нечай Хромой пришел в тулупе, с кнутом.

Пришел — сказал:

— Собрался, Степа? К новой жизни?

— Давай понужать, чо ли...

Нечай избу оглядел, на печку сунулся — может, нужно что оставлено. В ограду вышел. А когда вернулся, ящичек принес небольшой с гвоздями-пятидюймовками.

— Ты как же это, Степа, а? Забыл? С этих с гвоздей, может, как раз тебе и начинать все приведется?.. А я, слышь, сам назвался тебя на станцию отвезть. Сам. Кто-никто повезет, а коли так — пушай я. Соседи мы. И дружки обратно. — Помолчал, у Мити спросил: — А вот скажи, уполномоченный товарищ, — правда ли, будто Чаузов Степан, крутолучинский мужик, кулак и людям вражина?

— Нет, — сказал Митя. — Чаузов — кулак не настоящий.

— А почто же ты его высылаешь по-настоящему?

— Переделка всей жизни, товарищ Нечаев. И люди разделались на два противоположных лагеря: одни — «за», другие — «против». А кто-то еще и посередине. И такого вот среднего самый какой-то ничтожный случай может толкнуть туда или сюда. Здесь — такой случай. Он.

— А ты себя по случаю сослал бы за болото? Себя — не Чаузова! Глянется тебе так-то? Себе перекося сделать?

— А я не боюсь, товарищ Нечаев...— ответил Митя.— Я ничего не боюсь — что меня кулак убьет или еще хуже — советская власть за кулака нечаянно примет и за болото сошлет. Лес рубят — щепки летят... Я честно служу делу.

«Ты гляди, однако, какой он парень — этот Митя?» — подумал Степан, но какой он — так и не ответил себе. Глянул на Клавдию.

Из-под шали, опущенной на брови, она тоже кинула взгляд на Митю.

— О честности говоришь?! Честное-то правдой дается, не разбоем!

— Разбой — это, Клавдия Петровна, для себя, для личного обогащения. А здесь — борьба за светлое будущее. Ваши слезы — последние слезы. Может быть, еще пройдет лет пять — потом классовой борьбы у нас не будет, установится полная справедливость. И слез не будет уже. Никогда!

— Понятно как объясняешь...— вздохнул Нечай.— Вовсе понятно. Только сильно торопишься. Но ты не гляди, будто вот я, к примеру, седой да хромой... Такие и живут на земле — ни война, ни голодуха их не берет. Живут и обещанное помнят... Ну — понужаем, что ли?

Ольга на крыльцо выскочила в полушалке в Клашкином, а ребятишки ее — кто в чем, меньшей и вовсе босиком... Как получилось: Ольга в дому осталась, а Чаузовых уже в нем нету?! Долго ли только Ольге в чаузовском доме поживется? Едва ли долго... Может — неделю. А может — час какой...

Полкашка головой своей нескладной туда-сюда по ограде тыкался. Его на цепь закинули, чтобы за хозяевами не увязался.

Вещички в пароконные розвальни побросать — одной минуты дело. Тронулись... Свои, деревенские, у ворот стояли. Баба взвыла какая-то — на нее прикрикнули:

— По живому ревешь, будто по покойнику. Замолчь, а то как раз и сбудется. И за болотом, поди-кось, земля!

Капель была — первая в году. С крыш сосульки нависли, и капли — крупные такие — в наледь на земле ударялись, звенели: кап-кап! Кап-кап!



Шестого февраля 1964 года Аркадию Кулешову исполняется пятьдесят лет. Редакция журнала «Новый мир» сердечно поздравляет поэта, желает ему здоровья, счастья, новых творческих успехов.

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

С белорусского

* * *

Я всем обязан матери — пропискою
В родном дому, в ее большом роду,
И зыбкою, по-нашему колыскою,
И деревянной ложкою, и мискою —
Всем, чем обязан дом ее труду.

Я — ласковый напев. Я — крик тревоги.
Я — вдовий гнев, что жег в лесах костры
И смерть на запад гнал — к ее берлоге,—
Тротиловым бичом ломал ей ноги.
Дымились всех семи фронтов дороги
За мной, как динамитные шнуры.

Я, прекративший вой сирены режущей,
Не допущу, чтоб атом все сгубил,
Вновь землю превратив в бомбоубежище,
Миллиард прописок — в прах, в посмертный список,
Миллиард колысок — в миллиард могил.

* * *

Полынь токам и мельницам чужда.
Ей родичем приходится нужда
Голодных жней, что от груди своей
Отваживали горечью детей —
Пускай скорей на слабенькие ноги
Они встают, спеша перешагнуть
Курных избенок битые пороги.

С полынью той и я прошел свой путь
От первого младенческого шага
По хате — до развернутого стяга,
Что вел меня огню наперекор.

Полынь... Я благодарен ей с тех пор.
Полынь — в ней слезы матерей, в ней горе
Сиротства, детства зябнувшего дрожь
И горечь молока. Ту злую горечь
С губ никакою жаждой не сотрешь.

* * *

Круженье листопада в первый снег
Вновь превратится — всё в природе рядом.
Я словно бы команду парадом
Двух вражьих сил у пограничных вех —
Сраженьем снегопада с листопадом.

Я — повелитель всех дорог и рек,
Регулировщик карусели этой,
Как будто не пронесит над планетой
Меня листком, снежинкою, ракетой
Сквозь толщу атмосферы бурный век.

В круженье лет песчинкой на планете
Я был, зерном и пылью на току.
Двадцатый век стареющий наметил
Мой крайний срок. Но назло старику
Природе руки протяну вот эти
Из нашего
в грядущее столетье.

Авторизованный перевод Якова Хелемского.



В. АЛАТЫРЦЕВ

* * *

Да, мы жестоки были на войне.
Да, мы врагу
За смерть платили смертью;
Там, под угрозой гибели, в огне,
Не оставалось места милосердию.

Воюя с теми, кто занес тогда
На нас, на наше будущее руку,
Постигли мы
И ратного труда,
И ненависти страшную науку.

И беспощадны были к силам зла,
И шли упрямо к торжеству победы,
Чтобы сегодня и всегда жила
Под мирным небом молодость планеты,
Не падала под пулями в огне,
Не бинтовала в медсанбатах раны...
Мы не жестоки были, а гуманны,
Врага уничтожая на войне.



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК

★

СТИХИ О ДОМЕ

Благовещенск

У города хороший вкус.
Он не гигант, сказать по чести,
Но каждый дом
И каждый куст
В нем удивительно на месте.
Давно подмеченный закон
Здесь с новой силой поражает:
Кто строит город над рекой,
Реке невольно подражает.
Двенадцать лет я прожил здесь.
На зорьке ранней, ночью поздней
Я исходил в нем все, как есть,
Шагами он измерял весь,
Но и на треть еще не познан.
Бежим на запад,
В города,
Где и привольней и красивей.
И не понять — какую силой
Опять приводит нас сюда.
Что гонит в дальнюю дорогу?
Быть может, жажда тишины,
Той первозданной старины,
Которой здесь не так уж много?
У города свое лицо.
И город это понимает.
Но беспечально и легко
Он новостройки принимает.
Стараясь сердце не душить,
Покорно следует за веком.
С ним, как со взрослым человеком,
Легко работать и дружить.
О пристань верная моя!
Устал ли, просто ль нос повесил,
Едва к тебе причаляю я —

И снова жив.
И снова весел.
До юности подать рукой.
И даже возраст не мешает.
Кто строит город над рекой,
Реке невольно подражает.

Язык

Опять скорблю, опять горюю
В своем далеком далеке.
Послушайте, как говорю я
На украинском языке.
Я без него так голодаю,
Так мысль моя изнемогла!
«Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатину край села».
Что эти звуки?
Эти звуки,
Как бег волны,
Как звон струны,
Моей любви, моей разлуки
И немоты моей полны.
Язык!
В крови твои начала.
Что мне хранить и как беречь,
Чтоб через все во мне звучала
Твоя живительная речь?
Чтоб, как плоды, набухли строки
Высоким смыслом естества.
«Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива».

* * *

Ты мне когда-то рассказала,
Как трое суток голодала.
И как тебе ужасно не везло.
Хитро по-детски расставляя сети,
Ты в гости шла.
Но при тебе соседи
Обедать не садились как назло.
О женщина,
Беспомощность твоя
Всю душу мне тогда перевернула.
И я простил тебе все, в чем ты обманула
Меня.
Побег твой в дальние края,
Тот странный день, когда ты вдруг проснулась
С мечтами о себе, а не о нас,
И то, что ты к другому потянулась,
А все меня держала про запас...

Не ты, а я перед тобой в долгу.
 За каждый грех твой я один в ответе.
 Преступными ведь не бывают дети.
 И если ты попросишь —
 Прибегу.
 Сквозь все пройду, другим, себе солгу,
 Но допустить вовеки не смогу,
 Чтоб ты одна осталась вдруг на свете!

Моим румынским друзьям

Есть в Румынии поэт Аргэзи.
 Наизусть стихов его не знаю,
 Но одну-единственную строчку
 Я теперь все чаще повторяю
 С радостью внезапную и жгучей:
 «И вот столкнулись боль и случай...»

В чужой земле живи я целый век,
 Все бы твердил, как на случайной станции:
 «Здесь я один нормальный человек —
 Все остальные люди — иностранцы.
 И сколько жадным сердцем ни вбирай,
 Сотрется все, как след звезды падучей».
 Но вот сошлись внезапно боль и случай,
 И полюбил я этот край.
 В полях его,
 В лесной его глуши
 Оставил я кусок своей души.
 Друзья мои, в далекой стороне
 Нельзя ль страдальца вылечить от порчи?
 Нельзя ли как-то переслать по почте
 То, без чего все уютней мне?
 Как сделать, чтобы, с вами веселясь,
 Податься мог я запросто в Синаю,
 Чтоб, ни душой, ни делом не деясь,
 Жить на Амуре мне и на Дунае?
 Нельзя?
 Нельзя!
 Я это знал всегда.
 Но для меня и знание не беда.
 Грядущей правды преданный трубач,
 Сто раз свой жребий оплативший кровью,
 Я вам желаю всяческих удач,
 Но первым делом доброго здоровья.
 Когда-нибудь родится тишина
 Над миром нашим, стонущим тревожно.
 Столкнутся боль,
 И случай,
 И весна.

И станет невозможное — возможно.
Зажжет ракета бортовой фонарь.
На взлете грозно выплюнет взрывчатку...

Я буду жить на улице Бланарь.
А на работу ездить на Камчатку.
Ну, а пока —
В далекой стороне,
Друзья мои, решите за бутылкой:
Нельзя ли как-то переслать посылкой
То, без чего все неуютней мне?

Благовещенск.



ЛЕВ СЛАВИН

★

НЕУГОДНАЯ ЖЕРТВА

Рассказ

Бухгалтер Майгородского финотдела Исай Неделин давно звал меня посмотреть древнюю стенопись в местном соборе. Заглянув в справочники, я узнал, что ее приписывают Рублеву.

Сумеречным зимним утром я выехал в Майгород. И вот я поднимаюсь по Конюшенной горе. Слева овраг, поросший соснами, справа грубая пупырчатая шкура горы.

Подъем крут, я шагаю неспешно. То опережая меня, то отставая, семят богомолки, все как на подбор в черных платочках с цветной каемкой. Почему, однако, их так много? День будний, и я рассчитывал, что храм будет пустовать.

Ноги скользят по замерзшей грязи. Дерзкий декабрьский ветер гонит в лицо снежную пыль. Я устал. Между тем из-за гребня выглядывает, нежно золотясь, еще только самая верхушка соборного креста.

Меня обогнала «волга», сверкнув черным разлапистым телом. Я посмотрел ей вслед со святой злобой пешехода.

Вдруг она остановилась, мигнув красными глазищами стоп-сигналов. Из машины выглянула маленькая напомаженная головка, такая черная и блестящая, что она казалась деталью машины.

Когда я приблизился, головка проворковала:

— Вы, верно, устали? Пожалуйста к нам, владыка просит вас.

Дверца отворилась, и я увидел в глубине машины осанистую фигуру в белом клобуке. На брововый воротник шубы стекала борода — не kloкочущий водопад библейских пророков и не запыленный войлок сельских попов, а надушенное элегантное творение столичных парикмахеров.

Обладатель напомаженной головки, совсем молоденький, тоже был в шубе, из-под которой выглядывала бархатная ряса.

— Теперь вы не опоздаете к обедне, — сказал он покровительственно.

Я пожал плечами.

— Да вы не волнуйтесь, — продолжал он успокоительно. — Сегодня служить будет его преосвященство.

Бородатый пассажир вздохнул.

— Последний раз, — сказал он, — служил я здесь молодым священником, только что рукоположенным. Пожалуй, помоложе тебя был, брат Павел. Было это... — Он задумался на мгновение. — Тому назад лет сорок без малого. И тоже, как сегодня, в день моего святого, Николая Мирликийского. Зимним Николой зовут его в народе...

Тут только я сообразил, что передо мной архиепископ Николай. Спутник его, как я вскоре понял, несмотря на молодость свою, уже был пострижен в монахи.

Я поспешил объяснить, что меня, собственно, интересует не церковная служба, а самая церковь.

Преосвященный зорко посмотрел на меня и спросил:

— А не искусствовед ли вы, простите?

— Нет, просто любитель живописи.

Он тонко улыбнулся, показав золотые зубы, и сказал:

— Каждый в сердце своем хранит своего бога.

Машина остановилась. Мы вышли. Ветер утих, небо расчистилось. Мы на макушке горы. Перед нами собор. Он чисто вырисовывался на синем экране неба.

Белый и грузный, он поражал выпуклой массивностью стен. Это была крепостная тяжесть старого православия. И вместе с тем, казалось, он застыл на взлете.

Он походил на гигантскую сказочную птицу Гамаюн или Алконост, которая присела, чтобы передохнуть, на вершину горы и сейчас вспорхнет и, маша сильными белыми крылами, скроется в этой синей дали.

Чем больше я смотрел на собор, тем больше казалось мне, что он уже чуть отделился от земли. Да, я готов был поклясться, что между тесным основанием его и запорошенной снегом землей заголубела полоска неба.

— Каким чудом, — сказал я восхищенно, — сумел зодчий соединить вескость и легкость?

— Это и есть русская суть, — сказал архиепископ поучительно, — это кровь и крылья российского гения.

Далеко было видно отсюда. Леса разбежались, открыв широкую пойму. Среди заснеженных лугов бежала река. Мороз еще не набрал силы схватить ее. Солнце било в стекла далеких домов. Золотые мечи отражений, трепеща, вонзались в воду.

— Ну как, гражданин любитель живописи, — сказал архиепископ, покосившись на меня, — по вкусу ли вам места эти?

— Да, красиво.

— Еще бы! А впрочем, может быть, пристрастен я, а? Ведь это моя родина. Да нет же, нет! Здесь исток русской жизни, ее семья. Недаром природа сия прославлена кистью Исаака Левитана.

От ближнего берега отвалил паром. Что-то исконное было в очертаниях неуклюжего судна, в фигуре паромщика с веслом на корме, в покойном смирении людей, притулившихся к бортам этого летописного корыта.

— Славянская выяз... — пробормотал архиепископ. — Сколь много ты можешь удержать на себе! Никаким зарубежным атлантам сие не под силу.

Внизу выл экскаватор, роя огромный котлован. Под горой, прячась за могучими лапами высоковольтной мачты, ребята перекидывались снежками.

А снизу уже бежали к нам люди. Я увидел священника — тощего, путающегося в слишком длинной рясе.

Он припал к руке архиепископа. Князь церкви благосклонно посмотрел на него и осведомился:

— Отец Федор, если не ошибаюсь?

И благословил его.

Священник громко заговорил, стараясь выкроить на своем испуганном лице волнение радости:

— Земной вам поклон, ваше преосвященство, что вспомнили земляков своих. Великая это для нас честь, что сподобились мы узреть вас. А это от членов нашей двадцатки...

К архиепископу приблизились трое мужчин. Сухой снежок припудривал их обнаженные головы. Я увидел среди них Исаю Неделина.

Его смуглое, тонкое, византийского письма лицо с жгучими продолговатыми глазами горело восторгом.

Другой, худой, лысый, с глубокими промоинами морщин на желчном лице, был, как я потом узнал, местный балалаечный мастер и регент церковного хора.

Третий, толстяк, тоже лысый, с добродушным, сейчас одеревеневшим от благоговейного напряжения лицом, с бровями и ресницами до того белыми, что их почти не видно, был повар здешнего ресторана, а также ктитор, то есть церковный староста. Они держали в руках блюдо с румяным караваем и с ковшиком соли.

Исай Неделин начал срывающимся голосом:

— Позвольте, ваше преосвященство, поздравить вас с днем, так сказать...

— Помню, помню вас, — перебил архиепископ, вглядываясь в них, — и тебя, Исай Федотыч, и тебя, Петр Захарыч, и тебя, Михал Капитоныч. Они заулыбались, польщенные.

Архиепископ огляделся и сказал с неожиданно доброй улыбкой:

— Не вижу отца Арсения. Уж не болен ли он?

Священник удивился:

— Ваше преосвященство, верно, забыть изволили? Уже два года, как он утоп.

Архиепископ помрачнел.

— Не знал... Однокашник мой, друг юности... Все увидеться мечтал... Мудро сказано: что замыслил делать, делай тотчас. Как же это с ним, отец Федор?

Отец Федор молча развел руками.

— Об обстоятельствах спрашиваю, — настаивал архиепископ.

— Так я ведь, ваше преосвященство, вовсе и не от отца Арсения унаследовал этот приход.

— Разве?

— Да! От отца Иеронима Предтеченского.

— Имя знакомое. А он же куда переведен?

— Он, ваше преосвященство, сам отошел.

— Как это «сам отошел»? — спросил владыка, уже сердясь на бестолковость отца Федора.

Священник смутился и пробормотал:

— К воздыханцам отошел... Совратился...

— К кому?

— Секта такая тут у нас...

— Не слыхал. Вроде евангелистов, что ли?

— Таинства отрицают, ваше преосвященство. Крещение. Брак.

— Даже и брак? А как же без брака?

Отец Федор окончательно растерялся и замолчал.

Регент с удовольствием прохрипел:

— А просто, ваше преосвященство: спи с бабой, и все.

Архиепископ покачал головой:

— Скажи, пожалуйста, модники какие! — Потом вздохнул и, оглядывая мощную фигуру старосты, сказал: — Однако разнесло тебя, Миша.

— Лета подошли, ваше преосвященство, — сказал толстяк тоненьким виноватым голосом.

— Лета не причина, Михаил. Смотри на отца Федора. Он не моложе тебя.

— Он у нас печеночник, ваше преосвященство, — прохрипел регент, — к бутылке чересчур прикладывается.

— Ну, ну, — сказал архиепископ снисходительно, — я зову вас не к аскетическому подвигу, но — к разумному воздержанию. Не распускайте плоть. Воздерживайтесь от толстотрапезных угощений.

— Без соизволения божьего и волос с головы не упадет,— сказал Неделин с чувством.

Владыка посмотрел на него внимательно и заметил как бы между прочим:

— Чрезмерное упование на милость божью — грех.

И двинулся в толпу богомолок, раздавая направо и налево благословения.

Отец Федор рванулся за ним, но его осторожно удержал за локоть крупный мужчина в кургузом пестром пиджачке и разношенных валенках. У него было длинное лицо доброй лошади.

— Ну, как дельце мое, батюшка? — спросил он густым басом. — Изволили разобратся?

— Пекусь, пекусь о тебе, Иван Кузьмич, — сказал отец Федор нетерпеливо и поспешил за архиепископом.

— Печешься, чтоб тебя припекло на том свете,— прогудел Иван Кузьмич ему вслед. И втерся в толпу, стараясь приблизиться к архиепископу.

— Это кто? — спросил я Неделина.

Он нахмурился:

— Мамонтюк некто. Трепло сквернословное. Уже однажды постановлением общины запретили ему посещение храма.

— За что?

— За непочтение к сану. Обложил батюшку грубоматерными словами.

Архиепископ стоял у церковной ограды.

— Как дивно сохранилось все,— говорил он,— и эти романские полуколонны, и эти наивные жгутики на фризе, и это могучее древо... А источник бьет?

— Бьет, ваше преосвященство, — радостно ответил отец Федор, — в колодезь его отвели.

— Вкусна вода, игриста, без сомнения в ней есть целебность. Ну-ка побалуйте меня стаканчиком по старой памяти.

Священник беспомощно оглянулся. Неделин, регент и староста молчали.

— Ну что же вы? — нетерпеливо сказал владыка.

Неделин решил:

— Мы с того дня из этого колодца не пользуемся, ваше преосвященство.

— С какого такого дня?

— С того самого, как отец Арсений утоп.

Архиепископ начал понимать:

— Значит, он...

— Точно, ваше преосвященство. Из Заречья с поминок возвращался. Присел отдохнуть на сруб колодца. Ну, значит, и того...

— Бултых! — вдруг сказал регент.

— Царство ему небесное! — перекрестился Неделин. — Хороший был человек, кроткий прямо до святости.

— Вот только... — сказал регент и остановился.

Друзья с опасением покосились на его сморщенное лицо старой умной злой бабы.

— Вот только этот российский порок,— продолжал регент, уставившись на отца Федора,— винопийство.

— Плохие слуги у господ бога нашего,— холодно сказал архиепископ.

Войдя в церковный дворик, он остановился.

За левым крылом собора, немного отступя от него, стояла звонница. Она хорошо была мне известна по рисункам в разных историях искусств — прелестная воздушная арка на двух стройных станинах.

Сейчас на нее был нахлобучен шлем из кровельного железа.

От звонницы к собору вела новая пристройка — дощатый, грубо сколоченный коридор с мелкими стеклянными оконцами.

— А это что за новости? — поразился архиепископ.

Не замечая гневных блесков в его глазах, староста радостно сказал:

— Это мы недавно притвор соорудили.

— Какой же это притвор? Попросту безобразный тамбур, как на постоянных дворах. Мало того, что звонницу испортили обстройкой, так еще какую-то пакость присудобили к этакой драгоценности! Какими же варварами надо быть, — прости мне, господи, мое ожесточение, — чтобы к золоту припать медяшку!

Преосвященный опустил голову, взялся рукой за наперсный крест, что-то зашептал, видимо, сделал усилие, чтобы смирить себя. И действительно, когда он поднял голову, на лице его был покой. Но ненадолго.

— В церковной ограде?! — вскричал он.

Следуя за его негодующим взглядом, я увидел в углу двора свежерубленую уборную с буквами «М» и «Ж» и трубами для устремления вони к небу.

Староста испуганно молчал. Бухгалтер поник головой. Балалаечник храбро прохрипел:

— Плоть требует, ваше преосвященство.

Владыка сверкнул очами и произнес:

— Срам!

Потом он направился к храму своей несколько женственной походкой, странной для такого большого бородатого мужчины.

Неделин шепнул мне с восторгом:

— Высокая душа!

Вслед за архиепископом заспешил отец Федор.

Я повернулся, чтобы пойти к реке.

Неделин удержал меня:

— Да вы литургию послушайте. Наш-то отец Федор даже «Деяния» толком прочесть не может. А проповедь? Несет не понять чего, лишь бы поскорее отделаться... А у владыки речь истовая, как колокольный звон. Слышали, как он нас давеча шунял? Высокого духа пастырь!

У паперти произошла небольшая заминка. Чей-то женский голос восклицал:

— Пустите меня! Я владыке скажу!

Регент и староста спинами отжимали какую-то старушку.

Архиепископ остановил их.

Старушка низко поклонилась ему:

— Дозволь мне, владыко, взойти в собор. Яви божескую милость!

Он удивился:

— Каждый волен войти в божий храм, матушка.

— А он не дозволяет.

— Кто?

Старушка кивнула на священника. Тот сердито засопел.

— Почему? — не переставал удивляться владыка.

— В калошах я, — сказала старушка, застыдившись.

Архиепископ улыбнулся.

— Если жизнь праведная, то не токмо во храм, в царствие небесное можно взойти в калошах, — сказал он с веселым блеском в глазах и движением, полным кавалерской ловкости, указал старушке дорогу перед собой.

Когда он переступил порог храма, хор грянул «Достойно есть». Старушка с шумом простерлась на полу пред алтарем и забилась лбом о каменные плиты.

Архиепископ остановился и сказал строго:

— Встаньте! Это римско-католический обычай, а не наш. И перед богом надо гордость соблюдать.

Он вошел в алтарь и вышел оттуда в митре, с посохом в руке.

Пел хор. Мигали свечи. Высокий голос томительно звенел:

— Слава тебе, Иисусе Христе, упование наше!

Позади алтаря возвышался иконостас в несколько ярусов. Тускло светилось старое золото образов. На стенах виднелись фрески — выцветшие и все же благородные краски пятнадцатого века. Впрочем, с моего места они были плохо видны.

Обедня мне скоро наскучила. Это была все та же ритуальная однообразная скороговорка, которую я слышал и в костелах, и в синагогах, и в буддийских дацанах. Ламы и попы, ксендзы и раввины, словно договорившись, решили, что их богам более всего угодна эта бормочущая монотонная невнятица.

Дождавшись конца проскомидии, я тихонько вышел.

Падал частый пушистый снег. Все посветлело. Запахло вкусной розовой свежестью.

Когда я вернулся в собор, он был почти пуст. Старушки собирали свечные огарки, снимали с икон бумажные розы. Староста и регент, кряхтя и хекая, вытаскивали из тамбура тяжелый ларь с образками, крестами, печатными иконами, выставленными для продажи. Исай Неделин щелкал на счетах, подбивая дневную выручку. Словом, начиналась церковная проза.

Владыка и монашек рассматривали фрески. Отец Федор почтительно прислушивался.

— Несомненно, Рублев,— говорил преосвященный, вглядываясь в фигуру Сергия Радонежского.— Обратите внимание на эту розоватую охру.

— Мне кажется,— осторожно вмешался я,— что рисунок слишком сух для Рублева. В его живописи больше чувства.

Архиепископ вежливо выслушал и покачал головой.

— Вы — я разумею светских искусствоведов,— сказал он,— равняетесь на западное искусство, на эпоху Возрождения. Но ведь именно эта эпоха и покончила с религиозной живописью.

— Позвольте, а Боттичелли? А Сикстинская мадонна? А весь Рафаэль? А...

Владыка нетерпеливо прервал меня, воздев руку жестом Иисуса Навина, останавливающего солнце:

— Не то! Истинная вера была у средневековых примитивистов, у Чимабуэ, у Джотто. А дальше пошло обнажение телес, разврат. Уже ваш Боттичелли живописует одежду не для сокрытия плоти, а для открытия ее. В движениях, в изгибах тела появляется сладострастие. Под видом богоматери изображают своих содержанок и просто уличных девок. Рафаэль, Леонардо и прочие — это художники вконец светские. К счастью, у нас пошло иначе. Древнерусское искусство не замутило веры чувственными материалистическими соблазнами Возрождения. Русский народ нравами своими суров. Самая неподвижность и — я не усташусь сказать — косность нашей церковности уберегли религиозную живопись от греховных увлечений светскости и донесли до наших дней первозданную русскую строгость и прямоту.

Архиепископ ораторствовал, стоя у стены на фоне изможденных бордатых угодников и столпников. Узкие прорезы окон наполняли храм

неясным, дрожащим сиянием. Дымный дух ладана смешивался с щеко-чущим ароматом духов, исходившим от владыки.

Постепенно вокруг него собирались люди. Отец Федор кивал головой и значительно взглядывал на регента. Исай Неделин шевелил тонкими губами, точно смакуя что-то вкусное. Староста слушал с открытым ртом, ничего не понимая, но замороженный этим непрерывно льющимся потоком высоких слов. Монашек ходил вдоль стен, близоручко всматриваясь в киоты.

— Не суйся ты, Христа ради, Иван Кузьмич! — вдруг зашипел отец Федор, пытаясь оттолкнуть певчего с лошадиным лицом.

— Изыди из храма, недостойный иерей! — загудел тот и тяжело брякнулся перед архиепископом на колени. — Не встану! — гремел певчий своим пещерным басом. — В твоей руке, владыко, арфа. Как ты сыграешь, так я и станцюю.

— Подымите его, — спокойно сказал преосвященный.

Иван Кузьмич сам вскочил. Он стоял, широко расставив ноги и слегка покачиваясь своим большим телом. Вдруг он икнул.

— Это ничего, — сказал он успокоительно, — это душа с богом беседует.

— Кто вы такой? — спросил архиепископ.

— Певчий я, владыко. Иван Кузьмич Мамонтюк. Пел я прежде хористом в оперетте. Но впоследствии уверовал и для спасения души перешел во храм божий.

— Это хорошо.

— Скудна оплата, владыко. Договорились мы с двадцаткой за одну цену, а они разных удержаний понапридумывали да отчислений для всяких якобы благолепий и тому подобное.

— Истинная вера в деньгах не нуждается, — сказал архиепископ мягко, — от денег одна пагуба, — повернулся и пошел в глубь собора.

Все двинулись за ним. Мамонтюк потоптался разношенными валенками на древнем узорчатом полу, потом побрел к выходу. Архиепископ меж тем, вздев на крупный нос очки, внимательно рассматривал иконы на стенах.

— Вот произведение древнего иконника, — почтительно указывал ему отец Федор.

Преосвященный снисходительно улыбнулся.

— Что это икона в древнем русском стиле, не спорю, — сказал он. — Но что написана она не ранее девятнадцатого века, тоже несомненно. Приемы ремесленные. А ведь старинные изографы даже палитрой не пользовались.

— А чем же? — заинтересовался Исай Неделин.

— А вот чем.

Архиепископ протянул руку и пошевелил пальцами.

— Да, да! Ногтями! Они клали краски на ногти и так определяли тона.

Неделин, регент и староста переглянулись и покачали головами, удивляясь то ли искусству древних богомазов, то ли блеску и отточенности архиепископских ногтей.

— А вот этот образ постарше, — сказал архиепископ, нагибаясь. — Архангел Гавриил с огнепалящим мечом. Будь он подлинный, ему б цены не было.

— Уж я его приметил, — сказал брат Павел. — Иностранцы в Москве гоняются за такими иконами. За настоящими, конечно. Большие деньги дают.

— И что прискорбнее всего, — сказал архиепископ сокрушенно, — некоторые недостойные пастыри соблазняются.

— А вас иностранцы посещают? — осведомился монашек.

— Заглядывают, — сказал Неделин.

— А вы им иконы не продавали?

— Боже упаси! — замахал руками бухгалтер.

Архиепископ посмотрел на него.

— Правду говорите?

Неделин даже покраснел всем своим смуглым лицом.

— Я, ваше преосвященство, отродясь не лгал.

— Верю, — сказал владыка. — Однако ложь во спасение не грех.

Он пошел вдоль стен, заставленных киотами.

— Печатные иконы я вообще за иконы не признаю, — говорил он, пробегая глазами по стенам.

— Тут и писанные, — робко возразил Неделин.

— Суздальская, да палехская, да мстерская богохалтура, — сказал архиепископ сердито.

Он шел вдоль стен, окидывая быстрым, пренебрежительным взглядом многочисленных богородиц, георгиев-победоносцев, воскрешенных лазарей, иоаннов-крестителей, тайные вечера, снятия с креста, сретения, архангелов михайлов, благовещения, вознесения, положения во гроб.

И вдруг остановился. Взгляд его был устремлен на небольшую икону — явление трех ангелов патриарху Аврааму.

— Снимите-ка оклад, — сказал архиепископ повелительно.

Когда с иконы сняли грубый штампованный оклад, она засияла нежными красками. Даже воздух вокруг как будто заполнился голубыми и золотыми отблесками.

В отличие от знаменитой рублевской «Троицы» здесь были изображены не только божественные гости патриарха, но и он сам и жена его Сарра. Оба они вопреки традиционной иконографии были представлены молодыми. В них-то, а не в ангелов древний художник вложил всю мощь своего гения. В облике этой молодой пары было столько земного, что они своим величием обыденности затмевали бесхарактерную красоту этого расчлененного натрое и рассеявшегося вокруг стола бога.

Алая одежда Авраама и синяя Сарры сливались в радостное зрелище. Я смотрел на икону и видел не библейских прародителей, а современных молодых влюбленных. И всюду просвечивало золото, как в яркий солнечный день.

Было ясно, что безвестный художник не столько думал о том, чтобы изобразить сошествие к Аврааму бога, единого в трех ипостасях, сколько просто хотел заразить людей наполнявшей его радостью существование. Не явлением троицы были заняты Авраам и Сарра, не на эту божественную абстракцию были устремлены их взоры, а друг на друга.

И подобно тому, как монголы изображают Будду монголом, а эфиопы Христа — эфиопом, так этот древний богомаз придал ветхозаветным иудеям типично русские черты. Лица юных патриархов были не привычно иконописными, удлиненными, торжественно страдальческими, а из тех, что я встречал здесь чуть ли не на каждом шагу — круглощеками, светловолосыми, с робостью и удалью в голубых глазах.

Архиепископ перевернул икону на обратную сторону и внимательно во что-то всматривался.

— Иконная доска не ольховая? — спросил брат Павел.

— Доска-то кипарисовая, — отвечал преосвященный. — Я полагал, что тут запись о молитве. Не сохранилась. Да оно и так видно — не позже пятнадцатого века.

— Верно, новгородская? Смотрите, в фоне прозелень.

— Что ты! — возмущился архиепископ. — Новгородский стиль мужицкий. Новгородские колориты вопят. А эта...

Он отнес руку с иконой и нежно сказал, любуясь ею издали:

— Дымом писано. Прелесть!

— Так, может,— монашек понизил голос,— может, Рублев?

Архиепископ молчал. Потом сказал задумчиво:

— Рублев не Рублев, а сопостник его Даниил Черный — весьма допустимо. Или — Иван Сподоба. А впрочем... Отнеси-ка, брат Павел, образ в машину.

Монашек бережно взял икону и вышел из храма. А архиепископ снова пошел вдоль стен, слегка покачивая бедрами.

Первым оправился от удивления регент.

— Чисто сработано! А, батюшка?

— Негоже иерею слушать подобные речи,— сказал отец Федор и, подобрав слишком длинную рясу, поспешил к выходу.

Косички смешно прыгали на его затылке. В дверях он столкнулся с возвращавшимся монашком.

— Язычок у тебя, Захарыч,— сказал староста, вздохнув.

Лицо его, всегда лоснящееся радостью, погрустнело.

— Вот только,— сказал он нерешительно,— в инвентаре она у нас, должно быть, значится, а, Исай?

— Спишем на епархию,— отозвался Неделин упавшим голосом.

Архиепископ, дойдя до конца стены, отогнул рукав и посмотрел на часы. Лицо его озабоченно нахмурилось, и он поискал глазами брата Павла. Тот, сразу поняв, засеменил к трем друзьям.

— Владыка располагает уезжать,— объявил он.

Староста всполошился.

— Так надо же его преосвященству прощальную спеть. Слышь, Захарыч, собирай свою команду.

— Ну, это к чему...— поморщился монашек.— Владыка и так верит в ваши благочестивые чувства.

Наступило молчание. Брат Павел выжидательно смотрел на них. Наконец, видимо, потеряв терпение, сказал:

— За архиерейскую службу можно, конечно, перевести и по безналичному. Но предпочтительней наличными.

Члены двадцатки оторопело переглянулись.

Неделин несмело сказал:

— Мы полагали, духовенство нынче на твердых зарплатах.

— Зарплата зарплатой,— сказал брат Павел рассудительно.— А есть еще и правила христианского благоповедения. Это я с вами, конечно, келейно. И не подобает древнему храму вашему уклоняться от обычаев благочестия. Да и паства у вас не бедная.

Староста дернул Неделина за рукав.

— Ладно уж, Исай. Не язычники мы. От людей не отстанем. Надо так надо. Вы нам только, брат Павел, подскажите насчет суммы. А мы уж...

Я из деликатности не стал дальше слушать и вышел из собора, решив осмотреть фрески попозже.

Невдалеке стояла «волга». Сквозь слегка заиндеветые стекла я увидел архиепископа. В руках у него была икона. Не отрываясь, он смотрел на нее.

Где-то внизу экскаватор, подвывая, по-прежнему драл мерзлую землю. Далеко на горизонте обозначилась красная полоса. По снежному безлюдью пошли оранжевые отблески.

Пустынно, тихо. И только это железное тарактенье внизу да вдалеке затихающий говор моторки, мелькнувшей на реке.

Снизу из-под горы показался Неделин. Поравнявшись со мной, он остановился. Потом сказал, отдышавшись:

— Еле-еле наскребли.

Он побежал в собор. Через несколько минут оттуда вышел молодой монашек, на ходу запахивая шубу. Заурчал мотор, и из-под лакированного тела «волги» стали вырываться облачка пара, густо белея на морозе.

Когда я вернулся в собор, Неделин, регент и староста что-то оживленно обсуждали.

Регент хрипел:

— Возьми сто, ну, двести. Ну, от силы триста. Но тысяча! Разбой!

— И не его это вовсе епархия. У нас свой есть. Вроде налета, выходит,— с сумрачным удивлением говорил Неделин.

Староста успокаивал их:

— Может, за эту жертву искупительную простятся нам грехи наши.

А, Исай?

Неделин покачал головой:

— Нет, Миша, не богу она угодна, наша жертва.

— А кому, Исай?

Неделин молчал.

— Хапунцам этим, вот кому! — захрипел регент.

— Что ты мелешь, Захарыч! Опомнись, не грехи! — испуганно сказал староста.

В храме раздалась шага. Все оглянулись.

Это шел брат Павел.

Староста радостно шепнул:

— Отказался владыка, вот видишь!

Приблизившись, монашек сказал:

— Владыка поручил передать всем его землякам свое пастырское благословение и сказать, что вскорости, поближе к крещению, он прибудет, дабы в сем древнем храме вознести господу благовещательные молитвы.

— Что?.. — сказал Неделин, наступая на монашка. — Опять прибудет? Понравилось? Разлакомился?

— Свят! Свят! — зашипел монашек, повернулся и выбежал.

Мы услышали, как взревел мотор и зашумели шины по мерзлой земле.

— Осрамил ты нас, Захарыч, — сказал староста укоризненно.

Регент махнул рукой:

— А! Теперь уж все равно. Закрывать будем храм. Не по карману он нам.

— Да, вздорожала нынче вера, — сказал староста. — А без веры как же? Уж я подумываю, не податься ли к воздыханцам, как отец Иероним? У них вроде дешевле.

— К воздыханцам? — язвительно переспросил регент. — Ты бы уж прямо в безбожники просился.

— А что ж, — сказал староста, покосившись на меня, — если бы они какое утешение насчет смерти предоставляли, так я бы к ним за милую душу.

Тихо беседуя, три старика побрели к выходу.

А я пошел по опустелому храму к великой стенописи Андрея Рублева.



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ИЗ ЛИРИКИ

С балкарского

* * *

Был снег пушистым, словно кролик,
В Москве хозяйничал февраль,
Вдруг ты запела: «Лорик, лорик...»¹,
И в этот миг исчезла даль.

И я услышал плеск Севана,
И Арарат передо мной
Возник за дымкою тумана
В снегу под желтою луной.

И запах трав был стар и горек,
И опьянял он, как вино.
Ты нежно пела: «Лорик, лорик...»,
И стыло в елочках окно.

Я видел тучи край лиловый,
Дороги мокрую спираль.
Я видел праздник вечно новый
И вечно старую печаль.

Засыпан снегом горский дворик,
И звезды трепетнее свеч.
Я словно слышу: «Лорик, лорик...»,
И годы сбрасываю с плеч.

* * *

Не схожи скалы меж собой обличем,
И на границах горной высоты
Нетрудно разглядеть за их различием
Характера различные черты.

Одна скала над вековой кручею
Кругла, как щит прадедовских времен,
Другая ровень с грозовою тучею,
Остра, как меч, что вырван из ножен.

¹ Лорик — по-армянски перепелка.

А третья встала с головою гордою,
Дуб нацепив на каменную грудь.
Вдовой печальной замерла четвертая
И неподвластна времени ничуть.

Чело одних испещрено морщинами,
Как будто бы у мудрости самой.
Лбы у других, как шапками овчинными,
Закрыты снегом летом и зимой.

О, скалы, скалы!
В их великом множестве
И в грубых очертаньях простоты
Мне видятся возвышенной несхожести
Всегда нерукотворные черты.

Перевел Я. Козловский.



Тебя я слева прикрываю сердцем,
Кайсын Кулиев — с правой стороны.

Вершины гор задумчивы и строги,
Звезда с звездой над ними говорит.
И молод ты, и нет конца дороге,
И пыль веков летит из-под копыт.

Перевел Я. Козловский.



ХУАН ГОЙТИСОЛО

★

НАРОД В ПОХОДЕ

«Почему вспоминаются мне эти слова дона Хорхе Манрике, когда, перелистывая газеты и журналы, я вижу лица наших милисианос? Наверное, потому, что на лицах этих людей — не солдат, а народа с оружием в руках, — выражение скорбной боли и внутренней целеустремленности, как у тех, «кто во имя достоинства ставит на карту жизнь». Они сделали решающую ставку на святую правду, — проиграв, им не поставить вторично. Поистине, все эти рядовые милисианос похожи на полководцев, столько благородства в их лицах».

Антонио Мачадо. «Милисианос 1936 года».

1

Когда я слышу слово «Куба», в моей памяти тотчас всплывает теплый летний вечер 1939 года на даче моего отца под Барселоной. Несколько месяцев назад закончилась гражданская война, и после сумбурных и мрачных событий в моем мире воцарился обычный порядок. Наша семья полностью возвратила свое имущество. И несмотря на то, что я потерял мать — она погибла при бомбежке города, — мой примитивный детский мир быстро восстанавливался. Я вновь стал ребенком из богатой семьи, вновь в силу чудесного закона призван был выделяться среди других детей, как из поколения в поколение выделялись мои предки лишь потому, что они родились у богатого очага, — выделяться среди других мальчишек, которые в годы хаоса и смятения играли вместе со мной в одни игры и учили меня ежедневно славить бога за великое счастье принадлежать к лагерю избранных, которые благодаря этой принадлежности пожизненно пользуются привилегиями и богатством, уважением и властью и почтительным восхищением обездоленной толпы.

Во время войны наш дом заняли под интернат для изростевших детей, и в тот вечер, когда мы обходили развороченные, грязные комнаты, отец взял с письменного стола мачете и впервые рассказал о нашей семье и о Кубе. Так я узнал, что мой прадед сто лет тому назад высадился там в поисках счастья и благодаря поистине примерному упорству и самоотверженности оставил своим сыновьям после смерти плантации с двумя сахарными заводами и довольно много негров. Карандашный портрет в рамке, висевший в маленьком зале по соседству с верандой, изображал человека с энергичным лицом, чей властный взгляд так отличался от кроткого, спокойного взгляда прабабушки. По сравнению с ними мои

дедушка, бабушка и дядя сразу показались какими-то тусклыми. Владельцы огромного капитала, они посвятили свою жизнь светским обязанностям и религиозному рвению. С их портретов на меня смотрели respectable холодные лица, уже немолодые и как бы угнетенные бременем долга. По окончании испано-кубинской войны они распродали свои владения, обосновались в Испании — возместив почетом материальные убытки — и умерли, оплаканные обществом и едва ли не причисленные к лику святых.

Благодаря им появился я, запоздавший потомок, наследник славного прошлого, овеванного воспоминаниями о Кубе. Годы революции минули как дурной сон, и, поскольку снова восстановились мои привилегии, я учился в том же платном колледже, в котором когда-то учился мой отец, и проводил каникулы на той же даче, где он отдыхал ребенком. Это были счастливые времена, уже несколько стершиеся из памяти. Сидя в камышовом кресле в саду, я оживлял семейную хронику, листая ветхие издания «Испано-американских иллюстраций». Мне рассказывали, что черные рабы обожали дедушку и горько плакали, когда получили свободу. Мое необузданное изображение витало в диких зарослях, где совершали подвиги испанские солдаты. Потом я с изумлением узнал, что часть кубинцев почему-то восстала против нас, а вмешательство США и гибель эскадры окончательно смутили меня. Куба представилась мне потерянным раем. Среди кипы бумаг и писем, хранившихся на чердаке, я нашел целую коллекцию пожелтевших фотографий, которые ясно помню до сих пор. На одной был изображен мой прадед — в соломенной шляпе, с тросточкой в руках, он любовался башней и котлами сахарного завода. На других фотографиях были запечатлены окружающие завод бараки, аллеи королевских пальм, дворец, зал, убранный в национальном стиле, с креслами-качалками, колоннами, зеркалами, горшками с крохотными пальмами и диванами красного дерева. Моя любимая фотография запечатлела состав с устаревшим паровозом, везущий сырье, и нашу семью, и длинный ряд ящиков и чанов, готовых принять сахарный тростник. Все мое детство было овевано этими преданиями, и еще долго nostalgia инфантильного мифа охватывала меня бессонными ночами, если день был пасмурным и хмурым, если работа была тяжелой и если кто-то по какой-то непонятной причине не понял, что мир, окружающий его, должен быть изменен во что бы то ни стало.

Позднее я возвращался мыслями к Кубе уже по иным причинам. Мне только что исполнилось четырнадцать лет, и я начал интересоваться политикой. Каждое утро я жадно набрасывался на газеты, но хмурые лица взрослых говорили о том, что положение ухудшается. Постепенно я начал со страхом понимать, как непрочно наше существование и мой собственный замкнутый и счастливый мир. Конец второй мировой войны раскрыл мне глаза на успехи социализма, и те, кто учил меня благодарить бога за происхождение и богатство, теперь старались предостеречь против агрессивных намерений этого строя. В школьном атласе я отмечал неуклонное распространение этой «заразы» и в то же время, предавая забвению иллюзии детства, с волнением читал новости о забастовках и революциях, страшную статистику газет; Европа казалась мне слишком хрупкой и ненадежной. Ночами я часто просыпался в поту и втайне уже решил уехать из Европы. Раз враг овладевал континентом, надо было бежать в более спокойные места. Я хотел переселиться на Кубу. Дядя, брат отца, совершенно серьезно советовал Конго или Анголу.

Намерениям этим не суждено было сбыться, и когда я вновь подумал о Кубе, мне было уже лет двадцать и я изучал право в университете. Возможность революции уже не пугала меня, как раньше, и по мере того, как росла моя ненависть к классу, к которому я принадлежал, я все

чаще думал о происхождении нашего богатства и сомнительном благородстве геральдических знаков. История прадеда окончательно утратила для меня романтический ореол. Не интересовали меня больше и пожелтевшие фотографии поместий, и если я еще перелистывал «Испано-американские иллюстрации», рассматривая лица обреченных на гибель испанцев, которых грузили на корабли для борьбы против братьев-кубинцев, то находил на них не патриотический подъем и жажду приключений, а лишь угрюмую покорность тружеников, оторванных от своей земли, чтобы защищать чужие интересы. Тогда я отряхнул пыль с аккуратных папок, хранивших переписку моего дяди, и среди квитанций и балансов нью-йоркских, филадельфийских и парижских банков нашел письма рабов, исполненные вековой скорби, написанные кровью их мертвецов и слезами их растоптанного достоинства. Внезапно меня ужаснула моя буржуазная респектабельность. Простое слово «Куба» было теперь для меня живым упреком, напоминанием о моей вине и вине моего рода, класса и расы, оно не давало мне покоя. В течение долгих лет — возможно, бессознательно — я предпочитал не думать о Кубе, поверив господам, восхвалявшим ее благоденствие и порядки Батисты, полагая, что грехи испанцев — если они были — давно забыты, как забыты письма рабов, о которых никто не вспоминал, как не вспоминали анонимных солдат экспедиционного корпуса, захороненных в общих могилах.

С тех пор, как я бросил учиться, и до тех пор, пока не эмигрировал во Францию, жизнь моя не была богата переменами. Это были неблагоприятные годы сомнений и неуверенности, когда я целиком посвятил себя кропотливой задаче ниспровержения прежних идеалов и подведения итогов. Я тянул нить, еще не догадываясь, что на ней. Я уже знал, что ценности моего класса фальшивы, хотя мне еще нечем было их заменить. Постепенно я стал прислушиваться к доводам враждебного класса и был вынужден признать правоту его дела. И вот тут я с удивлением обнаружил, что выводы, к которым я пришел с такими муками, огромное большинство моих сограждан разделяло всегда как нечто само собой разумеющееся лишь по той простой причине, что они, эти сограждане, родились бедными. Тогда я понял истинное значение нашей войны¹, понял, что наперекор всему, что мне внушалось, я теперь всегда буду на стороне неимущих.

Однако мое будущее все еще оставалось неопределенным, и ужасающий контраст между идеей и действительностью, между моим нетерпением и замедленным ритмом истории угнетал меня. Временами мне начинало казаться, что я лишился рассудка, что мне снится бесконечный страшный сон, что мир никогда не изменится. Высадка с «Гранмы»² и бои в Сьерра-Маэстре положили конец моей апатии. Какое-то проклятие тяготело над народами испанского языка, сонными, инертными, будто придавленными тяжестью каст и олигархий. Одиссея Фиделя и его людей была опровержением этой фатальности, доказательством того, что, если долго лелеять мечту, она сбывается. Всю осень 1958 года я жадно следил за газетами, и по мере того как приближалась развязка борьбы, мои последние сомнения исчезали. Вижу, как если бы это было вчера, туманное и холодное утро, когда я прочел о бегстве диктатора. Я понял, что наш час наконец настал. Я был окружен французами, быстро шагавшими к метро, и мне хотелось обнять их.

После революции Куба снова вторглась в сферу того, что было для меня самым важным, и наполняя живительной силой мою опустошен-

¹ Автор имеет в виду гражданскую войну 1936—1939 годов. (Примечания переводчика.)

² Шхуна, с которой высадились на Кубу бойцы отряда Фиделя Кастро.

ную душу, сменяла мои разочарования надеждой; свидание с ней стало неизбежным.

Когда мы приземлились в гаванском аэропорту, образы моего детства, отрочества и юности развеялись, едва я увидел народ, который революция подняла на борьбу. Только что распространилось известие об убийстве бригадиста Мануэля Аскунсе, и из окна моей комнаты я вглядывался в огромную толпу, наводнившую 23-ю улицу. Я хорошо знал лица этих милисианос и солдат, стариков и детей, требующих справедливой кары. Это были те же люди, что двадцать пять лет назад вошли в благополучный мир моего детства, заставив меня содрогнуться от страха. Сейчас революционный факел был в руке у Кубы, и, преподнося прекрасный исторический урок Испании, бывшая колония освещала ее сердца, учила нас и звала вперед. Защищать Кубу теперь — значит защищать Испанию, как четверть века назад умереть за Испанию значило умереть за Кубу. В конечном счете рабы сумели стереть мои воспоминания о прадеде. Спустя семьдесят лет после его смерти его потомки радостно приветствовали победу кубинской революции.

За два с половиной месяца я прошел весь остров от края до края. От Сантьяго до Гуане, от Варадеро до Сьенаги-де-Сапаты. Я находился среди народа, жил с ним и вместе с ним менялся. Все то, что говорится здесь о провинции Мансанильо, можно без особых поправок отнести к провинциям Санта-Клара, Пинар-дель-Рио или Камагуэй. Все шесть кубинских провинций в едином порыве переживают революцию, а их жители полны того же благородства и достоинства, что и те, о ком я попытаюсь рассказать на этих страницах.

2

Есть города, чье своеобразие сразу же бросается в глаза; есть и другие — эти требуют внимательного знакомства, к ним привыкаешь трудно и долго; но есть города, к которым никогда не привыкнешь, встреча с ними подобна встрече в аэропорту или на вокзале, где люди, едва поздоровавшись, расстаются навсегда.

Когда я впервые приехал в Мансанильо, мне показалось, что я всю жизнь знаком с этим городом. Стоял безоблачный декабрьский вечер. Я ехал из Сантьяго на машине через бывшие владения латифундистов. Помню, ветер трепал метелки тростника и на бесконечных ровных полях, там, где виднелись островки диких зарослей, пасся скот.

На протяжении всего пути нам попадались крестьяне в шляпах, сплетенных из пальмовых листьев, и в грубых ботинках; они шли и ехали верхом нам навстречу или в том же направлении, что и мы, постепенно уменьшаясь, пока не исчезали совсем среди растений. Другие ожидали маршрутного автобуса, неподвижно сидя на корточках с огрызками сигары в зубах. Современные здания птицеферм и свинарников виднелись среди дощатых хижин с крышами из пальмовых листьев. У одного барака качался в качалке негр, и мой спутник показал на листок, прибитый к двери: «Этот дом — кубинский, и мы будем его защищать. Родина или смерть!» Прошел мальчик с корзиной на плече. Мы ехали быстро, и он помахал нам.

— Лет десять... А уже управляется с мачете и тростник валит не хуже любого мужчины, — сказал шофер.

Мы проехали от Пальма-Сориано до Хигуани, от Хигуани до Байамо, и ничто не напомнило нам те времена, когда над бескрайними плантациями Фико Фернандеса не заходило солнце. В хуторах и деревнях перед народными магазинами дружески беседуют крестьяне, фотографии Фиделя украшают все крестьянские дома, и по обеим сторонам дороги на

протяжении многих километров мелькают щиты для расклейки оранжево-белых афиш ИНРА¹.

Возле Байамо мы затормозили перед стадом волов, шествующих через дорогу. Оглушающе трещат цикады, и, пока скот движется к загону, пастух подходит к нам и здоровается за руку с шофером. Это крепкий мужчина, смуглый, в белой рубашке, широких брюках, выпущенных поверх сапог. Из кобуры на ремне выглядывает рукоять револьвера. Когда мой товарищ спрашивает его о здоровье, он пожимает плечами:

— Так себе. Помаленьку.

— Шурин прошлым вечером видел тебя в медпункте...

— Да, колют два раза в неделю.

— А как жена?

— В порядке. Только что дома с сынишкой была.

Пастух стоял, положив локти в проем окошка, и шофер взглянул на меня.

— Этот господин — испанец.

— Марселино Милан, к вашим услугам, — сказал пастух. — Прокатиться решили?

— Да, проедусь немного...

Волы вошли в загон, и пастух закрыл вход. Он снова пожал нам руки. Когда отъехали, шофер сказал, что пастух, как и он, из Байамо и что во время войны они воевали вместе.

— Когда пули свистели, он им не кланялся. В Хиге один схватился с шестью солдатами Санчеса Мокеры...

— Был ранен?

— Искалечили парня... Прямо изрешетили, когда он из своего дома выходил. Потом пытали, чтобы заговорил... и так отделали, что бросили, мертвым посчитали. Когда революция победила, я его в госпитале навестил. Жалко было глядеть... Такой здоровый мужик и весь израненный...

Пока пересекали город, шофер рассказывал историю Марселино. Мы остановились выпить кофе.

— Досталось нам, беднякам, при диктатуре. Четыре акулы, что в Байамо жили, все забирали себе, а другим приходилось тень делить.

— А ты кем работал?

— Последнее время гонял телегу одного толстосума. — Оправдываясь, он причмокнул губами. — Не нашел бы теплого местечка и на хлеб не заработал бы...

Когда Байамо остался позади, мне показалось, что пейзаж слегка изменился. Солнце вот-вот собиралось уйти за горы. Но его свет еще позволял любоваться разнообразием красок. Корхо, яреи² и тростник переливались всеми оттенками зелени. Контуры Сьерра-Маэстры приобрели почти синюю прозрачность; в направлении Кауто тянулась однообразная долина, лишь кое-где виднелись крыша хижины или изящный силуэт королевской пальмы.

Я смотрел через окно на живые изгороди из кактусов и пинии флоридо, на желтые стволы юкки и затопленные рисовые плантации. Кукурузные поля чередовались с посадками помидоров и капусты. Деревянный мост перекинулся через маленькую речушку, по берегам которой рос бамбуковый тростник; миновав Яру, дорога пошла к морю, к поселкам — пригородам Мансанильо.

У въезда в город девушки украшали фонари, готовясь к празднику бригадистов. Накануне Мансанильо был провозглашен территорией,

¹ ИНРА — Национальный институт аграрных реформ.

² Разновидности пальм.

освобожденной от неграмотности, и пока мы двигались под праздничными гирляндами флажков и триумфальными арками, шофер сказал мне, что все бригадисты Сьерры должны собраться здесь перед отъездом в Гавану.

— Ты долго здесь пробудешь?

— Не знаю,— ответил я.— Дня четыре, пять...

— Тогда готовься, увидишь зрелище. Позавчера целый караван машин за ними пошел. Поглядишь, что здесь в пятницу будет твориться.

Мансанильо, казалось, набирался сил после трудового дня. По его улицам растекался поток людей, возвращавшихся с работы, который захлестнул и дороги. Облик города — полуафриканский-полуколониальный — напомнил мне облик некоторых андалузских городов, где арабское влияние ощущается и через несколько столетий, и когда мы въехали в парк с его балюстрадой восемнадцатого века, белой церковью и старым клубом, где собираются игроки в домино, мне показалось, что я вдруг перенесся в испанский город и мое детство протекало здесь, а жители Мансанильо вместе со своими домами и скарбом испокон веку населяли легендарную страну моих детских мечтаний.

На эстраде оркестр настраивал инструменты. Толпа зевак терпеливо ожидала начала танцев. Мы остановились перед зданием культурной комиссии провинции. Дежурная была предупреждена по телефону из Сантьяго и сказала, что мне оставлен номер в гостинице «Касабланка». Гостиница находилась в нескольких кварталах от парка; когда мы добрались туда, я попрощался с девушкой и с шофером и поднялся в свой номер переодеться. Прошлой ночью я мало спал, и после утомительной поездки было приятно ощущать ласковое скольжение прохладных струй душа по разгоряченному телу.

Я вышел на улицу, когда уже было темно. Танцплощадка опустела — люди разошлись по домам ужинать. Больше часа я ходил от бара к бару, надеясь послушать знаменитые органы Мансанильо¹. Мне это не удалось, и некоторое время я провел в одном из баров за «баккарди» с апельсином, заняв место около музыкального автомата, чтобы проиграть несколько кубинских народных танцев.

После третьей порции рома настроение мое поднялось, и мне захотелось поговорить с кем-нибудь. Мне нравилась ленивая и сонная атмосфера городка. Когда я вернулся на площадь, я заметил свет в окнах здания культурной комиссии. В зале кто-то выступал с речью, и слушатели часто аплодировали. Я ожидал конца собрания, облокотившись о стойку бара. Через несколько минут аплодисменты усилились, потом все запели «Интернационал». Бармен сказал, что это проводится еженедельная беседа о внутреннем и международном положении.

Толпа наводнила площадь, и за несколько минут бар заполнился до отказа. Как и в Центральном парке Гаваны, здесь скоро образовались маленькие группки, которые обсуждали выступление оратора. Рядом со мной кричал, стараясь перекрыть шум, негр в кожаной куртке. На вид ему было лет пятьдесят, в волосах уже пробивалась седина. Его окружили крестьяне в широкополых шляпах, солдатских ботинках, с револьверами на поясе. Самый молодой походил на андалузца и был одет, как милисиано.

— Товарищ совершенно прав. Очень правильно говорил. Сейчас многие кричат во все горло, что они, мол, коммунисты, марксисты, сражались в Сьерре... Я когда такое слышу, всегда говорю: знаешь-ка, друг, чтобы стать настоящим коммунистом, надо теории поднабраться и знать

¹ Органы мастера Панчо Борболя, очень распространенный на Кубе музыкальный инструмент.

назубок книги Карла Маркса и Ленина. А ты что знаешь? Или ты думаешь, что коммунистом за один день стать можно?

Оратор оглядел собравшихся, и крестьяне одобрительно закивали.

— Такие быстро могут слинять и даже к врагу перейти, когда выгодно будет, — сказал один из них.

— Разные типы попадают, — подтвердил милисиано. — Я не раз встречал таких товарищей, что перед молоденькой бабенкой в автобусе сразу вскакивают, а войди старуха — даже не шелохнутся. Любят болтать о морали, а сами ташат какой-нибудь шлюхе деньги, которые их детям нужны... Что ни говори, а не к лицу это коммунистам.

— Правильно. Вот поэтому товарищ и призывал быть скромнее. Когда кто-нибудь начинает распространяться о своих подвигах и бить себя кулаком в грудь, я всегда думаю: плохо, брат, плохо... Ты не революционер и никогда им не будешь.

— Может, он из тех, что по домам прятались, пока мы дрались, а после вылезли да с бородами расхаживают, будто они вместе с Фиделем высадились...

— Первого января все хвастались, что с Батистой воевали, — сказал один крестьянин. — Дохламу льву любой может на хвост наступить.

Круг слушателей постепенно расширялся, и, сам того не замечая, я оказался почти в центре. Негр подождал, пока все замолчали, и спокойно обратился к милисиано:

— Моя супруга, например, не интересовалась политикой. Когда мы избрали Пакито Росалеса, я на все митинги ходил, а она твердила, что я с ума спятил, должно быть, что у меня не все дома и еще всякое такое, о чем и не скажешь... — Он улыбнулся. — Так вот, слушай внимательно, сейчас самое интересное будет... Прошлой ночью она мне и говорит: «Знаешь, Иларио, я тоже марксист-ленинист». Так и сказала... Я на нее усталый и спрашиваю: «Ты? С каких это пор?» — «А вот с этих». — «Ишь ты, говорю, тогда выкладывай, с чего это вдруг?» — «С того, говорит, что Фидель добр к беднякам, и сейчас все мы равны, и нас никто не эксплуатирует, как раньше...» — Когда Иларио смеялся, его рот напоминал ломоть белой дыни. — «Слушай, старуха, — я ей говорю... — Ты всю жизнь прожила, меня не замечала и себя не видела... Что ты понимаешь в марксизме-ленинизме и революционной теории? Думаешь, это так просто? Лучше не заваривай кашу, а то мы с тобой сцепимся... Сначала поучись, а потом поговорим!»

Крестьяне громко смеялись, и я смеялся вместе с ними, и когда я протянул пустой стакан бармену, милисиано спросил, кубинец ли я.

— Испанец, — ответил я.

— А давно вы на Кубе?

— Три недели.

— Политэмигрант?

— Нет. Я здесь в качестве гостя.

Лицо его выражало недоумение, и мне пришлось кое-что объяснить.

— А-а, понятно, — сказал он. — Ну и как? Нравится вам у нас?

Я ответил, что нравится. Крестьяне шутливо хлопали друг друга по плечу, веселясь, как дети, и, понизив голос, милисиано объяснил мне, что Иларио, в настоящее время возглавляющий молочный кооператив, — один из первых коммунистов Мансанильо.

— Он бывает на каждом собрании ОРО¹. Люди любят его слушать.

Бармен снова приготовил мне ром с апельсиновым соком. Крестьяне

¹ ОРО — Объединение революционных организаций. Существовало до создания Единой партии социалистической революции Кубы.

с любопытством разглядывали меня, и я услышал, как один из них шепнул соседу: «Это испанец». Потом Иларио заговорил, и все смолкли.

— Кое-кто думает, что быть марксистом — это жить в свое удовольствие и кататься на машине. Они глубоко ошибаются. Быть марксистом — значит жертвовать собой ради общего блага... Действовать не как капиталисты — ради выгоды, а ради идеалов...

— Революция должна покончить с хвастунами и хапугами, — сказал один. — Нам нужны люди чистые...

— Мы, революционеры, во всем должны подавать пример. — Перед каждой новой фразой Иларио потирал подбородок. — Ведь вот как бывает... Есть в нашем кооперативе одна восемнадцатилетняя девушка, я ее с малых лет знаю. Позавчера ночью иду я на склад, а она мне навстречу и говорит: «Хочешь, скажу тебе один секрет? Нравится мне смотреть на тебя. Когда смотрю, чувствую такое, чего раньше никогда не чувствовала и чего понять не могу... Вроде бы кровь быстрее бежит и к тебе поближе хочется...» — Иларио немного помедлил. — «Ну-ка, иди сюда, чернушка, — говорю ей. — Много мог бы я тебе сказок порассказать, да только не гожусь я для них, так что ты лучше смотри мне в сердце, а не в лицо. Будет лучше, если ты учебой займешься и не будешь терять время на похождения и разную чепуху... Иди и все, что я тебе сказал, передай матери, а не то я сам ей все расскажу...»

— Случись со мной такое, я бы так не торопился, — рассмеялся один из крестьян. — А хороша девка?

— Ну и плохо сделал бы, — сказал Иларио. — Когда я был молодым, я чуть не тридцати девчонкам мог жизнь испортить, а ни одной не тронул.

— Вот это жизнь. Я жалею, что меня бабы не любят, а ты...

— Потому что ты не понимаешь, в чем суть, парень. Я был партийным работником на острове Пино, так за мной знаешь как следили? Священник и всякие буржуазные элементы только и ждали, чтоб я на чем-нибудь сорвался, чтоб дал повод клеветать на нас. А женщины прямо говорили мне: «Ты либо святой, либо педераст...»

Негр Иларио смеялся очень громко и долго, и крестьяне, воспользовавшись этим, стали спрашивать меня об Испании. Они хотели узнать все сразу, поэтому перебивали друг друга.

Я старался как мог — я уже начал привыкать к подобным атакам, — и когда Иларио ушел, милисиано и какой-то маленький блондин сказали, что в полночь здесь закрывают, и предложили проводить меня в бар «Эурека». Я спросил бармена, сколько я должен.

— Уже заплачено, — ответил бармен.

— А кто заплатил?

— Вот этот товарищ, — бармен указал пальцем на самого молодого крестьянина.

— Разрешите и мне угостить вас.

— В другой раз. — Он протянул руку, прощаясь.

— Но мы можем больше не увидаться, — возразил я.

— Если не встретимся — угостите другого, не все ли равно.

На улицу я вышел с милисиано и блондином, к нам присоединились крестьяне и мулат. Милисиано шагнул рядом и спросил, видел ли я Фиделя. Я сказал, что поздоровался с ним на трибуне в день похорон бригадиста Мануэля Аскунсе, и глаза милисиано заблестели.

— Он выступал?

— Нет.

— Ты должен его послушать. Ох, и гладко чешет!

— Фидель — это Христос бедняков, — сказал один из крестьян. — Мы жили обманутыми, а он пришел, чтобы открыть нам глаза.

— Когда я думаю обо всем, что мы узнали благодаря революции, у меня дух перехватывает. Фидель, черт возьми,— самое большое, что у нас есть!

Милисиано рассказал, что до падения Батисты он жил в полном неведении.

— Я умел и читать и писать,— сказал он,— но не понимал, что значит «капитализм» или «отчуждение». Думал, что хозяин добр, потому что он давал аванс и на рождество дарил двадцать песо. Вот что значит темнота! Я считал его богом и королем, а он присваивал добытую мной прибавочную стоимость...

Мы устроились возле стойки в «Эуреке», рядом с музыкальным ящиком. У входа в бар стояла толпа парней и среди них — негр в маленькой серой шляпе. Официант принес всем по «Куба-либре». Милисианопил сок гуаявы¹.

— Во времена Прио² и Батисты бедняки в бар войти не смели. Только богачи могли пользоваться общественным продуктом.

— Встретятся с тобой и даже не поздороваются,— сказал мулат.

— Они даже ради шутки сентаво не могли дать. Из камня можно было выжать больше масла, чем из них.

— Настоящий разврат был. Все деньги доставались меньшинству, а рабочие лапу сосали...

— Они думали, что подкупят революцию... Только Фидель это понял — и номер не прошел.

— Казалось рыбе, что приманка хороша, пока на крючок не попала,— сказал крестьянин.— Если вернуться — хватит деревьев, чтобы их повесить.

Мулат рассказал, что во времена диктатуры его сшиб полицейский «джип», и вместо того, чтобы оказать помощь, агенты избили его и засадили в тюрьму. Остальные рассказывали подобные случаи, и я поставил несколько пластинок в музыкальный автомат. Когда я вернулся на место, негр в серой шляпе подал мне записку, написанную карандашом на клочке бумаги: «Сеньор европеец, я хочу побеседовать с вами...»

Подойдя к нему, я оглядел его красную рубашку, белые брюки и тоненький золотой ремешок. Негр в свою очередь оглядел меня и указал на свободный табурет.

— Я постою, спасибо.

Посмотрев на меня с таким видом, словно я его чем-то раздосадовал, он пожал плечами.

— Могу я задать один вопрос? — Его голос был слегка хриплым.

— Сколько угодно.

— Просто из любопытства,— пояснил он.— Откуда вы?

— Я испанец.

— Островитянин?

— Нет, из Барселоны.

— Мой отец тоже был каталонцем,— сказал негр.— А моего деда звали Карбо.

— Ты каталонец?

Маленький блондин, который тоже пришел сюда, подошел к нам и дернул меня за рукав.

— Я больше десяти раз стоял на якоре в Барселоне и ни разу не встречал каталонца такого цвета,— сказал он.

— И все же я каталонец.— Карбо поднес к губам наполовину нали-

¹ Тропический плод.

² Прио Сокаррас — президент Кубы (1948—1952).

тый стакан с пивом.— Меня там знают во всех варьете и ночных клубах. Я романтический трубадур и сочту за честь...

Официант заметил, что петь запрещено. Какое-то мгновение только голос Бенни Море нарушал тишину. Карбо недоуменно огляделся, допил пиво и, покачиваясь, исчез.

— Не обращайтесь внимания,— сказал блондин.— Это люмпен.

— До революции он прислуживал богатым и не хотел даже знать негров,— добавил мулат.

— Его сознание сформировалось под влиянием капиталистов, и он никак не поймет, что времена теперь не те. Он и еще несколько негров никак не хотят меняться. Когда-нибудь они уедут в Штаты.

— Пусть едут! — крикнул мулат.— Чем меньше таких останется, тем чище будет воздух.

Бенни Море исполнял «Бухту Мансанильо». Музыкальный автомат высился в полутемном помещении, как величественный алтарь, подойдя к которому люди застывали почти в молитвенных позах. Я бы не удивился, если бы, поддавшись этой иллюзии, они благоговейно опустились на колени.

Мы вышли из бара в два часа ночи. Улицы были пустынные, и кошки в испуге убегали от нас. Мои новые друзья проводили меня до гостиницы. На прощание мы дружески обнялись, и маленький блондин пообещал зайти за мной к завтраку.

3

Я забыл о непрочности обещаний, даваемых в жару, и скоропреходящей экзальтации, которая на Кубе так же мимолетна, как и в Испании, и во время завтрака ждал блондина в ресторане при гостинице. Он не явился, и я отправился приветствовать поэта Наварро Луна и после недолгого визита в управление ОРО не спеша двинулся к рынку. Утро было пасмурное. Потом начало медленно проясняться, и, когда я пересек город, солнце уже било в глаза, а небо совсем очистилось.

В любом месте земного шара, независимо от широты и долготы, посещение рынка — праздник для меня. За несколько дней до моего отъезда в Ориенте я бродил под колоннадами Парка Братства в Гаване, слушая проповеди торговцев, аплодируя заклинателю змей, перелистывая чудодейственные молитвенники. Рядом с цветными фотографиями Фиделя и Камило Сьенфуэгоса продавались изображения святой Барбары и богоматери, рядом с полным собранием сочинений Хосе Марти и книгами Ленина — популярные брошюры о религии и дешевые издания Варгаса Вилы.

Своим колоритом и фикусами гаванский рынок напоминает рынок Аламеда в Малаге. Более скудный и терзаемый жестоким солнцем, рынок Мансанильо напомнил мне марокканский рынок в Альмерии. За прилавками торгуют кукурузой в початках и напитком из сахарного тростника. Кричат продавцы необыкновенно прочных рубашек по очень низким ценам. Тут и там захари расхваливают целебные свойства только что доставленных с гор корней.

Какой-то старик показывает флаконы с чудодейственным концентрированным экстрактом, и я читаю этикетки: «Меняет голос», «Охраняет от ссор», «Усмиряет буянов», «Не забудь меня», «Снимает проклятья», «Я сильнее тебя», «Победоносный». Соседка старика предлагает мне большой выбор талисманов от дурного глаза, и я плачу три сентаво за «Молитву одинокой души».

На углу какой-то мулат ухитряется так растянуть носки, будто они из жевательной резинки. Зеваки обступили его, и он монотонно тянет литанию:

— Холидей... Праздничный день... Новые цвета... Новая ткань — носится дольше... Белый каучук... Нейлон... Не рвутся... Не цепляются... Последние двенадцать пар... — Замолчав, он проводит шилом по носку и приглашает собравшихся взглянуть, прежде чем снова затягивает: — Холидей... Праздничный день... Новые цвета... Новая ткань... Носится долго...

Затянутые в узкие юбки, расхаживают девушки Мансанильо, мило вращая зонтики. Рядом со мной около тележки продавца бутербродов приценивается к товару смуглая стройная женщина.

— Для вас тридцать сентаво, — говорит продавец.

— А те, маленькие?

— Эти дешевле. Пятнадцать сентаво и пять за хлеб.

Неожиданно автомат в баре раздражается первыми тактами победного гимна — радостного, как увертюра Моцарта, веселящего душу, под который хочется плясать всем, кто его слышит. Музыка, как магнит, привлекает к автомату ребят; не обращая внимания на жару, начинают пританцовывать некоторые прохожие.

На другом конце рынка люди толпятся вокруг фургончика с афишей: «Пластырь. Если будешь сам срезать мозоли, никогда от них не избавишься». Плутоватый, небольшого роста негр в фетровой шляпе изъясняется весьма мудро и жестикулирует, как заправский оратор:

— Все инфекции ноги происходят от обрезания мозолей режущими инструментами... Поэтому я сообщаю вам... Ибо толпа — это собрание умов... Моя речь помогает вам составить суждение обо мне... Для человека науки лучший стимул — одобрение народа... В обществе одни производят, а другие потребляют, но когда те, кто производит, не трудятся, те, кто потребляет, нуждаются... Знакома вас со своими научными доводами, я стремлюсь служить культуре...

Стоя в тени навеса, я слушаю его в течение нескольких минут, потом замечаю такси и поднимаю руку.

— Вам куда?

Шоферу на вид лет сорок, он смуглый, в темных очках. Рядом с ним — парень в форме бригадиста.

— Я хочу проехаться по городу, — говорю я. — Маршрут можете выбрать сами.

— Хорошо. Но что вас интересует?

— Все. Я нигде не был.

— Видели поселок рыбаков?

— Нет.

— Тогда съездим туда. Там очень красиво.

Шофер распахивает дверцу, и я устраиваюсь на заднем сиденье. Такси — старый «форд» — дребезжит разбитыми стеклами, скрепленными полосками бумаги.

— Вы иностранец? — спрашивает водитель, когда мы трогаемся с места.

— Испанец.

— Ясно, — говорит он. — И давно на Кубе?

Следует обычный диалог. Я отвечаю: «Три недели». Он: «Вам здесь нравится?» Я: «Очень». Он: «Куба всегда была прекрасна, но теперь — особенно». Затем он спрашивает меня об Испании, и я рассказываю о том, как живут испанцы сегодня, об их прошлом и нашем будущем. Через несколько минут мы уже друзья, уже на «ты», как старые знакомые.

— В Мансанильо жило несколько твоих земляков, так я бы не хотел увидеть их даже на фотографии, — говорит он.

— Они выехали?

— Фидель вернул их в Испанию заказной бандеролью, чтоб по дороге не потерялись...

Шофера зовут Мануэль, он женат, у него шестеро детей, и он коренной житель города. Когда объезжаем территорию порта, он показывает мне густой сад с удобно расположенным баром и пристанью, принадлежащей теперь ИНИТ¹.

— Раньше здесь было гнездышко,— рассказывает он.— Птички сидели в холодке и дули виски до одурения.

— Помнишь дона Делио? — спрашивает бригадист.

— Богатеи нашу кровь сосали, а сами даже голубку святого духа покормить скупались.— Мануэль говорит не спеша, словно смакуя каждое слово.— Один мой приятель два года у таких проработал и гроша лишнего не имел.

— Зять дона Делио вместе с этими негодьями на Плайя-Хирон высадился,— бригадист обращается ко мне.— Теперь в тюрьме на острове Пино.

— Этот не сразу угомонился,— замечает Мануэль.— А другие тотчас на север драпанули, как поняли, что орешек не по зубам...

Дорога огибает мыс Гуаканабайо, и справа расстилается плоское, однообразное море. Суденышко угольщиков держит курс на еле видную полосу деревьев и кустарника. Над ставными сетями кружит стая чаек. Солнечный свет, отражаясь от поверхности моря, дрожит словно марево над водой.

Проезжаем аристократический квартал Мансанильо, и через сотню метров Мануэль показывает мне строящуюся верфь. Мы огибаем холм, теперь город позади. Красные, желтые, зеленые и белые дома рыбаков уступами сбегают со склона. Въезжая на чистые асфальтированные улицы, сбавляем скорость. Вокруг домов — живые изгороди, аккуратные газоны и клумбы с цветами. Похожая на цыганку девочка поливает из шланга газон. Посреди улицы гоняют мяч ребятишки, и мы сигналим, чтобы они дали нам проехать.

— Все это революция построила для бедняков,— говорит Мануэль.— Раньше они жили в хижинах без света, у них не было ни школ, ни больниц, ничего... Половина детей умирала, едва родившись.

— Сколько семей здесь живет?

— Больше пятисот. Хочешь зайти в какой-нибудь дом?

Мануэль останавливает машину возле одного из садиков и подходит к пожилой женщине, отдыхающей около крыльца в кресле-качалке. Бригадист тоже выходит из машины и жестом приглашает меня последовать его примеру.

— Идем,— зовет он.

Женщина и Мануэль молча поджидают нас. Когда я подхожу, мой друг говорит:

— Этот товарищ — испанец.

— Добрый день,— хозяйка слабо пожимает мне руку.— Проходите.

Надпись над входом гласит: «Жильцы дома состоят в комитете защиты революции». Переступив порог, попадаем в маленькую гостиную, где стоит стол, два кресла и полдюжины стульев. На стене — портрет Фиделя и флаг, на котором написано: «Территория, освобожденная от неграмотности». Двери слева ведут в спальню и столовую. Справа — в спальню с тремя кроватями, кухню, умывальную и душ.

— Давно вы здесь живете? — спрашивает Мануэль.

— С июня. А муж и младшие дети приехали месяцем позже.

— А где они были?

¹ ИНИТ — Национальный институт туризма.

— В Мегано.

— И как им там жилось?

— Не дай бог! — Женщина делает неопределенный жест, точно крестится. — Совсем, как скотине... До сих пор как во сне хожу, не могу поверить, что этот дом наш.

— А где сейчас муж?

— Уже двенадцать дней, как за рыбой ушел. — Она показывает на флаг, прибитый к стене. — Младших сыновей тоже нет... Поехали в Сьерру неграмотных учить.

— А вы? Читать и писать умеете?

— В прошлом месяце письмо Фиделю послала.

— Кто же вас учил?

— И мужа и меня — младший сын.

Женщина приносит тетрадь, исписанную неуклюжими, неровными буквами. Пока читаем, она с гордостью смотрит на нас. Соседские дети столпились в дверях и с любопытством разглядывают приезжих.

— А ну, марш отсюда, — прикрикивает хозяйка. — И так дышать нечем.

Дети нехотя уходят, хозяйка приглашает нас посидеть, но мы возвращаемся к такси. За полчаса проезжаем поселок рыбаков из конца в конец. Бригада рабочих занята благоустройством улиц, около центральной лестницы запускают змей ребятишки. Мануэль показывает мне изыщные здания рынка и народного магазина, современный школьный ансамбль. Когда заканчиваем осмотр, солнце уже в зените и море блестит тускло, словно свинец.

— За три года Фидель такое сделал, что другие правители за тысячу лет не сделают, — говорит мой друг. — Учтите, я это не из корысти говорю. Мне дома не давали, да я и не возьму...

— Ему предлагали, но он отказался, — вмешивается бригадист.

— Другие больше меня нуждаются. — Мануэль достает из бумажника портрет Марти и показывает мне. — С меня хватит того, что мне свободу дали. Настоящий революционер должен жертвовать собой, как он жертвовал.

Вернувшись в Мансанильо, останавливаемся возле бара ИНИТа. Официант раскрыл большие зонты на террасе, отсюда панорама порта затуманена знойным маревом. У пристани клуба стоят спортивные яхты. Море спокойно, и над стапелями летают чайки. В доке какой-то рыбак ремонтирует киль своего баркаса, дети шлепают по воде возле берега.

Пока официант смешивает с «карта бланка» молоко кокосовых орехов, Мануэль рассказывает о полицейском терроре при Батисте и о подвигах тигров Масферрера¹. В последние месяцы диктатуры ее противников находили мертвыми в самых оживленных местах повешенными на фонарях и на деревьях. Иных завязывали в мешок, обливали бензином и сжигали.

— Выхода не было... Оставалось подтянуть штаны и драться. Кожа у нас задубелая, да только даже вол начинает лягаться, если его столько бить.

— Тогда убивали без разбора, а американцы молчали, — говорит бригадист.

— Того, кто сейчас скулит, я бы сажал в мусорный ящик и в море бросал, — продолжает Мануэль. — Вез я как-то одного типа, так он все ныл: и дела идут плохо, и сахара мало, и лекарств скоро не будет, и мою машину национализируют... Я дал ему потрепаться, да и говорю: «Слу-

¹ Р. Масферрер — сенатор при Батисте, главарь террористических ударных отрядов.

шай-ка, деньги теряет тот, у кого они есть. Бедняк не разорится... Если Фидель отберет у меня машину, так он даст мне зарплату, а не даст зарплату — значит, даст что-то другое, чтобы и моя семья, и я жить могли, так что заткнись, пока я тебя в больницу не отвез, чтоб тебя подлечили...»

— Такие люди повторяют враки радио Суан, — вмешивается бригадист. — Надеются, что со дня на день американцы высадятся.

— Пусть надеются. Кубинцы уже доказали, что они не трусы, и если надо будет, все умрем, ни на шаг не отступим.

Напиток — как лед, и пить его в жару — наслаждение. Вскоре Мануэль спрашивает, куда бы я хотел еще поехать. Вспоминаю, что сын Наварро рассказывал мне о спиритическом центре Мансанильо, и спрашиваю, далеко ли он.

— Надо попасть на дорогу в Кампечуэлу, а там минут десять езды.

Идем к такси, а официант выходит навстречу парочке, рука об руку возвращающейся из парка. У девушки яркое, свежее лицо и черные живые глаза дикого зверька. Ей лет шестнадцать. Но по тому, как она держится, можно заключить, что она уже женщина. Ее спутник — красивый мулатик — рассеянно покусывает травинку.

— Опять вы? Сколько раз вам говорить, чтоб ноги вашей здесь не было?

Расправляя складки на юбке, девушка кривит губы.

— Парк для всех открыт.

— Ишь, ловкачи, нашли себе пристанище, — официант обращается к нам, призывая нас в свидетели. — А ну-ка, девочка, марш домой!

— Ладно, ладно, уходим, не кричи, — огрызается мулат.

— Малютка разгулялась, — говорит официант, когда они удаляются. — Дождется, что надуют ей живот.

— А тебе-то что, — говорит Мануэль. — От этого еще никто не умирал.

Дорогой Мануэль рассказывает об основателе спиритического центра — французе с большими белыми усами, которого спириты считали мессией.

— Прижился на Кубе. Каждый год на святую пятницу умирал, а на следующий день воскресал, когда его бедняки монетами закидают.

— Он жив сейчас?

— Нет. Однажды фокус не удался, он и впрямь ноги протянул. Тогда его место заняла сестра Анхелина. Я тебе потом расскажу кое-что о ней.

Едем по асфальтированному шоссе, потом Мануэль тормозит возле роскошного сада. Над калиткой вывеска: «Центр Хуана Баутисты Левье». Калитка распахнута настежь, и мы ступаем на посыпанную гравием дорожку. Все вокруг дышит благополучием, покоем. Фламбояны, араукарии и мирты мешают нежно-зеленые тона своей листвы. Вдоль дорожек тянутся клумбы экзотических цветов. В центре сада, словно раскрытый веер, красуется дерево путешественника.

Спиритический центр состоит из дюжины современных домов с четырехскатными черепичными крышами. Видим верующих, которые сидя молятся у часовни. Заходим в другую, более просторную часовню, и толстый седой человек в очках сразу же вызывается сопровождать нас.

— Левье прибыл на Кубу в тысяча девятьсот четырнадцатом году, однако его пришествие еще в древности предсказывалось святым писанием, — сладким голосом толстяк объясняет нам символику литургии.

В часовне множество цветов, алтарей, картин, ниш и приношений. На стене на белом фоне вижу скрещенные флаги Кубы и Франции и слова «Любовь», «Мир», «Союз» и «Триумф духа», образующие замысловатый иероглиф. Судя по портретам, Левье похож на содержателя бара, ушедшего на покой. Множество гравюр, сделанных верующими, изображают его в полосатом галстуке, хорошо отутюженных брюках и безупречной сорочке, шествующим по морю, как Христос, или спокойн.) возносящимся к солнцу.

Наш гид кажется слегка взволнованным, и я замечаю, как, славословя Левье, он косится на Мануэля.

— Пирамида Хеопса пророчит эволюцию Кубы со времени тысячеверстного похода Карла Великого и дня, когда на Каспийском море он разгромил индейцев Тамерлана. Было предначертано, что француз высадится на самом красивом острове Западного полушария и после его смерти другой верующий отнимет имущество богатых и отдаст его бедным...

Наш визит длится не более десяти минут; уже поздно, поэтому мы прощаемся с гидом и возвращаемся в Мансанилью.

Усевшись рядом с Мануэлем, я напомнил ему, что он обещал мне рассказать какую-то историю.

— Ты заметил, как этот тип смотрел на меня?

— Да. А почему?

— Сейчас расскажу.— Не выпуская руля, он не спеша закурил.— Сестра Анхелина была очень популярна в округе, говорили, что она со святыми общается. Денег у нее было немало и, если бы все шло по-прежнему, так еще больше стало бы. Только на свою беду влезла она в политику...

— Что же она сделала?

— Она и испанские священники жили на деньги контрреволюционеров, а в прошлом году, перед вторжением, решили связаться со святым ФБР...

— Ну и как, связались?

— Еще как! — Мануэль рассмеялся.— Она ездила с Кубы в Пуэрто-Рико и обратно, пока наконец ее не поймали с поличным.

— Ездила по заданию главарей контрреволюции,— сказал бригадист.

— В тот день я как раз дежурил и весь ее арсенал видел,— заканчивает Мануэль.— Она была опасным гусано...¹

4

Как мы и договорились, на другое утро парень из ОРО заехал за мной в гостиницу и повез меня на машине по автостраде Лас Мерседес в Школьный городок Камило Сьенфуэгоса.

Долина Яры — сплошной сад, созидательный дух революции проявляется здесь бурно и во всем. Новые жилые массивы, кооперативы и народные магазины очень быстро видоизменяют пейзаж. Снуют груженные различными материалами машины, и по мере того как приближаются контрфорсы Сьерры, вас все более властно охватывает впечатление, что вы присутствуете при рождении нового мира, нового, справедливого общества.

Двадцать шестого июля 1960 года в чистом поле около Централь Эстрада Пальмы миллион кубинцев праздновал седьмую годовщину движения, давшего Кубе свободу. Шестнадцать месяцев спустя десятки комфортабельных домов, построенных Повстанческой армией, встали в

¹ Червяк. Так называют на Кубе контрреволюционеров.

ряд вдоль дороги. Семьи солдат, работающих на строительстве Школьного городка, живут в чистых современных домах, окруженных садами, за которыми с любовью ухаживают женщины и дети. Не обращая внимания на зной, работают на строительстве дороги люди Акосты. Время от времени сидящий на телеге из пальмового дерева крестьянин гонит караван мулов с подвязанными хвостами. Мост через Яру еще недостроен, и мы переправляемся на понтоне, покрытом строительной грязью. На той стороне мы видим такие же домики и останавливаемся у кафе выпить чего-нибудь освежающего. Потом едем дальше и, преодолев очень крутой спуск, въезжаем в Школьный городок.

Сьерра-Маэстра четко вырисовывается на синем небе, и перед нами открывается необычайно красивая панорама. Справа белыми пятнами выделяются на склоне холма здания аудиторий и общежитий. Слева перед баром и продовольственным магазином толпится персонал городка. Мы ставим машину в парке, и сопровождающий ведет меня к административному корпусу. Капитан революционной армии приветствует нас. Потом знакомит меня с инструктором первой группы.

— Товарищ расскажет вам о работе, которую мы называем воспитательной, — говорит он, — а потом снова зайдете сюда.

Спальни детей занимают несколько двухэтажных коттеджей, в шахматном порядке разбросанных на зеленом поле. На склонах холма разбит детский парк с качелями, фонариками и русскими горками. Мы с учителем идем по дорожке, посыпанной гравием, которая вьется между клумб и газонов. Многие деревья еще не оделись листвой, и на них укреплены таблички с названиями: «каучуконос», «бихагуа», «гуанабана», «окухе», «гуасима».

— В первой группе пятьсот детей. Пока одни мальчики. Сейчас армия строит еще двадцать зданий. Через три года сможем принять все двадцать тысяч детей Сьерры.

Подходим к гудящей, словно улей, аудитории. Когда открываем дверь, все встают. Девушка лет двадцати, расхаживающая между рядами парт, улыбается моему gidу.

— Это наша учительница, — представляет он. — Сеньор — испанец.

Девушка грациозно протягивает руку и улыбается мне.

— Сейчас идет урок рисования. — Она оглядывается на все еще стоящих ребят. — Можете сесть.

Дети рисуют человека с лысиной, усами и бородкой — Ленина. Кто-то изображает на рисунке облако или солнце, которое ореолом встает над головой советского вождя.

— Мы даем им изображать все так, как оно им представляется, — объясняет учительница. — Те, кто не любит рисовать, могут лепить или сочинять стихи.

Девушка показывает тетради со стихами, написанными и иллюстрированными детьми: «Чудесный тростник», «Человечек», «Синий колодец»... Наугад раскрываю одну из тетрадей и читаю:

Я хотел бы
шагать по свету,
чтоб узнать,
сколько лет потрачу...

Урок кончается, и дети гурьбой выбегают в сад. На опустевших партах остаются портреты Ленина. Учительница ведет нас в соседнюю аудиторию, чтобы продемонстрировать скульптуры и акварели своих питомцев.

— Когда они сюда пришли, никто из них не умел ни читать, ни писать, ничего не умели. Пришлось учить их всему: умываться, причесы-

ваться, даже есть. Некоторые никогда не видели электрической лампочки.

На перемене дети играют в шахматы или смотрят телевизор. Другие, в белых майках с буквами СЭСС¹ на спине, бегают по дорожкам. Те, что постарше, сажают малышей на плечи, и начинается импровизированное сражение — полутурнир-полукоррида.

Учитель подзывает белокурого паренька в синих брюках.

— Этот сначала был тихоней, а когда понял, что его здесь не съедят, перестал бояться и чувствует себя как дома,— говорит он.— Правда, Марино?

— Правда, сеньор.

— Какой язык тебе хочется изучать после школы?

— Болгарский.

— Ты, верно, хочешь сказать: русский...

— Нет, нет, болгарский,— настаивает мальчик.

Рядом с ним скалит зубы маленький негртенок. Учитель гладит его кудри.

— Нельсон — сорвиголова, главный заводила Школьного городка. На прошлой неделе сбежал на реку рыбу ловить.

— Но я же не знал, что шли занятия,— протестует мальчик.— Это Армандо меня подбил...

— Ну, конечно, всегда попугай виноват! Если ты еще раз выкинешь такое, как ракета полетишь домой.

Вокруг нас собралось много детей. До революции никто не заботился об их воспитании, о том, чтобы они были сыты. Как и в нищих районах южной Испании, они голышом бегали по полям на рахитичных ножках, со вздувшимися животами, глядели грустными красивыми глазами и, будто зверьки, разбегались при виде незнакомого человека. Сейчас они без всякой боязни толпятся вокруг иностранца, сверкают белозубыми улыбками на любопытных мордочках, тянут маленькие быстрые руки.

— Как тебя зовут?

Мальчик в коротких штанишках засовывает большие пальцы за пояс и нерешительно оглядывается на товарищей.

— Хеновево.

— А откуда ты?

— Из Мина Сун.

— Сколько же тебе лет?

— Одиннадцать.

Когда я заговариваю о войне, лицо мальчика мрачнеет, и он опускает глаза.

— Мой брат воевал... Его убили.

— А отец?

— Он тоже был повстанцем.

— Где же он сейчас?

— Дома... Теперь у нас есть корова.

— А раньше ты пил молоко?

— Нет, сеньор.

— Что же ты ел?

— Овощи, фрукты...

— А хлеб?

— Хлеба не ел, сеньор.

— Может быть, мясо?

— Нет, мяса тоже не ел.

¹ СЭСС — Школьный городок Камило Сьенфуэгоса.

- А здесь?
- Здесь ем.
- Читать и писать умеешь?
- Умею.
- Кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Доктором.— Мальчик смущенно отводит взгляд.
- А где? В Гаване или здесь, в Сьерре?
- Куда пошлет революция.

Каждый из мальчиков раз в неделю работает в поле, бригады меняются ежедневно. Ими руководит средних лет валенсец, ухитрившийся сохранить родной говор, несмотря на то, что уже больше тридцати лет живет в Америке. Одни ребята разгружают грузовик с удобрением, другие поливают огороды, где выращиваются помидоры, салат, капуста и баклажаны. Сутулый и темноволосый парнишка приволакивает при ходьбе ногу. Поймав мой взгляд, сопровождающий говорит, что в один из последних дней диктатуры мальчик был ранен очередью с самолета.

— А вот этот из семьи Арготе,— добавляет он.— Слышали о ней?

На обратном пути он рассказал мне о бесчинствах Сосы Бланко в местечках Байамо, Оро-де-Гиса, Канто Кристо, Пино-дель-Агуа. В Левисе он убил девятнадцать человек, а в Маяри сжег все крестьянские дома. Потом для устрашения расправился с семьей Арготе: погибли семь двоюродных братьев мальчика, дядя и два родных брата, которые в это время делали ямки для капустных семян.

— Выстроил всех в ряд и повесил. Только Архелио спасся, он в горы за травой ходил...

В управлении городка уже переговорили с Мансанильо, и теперь меня представили капитану Пенье — одному из старейших революционеров, человеку, для которого борьба продолжается вечно. Он приглашает меня на чашку кофе, прежде чем отправиться в поездку. Солдаты Повстанческой армии пользуются коротким отдыхом, чтобы побеседовать у стойки бара, который напоминает мне салун из фильмов о далеком Западе времен золотой лихорадки. Здесь пьют мулаты с лицами, словно вырезанными из камня, негры в соломенных шляпах с мачете за поясом и сигарой в зубах, молодые длинноволосые парни с блестящими медными медальонами, крестьяне с густыми русыми бородами. Пока капитан беседует со своими людьми, я решаю сфотографировать крестьянина, словно сошедшего с картинок, что я коллекционировал в детстве. Он точит свой мачете и смеется, заметив, что его снимают.

— Сломается ваша машинка с перепугу,— шутит он.— Уж больно мы здесь, в Сьерре, некрасивые.

На нем широкие брюки и зеленая армейская рубашка. Под полями сомбреро из пальмовых листьев лукаво блестят синие глаза.

— Как идут дела? — спрашивает его Пенья.

— У нас всегда порядок... Только что кончил расчищать участок.

— А как настроение?

— Еще лучше, чем под Туркино, капитан. Вы же знаете: я с Фиделем до конца.

Пенья прокладывает дорогу в толпе бородачей, и мы усаживаемся в его «джип». За полчаса успеваем посмотреть столярные мастерские и спальни солдат. Затем по грунтовой дороге через холмы едем к стройке. Добровольцы Повстанческой армии закладывают фундаменты нового школьного массива. Работают голыми до пояса, фуражки и сомбреро защищают головы от солнца. Прямоугольный котлован уже вырыт на

месте будущего бассейна. Подходит и предлагает нам закурить наблюдающий за работами сержант.

— Пришли посмотреть?

— Да,— отвечает капитан.— Посмотреть.

— Иду снимать стружку со второй бригады... В самом хвосте плетутся.

— Когда все это будет готово? — интересуюсь я.

— Через три месяца. Не беспокойтесь: раз мы взялись — значит, все будет в полном порядке.

— И по сколько часов вы работаете?

— Кто сколько может.— Сержант рукавом оттирает пот с лица.— Здесь работают не для заработка. Кто устанет, может уйти в любое время.

— Эти люди жертвуют всем,— говорит Пенья.— Большинство из них семейные, и, пока не готово жилье для них, они вынуждены жить вдаль от жен и детей.

— При Батисте мучались больше, да еще ни за что ни про что,— откликается сержант.— А сейчас строим для наших детей и внуков.

«Джип» карабкается по склонам холмов. Пересекает пустынное нагорье. Растительность здесь жалкая, словно сорняки задушили низкие, редкие кустарники и хилые, желтые пальмы. Люди Акосты расчищают земли от сорняков, чтобы превратить их в плодородные поля. Сорняки рубят мачете, крюками растаскивают колючие ветви и лианы, потом жгут растения, и по саванне расплзается дым, густой и белый, как туман.

Когда мы возвращаемся, солнце уже начинает садиться, и серая аура¹ кажется крестом на ветке рожкового дерева. Вдали видны красные холмы, поросшие королевскими пальмами. Бородатый крестьянин проезжает на рыжем коне и скрывается за поворотом. Мы едем мимо солдат, корчующих кустарник, и Пенья сигналил, приветствуя их.

Акоста поджидает нас в комендатуре. Это смуглый здоровяк, приветливый и сердечный. Пока пьем кофе, он рассказывает о планах экономического развития городка в ближайшем будущем. Городок должен иметь свою промышленность, земледельческие и скотоводческие хозяйства. До революции все эти пустоши принадлежали одному хозяину. Теперь на них работают тысячи людей, и скоро здесь будут жить все дети Сьерры.

— Вот если б хозяин увидел сейчас свои земли, наверно, от удивления онемел бы.

Потом он показывает нам свиноферму. Солдаты кормят свиней плодами королевской пальмы, собранными в горах. Около водопоя валяются в грязи животные, и под равнодушными взглядами солдат кабан покрывает свинью. Поросята содержатся отдельно, в чистых, хорошо оборудованных свинарниках. Под соседним навесом расположен родильный дом. Сейчас там рожают свинья, и малыши, едва родившись, тотчас начинают искать теплые, набухшие сосцы.

После осмотра бойни и холодильника майор прощается с нами, и Пенья везет меня в Лас Мерседес. Солнце вот-вот скроется, небо кажется необычайно синим. Грузовики развозят рабочих по домам, их кузова набиты людьми в деревенских шляпах, гимнастерках оливкового цвета, португелях и с мачете у пояса. Восседавая на техасском седле, едет по направлению к поселку крестьянин с профилем Христа. Потом мы приближаемся к подножию Сьерра-Маэстры, и красота пейзажа

¹ Хищная птица.

восхищает меня. Холмы неподвижными волнами вздымаются от равнины до диких горных ущелий. На их красноватых склонах застывшими фейерверками высятся королевские пальмы. «Джип» ползет по крутой дороге, которая обрывается, достигнув ущелья. Лас Мерседес укрыл в лошине свои домики, сооруженные из пальмовых веток, новое административное здание и бар, куда крестьяне приходят побеседовать и выпить рому. Че Гевара освободил городок за несколько месяцев до падения диктатуры, здесь произошло одно из решающих сражений. Проржавевшая танкетка армии Батисты, стоящая у поворота, напоминает путешественнику о героизме тех, кто боролся и умер за свободу родины.

К сожалению, быстро темнеет, и приходится возвращаться в Мансанильо. Парень из ОРО поджидает меня в гараже, и я прощаюсь с капитаном. Над долиной сгущается тьма. Созвездия огней Школьного городка остаются позади, фары нашей машины метут дорогу двумя снопами яркого света.

Когда мы приезжаем в Мансанильо, бригадисты, первыми вернувшиеся из Сьерры, уже разгуливают в своей униформе по улицам; город настроен празднично и охвачен радостным волнением. Громкоговоритель на площади объявляет программу праздничной недели. Все запевают гимн бригад Конрадо Бенитеса. Вдоль домов движется поток людей, бары и кафе набиты битком.

Я долгое время хожу из бара в бар, пью и слушаю пластинки. Наконец встречаю крестьян, с которыми познакомился накануне, и приглашаю их выпить «карта бланка». Они отвечают мне тем же, и мы заходим в бар с крышей из пальмовых листьев, что стоит возле порта. У стойки двое мужчин, один с клавье¹, другой с трэс² — импровизируют креольские десимас³. Крестьяне знакомят меня со своими приятелями, и я отвечаю на обычные вопросы. Говорю, что я барселонец, что на острове уже три недели и что испанский народ с надеждой смотрит на революционную Кубу. Они внимательно слушают меня, и один из трубадуров, обойдя присутствующих с тарелочкой, на которую бросают мелкие монеты, запевает хриплым голосом:

Я помню Испанскую республику,
что пала когда-то.
Но я храню ее в памяти,
как звезду в ореоле...

К стойке, прихрамывая, подходит мужчина. Он высок, крепко сложен, и белая рубашка оттеняет смуглую бледность его лица. На нем широкополая, сдвинутая на затылок шляпа, и, поймав мой взгляд, он останавливается и смотрит на меня.

— Что, не узнаете?

Это Марселино, пастух из Байамо.

— А я сразу вас признал.— Рука у него жесткая, мозолистая.— Вы тот испанец, что на такси ехал.

— Хотите что-нибудь выпить?

— Спасибо,— благодарит он.— А Роландо, шофер, здесь?

— Не думаю. Кажется, он еще вчера вернулся в Сантьяго.

— У меня к нему дело есть, но я так разволновался, когда его увидел, что обо всем забыл.

Марселино опирается о стойку и, пока певец поет, стоит молча, слов-

¹ Музыкальный инструмент.

² Музыкальный инструмент с тремя струнами.

³ Десятисложные куплеты.

но его не радует окружающее веселье. Он осушает стакан за стаканом, и его лицо мрачнеет, становится все печальнее.

— Извините мое любопытство,— вдруг говорит он.— Вы случайно не врач?

— Нет.

— Так... А там, в Европе, у вас нет знакомых врачей?

Я отвечаю, что есть, он глотает слюну, и кадык на его шее поднимается и опускается, как клапан мотора.

— Плохо я себя чувствую, понимаете? Во время войны меня всего издырявили пулями... Я хотел заниматься своим делом, за скотом ходить, но не могу. Очень устаю. Вот здесь прострелили, и ногу, и руку, везде...

Марселино расстегивает рубаху и показывает белые шрамы под грудой растительностью на груди.

— Предложили мне спокойное место в конторе, да только не хочу я туда. Мое дело скот, понимаете? Раньше я по двадцать часов без передышки по горам ходил... Вылечиться бы мне, я бы самым счастливым человеком стал...

— А кто вас лечит?

— Очень хороший доктор, из Байамо. Но чувствую я себя плохо. А когда я с женщиной... Я весь в дырках, понимаете?

Марселино пристально смотрит мне в глаза, и его взгляд полон страдания.

— Я такой же мужчина, как раньше, засвистят снова пули, так я с кем хочешь повоюю. Но вот когда я с женщинами... Меня ранили и сюда, и вот сюда — везде раны...

Марселино охвачен отчаянием, и моментами мне кажется, что он вот-вот закричит. Самое жестокое проклятье лежит на нем, поэтому глаза его так лихорадочно блестят — в них стоят слезы.

— Все испробовал... Как подумаю о своей жене, плакать хочется, понимаете?

Я отвечаю, что понимаю, но остальные настойчиво тащат меня в бар «Эурека», и я прошу его подождать меня несколько минут. Марселино осушает стакан и неотрывно смотрит в какую-то точку перед собой.

— Я быстро устаю, понимаете? Мне все тело во время войны продырявили...

Когда мне наконец удастся вернуться в бар, Марселино там нет. Я безуспешно ищущу его по всем заведениям города. Потом возвращаюсь в гостиницу и ложусь, не раздеваясь. Думаю о том, что тирания даже через три года после своего падения еще давит сердца людей, отравляет их кровь, унижает достоинство, и впервые на Кубе не могу уснуть без снотворного.

5

На следующий день еду ловить рыбу, поэтому поднимаюсь рано. Туман еще стоит над Мансанильо, когда я открываю окно. Мгновение мне кажется, что я в Париже или в каком-то унылом и сыром городишке севера. Шаги негра, насвистывающего «Интернационал», успокаивают меня, возвращая к действительности. Парень из ОРО охраняет вход в отель, его руки глубоко засунуты в карманы. От бодрящего холодка я окончательно просыпаюсь. Несколько минут идем по пустынным улицам. Какой-то рыбак направляется к порту с тростниковой корзиной и подсачком. Кафе еще не открылись, служащие муниципалитета поливают и подметают аллею парка.

Мы должны грузиться у бара ИНИТа, а пока ждем, сопровождающий представляет мне остальных участников ловли: хозяина катера и

двух его сыновей, плотного мулата лет пятидесяти Бето Гарсия, его брата Агустина и двух солдат сторожевой охраны. Агустин с парнями переносят провизию, Бето в последний раз проверяет мотор. Чайки вьются и парят в воздухе, прежде чем стремительно ринуться на жертву. На причальной тумбе замер одинокий пеликан. Ловцы креветок следят за своей снастью и то и дело вытаскивают вверх полные сети, тогда гребец, сидящий на носу, сразу направляет лодку к пустынному берегу.

Когда мы отчаливаем, часы показывают семь. Старший сын хозяина запускает мотор, и Бето становится у руля. Расположившись на крышке планшера, Агустин насаживает приманку на крючки; он моложе и худощавее брата, в его лице много индейского, движения — совсем как у кошки. Солдаты, лежа на койках, слушают радио. Хозяин забросил с кормы спиннинг и следит за приманкой.

Солнце припекает все сильнее, уходят и тают облака. Позади нас небо уже совсем синее. Островки, подобно миражам, то и дело возникают на горизонте. Ветер стих, и волны, выбегаая из-под килля, морщат спокойное лицо моря. Неожиданно Мигель — так зовут хозяина — взмахивает спиннингом и выбрасывает на палубу рыбу-пилу, которую Агустин успокаивает деревянной колотушкой. Бето встает, чтобы посмотреть на рыбу, катер немного отклоняется от курса, и старший сын Мигеля становится у руля. Течение в узких проливах между каменистыми островами быстрое, повсюду рассеяны бакены. За двести метров до них Бето глушит мотор. Мы почти на мелководье, и сквозь воду просвечивают скалы. Видны кораллы, черепахи, морские звезды и ежи. Сыновья хозяина в снаряжении для подводной ловли погружаются на дно, солнце до того жжет, что я не выдерживаю и тоже ныряю в искрящуюся воду.

Через полчаса взбираюсь на катер с соленым привкусом моря на губах. Бето протягивает мне чашечку кофе, и я располагаюсь отдыхать, положив голову на бухту каната. Солдаты связываются по радио с морской комендатурой Мансанильо. Когда Мигель тащит особенно тяжелую рыбу, Агустин помогает ему гарпуном. Через некоторое время оба ныряльщика появляются с уловом лангуст и черепах. Рыба отлично берет наживку, и очень скоро на палубе образуется пестрая трепещущая грудa. Потом мы ловим в других местах, и, вспоминая скудную добычу рыбаков Альмерии, я удивлялся богатству здешних вод. Бето говорит, что иногда улов бывает так велик, что его некуда грузить и приходится до Мансанильо тянуть сети за кормой.

— Когда хорошая погода, улов бывает до шестидесяти арроб¹, — говорит он.

— Какими снастями вы пользуетесь?

— Ночью ловим сетью, неводом, переметами, вершами... Чем попало. Пока у нас настоящая анархия. Но ничего, скоро все изменится. Видел новые пароходы?

— Да.

— Совсем другое дело, парень... На этих пароходах наловим рыбы для всего острова.

Я лежал с закрытыми от слепящего солнца глазами и не сразу заметил, как сторожевой катер «Санта Крус дель Сур» неожиданно возник рядом с нами. Его команду составляли три молодых парня в одинаковой форме, отчего они казались похожими, как братья. Капрал бросает конец на наш катер, и Агустин тянет его, пока катера не становятся борт к борту. На палубе сторожевика дремлет под тентом собака. Рядом с

¹ Мера веса — одиннадцать с половиной килограммов.

собакой лежит стопка книг, и я просматриваю их — «Избранные произведения» Марти, «Построение социализма на Кубе», «Как закалялась сталь», книга по механике и школьные тетради в чернильных кляксах.

— Этот мошенник читает запоем, — говорит капрал, указывая на самого рослого солдата. — А потом такого тумана нам напускает, что и сам не понимает, что к чему.

— Болтаешь, как попугай, — огрызается солдат. — Уж лучше бы помолчал, а то несешь всякую чушь.

— У этого малого не все дома, — подмигивает капрал. — В октябре едва грамоту одолел и уже хочет учиться на космонавта.

Солдаты продолжают шутить, а парень из ОРО проверяет точность прицела на стае фламинго. Агустин чистит рыбу, готовя ее для загрузки в холодильник. От яркого солнца уже полиняла синева неба, море по-прежнему остается гладким. Сыновья Мигеля готовят и приправляют рис, и через час мы рассаживаемся вокруг котла с конгри¹.

— У нас едят вволю, — говорит Бето после паузы. — Кто хочет повторить — накладывайте еще.

— Я знаю одного человека, который не остановится, пока не очистит целый таз ахиако², — капрал снова подмигивает, — говорит, что болен...

— Довольно травить, надоело, — с набитым ртом огрызается рослый солдат.

— Этот чертов парень может оставить нас голодными. Торопитесь, ведь он из отряда «Родина или смерть».

— Я им поперек горла встал, — объясняет здоровяк. — Вот так целый день...

— А ты ешь и не обращай внимания, — советует Бето.

— Они сами цепляются, я их не трогаю.

— Ладно, довольно, — смеется капрал, — на суше я боюсь тебя больше, чем меч-рыбу в море.

После обеда толстяк уходит поспать, а мы поднимаем якорь. Нос катера вспахивает море, словно лемех плуга. Низкий болотистый берег залива покрыт густой растительностью. Поселок Мегано будто сидит на песчаной скамье у самого моря, рядом с устьем Кауто. Мы подходим к берегу, где какой-то рыбак забрасывает сети. Прежде чем утонуть, сети трепещут, как платок в прощальном взмахе, и когда их вытягивают из воды, они полны креветок.

Мы бросаем якорь в пятидесяти метрах от песчаной отмели, и рыбаки перевозят нас на берег в пирогах и индейских каноэ. Они отталкиваются шестами, и видно, как напрягаются мускулы у них на руках. Остальные ждут, сидя в тени старого, дырявого шалаша. Прimitивный и дикий пейзаж местности поистине необычен. Хижины слеплены из досок, веток и пальмовых листьев. У некоторых вид нежилой. Миллионы мух вьются у анчоусов, разделанных для приманки, и когда наши гребцы рядком выстраивают пироги вдоль берега, насекомые тучами обрушиваются на нас. Своими бедными ранчо, мангровыми зарослями на болотистых берегах и грязью Мегано напоминает африканские селения. До победы революции сотни рыбаков влачили здесь нищенское существование. Не было ни врачей, ни света, ни школ, дети были отданы на растерзание американским москитам. В довершение ко всему река, разливаясь, затопляла хижины и уносила скудный скарб рыбаков.

— Особенно я отчаивался оттого, что все мои двенадцать детей неучами растут, ни читать, ни писать не умеют, — говорит Бето.

¹ Блюдо, приготовленное из риса и бобов.

² Мясо с овощами.

Теперь рыбаки живут в современных, комфортабельных домах, в новом рыбацком городке. Революция вернула им человеческое достоинство, а их детям дала школу. Осенью из Мегано выехали последние семьи. С тех пор рыбаки приезжают сюда на неделю, на две ловить рыбу, а потом возвращаются домой, в Мансанильо.

— Мы, рыбаки, все милисианос,— сообщает Бето.— Не защищать завоеванное — значит лишать себя матери.

Пока он водит меня по поселку, Агустин рассказывает о бригадистах из отряда «Родина или смерть», приехавших помочь товарищам в борьбе с неграмотностью.

— Здесь им трудно пришлось... но ничего, справились.

— Уже уехали?

— Вчера проводили. Праздник устроили: говорили речи, танцевали, ну и все такое.

— Мы их словно братьев полюбили,— вмешивается старик с красивой белой бородой.— Сколько ж надо было терпения набраться, чтобы меня читать научить!

— А жили они, как и мы. Поначалу к москитам привыкнуть не могли, потом стали костры жечь возле гамаков и спали, как дома.

— Одного рыжего они-таки доконали,— говорит старик.— Когда уезжал, все тело в язвах было.

Двое мужчин окрашивают сети соком мангре, другие кроют ветвями тростниковые хижины. В одной из хижин вижу котел, полный креветок, чуть дальше какой-то парень чинит сети. Рыбаки готовят приманку, мешая анчоусы с тинной. Мухи тучей вьются вокруг, но солнце уже садится и печет не так сильно.

— При диктатуре Батисты солдаты жгли наши хижины за то, что мы повстанцам помогали. В то время человека ни за грош могли кончить.

— Придут к тебе в дом — все разгромят,— рассказывает Бето.— А ты еще радуйся, что не шлепнули.

— Мне один лейтенант так поддал, что я с ног слетел,— говорит один из присутствующих.

— Иногда просто хулиганили, подлецы... Кур для развлечения стреляли.

— Как-то пьяные матросы в поросенка двадцать восемь пуль всадили.

Агустин и Бето садятся со мной в катер, мы едем к устью Кауто и до наступления ночи успеваем посмотреть поселок Эстерос. Мы проехали несколько километров и не видели ничего, кроме воды и деревьев, лишь иногда замечая вдали покинутую тростниковую хижину. Сотни белых птиц при нашем приближении поднимаются с унесенных водой бревен и медленно улетают в глубину заболоченного берега, чтобы укрыться в зелени мангровых чащ. Фламинго вспарывает водную гладь тяжелыми ударами крыльев. Возле устья реки, рядом с причалом стоит одинокое ранчо, которое, кажется, задохнулось в непроходимой чаще.

Вскоре мы встречаем шаланду угольщиков. Они в грубых, закатанных до колен штанах и, заметив нас, приветственно машут своими инструментами. Потом перед нами открывается болотная равнина, поросшая камышом. Блики солнца на воде слепят глаза. За холмистым островком, возникшим посреди этой саванны, прячутся, завидев нас, кулики.

Бето разворачивает катер на бухту Гуаканаябо. Сборщики мангре поставили свою шаланду у понтона, там, где воды реки встречаются с морем и ветвятся по его спокойному лицу, долго не смешиваясь с синевой. Орланы величественно описывают над нами большие круги, высматривая добычу. Лодки угольщиков идут мимо лагун и островов,

попадаясь нам на всем пути. Ловцы креветок грузят бот приманкой для завтрашней ловли.

Эстерос стоит на трясине, и его хижины отражаются в воде, точно переведенные с картинок. Эти хижины, нищие и неуклюжие,— настоящие свайные постройки — с полами из жердей, бамбуковой подпоркой посреди и крышами из веток. Чтобы перейти из дома в дом, жители пользуются плетеными мостками на подпорках. Когда мы высаживаемся, сумерки уже густеют, а москиты — по-моему, они только и поджидали новичка — так и набрасываются на меня.

Босые, в соломенных шляпах рыбаки толпятся вокруг. Они сообщают, что парни из отряда «Родина или смерть» сегодня вечером уехали в Мансанилью, а один старик показывает мне свои тетради. У очага, вокруг которого собрались все рыбаки, повар следит за рисом в котле и раздувает пламя через трубку из пальмового дерева.

— Теперь все живут в рыбацком поселке,— говорит Агустин.— А раньше здесь было еще хуже.

Темнеет, и мы возвращаемся в Мегано. Бето, кажется, обсуждает с товарищами кооперативные дела, а тем временем Агустин приводит меня в хижину с земляным полом, где с потолка наподобие качелей свисает ящик. До революции он служил кроватью сыновьям Агустина, а теперь в нем хранят приманку, чтобы ее не сожрали мыши.

— Раньше мы спали вместе с курами,— говорит Агустин.

— Сколько же лет ты прожил в Мегано?

— С рождения. В Мансанилью о нас и не вспоминали. Пакито Росалес хотел было помочь нам, но попы и богачи не дали.

— А разве в Мегано не было священника?

— В Мегано? — Агустин зажег коптилку, и я увидел, что глаза его насмешливо блестят.— Я прожил здесь больше тридцати лет, и ни один даже по ошибке сюда не забрел.

— Где ж они были?

— Там, где бездельники да богачи. Однажды, правда, какой-то поп решил рыбакам проповедь прочесть, так что поднялось! Чуть ему сутану не порвали, пришлось полиции вмешаться.

Мигель и его сыновья ждали нас на катере. Бето повздорил со скуластым рыбаком и, сидя в кругу товарищей, стал рассказывать мне о трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

— В один прекрасный день я проучу этого лентяя,— говорит он.— Если он так к нам относится, нечего с ним церемониться.

— Да плюнь ты на него. Не знаешь разве, что он привык на других ездить...

— В кооперативе бездельники не нужны. Туда идут, чтоб работать. Я знаю немало людей, что работают лучше его, а еще не получили от революции дома.

— Это так. Чем держать таких лентяев, лучше принять в кооператив новых членов.

— Понимаете, в некоторых еще старая закваска бродит, и нам с ними нужно быть тверже,— поясняет Агустин.— Многие, к примеру, без нужды помощи просят... Не понимают, что теперь все наше — кооператив, пароходы, город. Не понимают, что революция делалась для нас.

— Кое-кто поначалу норовил за рыбой на своих лодчонках выезжать, согласны были нужду терпеть, лишь бы для себя ловить,— замечает один парень.

— А теперь рыбак может в неделю на целый месяц заработать, вот иные и решили, что революция дала им дома, чтобы они полгода бездельничали,— говорит Бето.— Только не выйдет, не получится у них жить за чужой счет. Империалисты хотят нас задушить, и мы должны

работать изо всех сил. А если будем лентяйничать, быстро ноги протянем.

— Капитализм им мозги закрутил,— вставляет другой.— Они до сих пор не поняли, что такое прибавочная стоимость.

— Молодежь — совсем другое дело... У них головы светлые, усваивают лучше. А нас, кому за тридцать, надо бы расстреливать за старость.

— Ну, нет! Я считаю стариками тех, в ком старое сидит,— смеется Бето.— Мне сорок девятый пошел, но я такой смерти не хочу.

Беседа продолжается и после ужина, рыбаки еще долго говорят о кооперативных делах, пока сыновья Мигеля моют тарелки, а солдаты связываются по радио с морской комендатурой Мансанильо. Наконец усталость одолевает людей, и Агустин с Бето укладываются прямо на земле, рядом с другими рыбаками. На катере остается Мигель с сыновьями, солдаты и товарищ из ОРО. Тонкий, как серп, месяц прячется среди туч. Лежа на одеяле, я долго наблюдаю за ним, прежде чем уснуть. Уже тянет свежим ветерком, и морской прибой убаюкивает, как колыбельная песня.

6

Мансанильо принимает праздничный вид. Бригадисты отрядов «Родина или смерть» и Конрадо Бенитеса — учителя-добровольцы и народные борцы с неграмотностью — стекаются из захолустных ранчо и горных селений; у них очень длинные волосы и кожа, опаленная солнцем. Веселые длиннородые мужчины с деревенскими ожерельями из фруктовых косточек на шее и сигарой в зубах группами растекаются по городу. Девушки не лишены кокетства и щеголяют в чистых, тщательно отутюженных рубашках с кубинским флажком и портретом Фиделя. И те и другие заражают своим оптимизмом. Долгие месяцы жили они вдали от родных и друзей, деля нелегкую жизнь с крестьянами, угольщиками и рыбаками. Преследуемые зноем, ядовитыми насекомыми и москитами, они поднимались, едва вставало солнце, и ложились затемно, чтобы нести знания сотням тысяч людей, которых сначала испанский колониализм и буржуазия, а позже американские монополии держали в отсталости и невежестве. Эти мужчины и женщины работали на кукурузных и кофейных плантациях, жили на конных заводах и ранчо, засыпали в гамаках и на походных кроватях при свечах и керосиновых лампах, и теперь они уже не те, что полгода назад вышли на борьбу с неграмотностью из Гаваны, Пинар-дель-Рио или Сантьяго. Пускай крестьяне, угольщики и рыбаки были когда-то невежественными, обманутыми и оскорбленными в своем человеческом достоинстве, их учителя прониклись новым благородством от общения со своими некогда отверженными неимущими братьями. За несколько месяцев революция провела важные преобразования в области морали и экономики, которые нельзя не заметить. Спавшие веками люди тотчас проснулись, едва им предоставили возможность стать людьми в истинном значении этого слова, а те, кто вступал в бой с неграмотностью, в свою очередь очистились от многих предрассудков и эгоизма. Новые веяния охватили остров. Светлеют и хорошеют лица мужчин и женщин, стариков и детей Мансанильо. Согреваются и радостно бьются сердца, когда человек понимает, что такое братство.

Вечером бригадисты с рюкзаками за спиной и в сдвинутых на затылок шляпах заполняют парк. Некоторые из них едва вступили в отрочество, и борода еще не темнеет на детских щеках. Наверное, им едва исполнилось пятнадцать, но рассуждают они, как взрослые. Рядом со мной мальчик-мулат повязывает вокруг шеи флаг «Территории, осво-

божденной от неграмотности». Подвижной и изящный, он улыбается мне, пристраиваясь на краю тротуара.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

— Браулио Перес Эрнандес.

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

— Откуда ты?

— Из Пуэрто Падре.

— Первый раз в Гавану едешь?

— Что вы! В прошлом году ездил со школой, останавливались в отеле «Свободная Гавана».

— Понравилось?

— На самом верху есть очень красивый бар... Мы с братом из лифта не вылезали.

— Где ты боролся с неграмотностью?

— В Никеро.

— И сколько человек обучил?

— Одного. Правда, сначала их было двое, но потом у старичка заболели глаза и он не мог читать.

— Ты и жил с ними?

— Да, сеньор.

— Где?

— В палатке. Потом они поставили мне кровать на кухне.

— А чем они занимаются?

— У них две коровы и огород... Антолиано научил меня доить.

— Антолиано?

— Ну да, хозяин... А жену его зовут Нилда.

— Хорошо ее обучил?

— Да, сеньор, — ответ Браулио звучит уверенно. — На прошлой неделе она написала письмо Фиделю, и учитель подарил ей книжку.

— И есть бригадисты моложе тебя?

— Есть, — говорит он, — Эрасмито. Отец не хотел его отпускать, так он ему сказал: если не пустишь — повешусь, и придется тебе меня рядом с бабушкой похоронить.

— А кто такой Эрасмито?

— Мой брат.

— Он здесь?

— Нет. Отправился со старшей сестрой в Гуантанамо.

За Браулио приходят друзья, и мы прощаемся.

С утра в барах не продают спиртного, и, не найдя ничего лучшего, я сажусь выпить кофе под навесом на площади. На машинах подвозят молодых повстанцев послушать Наварро Луна и Акосту, которые в девять часов будут произносить речи в Кампечуэле. Неподдалеку меж двух такси останавливается Мануэль. Увидев меня, он подходит ко мне со своим братом, который живет в Гаване и проездом находится здесь.

— Вчера весь день потерял, — жалуется Мануэль, — проколол шину, только к вечеру залатать удалось.

Потом спрашивает, что я делал все это время. Я коротко рассказываю о поездке в Мегано и Школьный городок.

— Ну, и как тебе городок? Видел в жизни что-нибудь подобное?

Я говорю, что нет, и он довольно улыбается.

— Идем, — приглашает он, — я тебе кое-что покажу.

— А что?

— В той стороне парка есть бар, где кое-кто из наших собирается поговорить о политике. Знаешь этот бар?

— Я там был в первую ночь, — отвечаю я. — Это заведение Иларио?

— А ты, оказывается, знаешь, где вкусно пахнет,— смеется Мануэль.— Ладно, пойдешь сегодня со мной, решено.

На площади неожиданно вспыхивают фонари. Брат Мануэля шагает впереди нас, засунув руки в карманы, и оглядывается вслед каждой женщине.

— Ну-ка, попробуй устоять перед такой! Ох, и тонкая штучка...

— Для Антонио соблазнить женщину — все равно что стакан воды выпить,— говорит Мануэль.

— Все-таки быстро я забросил камешек той красотке, помнишь? Утром она заходила в таверну Рамона.

— Ты ни одну не пропустишь.

— Я же холостяк, не то что ты,— говорит Антонио.— У меня ни кола, ни двора.

— А твоя невеста?

— Разве я не сказал, что мы расстались? В Гаване такие девочки... Как вот эта черненькая впереди. Смотрите, ребята, ну что за прелесть!

Когда мы пришли, группа завсегдатаев уже начала дискуссию под тентом. Здесь были: женщина лет сорока, бригадисты отряда «Родина или смерть», несколько молодых милисианос, курносый негр, которого друзья называли Хуан Анхель и который говорил, как уроженец Пинардель-Рио. Иларио, по-видимому, уехал в Кампечуэлу слушать Акосту.

Мануэль улыбается женщине и, понизив голос, объясняет мне, что она учительница рисования. По тротуару проходит стайка девушек, и Антонио устремляется за ними.

— В Сьерре они держались молодцами,— кивает вслед девушкам парень из отряда «Родина или смерть».— Иным и пятнадцати лет не было, а вели себя, как взрослые.

— Моя соседка отпустила дочку в Байамо, а когда та вернулась, не узнала ее,— говорит учительница.— Ой, да какой она стала, да ее, наверно, подменили... Теперь и ест все, и слушается... Все матери в недоумении.

— Я знаю одну сеньору, которая не хотела свою дочь отпускать, боялась, что испортят... А теперь ее послушайте. Куда Фидель пошлет мою дочь — туда она и поедет.

— Американское радио передавало, что девушки спустились с гор большие, будто голодом их морили,— говорит один из милисианос.

— Когда слушаешь их болтовню, кажется, что они пьяные или кокаина нанюхались,— замечает Хуан Анхель.— А позавчера один из Байамо жаловался, что креветок не стало, так я ему посоветовал съездить на север, там их полно.

— Кое-кто кричит, что не каждый день мясо ест... А раньше мы, бедняки, много этого мяса ели? — спрашивает учительница.— Таким я говорю: нет мяса — ешьте фасоль, не станет фасоли — ешьте рис, не будет риса — будет маланга¹... С голода не умрем.

— Вот это правильно, молодец! — На Хуане Анхеле белая рубашка с открытым воротом, расшитая нарядной тесьмой, пальцы теребят медальон на шее.— Вот как у нас на Кубе думают!

— Разве советское мясо плохое? — продолжает учительница.— Русские его едят и здорово от него направляются.

Все смеются, потом, воспользовавшись паузой, Мануэль знакомит меня с Хуаном Анхелем и женщиной. У нее темные волосы и голубые глаза, худое, покрытое морщинками лицо хранит следы былой красоты.

¹ Тропический корнеплод.

Через несколько минут я уже чувствую себя, как дома,— разговор зашел об Испании и испанцах.

— По-моему, они в тысячу раз лучше американцев,— говорит Хуан Анхель.— Испанцы только эксплуатировали, а янки и эксплуатировали и дискриминировали.

Он открывает медальон и показывает снимок, сделанный несколько лет назад, на котором он изображен в боксерских перчатках в спортивном зале.

— Вы и представить не можете, чем только негру не приходилось заниматься, чтобы выжить... Я был боксером, чистильщиком обуви, носильщиком, даже воровал, чтобы меня не обкрадывали. Так-то, приятель. Теперешние трудности ничто по сравнению с тем, что я от американцев вынес.

— На сахарных заводах нам платили больше, чем неграм, чтобы разобщить нас и лучше с нами управиться,— говорит милисиано.

— До революции цветные не имели права зайти ни в один клуб.

— Сейчас дискриминации уже нет, но многие предрассудки еще живут.

— Когда женщина и мужчина любят друг друга — что может быть прекраснее? — говорит Хуан Анхель.— Но взгляни вокруг, и ты не увидишь, чтобы белая женщина шла под руку с негром.

— Через несколько лет все изменится,— утверждает Мануэль.— Старье за одну ночь не выметешь...

— Есть такие, что могут спокойно видеть белую и негра вместе, но не дай бог они поженятся! — Хуан Анхель обращается ко мне.— Лысому бритва не страшна, это так. Но уж если у нас разговор откровенный, я вот что скажу: были бы вы таким же черным, как я, вы бы поняли, что такое дискриминация.

— Молодежь думает иначе,— говорит учительница.— На моей улице одна бригадистка уже несколько месяцев встречается с черным парнем.

— Некоторые девушки любят сахар, но не любят жженку,— гнет свое Хуан Анхель.— Я как-то сказал одной мулатке: смотри, девочка, сердце у всех красное, а на Кубе неграми хоть пруд пруди... Так что посматривай и на нас иногда, а то останешься ни с чем...

— Там, где я ликвидировал неграмотность, белые девушки ходили с неграми,— говорит парень из отряда «Родина или смерть».

— Язык всегда не в ладах с зубами, а оба во рту живут,— вставляет Хуан Анхель.

Какое-то время все молчат. Кольцо вокруг нас становится все плотнее. Потом один из милисианос разворачивает газету и читает выдержку из выступления высокопоставленного американского политика.

— Как вам это нравится? — спрашивает он, кончив читать.— Говорит так, словно весь мир ему принадлежит. Иногда думаешь, а все ли у него дома?

— Какое там! — говорит один из бригадистов.— У него не голова, а ньяме¹.

— Не обижай ньяме, приятель,— возражает Хуан Анхель,— он этого не заслужил... Когда человек голоден, ньяме совсем неплех... А этот — просто окорок с глазами.

— Империалисты лают, а укусить уже не могут,— говорит один из милисианос.— После второй мировой войны для них наступил период упадка, и в тот день, когда эксплуатация будет больше невозможна, рабочие восстанут и положат конец капитализму.

¹ Очень распространенный съедобный корнеплод.

— Нет, ты только подумай, что творится в Санто Доминго... Но ничего, раз нация проснулась, ее никакими эскадрами не сломить.

— Это точно,— подтверждает Хуан Анхель.— Ведь какая большая страна Соединенные Штаты, а не съела малютку Кубу... А все потому, что они знают, как поддерживают нас народы и, если протянут к нам руку, им по этой руке дадут как следует.

Присутствующие шутят, смеются, разговор постепенно перестает быть общим. Не хватает Иларио, который своей кипучей энергией умеет оживить любую беседу. До меня долетают обрывки разговоров об Аргентине, Венесуэле, Пуэрто-Рико и даже Западном Ириане. «Дрожат голландцы!» — говорит кто-то. Потом слышу голос Хуана Анхеля:

— Если ко мне подойдет священник, я ему скажу: «Вот что, парень, давай сначала наладим жизнь на земле, а если тебе потом захочется поднять меня на небо — что ж. поднимай».

— Беспечальная жизнь у тех, кто от имени бога говорит,— замечает Мануэль.

— Нас земля кормит. Значит, ее и надо защищать. И не зовите меня на небо, оттуда еще никто не возвращался.

— Надо бороться с поповскими проповедями,— предлагает один милисиано.

— Если загремят выстрелы, мы все должны подняться против врага, кем бы он ни был.

Учительница оглядывает собравшихся, и ее красивые глаза сверкают.

— Разве есть такое убежище, чтобы укрыть всех нас? — спрашивает она.— Чтобы укрыть всех бедных, всех кубинцев, нужно построить не одно, не два, не десять, а десятки тысяч, но и тогда больше половины народа останется на улице...

Ее лицо розовеет, пока она говорит. Люди молча, с уважением слушают ее.

— Так вот,— продолжает учительница,— есть где-нибудь убежища для нас?

— Нет,— отзывается милисиано.

— Если буржуазные контрреволюционеры и их агенты когда-нибудь вернуться, думаете, они помилуют нас?

— Даже детей расстреляют... Они или мы!

— Если нам суждено погибнуть — погибнем! — продолжает она.— А если кто-нибудь думает: лучше я спрячусь, чтоб не убили,— с такими нам не по пути! Если бы на Плайя-Хирон так рассуждали, то сейчас здесь собрались бы не мы, а наши убийцы...

— Если мы здесь собрались случайно, почему же мы так дороги друг другу? — говорит Хуан Анхель.

— Ты прав, товарищ.— Женщина говорит с такой страстью, что сердце мое колотится.— Если все это рухнет, если вернется старая жизнь, лучше и мне погибнуть. Прошлой жизни я не хочу ни для себя, ни для своих детей... Так чего же нам бояться?

Она оглядывает нас, вскинув голову. Несколько секунд длится молчание. Мануэль берет меня за руку и выводит из круга слушателей.

— Когда эта женщина говорит, у меня в груди что-то переворачивается.

— Она замужем?

— Была,— глухо говорит мой друг.— Агенты убили ее мужа. Как-то подняли его ночью с постели, и больше о нем никто не слышал.

Мануэль, видимо, удручен и для разрядки тихо ругается, яростно протирая очки.

— А американцы кричат, что хотят спасти нас от коммунизма, чтоб им...

Мы пьем у стойки кофе. Гуляющие начинают расходиться, и парк пустеет. Пестрые юбки женщин колышутся в сумерках яркими пятнами. Засунув руки в карманы, появляется Антонио и, увидев нас, не спеша подходит.

— Как охота? — спрашиваю я.

— В Гаване, если ты понастойчивее приударить за женщиной, она клюет быстро... Здешние серьезней.

— Поговорил с какой-нибудь?

— Да, кое-чего добился,— смеется Антонио.— Условился пойти на танцы с одной негротяночкой.

— А разве ты уже не пригласил Норму? — удивляется Мануэль.

— Ничего. Пойду с двумя.

— Эх, и когда ты свой пыл остудишь!

— А зачем? — отвечает Антонио.— Рано мне еще живот растить.

В барах полно бригадистов, и официанты непрерывно снуют с освежающими и фруктовыми напитками. Во всем Мансанильо не продается ни капли спиртного. К счастью, вспоминаю о болгарском вине, которое поставил в холодильник. Мануэль и Антонио провожают меня в номер, там мы откупориваем бутылку и некоторое время болтаем. Болгарское вино белое, очень слабое и пьется легко, вкус его напоминает вкус красного вина «аплухарра». После третьего стакана на душе становится тепло. Хочется повеселиться и поговорить. Забыв о времени, мы путешествуем по городским кафе, беседа с посетителями. Некоторые лица кажутся мне знакомыми, словно я здесь давно. Наконец расстаюсь с братьями и отправляюсь в отель.

Уже за полночь, дует легкий ветерок. Потом я слышу рокот барабана, и когда группа негров с боготами и свирелями показывается из-за угла, мне кажется, что это сон. Мужчины, как привидения, пляшут в свете луны. Их почти не видно, блестя лишь белые зубы, словно светятся своим светом. На всех четверых шляпы, рубахи навыпуск и флаanelевые брюки. Их тела движутся в чудесном ритме под звуки свирели и барабана.

Приплясывая, негры уходят в сердце ночи. Луна заливает улицу белым фантастическим светом. Силуэты негров исчезают, и слышатся лишь печальные красивые голоса.

Прежде чем темнота поглотила певцов, они грациозно простились со мной реверансами. Потом свернули за угол.

Улица опустела, и, пожалуй, вправду все это мне приснилось.

7

Два дня я бесцельно бродил по Мансанильо и уже запомнил названия баров, мелодии музыкальных автоматов и бесчисленные коктейли из фруктовых соков, освежающих напитков и «баккарди» со льдом. Приятно было посидеть на парковой скамье, наблюдая, как шествуют, покачивая бедрами, женщины в узких юбках, защищаясь от солнцезащитными линялыми зонтиками. Вечерами я подпирал стойку какого-нибудь кафе и развлекался, наблюдая кумушек и детей, занятых своими таинственными играми, пока крестьянин из Сьерры или негр, напомавивший своей бело-розовой одеждой клубничное мороженое, рассуждал о Кеннеди и Фиделе, о диалектике и марксизме-ленинизме. Я считал, что хорошо знаю кубинскую провинцию, когда выяснилось, что я еще не видел Кабо Крус.

Дорога, ведущая к этому местечку, петляет по берегу залива Гуаканаябо и проходит через Кампечуэлу, Сейбу, Уэку, Сан Рамон, Медиа Луна, Никеро. По этой же дороге я ездил в центр Хуана Баутисты Левье, и теперешние мои спутники, Агустин и Аралусе, потешаются над злоключениями сестры Анхелины. В садиках растут каимито¹, манго и вьющаяся фасоль. Иногда попадаетесь крестьянин, который, сидя на корточках, поджидает автобус. Агустин — за рулем «шевроле», а Аралусе показывает мне маленький аэропорт городка и новые постройки фермы Сан-Франсиско.

Несколько рабочих чинят деревянную ограду ИНРА. Дальше, до самого моря, тянутся низиной заросли марабусала. Бананы на плантациях напоминают процессию кающихся на святой неделе; ветер колышет листья, похожие на крылья мельниц, и невольно вспоминаешь Дон-Кихота. Вокруг цветы, изгороди из агавы; Агустин, показывая на сахарный завод Франсиско Кастро, говорит, что в прошлом году его рабочие победили в национальном соревновании сборщиков сахарного тростника.

— Их на неделю послали отдыхать за счет государства в Варадеро, бывший курорт миллионеров... Некоторые старики, как дети, прыгали, даже по полу кувыркались, когда узнали, что их пошлют, — говорит Агустин.

Дорога из конца в конец пересекает Кампечуэлу. В парке стоит грузовик с бригадистами, отъезжающими в Мансанильо, слышна их песня, а неподалеку виднеется тележка продавца пирожков с надписью: «Не поверю в долг даже матери». Агустин съезжает с дороги, чтобы показать мне дамбу и кокосовую рощу, соседствующую с пляжем. Этот край кажется очень обильным. Когда снова выезжаем на шоссе, сахарный тростник сменяется бананами и посадками агавы. Лозунги и пальмовые венки указывают на то, что здесь разбиты лагеря бригадистов. На краю поля два вола, связанные за рога, тянут деревянную волокушу. Сидя на ней, погонщик окриками поторапливает животных. До аграрной реформы большая часть земли принадлежала Делио Нуньесу Месе и печальной славы семье де Леон.

— Фидель им быстро убавил и спесь и землю, — говорит Аралусе. — Полные хозяева в округе были, а для нас только тюрьму выстроили. В Медиа Луна, — добавляет он, — Делио Нуньес стрелял в народ, что вышел на демонстрацию против диктатуры, а его зять попал в плен на Плайя-Хирон и заявил, как племянник Пепино Риверы и многие другие, что пришел защищать «принцип свободного предпринимательства».

Сейчас ИНРА создает здесь кооперативы, распределяет жилища, строит школы повышения квалификации и птицефермы. Советские и чехословацкие тракторы пахут поля под посевы хлопка, оставшая в прошлом эндемию забастовок, неграмотности, страха, голода и преследований.

Никеро — типичный кубинский городок с деревянными домами под низко нависающими крышами и колоннадами из стволов хики. Посреди улиц покачиваются зонтики женщин, и крестьяне в соломенных шляпах с неизменной сигарой в зубах наблюдают за ними из-под навесов. На одном из балконов плакат: «Да здравствует марксизм!» Город объявлен территорией, освобожденной от неграмотности, на перекрестках стоят триумфальные арки и висят флажки.

Когда мы приехали в Белик, было больше двух. Агустин остановился возле народного магазина, и красота прогуливающихся в тени портика девушек приятно волнует мою кровь. Мулатки и смуглянки этой про-

¹ Дикорастущее дерево со съедобными плодами.

винция славятся по всему острову. Бар при ресторане обслуживает темноглазая с матовой кожей девушка, которая лениво улыбается, встретившись со мной глазами.

— Красотки здесь, словно пирожные,— вздыхает Аралусе.

— Что же ты медлишь, сердцеед? — подшучивает Агустин.

— Эти знают, что им надо... Напором тут не возьмешь.

Официант приносит салат из латука, жареного поросенка и рис с фасолью. Аралусе очень сердечен и общителен и во время еды рассказывает мне о рыбаках Мегано. Он некоторое время был председателем кооператива и хорошо знает Агустина и Бето. Очень скромно и сдержанно говорит он об этом периоде своей деятельности, об ошибках, которые допустил, и о том, как уступил этот пост другому ради пользы дела.

— Каждый может споткнуться,— говорит он.— Вот кончу курсы и не буду больше ошибаться.

На выезде из городка растет кокосовый лес. Когда мы проезжаем его, на одну из пальм взбирается мужчина. Упор он делает на левую ногу, а правую петлей обвязывает веревка, прикрепленная к стволу. Дорога грунтовая, и, проезжая, мы поднимаем клубы желтой пыли.

— Неделя, как дождя нет,— говорит Агустин.— Вчера покрпал и перестал.

Время от времени дорога выходит к морю, и в Лас Колорадас мы выходим посмотреть «Гранму». Аралусе идет вперед, чтобы предупредить солдат. У памятной арки видна казарма, солдаты читают, расположившись в тени. Шхуна стоит на площадке, у склона горы. Второго декабря 1956 года восемьдесят два человека, среди которых были братья Кастро, Че Гевара, Камило Сьенфуэгос и Альмейда, после трудного пути пристали на этой шхуне к берегу Кубы, чтобы претворить в жизнь слова Фиделя: «В 1956 году мы будем свободны или умрем как мученики». Капрал и часовые ведут нас по лесенке на палубу, и когда я осматриваю шхуну, мой взгляд останавливается на заповеди моряков, которую в той или иной вариации я читал на испанских судах: «Сеньор, помните, что корабль мал, а море необъятно».

Солдат, исполняющий обязанности экскурсовода,— высокий мулат лет сорока, потерявший сына во время «чистки» Эскамбрая,— ведет нас по дощатому настилу через трясину к месту высадки. Армия решила вырыть котлован, чтобы отвести стоячие воды, и кое-где грязь уже просыхает. Солнце жжет немилосердно. Мулат идет впереди меня с винтовкой за спиной, его рубашка промокла от пота. Невозможно представить, как люди Фиделя — под пулями солдат и авиации Батисты — прокладывали себе путь в этой трясине по пояс в воде. Потом вода становится глубже, и видно, как болотные рыбы мечутся среди водорослей и корней, потеряв родную стихию. Ветви высоких манго, закрывая пейзаж, свисают, как сталактиты. Наконец мы оказываемся на понтоне у самого берега. Море недвижно покоится в своем ложе, не шелхнется ни один лист. К стволу дерева прибита доска с надписью: «Здесь родилась свобода Кубы».

Днем и ночью у этого места дежурит часовая. Тот, что сейчас на посту, лежа пишет письмо и, закончив страницу, перечитывает, кусая губы. Когда мы отходим, мулат смеется.

— Вот так целый месяц мается,— говорит он.— Ходил в увольнение наш юбочник и вернулся влюбленным.

Дорога в Кабо Крус идет по прямой. «Шевроле» то ныряет вниз, то карабкается в гору. Еще несколько месяцев назад дорога кончалась в Белике. Зона Кабо не имела наземной связи с соседними районами, и

добираться туда приходилось морем; но армия проложила дорогу через заросли. Аралусе хочет показать мне поселок угольщиков, и мы сворачиваем к Монте Гордо.

Заросли очень густы; когда мы снижаем скорость, москиты яростно набрасываются на нас. Ориентируемся на столб дыма и продвигаемся по едва заметной тропе, пока наконец не выезжаем на открытое, ровное место.

Угольщики расчищают площадку граблями и складывают ветви в ровные пирамиды. Это закопченные крепкие люди, свыкшиеся с суровыми капризами природы. Их жизнь прошла в одном из самых заброшенных и нищих уголков Кубы, и они не сразу поняли, что революция совершилась и для них тоже. Завесу тумана, окутывавшего их жизнь, впервые развеяли бригадисты.

Сегундо Гонсалес — учитель-доброволец из Монте Гордо и автор картин о крестьянской жизни, которые я увидел через несколько недель в Гуира-де-Мелене, — рассказывал мне недавно о трудностях, с какими ему пришлось здесь встретиться. Теперь он снова в этих краях и, несмотря на эти трудности, после занятий самоотверженно помогает отстающим.

Через несколько километров после Монте Гордо впереди показывается Кабо Крус — несомненно, одно из самых красивых мест острова. Утесы здесь образуют естественную гавань, море изумительно чистое. За гаванью и внутри нее цвет моря различный, словно художник неодинаково развел одну и ту же синюю краску. В последние годы испанского владычества здесь был сооружен маяк, действующий и поныне. Справа от него — между заливом и селением — тянутся лагуны, окаймленные кустарником. Южная сторона бухты камениста, там рабочие прокладывают дорогу.

Машина тормозит у народного магазина, и нас окружают рыбаки, которые здороваются с Аралусе. За короткое время революция покончила с их вековой изоляцией. Жители Кабо имеют теперь школу, больницу, продовольственный склад и кооператив. Здесь же, у причала, стоит на якоре судно из Сантьяго. Хозяйничает на нем негр-геркулес с грудью, покрытой густыми колечками волос. Двое мужчин выгружают из люка ящики с рыбой, и повар — седой астуриец, один из тех, кто первым, не боясь ничего, начал борьбу с диктатурой, — подает нам по чашечке кофе. Рыбаки устраиваются на крышке планшира и спустя несколько минут обращаются ко мне, как к старому знакомому.

Все говорят о некоем Рамоне Рейесе, которого несколько дней назад какой-то человек долго расспрашивал о расстоянии до Ямайки, о погоде и о времени, необходимом для путешествия туда. Рыбак, он был милисиано, подробно ответил на каждый вопрос, потом выхватил свой револьвер и спокойно добавил: «Только ты никуда не поплывешь, паренек... Ты арестован». После расследования выяснилось, что незнакомец был полицейским при Батисте, а Рамон Рейес как ни в чем не бывало вернулся к своим делам.

Поскольку я изъявляю желание познакомиться с Рамоном, рыбаки ведут меня к нему домой и торжественно представляют нас друг другу. Рамон, худой и бородатый мулат в морской форменке и шапочке, улыбается детской улыбкой и искренне радуется нашей встрече. Его хижина сооружена из жердей, и внутри ее я вижу корзину с кокосовыми орехами, две кровати с проволочными сетками и грозди пятнистых бананов. Жена подметает порог пальмовым венником. Дети бегают вокруг дома, а самый маленький — прелестный светловолосый цыганенок — выпускает из кулачка раковину и с ревом хватается за материнскую юбку.

— Ох, да что же это за наказание такое,— вздыхает женщина.— Ну чего ты орешь?

Мальчик лепечет что-то невнятное и вопит отчаяннее прежнего.

— Тогда отцепись,— говорит мать,— и ори в другом месте.

— Антонио забросил его игрушку,— доносит старший.

— Сущий чертенок,— поясняет хозяйка.— Вчера с кем-то сцепился, всю одежду изодрал.

— Это он сам порвал,— говорит старший.— Я видал...

— Вот и неправда,— защищается Антонио.

— Ну-ка, замолчи оба,— приказывает Рамон.— А если еще раз отнимешь у него игрушку, получишь такую затрещину, что сразу послушным станешь...

Малыш все еще хнычет, Рамон берет его на руки и покрывает его лицо нежными поцелуями. Плач моментально прекращается.

— Этот рыжик — мое горе, наказание божье,— говорит Рамон,— просто жить без него не могу.

Прижавшись к отцовской груди, мальчик трет сухие глаза и, когда Рамон опускает его на землю, как ни в чем не бывало продолжает играть с раковинкой. Потом мы все вместе идем к городку. Оказывается, этой ночью бригадисты уезжают в Гавану и сейчас отправились в бар посидеть перед расставанием. Тропинка вьется вокруг башни маяка и неуклюжих хижин. Неподалеку я вижу заброшенное, без ограды кладбище колониальных времен. Сорняки буйно разрослись среди упавших крестов, и, нагнувшись над замшелой плитой, я разбираю надпись: «Аделина Фигеро. Декабрь 1887 г.».

Солнце яркими пятнами струится сквозь густую листву. Виноградные лозы с еще зелеными гроздьями покрывают весь берег, и немного подалее я вижу вытянутую на берег лодку. Языки волн лижут песок под сводом листвы, а пробивающийся сквозь нее свет создает иллюзию грота. Рыбаки ставят в бухточках свои боты и пироги. Дома разбросаны среди кокосовых пальм, и, приближаясь к центру селения, мы слышим песню в исполнении трио Матаморас.

Бар расположен под навесом из пальмовых листьев, здесь маленькая стойка, каких не встретишь в Гаване, и цементный пятачок для танцев. Нет ни столов, ни стульев, посетители восседают на скамейках или прямо на деревянной ограде. Напротив высится дом на сваях, и хозяйка приносит оттуда в бар бутерброды и освежающие напитки.

Когда мы пришли, танцы еще не начались. Здесь собрались учителя-добровольцы — бригадисты отряда «Родина или смерть», рабочие табачной фабрики «Аромас де ла Гавана», — которые на пять месяцев разлучились с родными, чтобы обучать грамоте рыбаков Кабо Крус. Самого рослого из них зовут Пепе Лопес, его курчавая черная борода падает на красную, уже выцветшую рубаху. Приятель Пепе в темных очках и тоже с бородой. Хозяйка принесла им бутылку фруктового вина, и они сообщают мне, что это первый глоток с тех пор, как они покинули дом.

— Я даже вкус «баккарди» забыл,— добавляет Лопес.

— Ну, это можно легко исправить,— смеется Рамон.— Идемте глотнем с нами.

Лопес и его товарищ принимают приглашение, к нам присоединяются также приятели Аралусе: мулат Мануэль Диас и три пожилых рыбака, только что кончивших ставить верши для лангустов. Рамон пробивает дырки в кокосовых орехах и колет лед. Хозяйка озабоченно снует по бару. Мануэль Диас свистом подзывает ее.

— Слушай,— говорит он,— с какой ноги ты встала сегодня?

— А что?

— Тебя только за смертью посылать.

— Ну что за человек, святая мадонна,— с улыбкой жалуется мне хозяйка,— как начнет бросать камешки в мой огород, так не знаешь, куда деваться.

— Ладно,— обрезает Рамон,— откупорь-ка нам бутылку «карта бланка».

Мануэль смешивает кокосовое молоко с ромом, кладет кусочки льда и передает стаканы по кругу. Вскоре появляются две смуглянки из бригады Конрадо Бенитеса. Обе уроженки Гуира-де-Мелены, и Лопес с приятелем приглашают их танцевать. Из музыкального автомата несутся ритмичные мелодии мансанильского органа. Воодушевленные при мером милисиано, рыбаки и крестьяне танцуют с девушками из Кабо Крус. Солнце висит над виноградниками и золотистой пылью, словно пудрой, осыпает фигуры танцующих. К вечеру ветер стихает, и кто-то разводит костер, чтобы отпугнуть moskitov.

— У нас, в Кабо Крус, ни одна без кавалера не останется,— говорит Рамон, показывая на девушек.— А ты что не танцуешь?

Я отвечаю, что мне больше нравится смотреть на других, и какой-то старичок, обняв меня за плечи, широко улыбается, показывая десны.

— Мы с ним будем пить, пока не свалимся,— объявляет он.

— Не слушай его,— предостерегает Рамон.— Он, дьявол, хлещет ром, как воду.

— Обо мне некому беспокоиться,— говорит старик,— я бобыль.

— В прошлом месяце так нализался, что зигзагами ходил, а жаловался, что болен...

— Ты б лучше не пил, а о здоровье думал.

— О здоровье? — удивляется старик.— Все равно от старости нет лекарства.

Стемнело, зажигаются первые керосиновые лампы. Торжественные, как на молитве, однако не снимая шляп, танцуют крестьяне. Снова поднявшийся ветер отогнал moskitov; в соседней хижине женщина укачивает ребенка, а когда он засыпает, скрестив руки, садится у порога посмотреть танцы.

Кончается саоко¹, и хозяйка приносит еще. Потом Аралусе тащит меня к своим друзьям. Старик, к которому мы пришли сначала, упорно пытается вручить мне связку бананов. В следующей хижине меня угощают креветками.

— Не отказывайся, парень,— советует Аралусе.— Ты на Кубе.

Хозяева настаивают, и приходится уступить. Возвращаемся в бар; Рамон и другие рыбаки подшучивают над Мануэлем, который в тридцать пять лет еще холост и на пять месяцев оставил невесту в Гаване.

— Твоя девчонка, наверное, уже с другим снюхалась.

— А он и сам в прошлое воскресенье ходил в кино с вдовой из Мансанильо.

— Смотри, невеста узнает, быть тебе рогносцем.

— Пускай узнает... Пока она там гуляет, я тоже решил покуролесить.

— Ну и как?

— Ничего. Посмотрел кино.

Потом к нам присоединяются бригадисты и Пепе Лопес, и, пока мы пьем третий саоко, Мануэль рассказывает, как им жилось при диктатуре.

— Настоящими рабами были, кому не лень, все нас эксплуатировали... Я помню двенадцатилетних девочек, которые выглядели как восьмидесятилетние старухи. Смотреть было страшно.

¹ Ром с кокосовым молоком и льдом.

— Фидель для бедняков оказался настоящим богом,— говорит какой-то крестьянин.

— Богом? — восклицает Мануэль.— Нет, богу я не должник. Он мне за тридцать лет вот такусенького кусочка хлеба не дал. Бог — мы сами. Будешь дома сложа руки сидеть — бог тебе поесть не принесет.

— Мы слишком ничтожны, чтобы с богом равняться,— вздыхает крестьянин.

Вокруг гремит смех. Лопес и его друзья тоже вступают в разговор.

— У нас так,— говорит Рамон.— Мы смотрим, революционер ты или нет, и если ты наш враг — иди рубить тростник и лопать отбросы, пока не загнешься.

— Наш остров мал, но он наш,— соглашается Мануэль.— Мы отвоевали его своими руками, и пусть попробуют его отнять у нас.

— А американцы? — спрашиваю я.

Я почти дословно знаю, что мне ответят, но хочу услышать это еще раз.

— Мы, кубинцы, умеем сражаться. Только если они сбросят республику в море и перебьют всех детей, им удастся сюда войти.

Мне пора собираться, а Мануэль и его друзья еще говорят об ужасах и беззаконии прошлого, о настоящем и надеждах на будущее. Звуки мансанильского органа меланхолично вибрируют в ночи, в небе загораются звезды.

На рассвете следующего дня я готовлюсь к отъезду в Гавану и вдруг понимаю, что земли Мансанильо — как и вся Куба — глубоко запали в мою душу. Я думаю о Хуане Анхеле и Мануэле, о друзьях Рамона и рыбаках Мегано, об учительнице, не боящейся смерти, и о пастухе, чело-веческое достоинство которого было попрано. Думаю о революции, приведшей в движение один из самых благородных народов мира, и уже сейчас знаю, что жизнь вдали от него будет для меня не разлукой, а ссылкой.

8

На следующей неделе я наблюдаю финал кампании по ликвидации неграмотности. Тысячи юношей и девушек приехали со всех концов острова по железной дороге и на машинах вместе с учителями-добровольцами и бригадистами из отряда «Родина или смерть». Улицы нарядно украшены множеством флажков, и люди охвачены праздничным возбуждением.

Вместе с Карлосом Франки я встречал одну из групп, возвращавшихся из похода по стране. Девушки из отряда Конрадо Бенитеса добирались на поезде для перевозки сахарного тростника, ехали в вагонах без крыш от самого Сантьяго. Больше суток продолжался их путь под палящим солнцем, они не спали, не ели и перед маршем по городу спокойно ожидали команды с тяжелыми рюкзаками на плечах. Многим из них едва исполнилось четырнадцать, но даже слова жалобы не сорвалось с их губ.

Примерно в это же время я побывал в школе инструкторов по искусству квартала Мирамар и на курсах портовых рабочих по борьбе с неграмотностью. В дворцах, где когда-то жили буржуа, тысячи молодых людей изучали театр, музыку и танцы. Народ вступил в обитель, где грезил и тосковал класс, к которому я принадлежал когда-то, и в его унылых и просторных салонах фотографии Фиделя и Рауля сменили старинные фамильные портреты. Грузчики Хесуса Марии и Гуанабока научились читать, а их дети посещали такие же школы, как и я в далеком детстве, когда меня учили благодарить бога за то, что я принадлежу к классу избранных.

По мере того, как приближался день праздника, учащался пульс городской жизни. Дети из отрядов по борьбе с неграмотностью, приехавшие из долин и Сьерры, заполнили гостиницу «Свободная Гавана» и, так же как Браулио, поднимались в лифте на крышу, чтобы полюбоваться оттуда на прекрасный город, принадлежащий им. В Центральном парке люди собирались послушать импровизированные выступления ораторов. Члены религиозной негритянской общины из Реглы тоже научились читать и писать, глава общины показал мне внутреннее убранство часовни с фотографией Камило Сьенфуэгоса и множеством советских и кубинских флагов.

Двадцать второго декабря сто тысяч бригадистов из отрядов по ликвидации неграмотности, пятнадцать тысяч членов отряда «Родина или смерть», сто тридцать тысяч учителей-добровольцев тесными колоннами прошли под звуки маршей с гигантскими циркулями, карандашами и лампами в руках. Убийство мальчика-бригадиста Мануэля Аскунсе не затормозило кампании, наоборот: весь остров провозгласил себя территорией, свободной от неграмотности, и люди выражали свою радость, танцуя на улицах.

Десять дней спустя, в третью годовщину победы революции, эти же люди прорвали кордоны службы порядка и неудержимой лавиной устремились к танкам, чтобы целовать их. Оружие, три года назад являвшееся средством насилия над ними, теперь принадлежало им. Кубинец впервые стал главным действующим лицом в своей истории, и эта история развивалась наконец темпами, о которых я мечтал в юности.

Остальное время моего пребывания на Кубе я старался продумать и обобщить увиденное. Мне хотелось хорошо запомнить крестьянский центр в Эскамбрае и мое пребывание в школе революционного воспитания Освальдо Санчеса, девушек-милисиано, стороживших в ночь под рождество склады и магазины, беседы в барах Реглы и Хесус Марии. Я вспоминал — и она навсегда останется в моей памяти — учительницу из Мансанильо, ее голос и выражение лица, когда она говорила: «Если все это рухнет, если вернется старая жизнь, лучше и мне погибнуть. Прошлой жизни я не хочу ни для себя, ни для своих детей... Так чего же нам бояться?» Ее мысли постепенно стали моими, и сейчас, когда я пишу слова «если все это рухнет», — я чувствую, как замирает мое сердце, хотя и уверен, что этого не случится.

Поражение нашей революции отбросило на двадцать пять лет назад не только Испанию, но и братские народы Латинской Америки. Гибель кубинской революции отдалила бы исполнение наших надежд на такой же срок. Мне достаточно вспомнить печальную судьбу соотечественников, миллионы и миллионы которых лишены родины, иные — свободы, а все вместе — возможности жить достойно, чтобы понять, что если все должно начаться сначала, если жертвы были напрасны — наше существование не имеет смысла. Защищая свою революцию, кубинцы защищают нас. И если им суждено умереть, умрем и мы рядом с ними.

Париж, май 1962 года.

Перевел с испанского А. МАКАРОВ.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МЕХТИ ГУСЕЙН

★

МЕСЯЦ И ОДИН ДЕНЬ

(Путевой дневник)

Весной минувшего года я побывал в Турции. Для моей республики это страна родственного языка, ближайшая соседка. Нужно ли говорить, с каким интересом и любопытством присматривался я к тамошней жизни. Непосредственные впечатления от встреч с людьми, от всего увиденного я день за днем записывал в тетрадь. По приезде домой я перечитал свои записи и подумал, что они могут быть небезынтересны и для других.

13 апреля 1963 года. Вечер. Еще несколько часов назад я был в Москве, а сейчас — в турецкой столице. Встретивший меня в аэропорту советский атташе по делам культуры — мой земляк Тофик Кадыров — сообщил, что посол просит меня считать себя его гостем, и отвез в наше посольство. Мне отвели комнату в доме, где живут сотрудники. Итак, я в Анкаре.

14 апреля 1963 года. Сегодня воскресенье. Утром, едва я проснулся, ко мне явился Тофик Кадыров и сообщил, что отныне и до последнего часа моего пребывания в этой стране он будет моим опекуном и спутником во всех поездках.

Мы отправились к послу. Никита Семенович Рыжов ждал нас в рабочем кабинете. Я знал, что до начала своей дипломатической деятельности он был министром легкой промышленности СССР, а еще раньше работал инженером на одном из текстильных комбинатов Турции, построенных Советским Союзом.

После беседы с послом и осмотра нового, недавно построенного здания посольства мы с Тофиком Кадыровым спустились в город. Я говорю «спустились», потому что наше посольство расположено на холме, в верхней части Анкары.

Миновав какую-то тихую улочку, мы выехали на широкую заасфальтированную улицу, носящую имя выдающегося турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина, произведения которого известны и нашим читателям.

В молодости я смотрел фильм «Анкара — сердце Турции». Его снимал Сергей Юткевич. В то время был жив Ататюрк, советско-турецкие отношения успешно развивались на основе, заложенной еще Лениным, и советские люди с большим интересом следили за жизнью Турецкой республики. О Турции тех лет я мог судить только по скучным кадрам фильма, сделанного с большой симпатией и сочувствием к народу этой страны. В те годы, разграбленная интервентами, обнищавшая и голодная, она представляла собой довольно безотрадную картину. Главным средством передвижения в городах и даже в столице был ишак. Анкара, с которой я знакомился сегодня, имела совсем другой вид. Мы двигались в сплошном потоке автомашин. Легковые и грузовые автомобили самых разных фирм мира неслись по широкому проспекту, едва не задевая друг друга. Меланхолическому ишаку просто невозможно было бы уцелеть в этом бешеном потоке...

Прежде всего мы отправились к мавзолею Ататюрка. Он высится на холме в центре Анкары, откуда видна вся новая столица Турции, созданная трудом и упорством Ататюрка. Шагах в тридцати от мавзолея — с винтовками на плечах почетная стража.

Мавзолеем сложен из серого гранита. И ограда, и сама усыпальница, и помещения, где выставлены материалы и документы, рассказывающие о жизни и деятельности Ататюрка, — все из того же серого камня.

У входа — две скульптурные группы: с одной стороны — три скорбные фигуры плачущих женщин, с другой — три мужские фигуры. Эти скульптуры удивительно гармонируют со строгими линиями мавзолея. Скульптор в сдержанной, лаконичной манере, с большой силой выразил любовь турецкого народа к своему первому президенту.

На стенах мавзолея высечены изречения Ататюрка, запечатлевшие его мысли и дела, а перед усыпальницей начертано: «Власть безоговорочно и безусловно принадлежит народу».

В самой усыпальнице все просто и скромно — только надгробный камень да привядший венок. Люди — а они шли почти сплошным потоком — подходят к надгробию, читают молитву и тихо отходят. Среди них я видел много солдат. У этих молодых парней, призванных на военную службу из разных уголков Турции, загорелые, обветренные крестьянские лица. Взгляд их серьезен и печален, они смотрят на могилу первого президента своей республики и словно сетуют на то, что рядом с ними в такое трудное для их страны время нет Ататюрка...

Осмотрев мавзолеем, мы отправились в президентский дворец. Ряд комнат в нем представляет собой как бы мемориальный музей Ататюрка. Нам показали машину, на которой он ездил. Во всей Анкаре, а может быть, и во всей Турции не сыскать сейчас человека, которому сей «автомобиль» представился бы материальной ценностью: это свидетельствует и о том, насколько продвинулся вперед технический прогресс, и о большой скромности первого президента Турецкой республики.

— Турки любят его безгранично, — сказал мне Тофик Кадыров. — Любой, кто произнесет хоть слово против Ататюрка, будет разорван на куски.

И этому веришь. Ататюрк поистине был человек необыкновенный. Всей своей жизнью — от мелочей быта до государственных дел — доказал он верность собственному афоризму: «Не нация для меня, а я для нации».

В личной библиотеке Ататюрка немало разных книг. Но меня больше всего заинтересовала одна: «Индустрия социализма». Если бы не строгая надпись: «Руками не трогать», я обязательно перелистал бы ее от первой до последней страницы, чтобы увидеть пометки Ататюрка и узнать, что он думал о тяжелой промышленности Советской России. Но одно, главное, известно: Мустафа Кемаль Ататюрк считал необходимым крепить дружбу с Советской Россией.

— Мы с Россией друзья, — не раз говорил он, — потому что она раньше всех других признала наши права и проявила уважение к нам. Именно поэтому и сегодня, и завтра, и во все времена нам необходимо сохранять дружеские отношения с Россией.

Как жаль, что впоследствии руководители страны забыли эти слова Ататюрка.

15 апреля. Зайдя утром к Рыжову, я застал у него гостя.

— Знакомьтесь, — сказал посол. — Товарищ Баграмян, министр водного хозяйства Армянской ССР. Сейчас между Турцией и Арменией идут переговоры о строительстве плотины на реке Арпачай. Товарищ Баграмян — один из членов нашей делегации.

Я заинтересовался ходом переговоров.

— Трудное дело, — сказал Баграмян, покачав головой.

Рыжов был настроен более оптимистично.

— Переговоры, безусловно, нелегкие, но я не теряю надежды на благоприятный исход. Между прочим, вторая часть переговоров касается Нахичевани. Вам,

представителю хлопководческой республики, не надо доказывать важность проблемы. Мне тоже доводилось бывать на берегах Аракса, и не раз я видел, как гибнущий от засухи хлопчатник скашивали на корм скоту. Плотины очень нужны...

Как я выяснил затем, трудности, возникшие в ходе переговоров, касались не принципиальных вопросов, а чисто технических. Плотины предполагается соорудить на турецкой территории. Нам надо много воды, мы хотим строить мощную, высокую плотину, а турецких представителей это не устраивает...

Никита Семенович позвонил директору бюро информации министерства, попросил принять меня.

Сегодня же я был представлен этому официальному лицу. Я сообщил ему, что предполагаю провести в Турции целый месяц, встретиться с виднейшими писателями и другими деятелями культуры. Какое впечатление произвело мое сообщение на господина директора, сказать трудно, потому что, сколько я ни всматривался в его упитанную, розовощекую физиономию, определить этого мне не удалось. Да и вообще жизненный опыт убедил меня в том, что, как только собеседник узнает, что перед ним писатель, — беседа тут же утрачивает всякую естественность и принужденность. Он начинает обдумывать и взвешивать каждое слово, каждый свой жест, и «раскусить» его уже почти невозможно. Находясь в Турции, я все время попадал в подобное положение. Людям, с которыми мне предстояло встретиться, заранее сообщали о моей профессии, и мне каждый раз приходилось доказывать, что я приехал сюда с главной и единственной целью: поближе познакомиться с турецкой интеллигенцией и наладить турецко-советские культурные связи. И это было правдой. Но начисто зачеркнуть в себе писателя и бездумно прогуливаться по стране, не запоминая, не осмысливая увиденного и не надеясь когда-либо рассказать о нем своим соотечественникам, — нет, этого я, конечно, не мог сделать.

Ну, вот взять хотя бы сегодняшнюю встречу с ректором Анкарского университета.

Передо мной сидел пожилой человек с густой проседью в гладко зачесанных волосах, бледный, как все люди, проводящие жизнь в кабинете. Я знал, что профессор Суут Кемаль Еткин — искусствовед, но мне не приходилось читать его работ. Однако достаточно было обменяться с ним мнениями о творческих проблемах, чтобы убедиться, что это человек высокообразованный и весьма самостоятельный в суждениях.

Прежде всего профессор Еткин поинтересовался, говорю ли я по-турецки. Когда я ответил ему на азербайджанском языке, он произнес фразу, которую я уже не раз слышал в Турции:

— Азербайджанский язык очень близок к нашему.

С этим невозможно не согласиться. За исключением некоторых неологизмов, иногда очень удачных, иногда совершенно искусственных, которые ввели турки, очищая свой язык от арабизмов и фарсизмов, я без труда понимал своих турецких собеседников. Да и им в моей речи были непонятны лишь немногие слова.

Естественно, что прежде всего я стал расспрашивать о современных турецких писателях. Отнюдь не всегда разделяя мнение профессора, я тем не менее не вступал с ним в спор — ведь я приехал в незнакомую страну не за тем, чтобы навязывать там кому-либо свои взгляды.

Из того, что рассказал мне профессор Еткин, я вынес впечатление, что наши переводчики, в общем, правильно и разносторонне знакомят советских читателей с наиболее интересными явлениями в современной турецкой литературе.

Говоря о национальной поэзии, профессор Еткин первыми назвал Ахмеда Хашима и Яхью Кемаля.

— Правда, — заметил он, — сейчас этих поэтов почти не читают. Первого — потому что у него очень вычурный язык, второго — потому что творчество его слишком далеко от современности, хотя язык великолепен.

— В послевоенные годы, — говорил профессор, — у нас появилось три очень даровитых писателя. Поэт Орхан Вели, молодой, чрезвычайно одаренный, недавно,

к сожалению, скончавшийся. Прозаик Орхан Кемаль, которого я считаю великолепным рассказчиком. Романы его кажутся мне менее удачными. И наконец третий, тоже прозаик — Саид Фанг. Лично я ставлю его выше других прозаиков, потому что он умеет не только изобразить действительность, но и открыть перед читателем перспективу. В наши дни так называемые «деревенские писатели», которые ограничиваются изображением тяжелой жизни деревни, не вызывают больше интереса у читателей. «Ну и что? — вправе спросить читатель у автора. — Вы изображаете в своих произведениях, как плохо живет наш народ. Какая от этого польза? Это и так всем известно!» И потом язык «деревенских романов», особенно диалоги, подчас просто непонятен городскому читателю...

Мой собеседник высказал свои суждения и о советской литературе. Я не знаю, из каких источников знакомился с нею профессор Еткин, но вот, например, несколько стихотворений Евгения Евтушенко он читал во французском переводе.

— В современной России нет писателей, равных Толстому, Чехову или Горькому, — заявил он. — Причина этого, видимо, в том, что во времена культа личности советские писатели лишены были свободы творчества.

Я сказал, что придерживаюсь иного мнения о советской литературе этого периода.

— Вы имеете в виду Шолохова? — поинтересовался мой собеседник.

— Безусловно. Но не его одного!

И я рассказал ему об азербайджанских поэтах, и прежде всего о Самеде Вургуне, который в самые тяжелые годы создал великолепные, мужественные произведения.

Потом разговор незаметно перешел к абстрактному искусству. Профессор Еткин заметил, что, совершенно не принимая абстракционизма в поэзии, считает, что в изобразительном искусстве он имеет право на существование. По его мнению, в живописи важна не мысль, а чувство, которое передается при помощи линий и красок...

Вскоре мы распрощались...

Уже за два дня пребывания в Анкаре я успел понять, что мое непосредственное знакомство с народом Турции, с рабочими, крестьянами, студентами здесь кой-кому весьма нежелательно. Поэтому когда Тофик Кадыров сообщил мне, что мы встретимся с директором драматических театров и я получу возможность увидеть многие спектакли, я очень обрадовался. В конце концов, наблюдая, как зрители воспринимают происходящее на сцене, я смогу вынести и кое-какое суждение о них самих.

Директор драматических театров, известный турецкий актер Джунейт Гёкчер, не так давно был у нас в Баку. Он видел постановки Академического театра драмы и познакомился со многими театральными деятелями. Мне, правда, тогда не удалось повидать Джунейта Гёкчера. Разумеется, прежде всего мне хотелось посмотреть работы самого Гёкчера — его Гамлета, Лира, Эдипа. Я много слышал о них. Но так и не увидел его в этих ролях: в апреле 1963 года Гёкчер выступал только в «Дон-Жуане».

Когда мы вошли к нему в кабинет, Джунейт Гёкчер сидел за письменным столом, у него было усталое лицо, и мне все время казалось, что для беседы с нами он прервал очередную репетицию. Глядя на нас ясными голубыми глазами, Гёкчер низким красивым голосом отвечал на вопросы и курил, время от времени прихлебывая обязательный для всех — официальных и неофициальных — приемов кофе.

Мы узнали от него, что в Турции, как и у нас, основные трудности театра связаны с репертуаром.

— Современные пьесы очень редко удовлетворяют нас, — сказал он. — Конечно, мы играем их, но они весьма уязвимы с художественной стороны и вызывают справедливые нарекания критики. Впрочем, некоторые из этих пьес вы увидите...

Речь зашла о предстоящих гастролях Анкарского театра в Азербайджане и Азербайджанского академического театра драмы в Турции. Я сказал Гёкчеру, что советским зрителям наряду с классикой хорошо было бы показать пьесы, в которых правдиво изображена жизнь современной Турции. К спектаклям, посвященным проблемам современности, зритель безусловно отнесся бы с особым интересом. Но Гёкчер не мог сказать ничего определенного по этому поводу. Видимо, репертуар театра, гастролирующего в Советском Союзе, — не простой вопрос. В одном он был убежден: мировая классика должна быть обязательно представлена в репертуаре.

Видный театралный критик Лютфи Ай, присутствовавший при нашей беседе с Гёкчером, показал нам журнальные статьи, посвященные проблемам театра. Несколько статей касались творчества Чехова и Станиславского.

16 апреля. Сегодня у нас день музеев.

Директор этнографического музея доктор Эюбейр Кошай встретил нас очень приветливо, и я сразу убедился, что передо мной один из тех энтузиастов, которые фанатически влюблены в свое дело и отдают ему все силы. Доктор Кошай не только водил нас по залам музея и давал пояснения, но ознакомил с серьезными научными трудами по этнографии — своими и своих коллег. Многие из этих работ напечатаны в типографии музея. Это книги, альбомы, брошюры, посвященные самым разнообразным проблемам: старинной архитектуре, турецким национальным кушаньям и особенно много — турецкому фольклору.

В одной из статей доктора Кошай говорится, что за двадцать пять лет существования музея его сотрудники, установившие тесную связь с национальными и зарубежными научными кругами, собрали такое огромное количество ценных экспонатов и коллекций, что ныне многие из них уже не представляется возможным включить в экспозицию.

Проходя по залам этнографического музея, мы с интересом разглядывали старинные ружья, мечи, кинжалы, религиозные книги, старинную одежду, первые переводы Корана, фотографии орхонских надписей, гигантских размеров котлы, в которых когда-то варили лицу для сотен людей, самобытную глиняную и фарфоровую посуду, великолепные ковры ручной работы и прочее.

Особый интерес проявляют работники музея к народному творчеству. Они любовно собирают, изучают и издают песни народных певцов — ашугов, образцы устного народного творчества.

Доктор Кошай, тесно связавший свою судьбу с музеем, рассказывал нам, что познакомился с бакинским профессором Гамидом Арасли, когда тот приезжал в Турцию. Турецкий этнограф живо интересуется работой этого выдающегося азербайджанского ученого. Видимо, потребность в постоянном и тесном общении азербайджанских и турецких ученых, особенно тюркологов, жизненно необходима. Мы были вынуждены признать, что, к сожалению, связь эта не налажена, хотя в существующем положении вещей меньше всего повинны советские ученые.

О том, что сейчас уже просто невозможно обходиться без обмена научной информацией, мы слышали и на приеме в Обществе языковедов; преподавательница Анкарского университета Зейнаб Коркмаз, с которой мы здесь познакомилась, жаловалась на то, что выходящие у нас в республике критические работы и даже работы, касающиеся проблем азербайджанской грамматики, почти не известны турецким филологам. И в самом деле, отсутствие регулярного обмена книгами чрезвычайно мешает как турецким, так и советским ученым.

Когда речь зашла о тюркских языках, один из языковедов заявил, что термин «турецкий язык» придумали в Советском Союзе, чтобы противопоставить его другим тюркским языкам, выделить из общей языковой группы. Я заметил на это, что в Советском Союзе никто не собирается отрицать близости турецкого языка к другим языкам тюркской группы. Еще до революции русские лингвисты вырабатывали термин «тюркоязычные народы», наряду с узбеками, туркменами, азербайджанцами.

байджанцами, татарами, казахами и другими народами они включали в эту группу и турок-османов. Советские востоковеды, верные этой традиции, всегда указывают в своих исследованиях на близкое родство этих языков. Ни одному из наших ученых никогда не приходило в голову противопоставлять тюркские языки один другому, однако это не значит, что все народы, говорящие на близких языках, принадлежат к одной нации, — советская наука не ограничивает понятие «нация» только наличием общего языка.

Один из языковедов, споривший со мной наиболее активно (кстати сказать, он оказался членом турецкого сената), сказал, что такое понимание нации неприемлемо для турецких ученых.

— И вообще в вашей стране, — безапелляционно заявил сенатор, — литература и наука подчинены партии и политике.

— Любый писатель, — возразил я, — хочет он этого или не хочет, в конечном счете непременно оказывается втянутым в политику. Другой вопрос, что нельзя смешивать литературу с политикой. Вот тут я был бы с вами согласен...

Затем речь зашла о литературных связях. Я сообщил, что книги турецких писателей выходят в Советском Союзе большими тиражами, и выразил сожаление, что произведения, созданные в России после революции, совершенно не переводятся на турецкий язык.

Снова завязался спор.

— Вы издаете турок, это верно, — сказал один из языковедов, — но только «левых».

Тогда я показал книги турецких писателей на азербайджанском языке, привезенные мною в подарок. Среди них была антология поэзии народов Азии и Африки. Турецкая поэзия была представлена в этой книге довольно широко: от Юнуса Эмре до Орхана Вели. Я показал также русские переводы романов Решада Нури Гюнтекина. Его книги не один раз издавались и в Азербайджане.

— Конечно, — заметил я, — советский читатель ценит произведения, реалистически изображающие турецкую действительность. Вообще же интерес к вашей литературе очень велик. Некоторые турецкие романы расходятся в Советском Союзе огромными тиражами. Взять хотя бы того же Гюнтекина, который, как известно, никогда не был особенно «левым». У нас выходят и критические работы, посвященные турецкой литературе, творчеству таких писателей, как Намык Кемаль и Тевфик Фикрет. Да и турецкой классики мы тоже издаем немало. В дни моей молодости мы, азербайджанцы, читали не только Физули, Вагифа, Сабира, но и немало турок — классиков и современных писателей. Теперь же мы далеко не всегда в курсе литературной жизни Турции, очень многие книги нам просто неизвестны. Я считаю это совершенно ненормальным: ведь обе стороны заинтересованы в расширении литературных связей.

Когда в этом разговоре было упомянуто имя Физули, сенатор не без смущения заметил:

— Да, конечно... Вы воздвигли памятник Физули, а мы не сумели...

Я попытался затем выяснить, почему турецкие литераторы не принимают участия в движении писателей стран Азии и Африки.

— Литературы двух континентов готовятся к своему третьему конгрессу, — сказал я. — На два предыдущих конгресса турецкие писатели не прислали своих представителей, а между тем Турции предоставлено место члена постоянного Бюро в Коломбо. Едва ли правильно, чтобы это место оставалось пустым. Мне кажется, турецкие писатели много теряют, оставаясь в стороне от такого важного движения.

Кенан Акюз поинтересовался, какие задачи ставит перед собой движение. Я ответил.

— Каково политическое направление движения? — последовал вопрос.

— Его цель — борьба за мир, — ответил я. — Первоочередная задача — борьба против империализма и колониализма.

Я сообщил также своим собеседникам, что советские писатели не ограничивались политическими задачами и ставили на обсуждение конгрессов и многие чисто творческие проблемы.

Кто-то из присутствующих высказал пожелание, чтобы турецкие писатели получили официальное приглашение на предстоящий Джакартский конгресс.

— Да, но ведь Турцию на конгрессах представлял Назым Хикмет... — язвительно заметил кто-то.

— Что касается Назыма Хикмета, то я вовсе не считаю, что он не имел права участвовать в работе конгресса, — он действительно большой турецкий поэт, — сказал я. — Если же вы считаете это неправомерным, то еще более неправомерно устраняться самим от какого бы то ни было участия в движении.

Было ясно, что недоверие, испытываемое турецкими литераторами к движению писателей стран Азии и Африки, питается той усиленной антисоветской пропагандой, которую ведут реакционные круги Турции.

Беседа с турецкими языковедами принимала порой довольно острую форму, но была откровенной, и уже одно это принесло мне удовлетворение.

Когда мы расставались, сенатор, который в продолжение двух часов ожесточеннее других спорил со мной, сказал:

— У нас с вами немало разногласий, и было бы ошибочно полагать, что их можно легко и быстро устранить. Но ведь нас и сближает многое. Вот это сближающее начало нужно всемерно развивать и поддерживать.

Мы условились еще об одной встрече. Я забрал книги, которые турецкие филологи преподнесли мне, и мы распрощались.

17 апреля. Вечером посол устроил прием в честь наших представителей, ведущих переговоры о плотине на реке Арпачай. Я разговорился с одним из гостей — еще совсем молодым чиновником, сотрудником министерства иностранных дел Турции. Он пишет стихи, недавно вышла его первая книжка. Я попросил его прочитать что-нибудь. Он сделал это весьма охотно. «Если я убью клопа, я пролью собственную кровь», — было содержанием одного из стихотворений; главной мыслью другого было: «Я кричу, рыдаю и сам не понимаю почему». С грустной улыбкой чиновник-поэт посетовал, что слишком поздно стал писать стихи, потом безо всякой логической связи вдруг заявил, что всякие директивы мешают свободе творчества. Втолковывать что-либо этому молодому человеку было бесполезно, на все мои доводы он отвечал понимающей улыбкой (между прочим, попав в затруднительное положение, здешние дипломаты почти всегда прибегают к этому нехитрому приему). Потягивая русскую водку, он стал разглагольствовать о турецкой поэзии.

— Орхан Вели открыл новый путь, но поэты, появившиеся после него, ударились в крайность — стихи их потеряли всякий смысл. Я открываю новое направление в поэзии, среднее между ними.

18 апреля. Сегодня у меня встреча с Сади Гюнелем — редактором и издателем журнала «Сес» («Голос»). Журнал освещает главным образом театральную жизнь и проблемы театра.

Сади Гюнель принял нас у себя дома. В единственной комнате на диване лежала его большая жена. Женщина приветливо поздоровалась с нами, но было ясно, что состояние ее очень тяжелое. Сади Гюнель представил жену как одного из самых активных сотрудников журнала и своего замечательного помощника.

Больная слабо улыбнулась на похвалу и, отвернувшись к стене, сказала:

— Теперь уж на том свете буду писать...

Сади Гюнель живо рассказывал о литературе, об искусстве, о статьях, посвященных советскому балету и музыкантам в его журнале, показывал нам свои статьи. Я спросил его, какой из турецких романов он посоветовал бы мне перевести.

— Никакой! — резко ответил Гюнель.

Правда, позже он сказал, что из турецких романистов он выше всех ставит Яшара Кемалю.

Увидев в доме больную, мы ощутили неловкость и вскоре попрощались. Сади Гюнель пошел проводить нас. За дверью комнаты оживление сразу оставило его.

— Она больна уже шесть месяцев... Никакой надежды. Опухоль дала метастазы... — сказал он.

Мы молча пожали ему руку. Я вспомнил своих друзей, унесенных этой безжалостной болезнью...

Вечером смотрели в государственном драматическом театре пьесу Джавата Фехми Башкута «Переселение». Небольшой зрительный зал был полон: видимо, здесь, так же как у нас, любят комедию.

«Переселение» привлекает и мастерски созданными комическими положениями, и сочным, народным языком. Как только поднялся занавес, я пожалел, что заранее не прочитал пьесу. Ее главный герой — привратник Гусейн, которого играет Салих Джанар, говорит так быстро, что зрители не сразу улавливают смысл.

Позднее я прочитал критическую статью известного театрального критика Бурхана Арпада. Автор утверждал, что эта пьеса Башкута не имеет никакой художественной ценности. Однако я не мог согласиться со столь резкой оценкой. На меня и сама пьеса, и ее сценическое воплощение произвели хорошее впечатление. Спектакль убеждает, что в мире, где процветает авантюрист Гусейн, возможности для жульничества и злоупотреблений не ограничены, причем жулики и аферисты крупного масштаба действуют совершенно безнаказанно.

Башкут создал тип турецкого Хлестакова, хотя, конечно, огонь его сатиры гораздо слабее гоголевского. Тем не менее спектакль по силе реализма, по своей жизненной достоверности, несомненно, явление яркое, незаурядное.

19 апреля. Утром позвонил профессор Акюз и пригласил меня, Тофика и его жену к себе в гости. Я с радостью принял приглашение — это был первый случай попасть в настоящую турецкую семью.

Дом профессора Акюза расположен на одной из центральных улиц Анкары. Живет он с женой и сыном. Скромное, вполне современное убранство комнат свидетельствовало о хорошем вкусе хозяев. Мы, мужчины, устроились в уголке и, с удовольствием потягивая раку, непринужденно беседовали на самые разнообразные темы. Зиба-ханум — жена Тофика Кадырова — и супруга профессора примостились в другом и о чем-то оживленно разговаривали. Вдруг я услышал стихи. Читала хозяйка дома.

К сожалению, профессор Акюз вскоре пригласил нас к столу, и хозяйка дома, отложив в сторону книги, ушла, чтобы распорядиться.

Потом профессор поставил на проигрыватель подаренную мной пластинку с записью оперы «Кёр-оглу». В это время появился еще один гость. Когда началась ария «Люблю тебя, моя Нигяр» — кстати сказать, это моя любимая ария, — новый гость пришел в волнение и все время повторял: «Великолепно! Чудесно! Удивительно!» Признаюсь, мне доставляло особое удовольствие слушать сейчас Бюль-Бюля и видеть, какой восторг вызывает его исполнение здесь, в Анкаре.

20 апреля. Еще вчера мы условились о встрече с издателем и редактором общественно-политического журнала «Акис» («Отражение») Метином Токером.

Я просмотрел несколько номеров журнала, чтобы познакомиться с его направлением. Оно проступало вполне явственно. Достаточно сказать, что, по мнению журнала, коммунизм представляет для народов не меньшую опасность, чем фашизм... Видимо, это и дало повод считать «Акис» журналом объективным.

Мне сказали, правда, что хотя Токер приходится зятем премьер-министру Исмету Иненю, это не мешает ему критиковать своего тестя. Я сам убедился в

этом, просматривая «Акис». Но что побуждает его издателя действовать подобным образом? Ответ на сей вопрос невольно дал нам сам Метин Токер.

— Было время, когда мой журнал выходил стотысячным тиражом, — сказал он, — а сейчас его тираж только двадцать тысяч.

— Почему же так?

— В стране редко происходит что-либо интересное, — сдержанно ответил Токер.

Но ведь это не секрет, что в Турции издания, придерживающиеся официального курса, не пользуются популярностью. Так, одна из влиятельнейших газет «Улус» («Нация») выходит тиражом всего в пятнадцать тысяч. Тираж самой популярной турецкой газеты «Джумхуриет» («Республика») — триста пятьдесят тысяч. Не удивительно, что Токер усомнился в правдивости моих слов, когда я сказал, что даже «Роман-газета» выходит у нас тиражом в семьсот тысяч, и посетовал на то, что из-за недостатка бумаги нам в Азербайджанской республике приходится выпускать только двести тысяч экземпляров газет в день.

Токер расспрашивал о советском авторском праве, затем разговор зашел о материальном положении турецких и советских литераторов. Турецкие журналисты, да и вообще литературные работники живут не очень-то богато. В Турции, можно сказать, вообще нет профессиональных литераторов, так как даже самые крупные, самые известные писатели не могут прожить на гонорар. Об этом говорили мне сами турецкие литераторы.

Метин Токер произвел на меня впечатление человека преуспевающего, вполне благополучного, довольного собой. Люди такого типа полагают, что поскольку все, что они имеют в жизни, досталось им в наследство от отцов и дедов, то никто и ничто не может изменить существующее положение вещей. Вероятно, то обстоятельство, что и дом, и типография, и машины принадлежат лично Метину Токеру, дает ему основание так думать...

— Мой журнал — это мой бизнес, — сказал мне он.

Нам, конечно, странно слышать такие заявления, но у деятелей буржуазной печати свои нравы и свои представления об ее роли в обществе.

21 апреля. Скоро шесть. Анкара еще спит. Прогромыкает выскочивший из переулка грузовик, и опять тишина... Улицы, днем похожие на бурлящий поток, сейчас тихи и безлюдны.

Наша машина, проплутав по переулкам пригорода, вырвалась на шоссе и понеслась в направлении старинного турецкого города Кони. Мы настраиваем радиоприемник на Москву — сейчас начнется передача. На спидометре сто двадцать километров. Машину ведет Тофик. За рулем он чувствует себя уверенно и, видимо, получает немалое удовольствие от такой скорости. Не могу сказать этого о себе...

Шоссе прорезает широкую равнину, по обе стороны его зеленеют поля. Мелькают деревушки, очень похожие одна на другую, бензоколошки. То там, то тут на полях виднеются фигуры крестьян, идущих за сохой либо вскапывающих землю лопатой. Время от времени среди маленьких деревенских домишек вырастает элеватор. За все двести шестьдесят километров пути мы не увидели ни лесочка, ни сада. Поля и поля... Только что вспаханные небольшие участки, аккуратно отделенные один от другого...

Заметив у обочины человека с поднятой рукой, мы остановились, взяли его к себе в машину.

Нашего случайного попутчика звали Осман, он курд, по профессии шофер. Перевозит товары из Кони в другие города. Все время на колесах: приедет в деревню, повидается с домашними, переночует — и снова в путь. Лицо у Османа усталое, с глубокими, резкими морщинами, в волосах проседь. Я дал бы ему лет сорок пять, но оказалось, что ему всего тридцать. Он рассказал нам, что женился в двадцать лет и у него уже семеро детей. Недавно он взял вторую жену.

— Первая жена у меня немножко того... умом слабовата... От хорошей жены вторую брать не станешь. Разве я не понимаю, что молодой мои дети ни к чему!

Потом мы заговорили об освободительной борьбе курдов. Оказалось, что Осман в курсе всех событий...

Неподалеку от Кони мы с ним расстались.

Кония оказалась красивым зеленым городом, она несколько напоминает наш Кировабад. Улицы здесь кривые, дома старинные, новых почти не встречается.

Гордость Кони — музей Мавланы. Мавланой называют в Турции великого поэта и мыслителя Востока Джалаледдина Руми (XIII век).

У входа в музей нас встретил красивый, стройный юноша. Это был гид. Звали его Мустафа.

Когда мы осматривали музей, я невольно вспомнил, что писал о великом поэте Мирза-Фатали Ахундов. Он придавал огромное значение мировоззрению Руми и считал его противником официальной религии. Известно, что Руми не верил ни в ад, ни в рай, ни в воскрешение мертвых, однако открыто он не мог выступать против основных догм ислама и шариата. В этом смысле положение самого М.-Ф. Ахундова было очень близко к положению Руми. «Цель его заключалась в том, — писал Ахундов, — чтобы разоблачить лживость пророков и в то же время уцелеть, уберечься от мести невежественной и суеверной толпы. Его убеждения безусловно противоречат священному шариату, но он так мастерски скрывает их, маскируясь сказками о лисах и шакалах, что разоблачить его довольно трудно...» «Он боялся за свою жизнь и потому вынужден был прибегать к подобным уловкам».

Мустафа читал нам на память афоризмы Руми, рассказывал историю выставленных в музее экспонатов. Этот юноша просто влюблен в свое дело и в поэзию Джалаледдина Руми.

К сожалению, он, видимо, находился под влиянием того толкования творчества великого поэта, которое приписывает ему ортодоксальность и близость к официальному исламу. Это обстоятельство все время вызывало во мне внутренний протест. Но что делать, подобная оценка Джалаледдина Руми еще весьма распространена.

Один из древних списков его «Месневи», хранящихся в музее, привел меня в восхищение. Смотришь на него и невольно думаешь: «Как велика должна была быть любовь к слову поэта, как сильна была вера в него!» И правда, каждая страница этого списка — вдохновенное творчество каллиграфа и художника.

Музей Руми произвел на меня очень сильное впечатление. Если на Западе до сих пор не сумели по достоинству оценить наследие этого великого поэта-мыслителя, то причина такого пренебрежения — только высокомерие и леность ума.

Мустафа повез нас в другой музей. Всю дорогу до музея, сохраняя дистанцию в пять-шесть метров, сопровождал нас полицейский «виллис». Мы удивлялись. Но не тому, что появилась полиция, а тому, что она появилась с таким опозданием.

Музей, в который привез нас Мустафа, помещается в нескольких маленьких, полутемных комнатах. Он создан благодаря усилиям человека, отдавшего своему делу пятьдесят лет жизни. Здесь собраны редкие списки, рукописи, национальная одежда, скульптура, живопись, много старинного оружия, кинжалов, четок и других уникальных вещей. И хотя все это — личная собственность Иззета Коюн-оглу, каждый может прийти сюда, осмотреть собранные здесь редкости и познакомиться с хозяином музея.

Иззет Коюн-оглу принял нас с большим радушием, показал свои коллекции, затем увел к себе в гостиную, и чашечка кофе, выпитая в обществе этого милого человека с благородным сердцем, доставила нам истинное наслаждение.

Иззет Коюн-оглу увлекся историей еще полвека назад и тогда же, ни от кого не ожидая поддержки, начал собирать свои коллекции. После его смерти — по завещанию — музей перейдет в собственность народа.

— Если вашим ученым нужны микрофильмы с моих списков, пожалуйста, я с удовольствием вышлю их.

Прощаясь, мы тепло благодарили гостеприимного хозяина и его родственницу, готовившую для нас кофе.

Нам предстояло еще осмотреть конийскую мечеть. Высокое, просторное здание, купол которого поддерживают шестьдесят четыре колонны, могло бы вместить до тысячи молящихся, но люди не спешили в мечеть, хотя был час дневного намаза. Правда, на одной из прилежащих улиц какой-то молодой человек срывающимся голосом выводил азан, призывая правоверных к молитве, но, кажется, немногие следовали его призыву. Конечно, среди турак есть немало истово верующих людей, особенно среди стариков, но у молодежи я не заметил проявлений религиозности.

Мы проехали по нескольким улицам города, закусили в шашлычной и, попрощавшись с Мустафой, выехали на шоссе. Вскоре у нас за спиной снова замаячил знакомый «виллис».

— Вот и хорошо! — пошутил кто-то. — Теперь до самой Анкары нас будет сопровождать почетный эскорт!

Но этого не произошло. Как только мы вышли на главную магистраль, «виллис» исчез.

Погода испортилась. Пришлось поднять стекла. Очень хотелось пить, но на пути нам еще не попалось ни одной чайханы.

— Где здесь можно купить айрану или чаю напиток? — спросили мы у первого встречного крестьянина, остановившись возле небольшой деревеньки, называвшейся, как мы потом узнали, Кара Омерлар, километрах в тридцати от Конии.

— Пожалуйста, пойдемте ко мне, я вас напою, — пригласил он нас.

Мы пошли за ним. По дороге обратили внимание на молодого человека, красившего железную решетку на окне дома, выделявшегося среди других деревенских строений своими внушительными размерами.

— Это наш учитель, — объяснил радушный крестьянин. — Он мне помогает в мечети. Сам я здешний молла. Может, хотите взглянуть на нашу мечеть?

Я с удивлением рассматривал этого человека: мне еще не доводилось видеть моллу, одетого так бедно — заплату на заплате!

Мы вошли в дом и оказались в большом, светлом помещении с витражами; пол его устилали яркие домотканые коврики.

Молла вопросительно взглянул на нас.

— Ну как?

— Прекрасная мечеть, — сказал я. — У вас и школа такая же?

— Думаем и школу построить не хуже.

Подошел учитель, бедно, но опрятно одетый человек с серьезными, задумчивыми глазами. Мы познакомились, и Гусейн-эфенди — так звали учителя — повел нас в школу. Она помещалась рядом в довольно бедном и не очень чистом домике и состояла всего из одной комнаты, правда, довольно просторной. Часть классной комнаты была превращена в сцену — здесь ученики не только занимались, но и устраивали спектакли.

В другой комнате, поменьше, жил учитель. Мы зашли к нему.

— Гусейн-эфенди, вы помните «Нашу деревню» Махмуда Макала?¹ — спросил я.

— Да, я читал эту книгу. Видите ли, в Турции введено обязательное пятилетнее обучение. В нашей деревне дело обстоит хорошо: учатся все ребята школьного возраста — девочки и мальчики, и учатся вместе. Но по всей стране неграмотные составляют почти шестьдесят процентов.

Мы разговаривали, а я оглядывал жилище учителя, невольно сравнивая его с теми, что видел в наших азербайджанских деревнях. Здесь не было никакой

¹ Махмуд Макал — современный турецкий прозаик. «Наша деревня» — его первая очерковая книга, посвященная главным образом сельской школе.

современной мебели — ни кровати, ни стульев, ни тем более радиоприемника. Хозяин был явно небогат, хотя он радушно потчевал нас чаем и айраном.

Меня несколько удивило столь тесное сотрудничество между моллой и учителем. Молла, как будто прочитав мои мысли, сам заговорил об этом:

— Занятия в школе скоро кончатся, и дети поступят в мое распоряжение. Они должны уметь читать Коран, знать молитвы...

Вот оно в чем дело!

— У вас такие плодородные земли, почему вы не разводите сады? — спросил я, когда мы шли к машине.

Мне объяснили, что воды в деревенских колодцах едва хватает, чтоб напоить скот. Мотор община приобрела, а вот с электрическим током плохо. От дальнейших расспросов я воздержался: за «пропаганду» иностранцы подлежат высылке из страны в течение двадцати четырех часов, а я намеревался пробыть в Турции по крайней мере до 13 мая...

22 апреля. До сих пор я заранее договаривался о встрече с интересующими меня людьми. Сегодня я решил явиться к издателю журнала «Фикир» («Мысль») без предупреждения. «Примет — хорошо, не примет — не обижусь».

Редакция помещалась в подвальном помещении большого здания. На двери висела табличка — название и чуть пониже надпись: «Свободный журнал».

В приемной главного редактора весьма предупредительный молодой человек спросил, что нам угодно.

— Передайте, пожалуйста, господину главному редактору, что его хочет видеть советский писатель Мехти Гусейн, — сказал я.

Молодой человек вышел и тотчас же вернулся.

— Господин главный редактор весьма сожалеет, — сказал он, — но принять вас он сейчас не может: он очень занят...

— Прекрасно, — ответил я. — Может быть, он назначит нам другое время для встречи?

Молодой человек снова вышел и довольно долго не возвращался.

— Главный редактор уезжает в Стамбул, — объявил он, появившись наконец.

Вечером смотрели пьесу Джахит Атая «Гамди и Гамди». Открывается занавес, и вы видите два жилища: лачугу бедняка и роскошный дом. В лачуге живет почтальон, в богатом доме — миллионер. И того и другого зовут Гамди. У почтальона весьма скромные требования, и он доволен своей жизнью. Он беззаботно потягивает пиво, правда, тайком от жены, так как ее может рассердить подобная расточительность. Супруги ни на что не жалуются, у них нет ни особых желаний, ни претензий. И вдруг приходит письмо, из которого явствует, что место, занимаемое лачугой почтальона, понадобилось для строительства гаража. Так на почтальона и его жену обрушились тяжкие испытания.

Жизнь миллионера Гамди — сплошное мучение. Он деловой человек, занятый производством угля и стали, и бесконечные заботы лишают его сна и покоя. Нервный, измученный болезнями, он приходит в ужас от слова «сахар» — уже много лет миллионер страдает сахарной болезнью. Деньги приносят ему одни огорчения. Одним словом, миллионер Гамди недоволен жизнью.

Создается ситуация, при которой обе семьи испытывают недовольство своей судьбой. Когда недовольство это достигает высшей точки, из зрительного зала поднимается на сцену молодой человек в элегантном светлом костюме с ослепительной белозубой улыбкой. Его зовут Хизр. Символика этого образа очевидна. Такое прозвище носит бессмертный пророк Ильяс. Подобно пророку Ильясу, этот персонаж является в тяжелый момент. Обращаясь к обоим Гамди, он сообщает каждому из них об ожидающих их переменах.

И действительно, в жизни обоих персонажей все изменяется. В результате длительных и забавных перипетий миллионер и почтальон меняются местами. Теперь миллионер беден, но избавлен от сахарной болезни и от забот, а потому

совершенно счастлив. Зато почтальон Гамди, разбогатев и став владельцем огромного дела, начинает беспokoйную жизнь богача.

Автор вовсе не с одинаковым благодушием относится к различным классам, и его симпатии явно на стороне бедняков. Так, например, стоило почтальону Гамди разбогатеть — как он сразу теряет свою душевную чистоту, а заодно и хороший характер. Жена бывшего миллионера, а ныне бедная женщина по имени Нермин говорит, возмущенная подлостью бывшего почтальона: «Все богачи безжалостны и бесчеловечны, они думают только о том, как бы еще больше разбогатеть, и готовы растоптать бедняков!»

Монолог Нермин зрители сопровождают шумными аплодисментами. Это объясняется, мне кажется, не только талантливым исполнением Мерал Гюзендор. Во всяком случае мне стало в этот момент ясно, что легенда о «национальном единстве», придуманная буржуазией, не пользуется популярностью в Турции.

И хотя драматург пытается внушить, что миллионер мучится муками почтальона, а почтальон терзается муками миллионера и таким образом они почти братья, — объективное воздействие пьесы не дает основания для подобного ее толкования. И зритель делает из его пьесы совсем другой вывод!

23 апреля. Сегодня весь день провел дома. Читал рассказы современных турецких писателей. Увы, мое знакомство с ними происходит пока только таким путем. Но я не теряю надежды увидеть некоторых из них в Стамбуле.

Тихий стук в дверь оторвал меня от книги.

— Кто там? — спросил я.

Ответа не последовало. Я открыл дверь и увидел в коридоре девочку, державшую на руках малыша.

— Вода! — услышал я тоненький голосок.

Я не сразу сообразил, в чем дело. Потом вспомнил, что питьевую воду в Анкаре развозят по домам. Трудно понять, почему население непрерывно растущей столицы до сих пор не имеет в достаточном количестве водопроводной питьевой воды. Я пытался выяснить это и слышал довольно странные объяснения.

— А как же поставщики питьевой воды? — отвечали мне. — Что будет с их миллионами? Вы говорите: можно поставить фильтры и очищать водопроводную воду? Конечно, можно. Но это требует больших затрат, у нас нет желающих нести такие расходы, да и вообще думать обо всем этом!.. Революции более пятидесяти лет, а ведь мост в Стамбуле так и не построен... И это понятно — зачем думать о строительстве моста тем, кто так хорошо зарабатывает на перевозках людей из европейской части города в азиатскую?

24 апреля. Еще в Баку я прочитал роман Яшара Кемалея «Тощий Мемед» и пришел к выводу, что автор его находится под сильнейшим влиянием фольклора и поэтому в его чисто реалистическом повествовании, изображающем жизнь турецкой деревни во всей ее достоверности, время от времени реальные человеческие отношения подменены условными. Теперь, побывав в Турции, воочию увидев страну, я убедился, что мой вывод был не совсем верен. Я понял, что особенности творческой манеры этого большого художника объясняются вовсе не стремлением к стилизации и не сознательным уходом от реальности, а противоречиями, неизбежно возникающими между действительностью и мечтой писателя. Жизнь невыносимо тяжела, и писатель, воплощая в произведении свою мечту, зовет в тот мир, которого еще нет, но который должен, обязательно должен существовать!

Именно так написан и роман Яшара Кемалея «Земля — железная, небо — медное», который я сегодня дочитал. Я понял, почему проблема деревни оказалась в центре внимания многих турецких писателей. И полнее ощутил силу художественного дарования Яшара Кемалея, сумевшего воссоздать правдивую картину жизни. А сила эта в том, что краски его палитры замешаны на любви к простому народу, вере в его лучшее будущее и великом гневе. Откуда этот великий гнев и в чем видит писатель трагедию турецкой деревни, для изображения которой он

то пользуется почти натуралистическими зарисовками, то обращается к романтическим легендам, то поднимается до щедринской сатиры?!

Главное зло турецкой деревни, ее трагедию Яшар Кемаль видит в том, что «крестьянин не живет, а существует!» И вовсе не в природе крестьянства причина такого образа жизни — он навязан турецкому крестьянству извне.

Вот несколько эпизодов романа Яшара Кемалья.

В деревне неурожай, погиб хлопок. Адиль-эфенди, который не только владеет землей, но и ссужает крестьян деньгами и необходимыми товарами, все равно потребует уплаты долгов. Пшеница, ячмень, мука, куры, козы, коровы, ослы, кони — все отобрал он у крестьян. А у Плешивого Мустафы отнял даже плату его жены. Весной в деревне начался голод. Люди ели кору, зеленые побеги. Погибло много детей. Когда у Дели-Мустана умерло от голода трое детей, он решил убить Адиль-эфенди. Односельчане не дали ему осуществить это намерение. «Что ты делаешь? — сказали они, связав Дели-Мустана по рукам и ногам. — У кого мы будем занимать деньги, если ты убьешь Адиль-эфенди? Кто даст нам в долг матери на одежду? Не будет его — мы останемся, в чем мать родила».

Дели-Мустан смиряется. В награду за покорность аллах посылает ему еще троих детей вместо умерших...

Но вскоре все повторяется снова. Снова неурожай. Адиль-эфенди, за спиной которого надежная опора — жандарм, — снова забирает у крестьян за долги все их достояние.

Но, нарисовав столь страшную и, казалось бы, беспросветную картину, Яшар Кемаль все же остается романтиком. Один из героев романа Кель-Ашык рассказывает односельчанам такую сказку: «Шел по дороге слепой Абдал и вдруг чувствует — к ногам прикоснулось что-то живое, теплое. Протянул руку, ощупал — птица! Птица, а не летает... Удивился слепой, взял птицу на руки и принес в деревню. Собрались вокруг него люди. «Что это за птица, — спрашивает у них Абдал, — и что с ней случилось?» Посмотрели односельчане на птицу, которую слепой прижимал к груди, и сказали ему, что это журавль и у него перебито крыло. «Никогда не сможет летать изувеченная птица», — сказали они Абдалу. Огорчился слепой.

«Значит, подумал, она такая же несчастная, как я. У меня на глазах бельма — света не вижу, у нее крыло перебито — летать не может!.. Какая несправедливость! Будь я зрячим, я мог бы сделать все. По моему приказанию раскрывались бы цветы и поднимались волны на море, сияли бы звезды и всходило бы солнце! Я посылал бы снег в горы и заставлял бы его сиять на горных вершинах! Но я осужден на вечную ночь и должен всегда оставаться во мраке! Бедный журавль! Он так же несчастен, как я! Будь у него целы крылья, он улетел бы за тридевять морей. Над большими городами, над широкими полями несли бы его сильные крылья, и, достигнув озера Ван, опустился бы он на гранитную скалу! Журавли — весенние птицы. Они не знают ни зимней стужи, ни летнего зноя, они всегда там, где весна. И крылья их пахнут весной... Это первый журавль, которому предстоит увидеть зиму, узнать, что такое холод...»

Оба обездоленных зажили вместе. Далеко в горы унес Абдал своего журавля. Прошло лето, началась осень, и зашумели над ними журавлиные стаи. Абдал не видел их, но журавлиный крик дал ему знать, что птицы эти покидают их край, летят в теплые страны.

Взял Абдал своего журавля, поставил его перед собой и стал ждать вечера. Почувствовав, что солнце зашло, Абдал запел. Он пел до утра, как поют любимой. Он пел журавлю и людям, высоким горам и родной земле, быстрым ручьям и бурным рекам, он пел муравьям, что копошатся в земле, рыбам, что плавают в воде, звездам, что сияют в небе... Пел своей вечной темной ночи...

Журавль стоял перед ним и слушал. Слепой пел день, два, месяц, два месяца... Он пел о деревьях, о цветах, о бабочках, о родном крае, пел не переставая...

И вот однажды, когда народился новый день и Абдал закончил свою ночную песню, в глаза ему вдруг ударил невыносимо яркий свет. Абдал вынужден был

закрывать руками глаза. Мрак, годами окружавший его, вдруг рассеялся, и ослепительное сияние залило все вокруг. Абдал упал на землю, зарывшись в нее лицом и долго лежал так. Наконец он встал, выпрямился, приоткрыл веки. И прозревшему открылся мир. Долго стоял Абдал, созерцая бездонное голубое небо. Потомглянул на землю... Цветы, трава, муравьи, букашки — ничего этого он раньше не видел... Абдал припал к земле и поцеловал ее — светлую, щедрую, как мать.

И вдруг перед ним появился журавль. Такой красивой птицы Абдалу никогда больше не доводилось видеть. Он хотел обнять, приласкать своего журавля, но едва протянул к птице руки — та взмахнула крыльями и взмыла в небо. Абдал стоял и смотрел на своего журавля, пока тот не превратился в точку и бескрайнее небо не поглотило его».

Не вечны ни слепота Абдала, ни сломанные крылья журавля, говорит читателю Яшар Кемаль. Он как бы зовет подняться из трясины жизни, взмыть в бескрайнее, чистое небо и полететь далеко-далеко, чтобы узнать, что есть на свете другая жизнь, совсем не похожая на эту...

Директор Анкарской национальной библиотеки Откен Аднан с отцовской гордостью рассказывал нам об успехах своего детища. С каждым днем растет библиотека и число ее сотрудников.

Национальная библиотека размещена в шестизэтажном здании — три из них находятся под землей.

— Нам тесно в этом помещении, — пожаловался Откен Аднан. — У нас пятьсот тысяч томов, и число книг растет с каждым годом. Мы получаем книги отовсюду, в том числе из многих городов Советского Союза.

Откен Аднан сообщил нам, что вскоре возле меджлиса будет построено новое здание библиотеки. Он показал нам зал микрофильмов; работники книгохранилища приложили много усилий, чтобы сделать доступными для читателей редкие рукописи и древние списки. Мы прошли в читальный зал. Он был полон.

В Анкаре мне приветливо улыбались многие люди, но нигде еще я не видел столько улыбок, как здесь, в национальной библиотеке. Видимо, книги, в числе прочих своих достоинств, обладают свойством рождать доверие и дружеские чувства к другим народам.

Сегодня же мы побывали в институте, готовящем учителей рисования. Он учрежден в 1927 году. Атаюрк принимал непосредственное участие в его создании. В пансионате при институте живут юноши, приехавшие из различных вилайетов Турции. Непосредственно встретиться с ними, как и вообще с турецкими студентами, нам, конечно, не удалось, но зато нам показали выставку студенческих работ. По выставке нас водила и давала пояснения молодая, коротко стриженная женщина с умными черными глазами — преподаватель института. Она показывала пейзажи, скульптуры, портреты. Среди них была и ее скульптура «Задумавшаяся женщина». Лицо и глаза женщины полны мысли, но во лбу почему-то широкая трещина, словно несчастной проломили голову каким-то тяжелым предметом. Фигура — полая внутри.

— На лице вашей женщины запечатлена мысль, — заметил я, обращаясь к автору скульптуры. — Но разве можно думать, если отсутствует мозг?

Она улыбнулась.

— Я знаю, вы не признаете модернистского и абстрактного искусства. Однако это не мешает вам восторгаться коврами. Вас радует и восхищает в них сочетание красок, переплетение линий. Вы находите их прекрасными. А ведь это типичное абстрактное искусство!

Молодая женщина убежденно говорила о правомерности абстракционизма. Выставка студенческих работ свидетельствует о том, что молодые художники предпочитают реалистическое изображение жизни и природы родной страны.

Посещение Анкарской консерватории оставило у меня очень приятное воспоминание, несмотря на то, что мы уже были достаточно перегружены впечатлениями от увиденного и в национальной библиотеке, и на институтской выставке.

Беседа, которая состоялась здесь, особенно запомнилась мне благодаря участию в ней известного турецкого композитора Ахмеда Аднана Сайгуна. Я познакомился с Сайгуном еще в Баку, когда он приезжал к нам на гастроли.

Прекрасный вкус, гуманистические идеалы, широкий и очень современный взгляд на вещи, присущий этому выдающемуся музыканту, — все это производит неотразимое впечатление на собеседника. Сайгун с глубоким уважением отозвался об известных азербайджанских композиторах Караеве, Фикрете, Ниязи, Кулиеве и с искренней благодарностью говорил о теплом приеме, который был оказан ему слушателями в концертных залах Баку.

Когда разговор зашел о музыке и литературе Азербайджана, профессор, преподающий в консерватории турецкую литературу (к сожалению, я не записал сразу его имени и, конечно, запамятовал потом), поинтересовался современной азербайджанской поэзией, попросил почитать что-нибудь наизусть. Я стал читать Самеда Вургун. Прочитал «Азербайджан», потом диалог Вагифа и Каджара из пьесы «Вагиф». Профессор слушал с большим вниманием.

— Какая искренность! — взволнованно воскликнул он, когда я кончил читать. — Это настоящая поэзия!

Я спросил Сайгуна, изучают ли в Анкарской консерватории народную музыку.

— У нас очень интересуются народной музыкой, — ответил он, — и она у многих более популярна, чем профессиональная. Но это дело личного вкуса.

Профессор литературы высказал мнение, что народная музыка остановилась в своем развитии, застыла, в настоящее время это примитив, не заслуживающий внимания серьезных музыкантов.

Я заметил, что мне решительно не понятно, почему надо противопоставлять, отделять друг от друга профессиональную и народную музыку? Не полезнее ли расширять их взаимодействие?

Возьмите, к примеру, оперу «Кёр-оглу» — это глубоко современная опера, созданная на основе азербайджанской народной музыки. Или возьмите такой народный инструмент, как зурна. Ее у вас считают очень примитивной. А как эта самая зурна обогащает партию Кёр-оглу, какую воинственность придает она образу народного героя! А симфонические мугамы Фикрета! Прекрасный результат взаимного проникновения двух музыкальных стихий!

Когда мы расстались, профессор Сайгун и его коллеги высказали мнение, которое мы уже не раз слышали от деятелей культуры Турции: культурный обмен между нашими странами необходимо всячески расширять, и они готовы всеми силами способствовать этому.

26 апреля. Сегодня я смотрю мольеровского «Дон-Жуана» на турецкой сцене.

Перевел пьесу Мелих Джовдет Андай. Язык перевода так ясен, выразителен и гибок, что кажется: «Дон-Жуан» — это турецкая пьеса. Вот что дает мастерство, соединенное с вдохновением! А ведь успех переводной пьесы зачастую определяется качеством перевода. О том, что Джунейт Гёкчер великолепно исполняет роль Дон-Жуана, я слышал от многих и, откровенно говоря, боялся разочароваться. Однако я был совершенно покорен им. Удивительный такт, внутренняя убежденность, ощущаемая в каждом слове, почти скульптурная законченность каждого жеста и, главное, удивительная гармония слов и движений поразили и меня, и моих друзей. Игра Гёкчера доставила нам эстетическое наслаждение в полном смысле этого слова. Мне кажется, Гёкчер создан для таких ролей, как Отелло, Гамлет, Лир, Эдип.

Нередко бывает так, что большой мастер невольно затмевает, оттесняет на второй план партнеров. В данном случае ничего подобного не произошло; Джунейт Гёкчер как бы растворяет себя в актерском ансамбле. Когда рядом с Дон-Жуаном появляется Эльвира, пришедшая предупредить его об опасности, невольно возникает опасение, что мастерство Джунейта Гёкчера слишком велико, чтобы не помешать зрителю услышать Эльвиру — Качмаз, почувствовать волнение и внутренний протест, которым полна эта хрупкая, миниатюрная женщина. Но опасения

напрасны. Дон-Жуан—Гёкчер как бы отходит на второй план, уступая место Эльви́ре, и кажется, что все прожекторы осветителей направлены только на нее одну. Айтен Качмаз произносит монолог Эльви́ры с таким достоинством и царственным спокойствием, что трогает весь зал до глубины души.

После спектакля, воспользовавшись законами гостеприимства, мы отправились за кулисы. Джунейт Гёкчер был утомлен, свое отношение к его игре я постарался выразить предельно кратко:

— Это было прекрасно!

И попросил принять в знак моего восхищения его талантом скромные сувениры с моей родины.

Гёкчер тепло поблагодарил меня.

27 апреля. Сегодня едем в Гёреме, это триста километров на юго-восток.

Дорога разительно отличается от той, по которой мы ехали в Конию. Там по обе стороны дороги тянулись одни поля — здесь встречаются сады, огороды. И весна здесь выступает заметней, река Кызылырмак вздулась, разлилась — значит, в горах уже тает снег...

Ближе к Гёреме дорога ухудшилась: повороты, спуски, подъемы — пришлось убавить скорость. Неподалеку от этого города в широком ущелье сохранились древние скальные постройки. Пятнадцать веков назад люди создали в этих острокопечных скалах двух-, трех- и четырехъярусные жилища, кладовые, хранилища для вина, великолепные по своей архитектурной форме часовни и храмы.

Мы поднялись по приставной лестнице на второй ярус.

На стенах и куполах храмов сохранились фрески с евангельскими сюжетами, много изображений Иисуса Христа. К сожалению, ни один настенный рисунок в этом мертвом городе не сохранился полностью — нож и кинжал немало потрудились над тем, чтобы соскоблить фрески. Но краски фресок так свежи, словно не прошло с тех пор пятнадцати веков.

Мне очень хотелось узнать, как обитатели скального города добирались до своих жилищ, но никто не мог ответить на этот вопрос. К сожалению, этот интересный памятник древней культуры до сих пор всерьез вообще не изучен.

Когда мы ехали по узким, грязным улицам Гёреме, полил сильный дождь, за сверкали молнии. Потом по крыше машины застучал частый мелкий град.

Мы ехали почти вслепую. Через несколько минут мы вышли из полосы дождя. Дорога была совсем сухая. Солнце клонилось к закату. Вдали, за снежными вершинами гор, пылали облака. Гроза догнала нас в Кыршехире, когда мы уже сидели в ресторанчике. На улице сразу потемнело, люди разбегались по домам, спешили зайти в лавки, в рестораны.

В ресторане, где мы ужинали, сидело несколько немцев и американцев. Они объяснялись с официантами через переводчика. Иностранцы, особенно американцы, не стремятся изучать турецкий язык.

— Турки только внешне выказывают к ним почтение, — шепнул один из моих спутников, указывая на сидящих за соседним столиком американцев, — а на самом деле терпеть их не могут.

— Именно американцев? — спросил я.

— Их особенно. А знаете почему? — совсем тихо спросил он.

— Не знаю.

— Потому что каждый турок очень явственно ощущает, что пятиллиардный долг Америке поставил их страну в отчаянное финансовое положение. Американцев не любят даже в официальных кругах...

Закусив, мы отправились обратно. Дождь сопутствовал нам до самой Анкары.

28 апреля. Погода испортилась. Почти весь день моросил дождь. Проглядывая утренние газеты, я прочитал в номере «Ени Истанбул» («Новый Стамбул») статью. Оказалось, что почитатели недоброй памяти мусаватистов все еще скорбят на турецкой земле по их «республике». Вот где действительно к месту пословица: «Собака лает, а караван идет!»

29 апреля. Сегодня опять ненастье. Воздух такой влажный, что трудно дышать.

В посольстве готовятся к празднованию Первого мая. Оштукатуривают наружную стену кинозала. Работают турки, работают хорошо, споро, изредка перебрасываясь словечком друг с другом.

После обеда принесли свежие газеты. «Ени Истанбул» верен себе: описывает самыми благородными красками буржуазных националистов, бежавших из Советского Азербайджана и Узбекистана. На видном месте — сообщение о собрании националистической организации «Тюркский очаг», состоявшемся в связи с «траурной» датой — годовщиной установления советской власти в Азербайджане. О числе участников этого сборища газета, правда, умолчала. Видимо, негусто было... Зато подробно изложила речь некоего Мустафы Векиль-оглу, выступившего на собрании от имени азербайджанского народа. Оказывается, предатель Мустафа Векилов жив-здоров, только фамилию изменил на турецкий манер. Люди, мало осведомленные о революционных событиях в Азербайджане, едва ли представляют себе, что это тот самый Векилов, который вызывал воинские части из Баку, когда в Гяндже и Казахе вспыхнули восстания против мусавистов. Я уверен, что этот господин скрывает такие «подробности» своей биографии. Думаю, что и «Ени Истанбулу» ни к чему эти «мелочи». Хоть он и «Новый Стамбул», а песня-то у него старая-престарая, петая-перепетая.

30 апреля. Сегодня в посольстве небольшой прием для турецких деятелей культуры.

Что и о чем должен буду я говорить вечером? Разве угадаешь, о чем могут спросить тебя приглашенные?

Днем я прошелся по книжным лавкам, пытаюсь приобрести уже виденные пьесы турецких авторов. Нашел, к сожалению, только одну — «Переселение». Но зато убедился, что переводов иностранной литературы издается довольно много. Особенно энергично действует в этом направлении стамбульское издательство «Варлык». Я видел в магазинах хорошие издания Гомера, Мольера, Флобера, Льва Толстого, Чехова, Тургенева, Гоголя, Достоевского, О. Генри, Хемингуэя, Сартра, Андре Жида, Джека Лондона... Но ни одной советской книги не встретил ни разу.

К семи часам съехались приглашенные. Многие из них были уже знакомы мне: профессор Агях Сирри Левенд, профессор Кенан Акиюз, председатель Общества турецкого языка профессор Таксин Бангу-оглу, театральные критик Лютфи Ай и несколько сотрудников министерства иностранных дел Турции.

Расселись за круглым столом. Кто-то из гостей заговорил о советском балете, выразив свое восхищение.

— У турок, к сожалению, нет национальных традиций в этой области искусства, — заметил наш посол. — В Москве учится балетному искусству молодежь из многих стран. Почему бы и вам не отправить хотя бы несколько человек к нам на учебу?

— Традиции национального искусства создаются целым поколением, а не отдельными людьми, — сдержанно заметил профессор Агях Сирри Левенд. — Двадцать лет назад наш драматический театр едва держался на нескольких энтузиастах, не имевших, в сущности, никакой школы. Женские роли играли тогда армянки: турецким девушкам путь на сцену был закрыт. Увлекая своим примером молодежь, актеры-энтузиасты создали с годами настоящий театр. Тот путь, который театры других стран проходили за сто лет, наш драматический театр преодолел за двадцать! Сейчас только в Анкаре пять государственных театров, а всего в столице их уже семь. Мы создали национальные традиции театрального искусства и сделали это не два-три человека, а целое поколение.

Разговор за круглым столом становился все оживленнее. Выслушав профессора Левенда, я заметил, что он и Рыжов, в сущности, не противоречат друг другу. В конце концов все согласились с тем, что в области искусства ни один

народ не должен ограничивать себя национальными рамками. Взаимное влияние и обмен опытом имеют огромное значение.

— Глубоко ошибаются те, кто полагает, будто, пригласив в Турцию какого-либо художника, техника, ученого с иным, чем у вас, мировоззрением, вы ставите под угрозу государственный строй своей страны, — продолжал Рыжов. — Мы хотим видеть Турцию самостоятельным, сильным государством, а политический режим страны — это ваше внутреннее дело.

— Давно ли вы так стали думать? — перебил его скептически настроенный профессор Акюз. — Сталин во всяком случае думал иначе.

— Что ж, ошибок в прошлом было сделано немало, — спокойно согласился Рыжов. — И с вашей и с нашей стороны. Но Советский Союз не на словах, а на деле доказывает, что рад был бы увидеть Турцию экономически независимой страной. Если другие страны стараются ввозить в Турцию как можно больше товаров, то мы искренне желаем Турции достичь такого положения, когда она могла бы вывозить продукцию своей промышленности. Иначе мы не стали бы строить в Турции текстильные комбинаты, не налаживали бы у вас производство стекла. Почему бы вам не послать в наши высшие учебные заведения в порядке обмена студентов, преподавателей, ученых? Мы, например, были бы очень довольны, если бы профессор Левенд согласился прочитать курс лекций в Московском и Ленинградском университетах.

Профессор Левенд сказал, что он с удовольствием принял бы такое предложение. Никита Семенович обещал переговорить об этом с премьер-министром Исметом Иненю.

— В конце концов все упирается в политику, — сказал Кенан Акюз. — Если бы политики договорились между собой, ничто не мешало бы наладить связи между нами!

— Страниться политики или утверждать необходимость быть в стороне от нее — это тоже своего рода политика! — заметил я, желая раззадорить профессора, так как знал, что это его уязвимое место.

Профессор Акюз — убежденный националист, нам с ним трудно найти общий язык, но он прямой и горячий человек и беседовать с ним интересно. Но на этот раз профессор Акюз лишь улыбнулся.

На прощанье я подарил гостям медали с изображением М.-Ф. Ахундова, вытисненные к его юбилею, и сказал:

— Вот один из тех людей, которые страстно желали, чтобы деятели культуры разных стран всегда жили в дружбе.

1 мая. Впервые в жизни я не увижу в этот день праздничного первомайского шествия. Правда, улицы Анкары сегодня принаряжены, на многих зданиях вывешены флаги, но это отнюдь не в честь первомайского праздника, а в честь приезда государственного секретаря США Дина Раска.

Включаем радио. На московской волне слушаем Красную площадь, военный парад, шумные приветствия демонстрантов. Они рукоплещут Фиделю Кастро — своему гостю. Как понимаю я сейчас своих соотечественников, которые, пробыв даже недолгое время за границей, начинают тосковать по родине!

2 мая. Сегодня вечером я приглашен на коктейль. Устроитель этого приема — министерство иностранных дел. Войдя в зал, я увидел среди официальных лиц и некоторых моих новых знакомых: композитора Сайгуна, профессоров Кенана Акюза, Агях Сирри Левенда, драматурга Орхана Асена, видного театрального критика Метина Анда и других. Особенно обрадовало меня присутствие Суны Корат — талантливой певицы и прелестной женщины. Она не так давно выступала в театрах Москвы и Баку и покорила своих слушателей. А один из них — молодой азербайджанский поэт — даже посвятил Суне Корат стихи, о чем не без удовольствия сообщила мне артистка.

Мы разговорились. Суна Корат тепло вспоминала своих бакинских друзей. И она и Сайгун — в восторге от дирижера Ниязи, заявила артистка.

В этот вечер я услышал много добрых слов и о Кара Караеве, и о Тофике Гулиеве, и о Фикрете Амирове.

Я познакомился с писателем Сунуллах Арысом и, высказав свои впечатления о его романе «Карапюрчек», поинтересовался, не автобиографичен ли он.

— Безусловно автобиографичен. Я долго жил в деревне, работал учителем. Все, что там описано, я видел собственными глазами...

— Как будто я снова в Баку, — сказала мне, улыбаясь, черноглазая женщина.

Это была Севда Айдан. Так же как и Суну Корат, ее глубоко тронула теплая встреча москвичей и бакинцев.

— Мехти-бей, — обратился ко мне Акюз, — вы уже немало повидали у нас в стране. Что вам понравилось больше всего?

— Много: прежде всего народ, его интеллигенция, увлеченная своей благородной работой, турецкий драматический театр, стремление турецкой молодежи к образованию, к знаниям... Но, Кенан-бей, тут я должен с вами согласиться: политики очень мешают дружбе между нами! Ведь мне так и не разрешили познакомиться с турецкой деревней. Тем не менее я все-таки — пусть недолго — побывал среди крестьян: мы искали в пути, где бы напиться, и заехали в одну деревню.

— Ну и каково ваше впечатление?

— Сказать честно?

— Разумеется!

— Люди чудесные — искренние, гостеприимные, доверчивые. Но сама деревня, хозяйство вызвали горькое чувство... Очень отстала турецкая деревня!..

Меня наперебой стали расспрашивать об Азербайджане, о нашей печати, об образовании, о месте азербайджанского языка в нашей республике. И хотя здесь, конечно, раздавались голоса людей, подогретых антисоветской пропагандой, я с удовольствием мог заметить, что их не так-то уж много.

3 мая. Едем в Бурсу. Солнце еще не вставало. Столица Турции спит. Выехав за город, мы обогнали на шоссе желую колонну комбайнов. После средневековой сохи, которую мы только и встречали по дороге в Конию, появление этих мощных машин радует сердце. Здесь мы довольно часто видели на полях тракторы. А деревни, через которые мы проезжали, были богаче и благоустроенней. Правда, садов, огородов и здесь не так уж много.

Мы то взбирались, то спускались по извилистой горной дороге, минуя одну за другой живописные деревеньки, прячущиеся в зелени деревьев. Наконец показалась Бурса. Красивый старинный город. Сколько завоевателей пытались овладеть им! Сколько крови пролито за Бурсу!

Мы поднялись на вершину Улудага. Оттуда, с высоты двух с половиной тысяч метров, вся Бурса как на ладони. По обе стороны дороги — изумрудные луга, вековые сосны, упирающиеся в небо горные вершины. Улудаг словно бы венчает чело древнего многострадального города.

Удивительной красоты зрелище открывается с вершины Улудага. Внизу, у его подошвы, извиляется река Нейлуфер.словно серебряный пояс, сверкает она на солнце. Зеленая долина, в которой расположен город, тянется далеко-далеко, окутанная зеленоватой дымкой, — впрямь восточная красавица, прикрывающая зеленой чадрой свое прелестное лицо.

Я не раз видел цветные фотографии окрестностей Бурсы — они никак не передают прелести этого пейзажа.

Нас принял губернатор Бурсского вилайета. Оказывается, он черкес, родом с Кавказа, его предки переселились в Турцию в девятнадцатом веке. С виду он несколько молод для такого немаловажного поста. Но это, видимо, очень способный, энергичный, уверенный в себе человек. В его густых, зачесанных назад волосах чуть светится седина, взгляд карих глаз исполнен спокойного достоинства.

— Двадцать дней разъезжаю по Турции, — заметил я в разговоре, — и нигде — ни в городах, ни в деревнях — не встречал женщин в чадре. А вот в Бурсе встретил несколько женщин с закрытыми лицами. Чем это объяснить?

— Это одна из тех вещей, которые я и сам не могу понять, — уклончиво ответил губернатор и сразу же перевел разговор на достопримечательности Бурсы.

Потом он приставил к нам бойкого молодого человека, и мы отправились осматривать город. Гиперболичность суждений нашего гида сразу же повергла нас в изумление. Все, что он нам показывал, сопровождалось самыми фантастическими характеристиками. Персики, вызревающие в садах Бурсы, достигают пятисот и даже семисот граммов. Горячие источники, у которых построены старинные бани, обладают способностью возвращать человеку молодость: пятнадцать дней лечения — пятнадцать лет как не бывало! Любая достопримечательность, в том числе каждая бурская мечеть — а их было немало, — определялась как «первая в мире».

По одной из улиц гнали овец; их головы и шеи выкрашены красной краской. Мы заинтересовались, что это за овцы.

— Завтра курбан-байрам¹, и в городе будет зарезано двадцать тысяч баранов! — не моргнув глазом заявил наш гид.

На противоположном высоком берегу Нейлуфера высятся огромные фабричные корпуса. Это Бурская шелкоткацкая фабрика, на ней работает около пяти тысяч рабочих. Нам хотелось осмотреть фабрику, поговорить с рабочими, но вместо этого мы должны были покорно ходить вслед за гидом по мечетям и баням.

О том, что здешние горячие источники обладают целебными свойствами — излечивают подагру и некоторые другие болезни, — мы узнали от самих больных. Наш скепсис по отношению к гиду стал умереннее. К тому же, когда мы осматривали мечеть-успальницу султана Мехмеда-Челеби (XV век) и гид заявил, что это одно из выдающихся произведений архитектуры, у нас уже не было оснований сомневаться: он был прав.

В Бурсе сохранилось двести сорок два памятника времен Османской империи. Особенно поразил меня гигантский купол мечети Улу Джамии. Эпитет «улу» — «великий» — определяет этот памятник очень точно.

Впрочем, кроме своих размеров, Улу Джамии внешне ничем больше не примечательна. Разве что окнами. Витражи в них сделаны так искусно, что на солнце переливаются всеми цветами радуги.

Как только мы поднялись по лестнице, служитель, сидевший возле двери, поставил перед нами тапочки, какие обычно и у нас надевают поверх своей обуви посетители музеев, — мечеть от самого порога устлана коврами.

Вокруг мечети и внутри ее немало надгробий. На каждом могильном камне — чалма из дорогой ткани, украшенная драгоценностями. Ажурные ограды могил поражают тонкостью и разнообразием орнамента. Неизвестный умелец сделал все, чтобы пришедшие к этим могилам, забыв о громкой славе тех, кто здесь погребен, могли восхищаться нетленным искусством.

Из Улу Джамии, проехав по застроенному современными зданиями центру Бурсы, мы отправились в район ремесленников. Здесь торгуют знаменитыми бурскими шелками, сувенирами, изделиями из металла.

Дольше других задержались мы у лавки молодого мастера, изготавливающего ножи. Гид сказал, что отец этого парня был известен на всю Бурсу, а сын не уступает ему в искусстве. Полюбовавшись его изделиями, мы купили несколько фруктовых ножей, великолепно отшлифованных, украшенных изящным узором.

Перед ужином мы смотрели в одном из бурсских кинотеатров какой-то западный фильм. Молодежь, сидевшая в зале, шумно аплодировала: герой одним ударом сваливал десятки врагов. Два с лишним часа бесконечных убийств. Стоит ли говорить о воспитательном значении такого фильма?

¹ Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношений.

Потом мы долго не могли найти подходящего номера для ночлега: все гостиницы забиты приезжими. Оказывается, сюда издалека съезжаются правовеверные на празднование курбан-байрама. Найдя наконец какой-то маленький, тесный номер, мы блаженно растянулись на кроватях и тотчас же уснули.

4 мая. Осматривая Бурсу, я все время вспоминал Назыма Хикмета, своего дорогого друга. В бурсской тюрьме он провел столько долгих лет!

Нам хотелось поближе посмотреть на эту тюрьму, но наша «волга» была слишком приметна в этом городе! Мальчишки бежали за нами по улицам и, показывая пальцами, кричали: «Русская машина! Русская машина!»

Часов в шесть утра мы выехали из Бурсы. Теперь — в Стамбул. Это около двухсот километров. Сперва мы ехали среди густых садов, тех самых, которые видели вчера с вершины Улудага, потом перебрались на другой берег Нейлуфера, некоторое время мчались по холмистой, уже выгоревшей от солнца степи, потом снова очутились среди пышной растительности.

Мы решили свернуть к озеру Изник — имелась в виду уха, которая будет вариться на берегу этого озера из рыбы, пойманной на захваченные с собой удочки! Озеро лежало в стороне от шоссе. Узнав дорогу от встречных ребятишек, мы основательно полпутали, пока наконец добрались до него.

Расположились на берегу, позавтракали и принялись за рыбную ловлю. Долго сидели мы, уставившись на неподвижные поплавки, меняя места, наживку, но все напрасно — рыба не клевала. А шагах в двадцати от берега, словно поддразнивая нас, то и дело всплескивали крупные сазаны. Окончательно разочарованные, мы хотели уже бросить это занятие и трогаться в обратный путь. Тут к нам подошел пастух.

— Вы откуда, эфенди?

— Из Советского Союза.

— Это что значит? Из России?

— Ну да.

— По-нашему хорошо говорите.

— Я азербайджанец, наш язык очень схож с турецким.

— Это верно! Азербайджанцы — наши братья!

Овцы подошли к самой воде, чабан отогнал их и вернулся ко мне.

— Здесь много не наловишь. Леску надо иметь подлиннее.

Он только хотел было взять у меня удочку, как вдруг поплавок исчез под водой. Я дернул — и в воздухе затрепыхался полукилограммовый сазан. Я снял его с крючка и с видом победителя помахал своей добычей над головой. Пастух взял мою удочку, насадил на крючок червяка. Я подарил ему монету.

— Что это?

— Пятнадцать копеек.

— А на наши деньги?

— Полторы лиры.

На его темном, загорелом лице мелькнула смущенная улыбка.

— Эх, нечем мне вас отдарить!

— Есть о чем беспокоиться. Чьих овец пасете?

— Хозяйские. Двести лир в месяц платят...

— Грамотный?

— Нет. Не пришлось учиться.

— А в вашей деревне не обучают взрослых?

— Нет. Обучали — обязательно записался бы.

Громкие крики моих спутников, уже сидевших в машине, прервали наш разговор.

— Пора!

Скоро мы подъезжали к Ялову. Это небольшой порт и курортный городок — хорошо спланированный и очень красивый. Здесь нам предстояло погрузиться на паром и примерно полчаса плыть по Мраморному морю.

Паром был полон. На носу сгрудились автомашины, на корме — толпа пассажиров. Мы сидели в своей «волге» и слушали концерт из Москвы. С моря дул легкий ветерок. Я потягивал чай и делал записи в дневнике. Сначала вокруг была только яркая синева моря, потом появились острова. Когда я летел из Стамбула в Анкару, эти острова с высоты девяти тысяч метров казались тарелками с желтой каемкой по краям и неровностями в центре. Теперь я увидел, что острова изрезаны глубокими рвами.

Показался берег. Мы причалили и сразу же въехали на шоссе, ведущее к Стамбулу.

Издали город показался сплошным нагромождением домов — они как бы напоздали один на другой, а некоторые просто висели в воздухе. Такое впечатление создается потому, что дома построены на разной высоте: город лежит на холмах. По стенам можно примерно определить возраст зданий. Очень стары эти стены! Много веков стоят они здесь, на берегу Босфора, немало видели бурь, и похоже, что никому не приходит в голову подновить, отремонтировать их. А может быть, так нужно, чтобы сохранить эту часть города как музей?

Вообще говоря, при беглом осмотре Стамбула создается впечатление, что это огромный архитектурный музей, в котором собраны здания самых различных эпох. И в европейской и в азиатской части города есть, конечно, и новые дома, но их так немного, что они теряются в хаосе старых зданий. Асфальтированных улиц мало. Кажется, что город застыл, остановился на каком-то этапе своего развития. Это особенно бросается в глаза после Баку, который, как и все советские города, застраивается по определенному плану и на прямых, широких проспектах которого каждый год, каждый месяц поднимаются новые красивые здания. Правда, на окраинах Стамбула тоже ведется строительство, появляются ультрасовременные сооружения, но они как-то не вяжутся с общим обликом города и производят впечатление яркой заплатки на изношенной, выцветшей одежде.

Над Стамбулом господствуют мечети. Их, наверное, как церквей в старой Москве — сорок сороков. Они подавляют своим величием все: и жалкие одноэтажные домишки, и пышные особняки. Но, разбросанные там и сям, безо всякого порядка или плана, они не «организуют» город; в нем невозможно уловить какой-либо симметрии или пропорций.

Впечатление беспорядочности еще более усиливается, когда находишься на улицах города. Несмотря на немалое количество полицейских-регулирующих, в движении транспорта не ощущается никакой закономерности; и если тебе нужно перейти с одной стороны улицы на другую, то надо пользоваться малейшим проемом между машинами.

Реклама в Стамбуле намного богаче и разнообразней, чем в Анкаре или Бурсе. Броски и яркие театральные афиши. От витрин многих магазинов, особенно принадлежащих иностранным фирмам, невозможно оторвать глаза, но магазины пусты. Покупателей мало. Меня удивило, что в магазинах принято торговаться, хотя на товарах указана цена, причем если покупатель проявит умение, то скидка с первоначальной цены оказывается весьма значительной...

Уверенно, как старожил, вел наш шофер машину по узким, кривым переулкам. Пока доехали до генерального консульства, не раз пришлось остановиться — в переулках все перепуталось: машины, арбы, пешеходы...

5 мая. Большие окна нашего номера выходят на Босфор. Однако утром, взглянув из окна, я не увидел ничего, кроме близлежащих домов, — весь город был затянут туманной дымкой.

Шум, который так долго не давал мне уснуть ночью, сейчас был еще сильнее. Гудели грузовые и легковые машины, перекликались с балконов женщины и дети, без умолку кричали продавцы в мелочных лавчонках. Я никак не мог разобрать, что они кричат, какие товары предлагают.

Принесли завтрак. Я спросил официанта, всегда ли по утрам Стамбул выглядит так, как сегодня.

— У нас всегда немного влажно. Летом еще не то бывает. В жару просто дышать нечем. Ничего, эфеиды, туман скоро рассеется...

Туман и в самом деле постепенно таял, и дома, переулки, улицы обрисовывались все отчетливее. Краски становились ярче, воздух прозрачнее, и вдруг на фоне синих вод пролива возникли очертания противоположного берега. Так вот он, Стамбул, воспетьи Фикретом, Яхьей Кемалем и другими турецкими поэтами! Наконец-то я увидел его...

Пришли друзья, и мы отправились осматривать город: Айя-Софию, мечеть Сулеймание и прочее, прочее, прочее...

6 мая. Стамбульский корреспондент ТАСС И. Т. Угольков повез меня к известному театральному критику Бурхану Арпаду, многие работы которого мне были хорошо знакомы. Критик этот живет в новом квартале, выстроенном кооперативным обществом журналистов.

Нас провели в уютный рабочий кабинет хозяина. Вскоре появился и он сам — высокий, с легкими быстрыми движениями, еще не старый человек.

Бурхан Арпад усадил нас, стал угощать кофе. Завязался оживленный разговор. Я поделился впечатлениями от спектаклей, виденных в Анкаре. Бурхан Арпад слушал с интересом, но мое мнение о пьесе «Переселение» вызвало у него решительный протест.

— У этого драматурга есть великолепные вещи, — заявил он. — В «Переселении» же он намеренно показал людей обезображенными, и это испортило пьесу. Изобразить попавших в город анатолийских крестьян жуликами и аферистами — это противоречит жизненной правде. Крестьяне уходят в город не потому, что стремятся к наживе, а потому, что их разоряют налоги. Все бремя военных расходов ложится на крестьянина... А что такое «Переселение»? Очень слабая вещь! Взять хоть бы штучки, которые выкидывает этот привратник! Разве он крестьянин?

Разубедить критика было нелегко, что, впрочем, и не входило в мои планы. Так мы и остались оба при своих мнениях.

Бурхан Арпад сказал, что выше всех остальных турецких писателей он ценит Яшара Кемала. Он высказал сожаление по поводу того, что в Советском Союзе, на его взгляд, бывают недостаточно разборчивы при выборе турецких книг и нередко переводят тех, кто этого совершенно не заслуживает. К сожалению, он не подтвердил свою мысль примерами. Когда же я заметил, что турецкие издатели в отношении советской литературы поступают значительно хуже, делая вид, что ее вообще не существует на свете, Арпад промолчал.

Мы пригласили Арпада на встречу, которую предполагало организовать наше консульство в Стамбуле, и взяли у него адрес Объединения турецких литераторов. Наконец-то я получу возможность встретиться с турецкими писателями!

7 мая. Сегодня по случаю курбан-байрама все учреждения и зрелища, в том числе музеи, закрыты, и мы решили отправиться на знаменитый стамбульский Крытый рынок. Говорят, что по разнообразию товаров рынок этот не имеет себе равных. Не могу судить, насколько справедливо это утверждение в отношении всего мира, но сам я действительно никогда не видел ничего подобного. Особенно поразило меня обилие ювелирных лавок. Но кому предназначены драгоценности, наваленные на этих прилавках? Богачи накупили их вдосталь, а беднякам не до золота...

Прохаживаясь между лавками, мы вдруг услышали патефон — женский голос пел песенку «Назлы-ханум», которую так часто исполнял мой любимый Бюль-Бюль. Слова были те же, и я сразу вспомнил рассказы своих друзей о том, что стамбульское и анкарское радио очень часто передает наши песни в исполнении турецких певцов и почему-то всегда называет их песнями Восточной Анатолии.

Примерно так же поступает и тегеранское радио, с той лишь разницей, что оно переводит слова песен на фарси, никогда не сообщая слушателям имени их авторов.

8 мая. Утром ко мне зашел сотрудник министерства иностранных дел Дженаб Эрен. Я познакомился с ним еще в Анкаре. Он работал когда-то в Москве, в турецком посольстве, и прекрасно знает русский язык. По-азербайджански он тоже говорит совершенно свободно. Дженаб Эрен знает и болгарский: он перевел на турецкий язык несколько болгарских книг.

Дженаб Эрен сказал, что хочет выполнить обещание, данное мне еще в Анкаре, — показать исторические места Стамбула — и на два дня отдает себя в мое распоряжение.

Я не стал просматривать намеченный Дженабом Эреном список «объектов», только попросил обязательно включить в него университет.

Здание Стамбульского университета — большое, светлое, величественное. Каждый этаж — не менее шести метров в высоту, мраморные полы, просторные холлы и коридоры, большие, гораздо большие, чем в Анкарском университете. аудитории. Осматривая университет, я с удовольствием поглядывал на пробежавших мимо оживленных юношей и девушек. Мы зашли к декану филологического факультета профессору Фикри Ералпу. Профессор — высокий, худощавый и уже немолодой человек — сидел за широким столом в огромном, похожем на аудиторию кабинете.

Появился неприменный кофе. Я расспрашивал, задавал вопросы, профессор Ералп отвечал кратко и точно.

— Наш университет, — сказал он, — занимает здание, построенное еще при султани Фатехе, правда, теперь оно надстроено. Здесь учатся тридцать тысяч студентов, и уже одно это представляет немалую трудность.

— Насколько мне известно, — обратился я к профессору, — ни в Анкаре, ни в Стамбуле нет специальных высших школ, готовящих инженеров, врачей, агрономов и прочих специалистов? Где ведется их подготовка?

— А сколько таких высших школ есть у вас в Азербайджане? — вопросом на вопрос ответил Дженаб Эрен.

— В первые годы после революции специалистов для народного хозяйства в Азербайджане готовили, так же как и у вас, в университете. В тридцатых годах были созданы медицинский и сельскохозяйственный институты. Кроме того, в Баку сейчас есть химико-нефтяной институт всесоюзного значения, институт иностранных языков, педагогический и технологический институты. Немало азербайджанцев учится в Москве и Ленинграде. И ведь население нашей республики — не тридцать миллионов, а всего только четыре...

Сам того не замечая, я занялся «коммунистической пропагандой». Так уж получилось: не мог же я не ответить, если спрашивают.

Я поинтересовался составом университетских преподавателей, спросил также, издают ли при университете учебные пособия.

— Большинство наших профессоров и преподавателей турки, — ответил декан, — но для чтения некоторых курсов приходится приглашать специалистов из Западной Европы и Америки. Они читают лекции на своем языке, а ассистенты переводят их на турецкий. Работы преподавателей факультета издаются отдельными книгами, публикуются в бюллетенях.

— Имеются ли среди них работы по истории новейшей турецкой литературы? — спросил я.

Профессор назвал имя Мехмеда Хамди Танпнара. Позднее я читал работу этого исследователя. Она посвящена литературе дореволюционного периода, а вовсе не новейшей литературе.

— Герой одного из азербайджанских романов, прочитанных недавно мной, — преподаватель литературы. Он прекрасно разбирается в классике, но совершенно

беспомощен, когда дело касается проблем современной литературы. У вас так не получается?

Профессор улыбнулся.

— Бывает... Лично я — не поклонник современной литературы. Нынешние писатели твердят, что хотят быть ни на кого не похожими, тщатся создать нечто совершенно новое. И не только писатели — художники тоже. Они ломаются, кривляются, чуть ли не выворачиваются наизнанку. Мне непонятны эти изыски.

Вошел профессор Ахмед Атеш — преподаватель персидской литературы. Он бывал в Ленинграде и в Москве, следит за работами советских востоковедов, лично знаком со многими русскими, азербайджанскими и узбекскими учеными.

— В последние годы обмен научной информацией между нашими и советскими учеными несколько оживился, — с удовлетворением отметил профессор.

Перед тем, как распрощаться, мы обменялись с Фикри Ералпом и Ахмедом Атешем книгами.

Сегодня же я побывал в музее «Арсенал» и словно бы совершил путешествие в прошлое Турции. Это очень богатое собрание. Один зал китайского фарфора вполне мог бы быть самостоятельным музеем. В «Арсенале» выставлено множество сокровищ, приобретенных султаном Абдул-Гамидом в различных странах. Мы видели здесь десятки редчайших древних списков Корана, от огромных, величиной с письменный стол, до самых крохотных — величиной с ноготь.

А сколько уникальных ювелирных изделий из золота и драгоценных камней, сколько великолепных мечей и оружия собрано здесь! Каждый предмет — выдающееся произведение искусства, но как красноречиво рассказывают эти вещи о походах и грабежах, некогда совершенных правителями и полководцами, в чьих руках было это оружие!

Среди трофеев турецких султанов приметен трон одного из иранских шахов. Он совсем невысокий, сантиметров тридцать от пола, но очень богато украшен драгоценными камнями и жемчугом. Когда на нем восседал властитель, трон поднимали на такую высоту, что владыка как бы парил над окружавшими его царедворцами.

Осмотрев музей, мы отправились в парк Гюльхане, увековеченный Назымом Хикметом в его прекрасных стихах, начинающихся строкой: «Я — ореховое дерево в парке Гюльхане». Сейчас здесь устроен своеобразный археологический музей. В нем выставлены находки, разысканные во время раскопок на Анатолийском полуострове: статуи, могильные камни, мозаика...

9 мая. Тевфик Фикрет. Это имя давно уже перешагнуло границы Турции. Каждый литератор моего поколения, как только речь заходит о турецкой литературе, всегда вспоминает его. Мы знали наизусть многие стихи Фикрета. Фикрет был не только поэтом-демократом, но и одним из активных борцов за свободу и независимость Турции, — именно поэтому так велика его популярность.

Фикрет сделал для развития прогрессивных, демократических идеалов в турецкой литературе не меньше, чем Ататюрк в борьбе за национальное освобождение Турции. Трудно найти человека, более последовательного в своих взглядах и более преданного народу. Тевфик Фикрет неустанно боролся с деспотизмом и шовинизмом.

Я хорошо помню, как в первые годы пролетарской революции, воодушевленные победой над самодержавием, мы с вдохновением читали стихи Фикрета:

У тирана есть пушки, снаряды и крепости!
Но у народа есть сильные руки и смелые сердца!

В его «Рубаб шикесте» и «Хелюгун дефтери» мы, революционная молодежь двадцатых годов, видели выражение своих идеалов.

Моя родина — земной шар, моя нация — человечество!
Человек будет! В это я верю твердо!

Фикрет — поэт, не ограниченный национальными рамками, он гуманист и интернационалист. Борясь против пантюркизма и панисламизма, мы ни на минуту не охладевали к поэзии Фикрета и, как мне кажется, поступали очень правильно...

Мы едем по шоссе вдоль Босфора. Глядя на живописные берега пролива, на зеленые прибрежные горы и долины, невольно думаешь, что такой неправдоподобно красивый уголок земли может привидеться только во сне. Наш путь лежит к фикретовским местам — туда, где жил и творил Фикрет. Странное волнение испытываю я, и почему-то мысль все время уходит в прошлое. Как живые встают передо мной Самед Вургун, Микаил Мушфик, наш большой поэт Джавид, Шаиг, мой дорогой учитель, — люди, которые, как и я, любили Фикрета и которых любил я, с которыми делил горе и радость...

Свернув с шоссе, мы по узкому проселку поднимаемся на высокий холм: там на вершине — дом Фикрета. Он укрылся среди огромных старых деревьев.

Тяжко думать, что Фикрета, который так много значит для тебя, — на его родине любят и ценят далеко не все. Иначе как могло случиться, что в Турции до сих пор не воздвигнут даже самый скромный памятник замечательному поэту? Отрадно, что существует хоть дом-музей. Пусть он и беден, но все же посетители музея, турецкая молодежь могут познакомиться с обстановкой, в которой жил и работал поэт. Мы увидели здесь много его портретов, так хорошо знакомых нам, рукописи, книги, письма, рабочий стол, его скромную спальню.

Меня заинтересовало одно письмо. В нем учителя школы, где Фикрет был директором, узнав, что он собирается покинуть школу, просят его отказаться от своего намерения. И Фикрет остался в школе...

Чуть повыше, неподалеку от дома, под огромными, развесистыми деревьями — каменный стол и кресло. Похоже, что каменотес наскоро, кое-как вырубил их из обломка скалы. Служительница музея сказала, что это естественные камни. Она повела нас к могиле поэта. Фикрет первоначально был похоронен не здесь, и его безвестная могила чуть было не затерялась. Потом ее нашли, и останки поэта были перенесены сюда. На могильном камне — надпись арабской вязью:

Тлен нуждается в вечном сне,
А могильная плита — памятник этому тлену,
На камне выражена скорбь и печаль.
И если бы кипарисы вокруг могилы обрели дар речи,
«Вот горький урок для поколения», — сказали бы они.

Тевфик Фикрет.

Потом мы прогулялись по парку Эмиргиян. Когда-то здесь был лесной запovedник; сейчас среди вековых кедров и платанов проложены асфальтированные дорожки, вдоль них высажены цветы.

Посреди парка, в скалах — небольшое озеро. Золотые рыбки плещутся в прозрачной синеватой воде. Невдалеке целое поле разноцветных тюльпанов: алые, желтые, голубые, черные, синие. Каждый год в мае здесь происходит фестиваль тюльпанов. На праздник съезжаются даже иностранцы. Это очень красивый праздник — молодежь полюбила его. Я спросил у садовника, который ухаживает за цветами, давно ли в Турции учрежден этот праздник, но он не смог ответить. Странное дело: как хорошо помнят люди даты битв, войн и других печальных событий, а дату рождения праздника, дату радости, веселья не знают...

10 мая. Сегодня день прошел с очень малой пользой, хотя планы были обширные. Уговорился с И. Т. Угольковым посетить некоторые редакции газет, встретиться с Орханом Кемалем и с председателем Объединения турецких литераторов, чтобы договориться о встрече с другими писателями — членами их объединения. Ведь оно насчитывает более двухсот членов и ставит одной из своих целей расширение творческих связей с зарубежными литераторами. К сожалению, ни одного из нужных нам людей мы не застали: было время обеда. В час дня в Турции никого не застанешь на месте — все обедают, рестораны и кафе полны.

11 мая. Не зря говорят, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся. Распрощавшись с профессором Левендом в Анкаре, я **вовсе** не предполагал, что снова увижу его. И вот, явившись вечером на прием в консульство, я снова встретился с ним и его супругой.

— Какая приятная встреча! — воскликнул он, пожимая мне руку.

Я от души приветствовал своих анкарских знакомых. Мне казалось, что, если бы мы еще несколько раз встретились с профессором Левендом, между нами установились бы самые дружеские отношения. Это благородный, гуманный человек весьма прогрессивных взглядов. Возвратившись из поездки по Советскому Союзу, Агях Сирри Левенд напечатал очень объективные записки, за что неоднократно подвергался нападкам в печати. Его смелые, честные ответы на клеветнические выпады делают честь турецкой интеллигенции.

Среди гостей консула были уже знакомый мне профессор Фикри Ералп, театральный критик Бурхан Арпад, издатель журнала «Атадж» Шукран Курдакул, театральные деятели, писатели и их жены. Здесь я наконец познакомился с председателем Объединения турецких литераторов, известным поэтом Мелих Джовдет Андаем.

Это представительный спокойный человек лет сорока пяти, с густыми русыми усами, чем-то неуловимо похожий на Назыма Хикмета. Все присутствовавшие на приеме слушали его с большим вниманием. На меня Андай произвел впечатление человека искреннего, смелого, умного. Я почувствовал, что этого человека всерьез интересует расширение и упрочение литературных связей с зарубежными писателями. Внимательно выслушав мои предложения, он сказал:

— Видите ли, Мехти-бей, многие наши литераторы хотели бы принять активное участие в движении писателей стран Азии и Африки, но поездки в такие отдаленные места, как Индонезия, им не под силу: большинство не имеет материальных возможностей для подобных путешествий. Да и визы нам достать нелегко. Те же трудности встают перед нашими писателями и тогда, когда мы думаем о поездках в Советский Союз.

Как я жалел, что не захватил с собой переводы стихов Андая, изданные в Азербайджане, — это доставило бы ему радость. Впрочем, его порадовал даже мой рассказ о том, что он известен нашим читателям.

Мы договорились, что Объединение турецких литераторов составит антологию современной турецкой поэзии и пошлет ее в Москву, в Союз советских писателей.

Я просил порекомендовать какую-либо пьесу для наших театров. Андай, Арпад и еще несколько гостей назвали одну из комедий Азиза Несина. Совсем недавно я видел в газете портрет этого писателя и статью, в которой, между прочим, сообщалось, что «один из известнейших современных писателей, автор популярных пьес и рассказов Азиз Несин выезжает в четырехмесячное путешествие по Европе. Он предполагает присутствовать на премьерах его пьес, поставленных театрами нескольких стран».

Азиз Несин написал четырнадцать пьес. Их ставят не только в Турции, но и в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Голландии и других странах... Я очень сожалел, что не застал Несина в Турции.

12 мая. Пришло время прощаться со Стамбулом.

13 мая. Улетаю в Вену. Дневник закончен. Писал его целый месяц, а прочел за какие-нибудь два-три часа. Мне хотелось запомнить все, что я увидел в этой стране, чтобы рассказать об этом другим — искренне и доброжелательно.

Москва — Анкара — Стамбул — Баку.

Май — июль 1963 г.

Перевела с азербайджанского Т. Калякина.



В МИРЕ НАУКИ

ЛЕВ КАТОЛИН

★

БОЛЬШОЙ ПОИСК

У киевских кибернетиков

О работах киевских кибернетиков мы слышали давно. В нашем НИИ ими интересуются многие — задачи, которые решают киевляне, кое в чем похожи на те, с которыми приходится сталкиваться нам. Но это знакомство было заочным — съездить в Киев все никак не удавалось.

И тогда, оставив мечту о служебной командировке, мы вдвоем с товарищем по работе отправились в Киев в свой отпуск.

Эта поездка стала для нас «путешествием в кибернетику».

Целые дни проводили мы то в старом, очень тесном и неудобном здании Института электротехники, то в совсем еще новеньких просторных и очень современных корпусах Института автоматики или Института кибернетики, то наконец в лаборатории бионики на Байковой горе.

У нас было немало интересных встреч с киевскими учеными. Из бесед с ними, из наших споров между собой и родились эти заметки.

ДВЕ ПОЗИЦИИ В НАУЧНОМ СПОРЕ

С работами члена-корреспондента Академии наук Алексея Григорьевича Ивахненко мы познакомились еще на студенческой скамье. Это были обычные техиздатовские книжки с замысловатым длинным названием. Излагалась в них древняя и все еще новая проблема регулирования скорости асинхронного двигателя — древняя потому, что за семьдесят лет существования этого электродвигателя она просто набилась оскоминой всем электрикам. Но от частных вопросов регулирования Ивахненко шел к общей теории регулирования — к отысканию оптимальных, самых разумных процессов управления.

Множество остроумно решенных практических задач сделало Ивахненко известным широкому кругу специалистов по всему Союзу. Вокруг него сплотилась целая школа учеников и последователей. А Ивахненко поднимался на следующую ступень — он шел к созданию самообучающихся систем. И вот тут-то — а может быть, несколько раньше — произошел перелом, закрепивший за ним повсеместную трудную славу «поэта от кибернетики».

Создатели сегодняшних самообучающихся автоматов столкнулись с принципиальными трудностями. Вглядываясь в будущее кибернетических устройств, Ивахненко, как и многие его советские и зарубежные коллеги, пришел к выводу, что решение вопроса лежит в отказе от строгой определенности в конструкции машин. Это звучит странно, но тем не менее он считает, что надо отказаться от обычного

разделения труда между отдельными элементами и узлами. Надо отказаться от «детерминизма» (точной определенной всех связей в машине) в пользу «индетерминизма» (вольной, свободной неопределенности)¹.

Виктор Михайлович Глушков, нынешний вице-президент Украинской академии наук и директор киевского Института кибернетики, пришел в кибернетику из «чистой» математики. Но математика всегда любила парадоксы: Из решения именно технических задач выростали самые современные и отвлеченные разделы математики. А ученые, привыкшие дышать прозрачным горным воздухом абстракций, неожиданно спускались с «высот научной поэзии» к прозе техники и здесь, «в низинах», тоже чувствовали себя как дома. Борис Николаевич Делоне, один из крупнейших наших геометров, назвал нам имя Глушкова в числе тех, кто олицетворяет собой это второе направление потока современной математической мысли. «Тот, кто имеет дело с абстракциями, кто научился выявлять суть в каждом явлении, отвлекаясь от его предметной оболочки, — говорил Делоне, — тот свободно ориентируется в любой конкретной проблеме. И этой свободой он обязан пройденной им школе абстракций».

Такой школой для Виктора Михайловича Глушкова была высшая алгебра. Он занимался ею многие годы. Известный московский алгебраист А. Г. Курош называет Глушкова своим внуком — он ученик его ученика. Но при чем тут кибернетика? Глушков рассказывает такой случай... Несколько лет назад ему предложили выступить оппонентом на защите одной докторской диссертации по высшей алгебре. Диссертант, анализируя предварительно доказанные им многочисленные тождества, приходил к любопытным выводам, привлекая внимание специалистов. Надо было убедиться в их правильности. А для этого следовало проверить, справедливы ли сами тождества. (Подробные доказательства в тексте были опущены; каждый, кто читал литературу такого рода, знает, что в самом непонятном месте там обычно пишется: «нетрудно доказать...» или «легко убедиться...» и дальше, минуя целые страницы формул, сразу — конечный результат.) Глушков взялся за работу и — растерялся: на доказательство каждого тождества — а их было несколько сот! — уходило около получаса. Не тратить же на проверку недели и месяцы! И он обратился к помощи вычислительных машин. Был разработан алгоритм доказательства — машина вывела все тождества за несколько часов...

Такие фразы теперь почему-то стали звучать почти банально, словно речь идет об экспериментах, доступных чуть ли не студентам младших курсов. А в то же время во всем мире наберется не так уж много успешных опытов, во время которых математической машине удалось сказать свое слово в математике.

Начиная работу в Вычислительном центре Академии наук Украины (нынешнем Институте кибернетики), Виктор Михайлович Глушков снова подошел к делу как человек, привыкший прежде всего интересоваться сутью вопросов, а не их внешней стороной. Где, в какой из областей человеческой деятельности нас подстерегает опасность захлебнуться в потоке информации? Захлебнуться — это значит оказаться не в состоянии информацию переработать. Где таится угроза «информационного затора»? — поставил вопрос Глушков. Анализ показал: прежде всего в экономике, точнее в управлении экономикой.

Любой человек, входящий как звено в систему управления хозяйством, где бы ни располагался его рабочий стол — в совнархозе или в Госплане, — может справиться в течение дня лишь с определенным и весьма ограниченным объемом информации: прочесть и составить энное количество сводок, продумать и просчитать энное число вариантов плана. А ведь математически доказано, что объем работ по планированию возрастает в квадрате (точнее, по меньшей мере в квадрате) от роста производства. Вообразите себе на минуту, что техническая оснащенность наших планирующих организаций останется неизменной и будет пребывать на

¹ Сразу же оговоримся: термины эти употребляются в кибернетике не как философские категории. Речь идет об их первоначальном «латинском» смысле, весьма точно выражающем суть двух направлений в конструировании «думающих» машин.

уровне 1960 года. Тогда в 1980 году сферой управления хозяйством вынуждено было бы заниматься чуть ли не все взрослое население Советского Союза!

Вот почему, по мнению Глушкова, первоочередная задача кибернетики на ближайший десяток лет — автоматизация планирования и учета в стране.

На этом пути сделано уже немало. Легче всего электронные вычислительные машины решают так называемые транспортные задачи.

«Представьте себе, — говорит Виктор Михайлович, — нашу Украину в пору уборки урожая сахарной свеклы. Весь транспорт брошен на подвоз убранный свеклы к сахарным заводам, и все равно составов не хватает, на станциях заторы, пробки. Специалисты садятся составлять перспективный план таких перевозок за несколько месяцев вперед и все-таки ошибаются по сравнению с оптимальным, наивыгоднейшим вариантом обычно на десять — двенадцать процентов.

В 1962 году план перевозок свеклы по республике был составлен Украинским совнархозом совместно с нашим Институтом кибернетики. Даже частичное его внедрение дало экономию в сто двадцать тысяч рублей и позволило высвободить десять тысяч товарных вагонов.

В ближайшее время на наших машинах будет планироваться весь объем перевозок по республике угля, хлеба, металла».

В Институте кибернетики решают и более сложные задачи: планируют материально-техническое снабжение производства, находят оптимальные варианты в капитальном строительстве.

После «кибернетической десятилетки» в области планирования, по мысли Глушкова, настанет пора кибернетизации научного творчества. До сих пор сказочные темпы научных исследований были тесно связаны с ростом числа научных работников. Но если темпы эти сохранятся и дальше, то через сто — сто пятьдесят лет придется увеличить число сотрудников в исследовательских институтах и лабораториях в тысячу раз. А это значит, что научной работе должно будет посвятить себя все население земного шара.

И тут на помощь людям приходят кибернетические машины.

Не какие-нибудь волшебные машины будущего, а современные электронные цифровые машины могут давать научное обобщение разрозненных фактов. «Нет, не только могут — они уже делают это!» — утверждает Глушков. И поясняет свою мысль: «Уже сегодня электронная машина в нашем вычислительном центре может вывести любые теоремы алгебры так называемых вещественных полиномов, в том числе и те, которые еще не выведены человеком».

Итак — программа, цифровые машины, строго определенные правила. Правила даже для всех изменений в самой системе правил! Итак — детерминизм, выбранный Виктором Михайловичем Глушковым как основной путь развития кибернетики.

Вот мы и дошли как раз до самого любопытного: перед нами два пути в науке — путь Ивахненко и путь Глушкова. Как получилось, что у столба с надписью: «Индетерминизм — налево, детерминизм — направо» — они выбрали себе дороги именно так, а не наоборот? Могли бы мы, зная все, что пройдено ими в науке до этого перекрестка, угадать: куда свернет один и куда другой?

На первый взгляд все должно было произойти совсем наоборот.

Ивахненко — ученый-практик, создавая свои устройства по заказам промышленности, логически шел к идее о строгом разделении функций между отдельными частями любой машины. Ему, знакомому с инженерной работой, сама мысль о неопределенности связей между элементами конструкции должна была казаться совершенно чуждой. Но почему-то именно Алексей Григорьевич Ивахненко стал убежденным и страстным сторонником концепции самоорганизации кибернетических устройств, той самой, которая утверждает, что незачем подробно изучать и точно математически описывать ни элементы системы, ни сам объект управления. Система должна состоять из очень большого числа пусть даже ненадежных элементов с неопределенными вначале функциями. Никакой заранее заданной и неизменной организации системе принципиально не требуется: в процессе самообу-

чения из хаоса элементов в машине сам собой образуется порядок... Таковы убеждения Ивахненко.

Глушнов — ученый-теоретик, казалось бы, чуждый инженерно-производственного практицизма, держится прямо противоположной точки зрения. Каждый элемент кибернетической системы должен быть надежным. Он должен с самого начала выполнять строго определенные функции. Нужна четкая программа действий — алгоритм. Сам по себе порядок из хаоса возникнуть не может...

Это и есть концепция детерминизма. Вполне естественно возникает вопрос: что привело математика-теоретика из сфер глубоких идей, научных ассоциаций, часто смутных и неосознанных, переплетений догадок и гипотез, внезапных открытий — словом, из мира, в котором порядок, строгость рассуждений родится именно из хаоса предположений, противоречий, сомнений и безусловных истин, что привело его к детерминизму с его обусловленностью, предопределенностью, законченностью архитектуры всякой системы?

Предположение, высказанное с первого взгляда, каким бы очевидным оно ни выглядело вначале, часто оказывается ошибочным. Стоит лишь глубже войти в круг научных интересов Ивахненко и Глушкова, как становится ясным: ученые выбрали свое место в сегодняшних спорах о путях развития кибернетики не случайно. Их приверженность концепциям — не парадокс, не каприз научной мысли, а логический итог сделанного, передуманного и испытанного.

Ивахненко, конструируя свои устройства, всегда должен был думать об их надежности. Требования, которые наше время ставит перед конструкторами, растут удивительно быстро. Это, разумеется, ведет к усложнению машин. А чем больше деталей содержит устройство, тем безотказнее должна быть каждая деталь. Получается, что чем сложнее машина, тем больше шансов, что она выйдет из строя. Как же быть с надежностью? Где искать выход? Сколько раз приходилось нам в лаборатории ломать голову над этой задачей. Мы всегда шли проторенным путем: дублировали приборы. Один выйдет из строя — включится другой. Вместо одного транзистора ставили четыре, удваивали, утраивали число узлов и блоков. Включали в схему «устройство голосования»: сравнивая показания приборов, это устройство отдавало предпочтение той величине, за которую подано «наибольшее число голосов». Но где взять для всего этого драгоценные граммы и кубические сантиметры?

И мысль Алексея Григорьевича Ивахненко снова и снова обращалась к живой природе. Как она справляется с подобными задачами? «Природа всегда была человеку учителем», — говорит он.

Скопированный у жука-скарабея необыкновенно точный измеритель скорости проходит сейчас испытания на самолетах. Но инженеры не создали пока таких миниатюрных и экономичных локаторов и гидрофонов, как у акул, дельфинов и летучих мышей.

Самое совершенное творение природы — человеческий мозг. Если попытаться сегодня смонтировать устройство, содержащее столько же активных ячеек, сколько нейронов в мозгу, то оно окажется величиной с небоскреб высотой в сто с лишним метров. Чтобы питать эту чудовищную модель электроэнергией, понадобилась бы Волжская ГЭС¹. Насколько разумнее и экономичнее устройство, созданное природой! И, кроме того, оно чрезвычайно надежно: если даже половина элементов нервной системы выходит из строя (вследствие ли болезни или операции), мозг все-таки продолжает служить человеку. Пастер проводил свои знаменитые эксперименты, когда половина его мозга была парализована.

¹ Эти выкладки были сделаны совсем недавно — два-три года назад — в расчете на миниатюрные полупроводниковые диоды и триоды. С тех пор электроника шагнула далеко вперед. Освоены микромодули и пленки, во много раз сокращающие вес и габариты приборов и потребляющие намного меньше электрической энергии. Но, с другой стороны, некоторые физиологи в последнее время пришли к выводу, что в мозгу не десять миллиардов нейронов, как считалось раньше, а намного больше.

Не только мозг — весь организм обладает свойством живучести. Дождевой червь бессмертен под лопатой садовника. У морской звезды можно отрезать четыре из пяти ее отростков, а она будет не только жить, но даже отрастит их снова. Известны случаи, когда после резекции желудка его функции брали на себя другие органы. Пищеварение при этом происходило не на кислотной основе, как обычно, а на щелочной — под влиянием желчи. Словом, нередко при выходе из строя одних частей организма другие изменяют свою «квалификацию» так, чтобы и при меньшем числе элементов все же обеспечить жизнеспособность всей системы.

Так же должны вести себя и сложные кибернетические системы биологического типа. Они тоже способны перепоручить функции вышедших из строя частей своей схемы любым другим. Как и человеческий мозг, они состоят из множества однородных ячеек. Нельзя точно указать, где у них «ввод информации», «арифметическое устройство», «память», «блок питания», «вывод информации» — все обычные части больших вычислительных машин. Система биологического типа сама решает, когда и сколько групп элементов необходимо включить на решение той или иной задачи. Она сама видоизменяет свою структуру до тех пор, пока не найдет наилучшего варианта. Беспорядочное соединение огромного количества микроэлементов упорядочивается, приспособливается к новым условиям работы.

Вот тут и лежит путь к решению проблемы надежности. Кибернетика, пристально изучая процессы управления в живой природе, приходит на помощь конструкторам. Она дарит им одну из своих самых плодотворных идей: создание надежных систем из ненадежных элементов! В системах биологического типа общий закон теории надежности не действует: с увеличением числа элементов требования к надежности каждого элемента не возрастают.

Но здесь нельзя забывать об одном очень важном обстоятельстве. Человеку, которому вырезали желудок, можно выписать больничный лист, и он побудет на бюллетене месяц-другой, пока его организм не приспособится к новым условиям. А управляющей системе космического корабля мы не вправе позволить отключиться даже на самое короткое время. Вот вышел из строя какой-нибудь узел. Грозит беда! Процесс перестройки — «переобучение» — системы должен занять считанные мгновения. И с этой, казалось бы, неразрешимой задачей могут справиться индетерминированные системы. Иначе говоря, системы биологического типа.

Начало теории, на которую возлагает большие надежды Алексей Григорьевич Ивахненко, положил Г. В. Щипанов. Она называется теорией инвариантности. Согласно этой теории в недетерминированных системах, обладающих достаточно высокой разветвленностью, время обучения можно сделать как угодно малым. Процесс самообучения разворачивается лавиной — он набирает скорость, как обвал в горах. В пределе, при бесконечном числе элементов, быстрота работы системы ограничивается лишь скоростью протекания тока по проводам — скоростью света!

Украинский журнал «Автоматика», который редактирует Ивахненко, развернул дискуссию о путях развития кибернетики. Вопрос поставлен так: какой видится вам «думающая машина» будущего? Что предпочесть — опыты на универсальных цифровых вычислительных машинах общего назначения или конструирование систем биологического типа?

В лаборатории Института электротехники создана система «Альфа». Она, обходясь без наставника, умеет распознавать простейшие зрительные образы. Какие? Например, буквы русского алфавита.

Алексей Григорьевич напомнил нам экзотическую историю, которая дала повод Кипплингу написать знаменитого «Маугли»... В индийской деревне, среди тропических лесов, тигр похитил маленькую девочку. Чудом она осталась в живых, выросла и через несколько лет была найдена в джунглях. Люди научили ее разговаривать. И тогда выяснилось, что за годы жизни в лесу девочка создала свой собственный крохотный, примитивный язык. Она дала своеобразные названия некоторым предметам и животным, окружавшим ее. Всего лишь несколько десятков

слов и междометий. Но по количеству понятий, звуков и интонаций этот ее язык намного превосходил «языки» животных.

Как же ведет себя человеческий мозг, вынужденный обучаться сам, воспринимающий жизнь, так сказать, один на один, без учителя — без помощи человеческого общества с его накопленным за тысячелетия опытом? Машина — модель человеческого мозга — ставится в сходные (хотя и несравненно более простые!) условия. Ей показывают какую-то букву или цифру и не сообщают при этом никакой дополнительной информации. Никто не нажимает кнопку поощрения, не приговаривает — специальным кодом, конечно: «Это А, это А, смотри не ошибись, это именно А, а не что-то другое!» «Альфа» сама, подобно маленькой героине индийской истории, «придумывает» на своем собственном условном машинном языке название для показанной буквы. Если вы покажете машине какую-то новую букву, она зашифрует ее своим кодом и сохранит в своем запоминающем устройстве.

Когда все ячейки памяти будут заполнены и процесс самообучения закончится, машина, «увидев» незнакомый значок, отнесет его к тому типу, на который он больше всего похож, или же выдаст ответ: «Не знаю».

Любопытно, что до сих пор некоторые еще подвергают сомнению саму возможность создания машины, способной самостоятельно различать пусть даже простейшие образы. В науке, впрочем, уже не раз бывали такие положения. Абрам Федорович Иоффе вспоминал, что его учитель, знаменитый Рентген, запрещал своим ученикам произносить слово «электрон» — он не верил, что электрон существует. А между тем заряд электрона был уже в то время достаточно строго измерен.

Точно так же иные из наших современников не хотят верить, что машина(!), состоящая из электронных ламп, полупроводников, реле, может, получая информацию из внешнего мира, самостоятельно вырабатывать собственные образы.

Создатели «Альфы» (она принадлежит к классу систем, называемых перцептронами) уверены, что их машина — достаточно веский аргумент в пользу концепции самоорганизации — индетерминизма. Но это лишь первые шаги. Само название «Альфа» свидетельствует об этом: авторы ее рассчитывают дойти до «Омеги». Именно на этом пути — на пути создания систем биологического типа — видится им будущее кибернетики.

Сейчас готовится более совершенное входное устройство. Оно намного увеличивает чувствительность системы к распознаванию образов. Если образ прост и четок, оно включит в работу лишь необходимый минимум элементов. Если же образ трудно различим, то, наоборот, оно мобилизует для его узнавания элементы других участков. Если читающей системе долгое время попадают буквы только одного размера, то ее участки, занятые определением размера букв, временно изменяют свою специальность: они переключаются на повышение точности различения других признаков. Эта идея тоже позаимствована у природы. Так устроены наши органы чувств: человек лучше всего видит и слышит то, о чем он в данный момент думает, на чем сосредоточилась его мысль. Все остальное воспринимается им как несущественное, второстепенное. Глаз и мозг лягушки спроектированы природой так, чтобы не отвлекать их хозяйку от основного дела — охоты. Лягушка во много раз лучше видит муху, чем все другие предметы того же размера — их она просто не замечает...

Постоянно черпая средства и опыт из арсенала природы, мы сможем построить индетерминированные системы, подобные человеческому мозгу. По мнению Ивахненко, они имеют неоспоримые преимущества перед теми цифровыми электронными машинами, которые решают задачи распознавания образов шаг за шагом — в соответствии с точно заданной программой. На узнавание буквы «а» самая быстродействующая из таких цифровых машин тратит несколько секунд. И это время принципиально не может быть сделано очень малым, потому что элементы ее срабатывают один за другим. Происходит последовательный перебор признаков и возможностей. Человек же мгновенно распознает необычайно сложные образы.

Ему это удастся потому, что мозг — система биологического типа. Она сопоставляет образы по аналогии...

Опыты на вычислительных машинах необходимы в начальной стадии разработки «думающих» машин, но будущее — за машинами биологического типа. Основная задача сейчас: создать недорогие модели нейронов. Затем научиться объединять большие количества таких моделей — миллиарды! — в единые аналоговые системы, подобные мозгу.

Такова точка зрения Алексея Григорьевича Ивахненко и таков тот логический путь, которым он к ней пришел.

Все, что нам рассказывал Алексей Григорьевич Ивахненко, и все, что мы слышали об его идеях от других, звучало на редкость убедительно. Убедительно, интересно и многообещающе.

Но столь же убедительно, интересно и многообещающе звучали все утверждения Виктора Михайловича Глушкова.

— Откуда известно, что уж «лучше природы» человеку никогда и ничего не суждено создать? — говорил нам Глушков. — Нет, не правы те, кто призывает нас во что бы то ни стало следовать природе и подражать ей, видя в ней тот недостижимый предел для развития техники, к которому человек может только стремиться. Конечно, живое — клад для кибернетики, отличный источник остроумных находок и точных аналогий. Но ведь природа разрешает себе зачастую такие излишества, каких мы, люди, попросту не можем себе позволить! Наконец история техники показывает, что великие открытия человечества далеко не всегда совершались на пути подражания. Природа — и живая и неживая — не знает колеса: оно создание человеческого гения. Винт и гайка тоже не имеют прототипа в природе. Да и мало ли других примеров можно привести...

Одна из основ теории систем биологического типа — теорема Фрэнка Розенблата: «В системе, состоящей из бесконечного числа элементов, начальная организация может равняться нулю». Эта теорема тоже вызывает возражения Глушкова.

— Кибернетическая машина сама не может «рождать» информацию — она способна только воспринимать ее из окружающего мира. Система же без всякой начальной организации, сколько бы элементов в ней ни было, принципиально не может воспринимать никакой информации. Всякая информация для нее — бессмыслица: у такой системы нет «органов» для ее «понимания». Может, конечно, случиться, что под внешним воздействием эта система перестанет быть совершенно хаотической, и тогда, разумеется, она окажется способной перерабатывать вводимую в нее информацию. Но вероятность такого события не больше, чем вероятность того, что обезьяна, случайно ударяя по клавишам пишущей машинки, печатает «Войну и мир»! Впрочем, сейчас Фрэнк Розенблат, кажется, сам вносит поправки в свою шумевшую теорему.

— Но представим себе даже, — говорит далее Глушков, — что исходное положение американского ученого правильно. Все равно, и в этом случае машины с нулевой начальной организацией не нужны. Строить такие машины — это значит отбросить весь накопленный наукой опыт. Это значит поставить автоматы на ступень каменного века и дать им развиваться самостоятельно. Но зачем же зачеркивать весь долгий и трудный путь человечества!.. Видимо, следует сказать и о том, что до сих пор ни одна из самоорганизующихся систем не может быть применена для практических целей. Уолтер Грей так и назвал знаменитый гомеостат Эншби: «Машина для ничего»!.. Современная технология, наверное, не скоро даст возможность сконструировать машину биологического типа в приемлемом для эксплуатации виде. Я понимаю, конечно, что нельзя и не нужно теоретически отвергать смелую концепцию самоорганизации. Но, с другой стороны, не существует, на мой взгляд, и никаких серьезных ограничений для уже работающих детерминированных систем — для электронно-счетных цифровых машин. И не так уж медленно эти машины распознают образы. Нужно только, чтобы они анализировали признаки не

последовательно один за другим, а параллельно — сразу схватывая основные особенности образа. Это, правда, значительно увеличивает число ячеек, но зато позволяет различать до тысячи знаков, например букв, в секунду.

Цифровые машины уже сегодня способны воспринимать сложные программы самообучения. В процессе работы они могут делать настоящие открытия — выяснять закономерности, неизвестные их учителю-человеку. Мне удалось вместе с Аликом Летичевским — нашим молодым сотрудником — смоделировать процесс эволюции в природе. Единственная информация, которую мы вложили в наших «подопечных» — в группу автоматов, — это сведения о чисто биологических чертах, свойственных любому эволюционному процессу.

Такова точка зрения Виктора Михайловича Глушкова.

И все-таки взгляды А. Г. Ивахненко и В. М. Глушкова не так уж противоречивы, как это может представиться. Они не исключают друг друга, как не исключают друг друга и сами концепции детерминизма и индетерминизма в конструировании «думающих» машин. Само возникновение двух таких направлений вызвано, по мысли английского ученого Джорджа, тем, что процесс познания (а он один!) идет двумя путями: индуктивным и дедуктивным.

Индуктивным методом пользуются при движении от частного к общему. Процесс познания в этом случае можно уподобить — хотя и с большой натяжкой — действиям рабочего, собирающего мозаичное панно из отдельных изразцов. Каждому изразцу соответствует строго определенное место, отмеченное соответствующим номером. У рабочего есть четкая программа действий. Следуя ей, он может сложить нужный рисунок, не зная заранее, каким этот рисунок должен быть. Такому индуктивному методу соответствуют детерминированные системы: в них взаимодействие всех элементов строго задано программой. По этому принципу работают все современные цифровые машины.

Дедуктивный метод познания ведет от общего к его частным проявлениям.

В этом случае труд машины можно сравнить с трудом художника. Работая над картиной, мастер все время держит в голове образ, который ему хотелось бы воссоздать. Он подбирает краски и непрерывно соотносит с существующим в его воображении образом совокупность мазков, уже положенных на холст его рукой. Так непрерывно осуществляется обратная связь между тем, что задумано, и тем, что получается на полотне. Каждый новый мазок оценивается по эффекту, полученному от его сочетания с соседними. При этом художник как бы стремится свести к нулю разницу между общим замыслом произведения и суммой его частных элементов — мазков.

Дедуктивному методу обязана своим возникновением концепция индетерминизма в кибернетике. Системы биологического типа вначале действуют наугад, вырабатывают некоторый критерий для оценки полученных результатов и дальше уже все свои действия подчиняют единственной цели: найти наилучший, оптимальный вариант. Так, система «Альфа», созданная у Ивахненко в Институте электротехники, оставшись один на один с алфавитом, сама начинает различать буквы. Ее «самообучение» идет дедуктивным путем.

Сравнение работы детерминированной системы с раскладкой мозаики по номерам, а недетерминированной — с трудом художника принадлежит Алексею Григорьевичу Ивахненко. Оно очень образно, но и очень пристрастно. Может создаться впечатление, что машины Глушкова способны лишь к механической работе, а «перцептроны» Ивахненко монопольно владеют правом творить. Конечно, это не так. И Глушков и Ивахненко — оба, разумеется, понимают, что нельзя требовать: «только детерминизм!» или «только индетерминизм!», как нельзя ограничивать процесс познания каким-либо одним из его методов.

Может быть, лучше сравнить глушковские машины с человеком, легко и быстро выбирающимся из лабиринта благодаря тому, что у него есть план всех ходов и выходов. Тогда биологические системы стали бы похожи на неосведомленного путника, забредшего в лабиринт. Он наугад проходит коридор за коридором

и, только возвратившись в исходную точку, понимает, что шел неверным путем. Ему остается самому создать теорию, позволяющую выбраться из лабиринта (кстати, таковая существует в математике), и, в конце концов «самообучившись», выйти на свет.

Но это сравнение уже не совсем справедливо по отношению к концепции индетерминизма... Впрочем, дело, конечно, не в сравнениях — они всегда лишь относительно точны. Правоту тех или иных взглядов покажет будущее. А в будущем, пытаясь более или менее полно смоделировать на машинах деятельность человеческого мозга, оба направления встретятся с очень серьезными трудностями. И главное — преодоление их будет зависеть не от одних кибернетиков.

Мозг работает, очевидно, по определенной системе правил. Конечно она или бесконечна? Ответить на этот вопрос пока невозможно. В пользу конечности говорит простой факт: число нейронов в человеческом мозгу хотя и очень велико, но ограничено. Если система правил конечна, то можно создать полную и совершенную модель мозга. Если же она бесконечна, к совершенной модели можно в принципе подойти как угодно близко. Иными словами: «Дайте мне правила, которым подчиняется работа мозга,— и я смоделирую его на современных цифровых машинах». Именно это утверждает Виктор Михайлович Глушков.

Всего только «правила работы мозга»... Но какую же сложную задачу возлагает здесь кибернетика на плечи нейрофизиологии, да и на свои собственные — тоже! Ведь недаром американский математик и кибернетик Эдмунд Беркли писал: «Человеческий мозг доступен для исследования еще менее, чем вершина Эвереста».

Сторонники машин биологического типа не ставят перед нейрофизиологами таких сложных задач. Для создания модели мозга им не нужно точно знать закономерности его работы. Они убеждены, что достаточно повторить в конструкции машины конструкцию мозга. Уже одно это даст возможность моделировать его работу. Но чтобы сходство конструкций было тут хоть сколько-нибудь полным, машина биологического типа должна содержать многие миллиарды ячеек. А между тем в современных больших вычислительных машинах таких ячеек в миллионы раз меньше! И здесь кибернетика снова обращается за помощью к соседям — молекулярной электронике и физике твердого тела. Без них не удастся создать те едва различимые глазом и баснословно дешевые элементы, из которых только и можно будет сконструировать подобную машину.

Научный спор, о котором мы рассказываем, не родился в Киеве и не ограничен стенами украинских институтов. К Ивахненко и Глушкову нас привели наши киевские «кибернетические маршруты». Окажись мы в ином городе — изменилось бы название институтов, другими оказались бы имена, но суть дела оставалась бы той же.

Истина, которой предстоит родиться в споре детерминизма и индетерминизма, то есть определенности с неопределенностью (а этот спор — всего лишь одна из частных проблем кибернетики), отыщется, видимо, где-нибудь на пересечении этих двух направлений. Ученые уверены, что в будущем найдется применение машинам обоих типов. И даже третьего, который объединит их достоинства, но будет лишен их недостатков. Уже сегодня различимы наметки компромиссного пути — временного, быть может, но многообещающего. Это моделирование недетерминированных «биологических» систем на обычных, детерминированных цифровых вычислительных машинах.

Такую работу провел недавно сотрудник Ивахненко — Михаил Шлезингер. Он, работая в институте Глушкова на цифровой машине «Киев», изучал поведение «биологической» «Альфы».

Вера в могущество своей науки — осязаемая материальная сила.

В день, когда Юрий Гагарин отправился в космос, Борис Николаевич Делоне рассказывал нам о большом советском ученом, о том, кого принято называть Теоретиком Космонавтики:

— Все говорили: космические полеты, космонавтика — это, конечно, реальность, но, знаете ли, годков эдак через пятьдесят — семьдесят... 'А он первый поверил всерьез: полеты сейчас возможны! Подсчитал. Получился вполне разумный срок — всего несколько лет... Сумел доказать справедливость своих подсчетов, и вот видите — прав оказался! Я б ему за одну эту веру памятник поставил...

Впрочем, лучшие памятники ученым — совершенные ими открытия.

КИБЕРНЕТИКА В ЖИЗНИ И ЖИЗНЕННОСТЬ КИБЕРНЕТИКИ

Однажды киевский инженер Глеб Александрович Спыну показал нам две фотографии. На одной из них снят он сам перед знаменитой парижской Гранд-Опера, на другой станок с программным управлением, по «вине» которого Глеб Александрович и попал в Париж.

Он побывал там проездом в пятьдесят девятом году. Его ждали в Марселе на украинской промышленной выставке. Юг Франции принимал Юг Советского Союза. Центром выставки был станок, созданный киевлянами. Больше всего привлекала одна особенность сложной конструкции: не требовалось специально разрабатывать программу действий для этого станка — просто подошел опытный рабочий, обработал деталь, а станок сам автоматически записал последовательность произведенных операций. И дальше уже все детали станок обрабатывает самостоятельно, в согласии с полученной программой. Тогда, в 1959 году, это поражало. И действительно было достоинством. Но сейчас — такова диалектика развития техники — сами авторы считают зависимость программирования станка от человека-наставника недостатком. А и вправду, какое тут достоинство! Ведь даже самый опытный и смелый рабочий наверняка занизит возможности станка: мастер не может освободиться от забот — как бы не запороть деталь, как бы не поломать резцы. И получается, что новейшее оборудование обречено работать впосилы по сравнению со своими неавтоматизированными собратьями: ведь для них технологическую карту составляет специалист-расчетчик, вооруженный всеми современными данными науки об обработке металла.

Так почему бы, спрашивается, технологу не составить программу и для этого станка-автомата? Можно конечно! Но вот какое парадоксальное положение легко можно себе представить. На некоем заводе устанавливают две сотни станков с программным управлением и предлагают технологам руководить ими. Двести станков. Да дважды за смену меняется обрабатываемая деталь. Итого технологу предстоит готовить четыреста программ в течение рабочего дня! А на составление оптимальной программы уходит несколько часов. Кроме того, ее нужно перевести на язык, понятный станку: нужно ее закодировать. Это тоже требует времени.

Получается так: резко уменьшили количество рабочих и сверх меры загрузили инженеров!

И многие специалисты, в том числе Глеб Александрович Спыну, утвердились в мысли: программу для станка-автомата должен составлять автомат-технолог.

В общем, и тут кибернетика, как всегда, деспотически обнаружила свой характер. Она потребовала не останавливаться на полпути, проявила свое всегдашнее нежелание соседствовать с техническими приемами вчерашнего дня.

Мысль о создании кибернетического технолога была встречена отнюдь не всеобщим ликованием. Вечные ревнители полумер встали на дыбы. Первое, что они сказали: такую машину создать невозможно — ведь она обязана не только знать все нужные расчетные формулы, но и держать в памяти весь по меньшей мере двухвековой опыт станочной обработки металла. Им доказали, что они ошибаются. Тогда были выдвинуты другие аргументы: ненужно, ненадежно. Наконец дорого. И споры шли не только в нашей стране — по всему миру ломались копя. Слишком важной оказалась судьба металлообрабатывающих станков, чтобы обсуждение ее могло пройти гладко.

И вот как раз в это бурное время к Глебу Александровичу приехали два инженера с судостроительного завода. Судостроителям так же необходим был Спыну, как их техническая идея нужна была самому Глебу Александровичу.

Смысл дела заключался вот в чем...

Первое, на что обращаешь внимание в порту, — это особое изящество и разнообразие очертаний многочисленных кораблей. Остроносые яхты, крутобокние буксиры, приземистые баржи, стройные гиганты-лайнеры... Все богатство корабельных форм создается изгибами стальных листов, из которых шивается корпус судна. Каждый участок корпуса имеет двоякую кривизну: он изогнут «вдоль» и «поперек», как яичная скорлупа. Но ведь вырезать его надо из плоского листа металла. А прежде чем вырезать, надо сделать выкройку.

Судостроители говорят: «Развернуть на плаз». Плазмами называются те необъятные столы, на которых и производят эту операцию по всем правилам начертательной геометрии опытные специалисты-плазовщики, принадлежащие к особой, чуть ли не потомственной касте рабочих высокой и редкой квалификации. Контуры будущих деталей корпуса сначала вычерчиваются мелом. По этим контурам создаются шаблоны. Их накладывают на стальной лист (так портной накладывает бумажные выкройки на кусок ткани). Потом керном набивают трассу, по которой предстоит пройти резаку — горелке газорезательного станка.

Инженеры-судостроители предложили Институту автоматки создать агрегат, который мог бы без участия человека выкраивать и отрезать детали корабельных корпусов. Глеб Александрович и его товарищи понимали, что одним инженерам такая задача не по плечу: сердце и руки этой машины они сделать могли, но мозг — электронно-вычислительное устройство для расчета контуров будущих деталей — могли создать только математики и кибернетики. К ним инженеры и обратились за помощью.

...И вот длившаяся не один год работа завершена. Глеб Александрович показывает нам у себя дома на маленьком экране снятый им самим любительский фильм о том, как работает его детище.

Это многотонная машина. Она напоминает раскинувшего крылья орла. Правда, скачкообразно орла — из-под его гигантских крыльев вырываются снопы искр. Плавно орел он над стальными листами, и резаки под его правым крылом и левым крылом выписывают замысловатые фигуры. Они одновременно и повторяют движения друг друга, и перемещаются в зеркально противоположных направлениях: у корабля ведь есть правый борт и левый борт, у каждой детали есть ее зеркальный двойник...

Комментируя свою картину, Глеб Александрович вдруг заговорил о первом экспериментальном пуске агрегата. И мы оба тотчас вспомнили свою лабораторию.

Есть для инженера какая-то магия в простом сочетании слов «в первый раз». Первое включение схемы!.. Будь то маленький блок, весь умещающийся на ладони, лежащий на полированной поверхности лабораторного стенда как крохотный зверек на операционном столе, окруженный громадой солидных приборов с зеркальными шкалами (у них даже движения стрелок исполнены ленивого достоинства), будь то огромная система, занимающая целый цех, где приборы теряют весь свой академический лоск, а стрелки их нервно дрожат от напряжения, — все равно первое включение схемы всегда таит в себе ожидание и радость открытия. Марк Твен говорил когда-то: не удивительно, что Колумб нашел Америку, было бы гораздо удивительнее, если б ее не оказалось на месте. Слово бы и нет ничего неожиданного в том, что правильно рассчитанная схема с первого же поворота выключателя входит в работу, и все-таки проникаешься к ней чисто человеческой благодарностью, и рука непроизвольно дружески хлопывает шершавую серую станину двигателя или благодарно ложится на теплый корпус станка...

Инженеры редко говорят об этом, но, следя за любительским фильмом Глеба Александровича, мы одновременно поняли, какое чувство испытали киевские специалисты, когда впервые включили свой агрегат в заводском цеху.

А назавтра в Институте кибернетики мы увидели — уже не на полотне экрана, а в натуре, — как работает электронный мозг этой машины. Механические пальцы держали не резак, а карандаш и миллиметр за миллиметром вычерчивали контур детали. Машина хранила в памяти все мудреные правила начертательной геометрии — то, что портит столько крови первокурсникам технических вузов. За несколько минут она справилась с задачей, которая раньше требовала многих часов напряженной и утомительнейшей работы. Но не только с правилами начертательной геометрии знакома эта машина. Она умеет так расположить детали на стальном листе, чтобы лишь минимум металла уходил в отходы. И еще она знает те формулы, по которым опытный сварщик прикидывает припуск на сварочную деформацию. И сама рассчитывает, где уменьшить пламя горелки, а где выключить ее совсем. И помнит, что, отрезав деталь, нужно включить пневматический кернер, дабы набить на деталь нужный номер, иначе нелегко будет потом отыскать ее на складе...

Интересна и сложна работа, выполненная киевлянами. Но совсем недалеко время, когда, вспоминая о работах такого рода на больших научных конференциях, их будут относить в рубрику «и др.». Однако киевляне по праву назвали свою систему «Авангард». Их опыт — один из первых по-настоящему успешных. Один из тех нескольких десятков, которые уже сегодня вышли за стены лабораторий.

Новая машина принесла с собой на завод и новую службу — Технологический вычислительный центр. Сокращенно — ТВЦ. Руководить им, а точнее — создавать его поехал молодой киевский инженер Юрий Оприсько. Пока что ему, впрочем, приходится довольно часто навещать Киев. В один из таких приездов и произошла наша встреча.

Оприсько свято верит в безграничные возможности электронных машин. Он мечтает доверить машине все сложные расчеты, какие выполняются при постройке корабля: от выбора оптимальных размеров корпуса и определения наилучших путей для прокладки внутри корабля многокилометровых трасс труб, кабелей, проводов и вплоть до спуска готовых судов на воду. ТВЦ будет связан со многими другими судостроительными заводами телеграфными линиями — пока что обычными линиями Министерства связи, а со временем, быть может, и специальными линиями кибернетической связи. Данные с заводов будут поступать телеграфным кодом в электронные машины, а назад полетит по проводам рассчитанный электронным мозгом наилучший вариант технологического решения. Полученную программу действий там запишут на магнитную ленту и вложат ее в станок-автомат. Или — до поры до времени — отправят в архив. Архив технологов станет не таким, как сегодняшний: не кипы синек и калек, громящихся от пола до потолка, а строгие стеллажи, уставленные кассетами с магнитными записями программ.

Чтобы понять, о чем спорят Глушков и Ивахненко, надо знать, что уже сделал Спыну. И надо знать о существовании кибернетического лощмана и электронного советчика сталевара — автомашиниста и диагностической машины... Перебрасывать мостики из настоящего в будущее с каждым днем становится все легче. ТВЦ Юрия Оприсько — это уже настоящий «мозговой центр». Управление многими заводами с расстояния в сотни километров — не мечта и не фантазия. Концентрация совершенных вычислительных машин в одном месте — это, казалось бы, только простое увеличение числа собранных вместе рабочих электронных ячеек. Но количество рождает новое качество: появляется возможность управлять самыми различными процессами, в которых, на первый взгляд, нет ничего общего.

Тут дает себя знать универсальность современных вычислительных машин. При достаточной степени сложности они, подобно человеческому мозгу, способны переключаться с решения одной задачи на другую. Электронный мозг «Авангарда» назван очень прозаично — УМШН. Это значит: «Управляющая машина широкого назначения». Она довольно миниатюрна, долговечна и экономична. И по-

скольку она по самому замыслу проектировщиков универсальна, ее так легко удалось научить составлению программы для газорезательного станка.

Еще до того, как она стала мозгом «Авангарда», у УМШН уже накопился солидный производственный стаж — во всяком случае ее приняли бы в любой технический вуз вне конкурса. Ей довелось в течение многих часов управлять по телеграфу из Киева плавкой стали в Днепродзержинске и работой содовой колонны в Славянске. Это был, насколько нам известно, первый в истории техники опыт управления производственным процессом из другого города. Но это не было сенсационным экспериментом. Обычный рабочий этап — «обкатка машины». И уж тем более это не было эффектной демонстрацией возможностей кибернетики. Просто ученым было легче отлаживать новую сложную систему у себя дома — в лаборатории.

...Перенеситесь воображением в огромный цех. Обычно здесь не бывает столько народа. Сталевары стоят группкой и ревниво наблюдают, как около конвертора возьмется с какими-то приборами малознакомые люди: говорят, они приехали из Киева — не то учить, не то учиться, как плавить сталь. Сталевары пошучивают, но держатся настороженно: чувствуют, что происходит нечто очень важное. Вроде бы все у киевлян идет пока нормально, но главное впереди — главное поймать момент, когда сталь «сварится!» Интересно, что они, эти кибернетики, увидят из своего столичного института — за тридевять земель от Днепродзержинска?

По таинственным признакам, ведомым только им одним, опытные сталевары чувствуют, что главный момент наступает. Ну что же они там возьмется?! Пора! Еще секунда — заперют! И в это-то мгновение по проводам прилетает приказ: «Готово!»

Проба металла уходит на анализ в лабораторию. Киевляне стоят с растерянными и сосредоточенными лицами, как молодые отцы в родильном доме. Сейчас сткнется дверь и скажут, родился ли сын... Почему же так долго не идут?! Радостно и немного боязно. Но вот в дальнем конце цеха появляется наконец девушка в белом халате. Улыбается: «Полный порядок! Анализ — норма».

С какой легкостью перебрасывается отсюда мост в завтра! Растет число вычислительных машин, они совершенствуются и усложняются, обеспечивают безукоризненно точное управление производством — сначала на всех крупных заводах, потом по всей промышленности страны.

Уже сегодня вычислительные машины начинают работать и в области сельского хозяйства. Недалеко то время, когда с помощью таких машин можно будет находить наиболее выгодные сочетания культур, лучший рацион, наиболее разумное распределение посевной площади. В Тартуском университете однажды провели такие расчеты для Эстонии и получили неожиданные результаты: машина советовала, например, резко увеличить посевы бобовых. Тогда — это было несколько лет назад, а для темпов признания кибернетики годы равносильны векам — математикам просто не поверили. Просто не поверили! Но теперь к этим же выводам пришли и агротехники — только более долгим путем... А в Тарту была всего одна машина, да и то не самая лучшая.

Снова ясно виден мост в завтра — он строится у нас на глазах. Всюду — и на Украине и в Эстонии, и в промышленности и в сельском хозяйстве — одна задача и одна надежда: непрерывно следя за ходом производства, получить возможность оперативно вмешиваться в него, безошибочно влиять на его результат. В кибернетике это называется осуществлять обратную связь от производства к управлению! Течение сложного процесса определяется ныне сотнями, а иногда и тысячами различных показателей. Собирать их воедино и с большой скоростью просчитывать наилучшие режимы работы способны только электронные машины. Они появились вовремя, они рождены исторической необходимостью. Без них в современной экономике человек может утешаться только тем, что он будет «задним умом крепок». Но слабое утешение — ждать, пока закончится весь процесс, и удовлетворяться лишь констатацией совершенных ошибок.

Вместе с кибернетической идеей обратной связи вошел в нашу жизнь новый взгляд на давно известные вещи. Появился новый, более общий подход к давно сложившимся представлениям.

Нейрофизиологи увидели человеческий мозг в новом аспекте — это, кроме всего прочего, информационная машина. И она подчиняется в своей деятельности всеобщим законам управления и связи. Изменилось понимание рефлекса — самого элементарного акта жизнедеятельности нервной системы. Рефлекторная дуга — о ней и сейчас еще пишут в учебниках — оказалась слишком грубой моделью: на одном конце — возбуждение, на другом — реакция организма. Это выглядело убедительно и просто. Но убедительность, как выяснилось, была обманчивой, а простота неверной. Тут работает еще и обратная связь! Рефлекс, как теперь доказано, процесс замкнутый. Не дуга, а цикл. И роль обратной связи выполняет ответный сигнал о результатах совершенного действия, посылаемый в мозг работающим органом. И мозг получает возможность все время корректировать свои повеления...

Экономисты по долгу службы прекрасно знакомы с хозрасчетом. Но совсем недавно им стало ясно, что хозрасчет — это не что иное, как сильная обратная связь. А раз так, то для его исследования могут быть применены методы общей теории автоматического регулирования и кибернетики.

— С позиций этих наук многое видится по-иному, чем прежде, намного глубже и рельефнее, — так говорил нам главный редактор журнала «Вопросы экономики» Лев Маркович Гатовский. — Скоро уйдет в прошлое такая практика, когда определяющим является «волевое решение», а не просчитанный «умными» машинами вариант. Только такой вариант обеспечивает действительно наилучшее соотношение между затраченными средствами и получаемым эффектом. Благодаря кибернетике экономика получила возможность моделировать народное хозяйство целых областей. Математизация утверждений экономической науки немедленно освобождает ее от всей словесной шелухи. Остается лишь то, что может быть с успехом использовано в практической хозяйственной деятельности. Рассуждения типа «взгляд и нечто» не запрограммируешь. Другими словами, математизация сказывает своеобразную «обратную связь» на экономическую науку: чрезвычайно расширяя ее возможности, она вместе с тем заставляет ученых добиваться кристальной ясности в своих суждениях и гипотезах...

Обратная связь — краеугольный камень кибернетики. Сумейте найти ее, и вы найдете кибернетический взгляд на исследуемую вами проблему. Так экономисты ныне говорят: хозрасчет — это обратная связь. Так химики ищут ее в ходе реакций. Ищут ее и педагоги. Может быть, не сразу становится понятным, зачем она химикам или социологам. Но смысл исканий педагогов постигается без труда.

Все мы сидели за партой, а школьные воспоминания почти не стираются с годами. И хотя память о поре ученичества у каждого окрашена по-своему, все мы, в общем-то, прошли через один и тот же процесс обучения: три-четыре раза в четверть надо было отвечать у доски да столько же раз писать контрольные... Вот и все возможности, какими располагали наши учителя, дабы узнать, как мы усвоили материал, и в случае нужды нас поправить.

Теперь подсчитано: за двадцать минут урока каждый ученик должен получить полторы сотни указаний от учителя — тогда процесс обучения будет наиболее эффективным. Если в классе тридцать ребят, то в минуту педагог должен отдавать двести с лишним команд. Это уже пулеметная дробь. Так что же делать, чтобы установить действенную непрерывную обратную связь от учеников к учителю?

Лев Наумович Ланда — он кандидат педагогических наук — решил: нужно применять обучающие машины. Пусть они все время следят за тем, как думает школьник на уроке, скажем — на уроке математики. Если правильно — зеленый свет, ошибка — красный. Ученик всегда будет знать, на каком этапе своих рассуждений он ошибся. А ведь это главное — уловить, где именно ты сбился с правильного пути.

Вовсе не обязательно для такого «машинного обучения» улавливать какие-то биотоки мозга. Построенные сегодня обучающие машины совсем просты. Все решение задачи разбито пооперационно, и также пооперационно учат думать и учащихся. Ученик нажимает разные переключатели один за другим, вверх или вниз — в зависимости от того, что он хочет сказать в ответ на немой вопрос машины. Последовательность этих вопросов в виде напечатанной программки лежит перед учеником.

На правильный поворот переключателя машина откликается зеленым огоньком, на ошибку — красным.

Специалисты полагают, что введение даже таких несложных, но чисто кибернетических машин по меньшей мере в два-три раза повысит качество преподавания. Лев Ланда проверяет свой метод на отстающих ребятах: они уже несколько лет изучали геометрию, а решать задачи так и не научились. Всего два месяца осваивали они новую «технику думания» и — не верится даже! — научились справляться с задачами не хуже других учеников. Любой репетитор позавидовал бы успеху машины.

...Вот так широкоим фронтом и ведет свое наступление кибернетика, заставляя нас по-другому смотреть на мир, по-иному оценивать явления, по-новому мыслить. Идея поисков глубоких аналогий, стремление во всем и всюду раскрывать единство мира, представления и понятия, неведомые ранее, — все это она властно внесла в наши размышления и споры, придала им окраску, которую можно назвать характером современного научного мышления.

Рассказ о любом, пусть даже самом фантастическом, открытии в наше время в первую очередь вызовет вопрос: «А зачем это нужно?» Конструируя новый прибор, мы думаем о том, где его использовать, работая над книгой, пытаемся представить себе ее будущего читателя. Появился универсальный критерий ценности — полезность. Красота нового мира входит в нашу жизнь, пробиваясь сквозь монументальные завитушки гипса, калейдоскопическое мелькание красок и форм, неразбериху звуков, и всему, что встречается на ее пути, она задает всегда один и тот же вопрос: «В чем твой смысл? Кому ты нужен? Чем ты полезен?»

И потому мы не назовем приземленным человека, если он спросит, зачем вообще нужен новый взгляд на вещи, который приносит с собой кибернетика.

Действительно, мало ли существует подходов к одному и тому же явлению? Но все ли они плодотворны? Можно, например, утверждать, что в мире существует лишь один общий для всех людей язык, не открытый до сих пор, а хорошо известные нам почти три тысячи языков — это только различные способы зашифровки сообщений. Известный кибернетик У. Уивер считает, что «книга, написанная по-китайски, попросту есть книга, написанная по-английски, но закодированная китайским кодом». И наоборот. Но что может дать такой более чем странный, исторически несостоятельный с точки зрения лингвиста-ортодокса взгляд на природу языков? Казалось бы, решительно ничего? Однако в дело вмешалась кибернетика, и уже сегодня ученые работают над машинами, переводящими научно-технический текст сразу на несколько языков. Для этого они сначала переводят фразу на свой собственный, «машинный язык», а затем уж с него — на любой заданный.

Еще более странно подходят ко многим явлениям жизни математики — специалисты в области теории игр. Они уверяют нас, что всякое столкновение противоположных интересов, когда требуется выработать наилучшую стратегию поведения, чтобы перехитрить противника или побороть его сознательное сопротивление, — есть игра! В своей теории математики называют игрой и войну, и биржевую сделку, и шахматный турнир, и охоту, и любой вид человеческой деятельности, в котором участвуют две или несколько сторон, стремящихся к выигрышу. Могут ли подобные обобщения — так и хочется назвать их нелепыми и незаконными — принести кому-либо пользу?

Но вот в дело вмешалась кибернетика, и слово «игра» неожиданно приобрело

не только строго математическое, но и вполне оптимистическое звучание... В Атлантике наши рыбаки столкнулись с неразрешимой дилеммой. В одном месте всегда ловилась пикша, однако в весьма малом количестве. В другом редко попадался морской окунь, но зато большими косяками. Казалось, разумного решения принять тут нельзя: осторожный капитан всегда предпочтет «синицу в руках» — пойдет ловить пикшу, и только любитель риска понадеется на «журавля в небе» — забросит трал на окуня. Лишь случай решит, кто из них был прав. Но доцент М. Н. Андреев посмотрел на эту дилемму глазами современного математика: ловля рыбы — это обычная стратегическая игра. Противники — человек и природа. Можно попытаться выработать наилучшую линию поведения человека.

Математики скрупулезно исследовали данные о лове и пикши и окуня за довольно продолжительное время. Удачи и неудачи рыбаков день за днем, неделя за неделей превращались в беспристрастные цифры, которыми заполнялись клетки таблиц. Потом ученые взяли в свои руки испытанное оружие — метод Монте-Карло. Он дает возможность по известным результатам прошлого узнать, как распределятся аналогичные случайные события в будущем. Расчеты показали, что самая надежная стратегия выражается отношением 3:1. Это значит: надо кидать жребий с четырьмя равновероятными исходами, и в случае выпадения одного, заранее обусловленного, следует ловить окуня. В трех других — пикшу.

Жребий — потому что рыба бродит по морю, подчиняясь лишь закону случая (или каким-то своим, «рыбьим» законам, которых мы не знаем, а значит, не можем и учитывать). Раз случайно само событие, то и выбор, который сделает экспериментатор, тоже должен быть совершенно случайным. Нельзя, скажем, решить для себя заранее: первые три раза иду на пикшу, четвертый — на окуня. Как только в поведении рыбакова будет внесена хоть какая-нибудь закономерность — это тут же приведет к поражению. Итак — случай, жребий.

А как бросать жребий — это уже безразлично. Можно перетасовать четыре туза и тянуть одного из них на счастье, «загадав на окуня», скажем, трефового. Можно взять ручные часы, и если при случайном взгляде на циферблат минутная стрелка окажется напротив числа, делящегося на четыре, следует попробовать «искусить судьбу» — пуститься на ловлю окуня. Именно так и поступали в течение всего лова на траулере «Гранат». Результат этого простого опыта выглядел ошеломляюще — за две недели на палубу высыпалось шестьдесят тонн «лишней» рыбы! Никакой, абсолютно никакой новой техники — один только новый подход к старой, как мир, проблеме. И какой веский, наглядный, живой аргумент в его пользу, неопровержимо переливающийся на солнце серебристой чешуей.

Первая мысль: как просто! Почему же не додумались до этого раньше: ведь всего только и нужно бросить жребий — и вот, пожалуйста...

Простота есть обычно итог преодоления великих сложностей. Мысль решить задачу жребием не могла прийти в голову ученому в докибернетическую эпоху. Такая идея показалась бы антинаучной. И лишь теория игр позволила математически определить, что окуня в тех местах Атлантики надо ловить именно в одном из четырех, а не из шести или двадцати возможных случаев...

Свойство кибернетики — находить смысл, закономерность, упорядоченность в самых, казалось бы, неподвластных анализу областях. Подобно драгам, просеивающим тонны песка, чтобы получить граммы золота, кибернетические машины могут обрабатывать колоссальное количество сведений, внешне никак не связанных друг с другом. И в этом хаосе информации машины способны вылавливать драгоценные крупы разумных соотношений.

Оказывается, мы не в состоянии, как бы ни старались, действовать в течение длительного времени совершенно бессмысленно, то есть так, чтобы по этим действиям нельзя было получить о нас никакого упорядоченного представления. Даже самая пустая болтовня, даже просто случайный набор слов, произносимый человеком достаточно долго, позволяют узнать — после соответствующего анализа на машине — немало ценного о говорящем. Машина улавливает скрытые мотивы психической деятельности человека.

Был поставлен такой эксперимент. Машина играла против человека в «две монеты». Правила этой игры очень просты. Каждый партнер втайне от другого кладет свою монету «орлом» или «решкой» вверх — как ему заблагорассудится. Если обе монеты окажутся положенными одинаково — выигрывает первый, если различно — второй... Сперва электронный игрок действует наугад и выигрывает в среднем половину всех партий — как и должно быть по теории вероятностей. Но постепенно в ходе состязания машина обрабатывает действия противника и начинает улавливать в них некоторую систему. Сам человек чаще всего этой системы не осознает. Обнаружив скрытую закономерность в поведении противника, машина начинает выигрывать уже не менее шестидесяти процентов всех партий. Самое невыгодное, что может сделать человек, это попытаться запутать машину. Если он придумывает какую-нибудь хитрую тактику, машина, чутко реагируя на малейшие проявления разумного начала, очень скоро разгадывает его план и начинает выигрывать с еще большей легкостью.

На этой способности кибернетических машин высасывать хоть каплю закономерного, затерянного в океане хаоса и бессмыслицы, основывается один из самых необычайных планов современной радиоастрономии — так называемый «проект Озма». Его авторы, молодые американские астрономы Фрэнк Дрейк и Уильям Уотмен, назвали так свой замысел в честь королевы неведомой страны Оз из фантастических повестей писателя Лаймена Ф. Боума. Они предложили организовать систематическое «прослушивание» всего космического пространства с помощью мощных радиотелескопов. Ученые надеются выявить в потоке радиосигналов, проходящих на Землю из бездны Вселенной, членораздельные сообщения, которые могли бы принадлежать разумным существам с других планет. Это равносильно экспериментальной проверке гениальной гипотезы Джордано Бруно о множественности населенных разумными существами миров.

Дрейк и Уотмен намерены записывать все собранные сигналы на магнитофонную пленку, многократно усилить их и затем анализировать с помощью кибернетических машин. Они-то уж не упустят разумное содержание, если только оно есть в радиосигналах, долетающих до нас из глубин Галактики. Молодые астрономы, заручившись поддержкой многих видных ученых, добились разрешения на свой эксперимент. Ежедневно в разное время суток огромный восьмидесятипятифутовый радиотелескоп попеременно направлялся на звезды Эпсилон в созвездии Эридана и Тау в созвездии Кита. По предположениям ученых, эти звезды обладают планетными системами. Насколько нам известно, положительных результатов этот опыт пока не дал. Но разве не внушает он чувство восхищения перед силой человеческого разума и полетом человеческой фантазии?

И какой неожиданный сплав — кибернетика и радиоастрономия!

Думая о науке глубочайших аналогий, трудно удержаться от сравнений. Подобно тому, как расходятся в разные стороны от Москвы дороги, развивались науки — каждая в своем направлении. Но теперь пришло время синтеза. словно кольцевая магистраль, кибернетика связала между собой самые далекие области знания, наделила их чувством локтя.

Крылатая фраза Архимеда осталась, разумеется, только фразой. Но сейчас, две с половиной тысячи лет спустя, в обещании «перевернуть Землю» появилась доля реальности: существует проект мощным взрывом сместить ось вращения нашей планеты. Тогда Арктика и Антарктика попадут под прямые солнечные лучи. Авторы проекта обещают всеобщее потепление на планете и миллионы гектаров новых плодородных земель. Однако предсказать все, что сулит этот архимедовский замысел, сегодня крайне трудно. Но чем реальнее будет становиться его осуществление, тем увереннее и точнее сможет наука предугадать любые его последствия. И к тому дню, когда техника созреет для воплощения такого замысла в жизнь, люди окажутся в состоянии скрупулезно суммировать его плюсы и минусы. Сумеют подвести баланс и принять разумное решение...

Филипп Уайли, американский писатель-фантаст, один из тех, кто вольно или невольно превратил на Западе научно-фантастическую литературу в «литературу ужаса», признался несколько лет назад: «...мы учим людей бояться, потому что большинство из них боится, хотя и не сознает этого. О том же, что человек — позитивная сила, возрастающая и зреющая, что он ответствен за свои поступки и способен, если придется, справиться с их последствиями, мы умалчиваем». Уж если Филипп Уайли решился на такое признание, то всем, кто у нас еще пророчит будущие кибернетические беды и сетует, что кибернетика покушается на «человеческое в человеке», стоит глубоко задуматься над ее высокой гуманистической миссией.

Гуманизм кибернетики активен. На открытии первого конгресса Международной федерации по автоматическому управлению в переполненном актовом зале Московского университета академик В. А. Трапезников сказал под аплодисменты своих советских и иностранных коллег:

— Все больше и больше освобождая человеческий мозг от черновой работы, автоматика позволит использовать его неисчерпаемые ресурсы для чувств и творчества... Роль автоматик в этом направлении наиболее благоприятна.

Как бы продолжая эту мысль, действительный член Академии медицинских наук Василий Васильевич Парин писал несколько позже: «И кто знает, не создаст ли электронная техника и кибернетика в результате такой технической революции из миллионов освобожденных от такой работы людей десятки, а может быть, и сотни новых поэтов, писателей, скульпторов и других людей творческого труда. Создаст не из электронных ламп, полупроводников и модулей, а из плоти и крови в результате раскрепощения от того труда, который может быть и должен быть передан машинам!»

Моделируя интуицию, создавая мыслящие (безо всяких кавычек!) машины, человек впервые за всю историю своего существования получает возможность глубоко познать самое себя — свой мозг! И когда это будет сделано, в руках человека окажется могучий инструмент истинно научного самоусовершенствования.

Снимая все преграды на пути познания, наука не засушит жизнь, не приведет к сухому рационализму, не изгонит романтику поиска. Нет, завоевания кибернетики позволят людям посвятить себя новым проблемам, которые сейчас нам еще даже не мерещатся. «Всякое постижение тайны обнаруживает новую тайну, — говорил Иоганнес Бехер, — и как раз те, кто не пытаются раскрыть тайны и не хотят разгадать загадки мира, — те лишают мир его тайн».

Незнание и тайна — не синонимы. На языке ученого тайна — это уже постановка задачи, заявка на новую работу. И открытия науки не лишают мир его поэтической прелести.



Л У Б А И Ш И С Т И К А

И. БЕЛОВ

★

ОБЩЕЖИТИЕ В СЕГЕЖЕ

(Из блокнота корреспондента)

ТРЕВОГИ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

Всего две минуты стоит скорый поезд Москва — Мурманск на станции Сегежа. Когда, поторапливаясь, выходишь из вагона на платформу, в глаза сразу же бросается огромный плакат на небольшом деревянном здании вокзала:

«Сегежа — ударная комсомольская стройка».

Маленький карельский городок попал в орбиту большого строительства семилетки. Местный целлюлозно-бумажный комбинат после завершения коренной его реконструкции втрое увеличит выпуск многослойных бумажных мешков для упаковки удобрений, цемента и других сыпучих грузов. Бумажный мешок. Звучит это не бог весть как романтично, но нужда в таких мешках велика. Массовое их применение сулит экономию в сотни миллионов рублей. Реконструкция комбината приравнена по своему значению к самым важным стройкам. И в Сегежу, как на все ударные комсомольские стройки, потянулась молодежь.

Вместе со мной с поезда сошли несколько совсем еще молодых — лет восемнадцать — девушек с рюкзаками за плечами и малогабаритными чемоданчиками в руках. Они сразу же стали расспрашивать, как проехать в отдел кадров строительства.

Автобус повез нас с вокзала мимо внушительных цехов и сооружений комбината, столпившихся на берегу живописного лесного озера, и вскоре мимо окон потянулись городские улицы. Мы проехали центральную площадь, потом пошли длинящиеся кварталы уютных деревянных, с резными балкончиками домов. А в стороне открылась глазу привычная панорама: кучно стояли четырехэтажные, пятиэтажные дома кирпичной кладки, какие можно встретить в Воронеже, Днепропетровске, Москве. Новый район массовой застройки с поднявшимися над ним кружевными стрелами кранов.

Устроившись в гостинице, я вышел в город. Был уже вечер, десятый час. С гостиничного крыльца виднелось большое нарядное здание. По высоченным колоннам легко было угадать: Дворец культуры.

Я побрел к колоннам. Улица уже опустела. Но на перекрестке, у дежурного продовольственного магазина рядом с Дворцом культуры, было ещелюдно. В магазине бойко торговали спиртным, а у входа для приобретения этого спиртного сколачивались «товарищества на паях».

Дворец культуры глядел в густые сумерки несколькими тускло освещенными окнами. В обширном вестибюле дремала пожилая женщина.

— Сегодня никаких мероприятий нет, — предупредила она.

В одной лишь комнате, занятой штабом народной дружины, было шумно. В ожидании очередного вызова десятка полтора дружинников с красными повязками на руках оживленно обсуждали происшествия дня.

— У строителей сегодня получка, — объяснил дежурный по штабу, рабочий местного лесокOMBината. — А у нас в получку всегда весело. Видели небось, что у магазина творится... И ничего не поделаешь, — вздохнул он. — На своих, сегежских, мы б еще управу нашли. А со строителями беда! Текученье у них большая. Не общежития, а проходной двор. И кого только туда не заносит. Сегодня уже несколько раз вызывали...

Дружинники стали наперебой вспоминать происшествия, приключившиеся в общежитиях строителей. Здесь я впервые услышал о преступлении, которое взволновало сегежцев и более полугода продолжает оставаться злобой дня.

Что же так взбудоражило жителей небольшого северного городка?

Фабула дела, как говорят юристы, несложна. В выходной день в одной из комнат мужского общежития группа молодых строителей затеяла компанейскую выпивку. Распили бутылку, другую. Послали в магазин за подкреплением. Снова пили, пока не кончились деньги. Кто-то вспомнил про дядю Мишу, пожилого сторожа, живущего здесь же, в общежитии. Послали делегацию: просить у него трояк взаймы. Дядя Миша отказал, ребята не отставали, и говорят, что одного из них дядя Миша ударил. Завязалась пьяная драка, закончившаяся трагично: от побоев дядя Миша скончался. А затем пять молодых строителей были арестованы по обвинению в убийстве.

Само по себе убийство, да еще в рабочем общежитии не могло не вызвать бурной реакции на комсомольской стройке. И все же больше, чем самый факт убийства, строителей взбудоражил состав участников нелепого преступления. Лишь одному из них — Павлу Антропченко, помощнику бригадира каменщиков — двадцать семь лет. Остальные совсем юнцы: не старше восемнадцати лет. Все они только недавно закончили строительное училище и вот буквально на первых шагах самостоятельной жизни — трагическая катастрофа.

Пока следственные органы пытались установить долю вины каждого — кто первый нанес удар и чей удар оказался роковым, — строители, работавшие рядом с ними изо дня в день и привыкшие называть этих ребят уменьшительными именами: Вадька, Колька, Кострючок, — пытались разобраться, как же докатились они до тяжелого преступления.

Все единодушно сходились на том, что идейным застрельщиком преступления был самый старший из арестованных, Антропченко, судившийся уже за кражу и отбывавший наказание. Вспомнили, что и за юным Кострюковым водились грешки, за которые его изгоняли из ремесленного училища. Толковали наконец и о том, что у третьего подсудимого, восемнадцатилетнего парня Николая Затемова, упрямый характер — словно это в какой-то степени могло объяснить его участие в убийстве.

Но уж вовсе никак не поддавалось объяснению падение самого молодого из них — Вадима Гудкова.

Секретарь комсомольского комитета стройки недоуменно говорит:

— Кто же из нас не знал Вадима? Каменщик он хороший. Товарищ прекрасный. Комсомольцы его ставили всем в пример. Как он попал в эту историю?..

И работник милиции, проводивший первое дознание, с горечью вспоминал:

— Обидно за парня. Будь моя власть, отпустил бы его. Но он участвовал в драке. Сам, не запираясь, признался... Это Антропченко его попутал.

Так складывалось мнение о растлевающем влиянии уголовника на молодежь. Но домыслы сегежцев о степени ответственности участников преступления подверглись серьезному испытанию.

Выездная сессия Верховного суда Карелии, рассмотрев дело об убийстве в общежитии строителей, применила самую суровую по этому делу меру наказания — десять лет лишения свободы в отношении Вадима Гудкова и еще одного подсудимого, его ровесника. А Павел Антропченко, в котором все видели корень зла, отделался шестью годами.

Легко представить себе, какая буря поднялась в маленьком городе после вынесения такого приговора. Что случилось? Какие чрезвычайные обстоятельства

выяснились? Почему приговор вошел в противоречие не только с общественным мнением, но и с концепцией прокурора, требовавшего поначалу для Антропченко высшей меры наказания, полагающейся за убийство?

Оказалось, что в ходе следствия Вадим Гудков отказался от первоначальных показаний. Прежде он, сознавая в своем участии в убийстве, называл Антропченко одним из главных его виновников и говорил, что именно Павел нанес дяде Мише смертельный удар. На суде же Вадим принял всю вину на себя. Больше того, он категорически утверждал, что Антропченко даже не участвовал в драке. Он-де, Вадим Гудков, оговорил его по злобе и страху...

Не уголовник, оказывается, вовлек в преступление молодого парня, который как раз накануне убийства отпраздновал совершеннолетие, а сам этот парень кругом виноват и даже, оказывается, пытался оклеветать Антропченко.

КУДА ВЕДЕТ СЛЕД?

Но эта новая версия не получила признания в Сереже. Приговор взволновал строителей и особенно комсомольцев. Комитет комсомола направил председателю Верховного суда письмо, в котором высказал сомнение в справедливости столь сурового наказания Вадима Гудкова.

«Гудков, — писали комсомольцы, — окончил с отличием семилетку и строительное училище. Со времени поступления на работу вплоть до ареста всегда был примером дисциплинированности в труде и в быту...» и т. д.

А как же быть с признанием самого Гудкова?

«Мы считаем, — пишет далее комитет, — что Гудков, как несовершеннолетний, под влиянием Антропченко принял на себя всю вину, не понял и не осознал по молодости всей тяжести вины, которую принял на себя, чтобы отвести удар от остальных подсудимых».

В заключение письма неожиданная и наивно звучащая просьба: «Отдать Гудкова на поруки коллектива».

Как же велика должна быть у комсомольцев стройки вера в Вадима Гудкова, если они захотели взять его на поруки после того, как он сознался в участии в жестоком убийстве!

Какие только предположения не возникали после приговора суда. Антропченко и его друзья, работающие на стройке, — такие же, как и он, уголовники, — запугали Гудкова и заставили принять чужую вину. Кое-кто убеждал: Вадим благородный, добрейший парень. Он сам «вызвал огонь на себя», чтобы выручить Антропченко, которому грозило суровое наказание.

Люди говорили это с добрым чувством к Гудкову, не задумываясь, как кощунственно звучат святые слова «вызвать огонь на себя» в приложении к позорной ситуации: образцовый комсомолец выручает растленного уголовника.

И вот я перелистываю два тома уголовного дела. В скупых записях допроса вновь возникают обстоятельства трагического выходного дня, пьянка, убийство. Протокольное изложение жестоких деталей вызывает чувство негодования, гнева. И, конечно, все участники преступления, независимо от степени их виновности, должны понести наказание.

Из протоколов дознания и очных ставок становятся, однако, понятными и сомнения сегежцев.

Все зыбко, непрочно в объяснениях обвиняемых. Поначалу Гудков показывает, что Антропченко нанес роковой удар, от которого дядя Миша свалился. Не отрицает свое участие в убийстве и Антропченко. Затем от показания к показанию картина меняется. И вот последняя запись. Гудков начисто отрицает какое-либо участие Антропченко в убийстве. Соответственно меняет свои показания и Антропченко. Он надевает личину доброго товарища: взял, мол, вину на себя, потому что пожалел молодых друзей; в действительности же он не только не тронул

пальцем дядю Мишу, а вошел в его комнату с одной только целью: предупредить драку.

Нет, не нашел я в следственном материале ничего, что осветило бы причину падения Вадима Гудкова. Однако один приложенный к делу документ проливал некоторый свет на поведение Вадима во время суда.

Неказистый с виду документ. Изорванная на клочки и бережно склеенная записка. Для удобства чтения содержание ее перепечатано на машинке. Это послание Антропченко из тюремной камеры одному из участников преступления. Записку перехватили при попытке передать ее. Автор успел изорвать бумажку в клочья.

Нет никакой возможности привести ее текстуально, она пестрит грязной лексикой уголовных притонов. Если опустить все эти словечки, то записка звучит так: «Ефимка, здравствуй, родной! Положение тяжелое. Если показания останутся так, то пятнадцать лет дадут. Тем более я судимый. Пойми, браток, если на нас ваят, то и нам нужно поступать нагло. Читай внимательно, что мы должны говорить до конца следствия...»

Дальше излагается подробная инструкция, что показывать следователю. В заключение, видимо для поднятия духа юного адресата, сжато излагается немудреная, но вполне подлая жизненная философия: «На очной ставке держись смело. Не бойся. Судьбу нужно завоевывать наглее».

Напомним: до того, что случилось, этот отпетый бандит выступал в роли помощника бригадира молодежной бригады на комсомольской стройке, жил со своими подопечными в одном общежитии и, исподволь прививая молодежи каноны уголовной морали, привел Гудкова и его товарищей в тюрьму. И даже здесь не оставил их в покое, пытался влиять на них.

Что же все-таки побудило восемнадцатилетнего парня взять вину на себя? Страх перед местью бандитов или ложное понимание законов товарищества, вдохновленное уголовной романтикой?

Какова бы ни была побудительная причина, облик Вадима Гудкова после ознакомления с подробностями уголовного дела не сходится с его же обликом, нарисованным в ходатайстве комсомольцев, направленном в Верховный суд.

Нет, конечно, оснований сомневаться в том, что Вадим Гудков, приехав в Сегежу, был именно таким, как представляют его и сейчас комсомольцы. Когда же и почему свернул он с прямого жизненного пути на кривую тропу, что привела его к тюрьме?

На судебное разбирательство приехал старый больной отец Гудкова. С ужасом слушал он показания Вадима. Давно ли провожал он его, лучшего ученика школы, свою гордость и надежду, на стройку: наконец-то Вадим встал на ноги. И вот со скамьи подсудимых сын рассказывает о страшном преступлении.

Нет, ни дома, ни в школе не обнаруживал Вадим дурных задатков. Да и на строительной площадке, как мы уже знаем, он быстро завоевал авторитет хорошего работника, активного общественника.

Так когда же потерял коллектив из виду Вадима Гудкова? Когда проглядел опасность, грозящую семнадцатилетнему парню?

Поиски ответа ведут в одном направлении — в общежитие, где жизнь свела под одной крышей Вадима Гудкова и таких же, как он, пареньков с Антропченко и его духовными братьями.

Убийство в молодежном общежитии — происшествие, конечно, из ряда вон выходящее, чрезвычайное, неслыханное в небольшом северном городке. Но когда гром грянул, выяснилось, что не было недостатка в тревожных предупреждениях. Добрая пятая часть нарушений порядка, зарегистрированных сегежской милицией, совершена обитателями общежитий строителей. Среди них попадались люди с уголовным прошлым, имевшие судимость и даже не одну.

Разве не должно это было встревожить общественность молодежной стройки, побудить ее присмотреться к жизни молодых строителей в общежитии, усилить воспитательное влияние на них? Ничего, однако, не было сделано. В некоторых

комнатах общежитий верховодили хулиганы; под их влияние попадали хорошие ребята, как это случилось с Вадимом Гудковым.

Впрочем, не только мужские общежития должны были привлечь к себе общественное внимание.

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ПЕРЕВОСПИТАНИЯ

Вскоре после приезда в Сегежу я попал на заседание совета женского общежития, вынесшего суровое решение: выселить работницу Надю Ч. за недостойное поведение.

В комнате, где жила Надя, часто устраивались попойки, там засиживались нетрезвые гости. Соседки Нади возмущались, но молчали. Они боялись Надиных дружков, не надеясь на дружную поддержку общежития, — такая уж сложилась там обстановка.

Однажды в комнате Нади обнаружили уголовника-рецидивиста, высланного из Сегежи.

И вот стоит Надя перед советом и пытается опровергнуть неопровержимое. Это, впрочем, и ей ясно, но она изворачивается, лжет, притворяется, что ничего не понимает.

— К другим девушкам тоже ходят парни, — твердит она. — И насчет пьянок все выдумки. Был один случай, я выпивала с подругой из общежития...

И тут же для достоверности Надя называет фамилию Розы Н.

Совет вызывает Розу. Пила ли она с Надей? Роза густо краснеет, но молчит. Упорно молчит и при повторных вопросах.

И вдруг широко распахнулись двери красного уголка, где заседал совет, и в комнату ввалилось не меньше десяти девушек. Самой старшей едва перевалило за двадцать пять, а младшей — не больше семнадцати.

— По какому делу вызвали Розу? — приподнято, будто с ходу вступая в спор, спросила высокая худощавая предводительница.

Узнав, для чего понадобилась Роза, Шура Данилова (так звали высокую) заявила совету:

— Все мы живем в одной квартире с Розой. Давно знаем ее, она приехала к нам, в Сегежу, три года назад по комсомольской путевке. Работает хорошо. Мы все ручаемся за нее. Может, она и выпила рюмку-другую с Надей. Но они же в одной бригаде...

Члены совета поверили поручителям.

А что делать с Надей?

Кто-то предложил:

— Вот у Шуры Даниловой дружный коллектив, не переселить ли к ним Надю? Пусть перевоспитается.

Шура сразу согласилась. Но совет единодушно высказался за выселение Нади.

Особенно резко — со стороны могло даже показаться пристрастно — выступала одна из девушек.

После заседания совета она объяснила мне причину своей непримиримой позиции.

— Вы присмотритесь, — горячо говорила она, — кто живет в нашем общежитии. Молодежь! Они приехали сюда из строительных училищ, школ. Ох, как легко поддаются некоторые из них дурному примеру, если не предостеречь их. И не от случая к случаю, на массовых собраниях, а изо дня в день в самом общежитии. Одно дело перевоспитывать такую, как Надя, на производстве. Здесь и мастер, и комсомол, и партийная организация. Она у всех на виду. И, знаете, неплохо ведь она работала. А что поделаешь с ней в общежитии, где девочки предоставлены по существу самим себе, куда, кроме штатного воспитателя — одного на сотню, — редко кто заглядывает? Тут и не угадаешь, кто кого перевоспитает. Надю ли?.. А может быть, она не одну девушку в свою компанию втянет? Ведь вот

Роза — хорошая комсомолка, а потянуло ее выпить с такой, как Надя. Нет, не место ей среди зеленых подростков. Их самих уму-разуму учить надо, а не поручать перевоспитывать такую, как Надя... Небось слышали, как Вадим Гудков перевоспитал Антропченко.

В Сегеже общественный актив стройки все больше проникается сознанием, что общежития молодежи — это передний край идеологической борьбы против хулиганов, тунеядцев, приверженцев уголовной романтики, против их попытки втянуть в свой круг неустойчивых молодых рабочих. Но выводы, которые при этом делаются, не всегда бесспорны.

— Что-то неладное получается у нас в перевоспитании, — высказывал мне свои мысли работник стройки, близко к сердцу воспринявший трагедию Вадима Гудкова. — Не чрезмерную ли мы проявляем доверчивость в отношении хулиганов, уголовников, имевших судимость? Он только из тюрьмы, еще неизвестно, чего он там набрался, а мы уже, пожалуйста, поселяем его в одно общежитие с подростками. В Труде, мол, перевоспитается. А что из этого иной раз получается — мы знаем... Нельзя, конечно, отказываться и от перевоспитания поскользнувшихся людей. Но в это дело нужно внести какие-то изменения, чтоб оградить молодежь от дурного примера... Какие?.. Не селить имеющих судимость вместе с молодежью, организовать жесткий, требовательный контроль за их поведением, пока не убедимся, что они научились уважать правила нашего общежития. Научился — будь полноправным членом коллектива, нет — убирайся, не порть жизнь другим.

Нетрудно понять, что такие выводы подсказаны делом Гудкова и другими происшествиями помельче, где застрельщиками были хулиганы, имеющие судимость.

Однако как же в самом деле можно было предупредить падение Гудкова? Убрать ли вовремя Антропченко или идеологически закалить Гудкова и его сверстников — так, чтобы не Антропченко верховодил в их среде в часы досуга, а те, кто способен духовно обогатить их, заинтересовать книгой, беседой, полезным спором?

Второй путь, безусловно, надежнее. Но нужно прежде всего, чтобы партийно-общественный актив стал хозяином общежитий, постоянно в них присутствующим; хозяином, который проявит бы ответственность за судьбу юношей и девушек, начинающих самостоятельную жизнь.

На июньском Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, что нужно «совершенствовать, улучшать, применительно к новой обстановке, методы идейно-воспитательной работы среди молодежи», что молодежь прежде всего нуждается «в умном и добром совете» (Л. Ф. Ильичев).

Когда знакомишься с молодыми строителями, их бытом в общежитиях — проникаешься сознанием жизненного значения идеологического наступления на этом участке, отчетливее представляется новая обстановка, в которой формируется пополнение рабочего класса.

ДЕВЧАТА ИЗ ЧУПЫ

В петрозаводском кафе я стал невольным свидетелем полушутливой беседы случайно встретившихся людей.

К столику, у которого вместе со мной сидели лейтенант в летной форме и средних лет штатский мужчина, подошла совсем еще юная официантка, лет семнадцати, миловидная и подкупающая своей непосредственностью.

Когда она стала записывать заказ, летчик сказал:

— Не пойму, что вы в Петрозаводске нашли, поехали бы к нам на Север.

— Если уж уезжать из Петрозаводска, — подал реплику штатский, — так лучше к нам, в Ленинград.

Девушка вежливо улыбнулась и сказала:

— Я бы поехала, но только на целину.

Сперва ответ показался таким же шутливым, как весь разговор. Почему из Петрозаводска — именно на целину, когда в Карелии есть молодежные комсомольские стройки? Но, может быть, кто-либо пленивший ее юное сердце или подружки зовут ее туда?

— Никого у меня там нет, — уже серьезно ответила девушка. — Вот и объяснить даже не могу, а хочется мне на целину...

Не знаю, собралась ли она на Алтай или в Казахстан, но я часто вспоминал эту петрозаводскую официантку в Сегеже, где работают больше полутора тысяч молодых строителей, приехавших сюда с Украины, Молдавии, из Центральной России и лесных селений Карелии.

Что привело их на сегежское строительство?

Выпускников строительных училищ направили сюда на первую постоянную работу. Многие приехали по комсомольским путевкам. Время от времени прибывают завербованные по оргнабору (впрочем, среди них молодежи не так уж много). Едут и самотеком.

Различные обстоятельства привели молодежь в Сегежу, о которой многие не знали раньше даже понаслышке. Но основная причина, побудившая их тронуться с места, покинуть семьи, родные места, почти у всех одна: подошло время первого устройства, самостоятельной жизни, поисков своего места в большой жизни страны.

Семнадцатилетняя Галя Дорофеева из детского дома соседнего района Калевалы приехала в Сегежу потому, что «захотелось жить самой». А чуть постарше ее Галя Бучнева из небольшой деревни Кировской области рассказывает:

— Собиралась я в Киров к сестре, но прочла в газете о Карелии, об ударном строительстве комбината, о здешних лесах и озерах и решила поехать.

— Почему же именно в Сегежу? — допытывался я. — Ведь писали и о других стройках?

И так же, как девушка из Петрозаводска, она ответила:

— Вот не знаю почему, а потянуло в Сегежу...

Конечно, не описание сегежского комбината, выпускающего бумажные мешки, увлекло Галю Бучневу и других ее сверстников, а звонкое, будоражащее название стройки: «ударная, комсомольская». И связанная с ними романтика первоустройства на главных магистралях коммунистического строительства. Она так же естественно влечет лучшие слои молодежи, как приметы весны влекут в дальний путь перелетных птиц.

При мне в Сегежу приехали, например, «девчата из Чупы». О них стоит рассказать.

На берегу Чупинского залива Белого моря есть поселок, носящий такое же название, что и залив, — Чупа. Здесь живут рыбаки, лесники. Как и во всех поморских поселках, население здесь устойчивое. Скупая северная природа ничего не пожалела из своего скромного реквизита, чтобы украсить эти места: лес, море, скалы.

Небольшой поселок прочно связан с большой жизнью страны. В местной школе-одинадцатилетке двенадцать выпускниц договорились: всем сообща ехать на комсомольскую стройку. Это было не случайно принятое решение; девушки немало сил приложили, чтоб овладеть мастерством штукатуров и приехать на стройку знающими дело рабочими. Нелегко удалось убедить родителей. Они хотели, чтобы их дочери до поступления в вузы поработали в Чупе. Не скроем, чупинские девушки мечтали о далекой поездке: ну, скажем, в Восточную Сибирь. Вышло иначе: направили в Сегежу. Но так твердо было убеждение, что самостоятельную жизнь надо начинать на стройке, что ни одна не нарушила общего уговора.

Я познакомился с ними лишь за несколько дней до своего отъезда. Но вот я пишу, и они встают в памяти как близкие знакомые: Рая Кузнецова, комсорг (еще со школьных времен) Валя Дедакина, Эля Петтинен, Люся Дружникова, да

и все остальные. Есть что-то у них общее — будто из одной семьи. И, как говорится, по всем статьям вышли. Юные (самой старшей не больше восемнадцати лет), увлеченные своими замыслами, готовностью сделать все, что в их силах, для пользы дела. Приехали они с учебниками, чтоб не позабыть знаний, полученных в школе. В их планах: оказывать помощь строителям, обучающимся в вечерней школе, участвовать в художественной самодеятельности, учиться, чтобы стать инженерами.

В сутолоке текущих дел мы часто не замечаем, как незаметно входит в жизнь новое. Живо еще в памяти (не так давно это было), как из деревень на стройки первых пятилеток приезжали юноши и девушки с отцовскими сундучками, оклеенными внутри картинками, иные с начальным образованием, а у других и того нет, — и жадно тянулись к знанию, культуре. Потом появились ремесленники, для которых семиклассное образование было нормой. И вот новое — штукатуры с одиннадцатиклассным образованием, рабочие высокой культуры и больших стремлений, щедро отдающие свои знания и свой труд...

— А работают как, — рассказывал мне о чупинских девушках мало подверженный сентиментальности бригадир штукатуров Швецов. — Ну просто молодцы! Да не будь я Швецовым, если не добьюсь, чтобы им закрыли наряд по три рубля в день, не меньше.

В комитете комсомола, где они рассказывали о своих планах, какой-то черно-волосый комсомолец, недавно вернувшийся из Молдавии, послушав их, куда-то вышел. И вернулся, держа в руках что-то завернутое в газету. Он положил сверток перед девушками и смущенно сказал:

— Тут яблоки, привез из Молдавии. Возьмите, пожалуйста.

Спустя несколько дней после приезда «девчат из Чупы» строители встречали группу выпускников Петрозаводского строительного училища. Всех их собрали в красном уголке общежития. Заместитель начальника по быту и секретарь комсомольского комитета сказали новичкам несколько теплых слов и тут же выдали трудовые книжки с первыми в них записями о начале трудовой жизни.

Пожилой мастер делился со мной своими впечатлениями:

— Доглядывать за ними надо, как за детьми. Вот совсем недавно смотрю я — девушка одна, только приехала, взялась за лопату, ковырнет раз-два, и лопата из рук валится. Шутя спрашиваю: «Ты что, милая, каши не поела?» А она мне тихоно: «Не на что купить было». Вынул я рубль и говорю: «Пойди покушай». Взяла, потом вернула. Я теперь всегда на работу рубль-другой беру. Нет-нет и пригодится. Нужно следить, проверять, сколько они зарабатывают, правильно ли им платят, разумно ли тратят заработанное...

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

И вот «девчата из Чупы», юноши, не накопившие опыта, легко поддающиеся постороннему влиянию, попадают в общем потоке с вербованными, с едущими самотеком — в общежития, где живут, как мы уже знаем, разные люди. Такие, как Надя Ч., как Антропченко и другие, доставляющие немало беспокойства сегежской милиции.

Под одной крышей общежитий, в квартирах, комнатах сталкиваются разные люди, идет, замечаем мы это или не замечаем, подспудная борьба лучшей части молодежи с враждебной нам идеологией тунеядства, хулиганства, уголовщины.

Конечно, ныне на стройку идет в основном молодежь культурная, с образованием, с высокими стремлениями. Таких неизмеримо больше, чем людей с дурными задатками. Но далеко не все решается элементарной арифметикой. Напористый хулиган-уголовник оказывается иной раз сильнее инертного коллектива хороших людей. Ведь вот же открыто, никого не стесняясь, спаивал в общежитии помощник бригадира Антропченко подопечных ему молодых рабочих. Да и Надя Ч. устраивала в женском общежитии попойки с уголовниками, не встречая долгое время отпора.

После чрезвычайного происшествия в общежитии, взбудоражившего Сегежу, на строительстве стали уделять больше внимания идейно-воспитательной работе среди молодежи. Разработаны широкие планы культурно-массовых мероприятий. В договорах на социалистическое соревнование предусмотрены обязательства, касающиеся развития коммунистических начал в быту. Партийный комитет чаще стал устраивать лекции, доклады о моральном облике советского человека, о просах идеологии.

Нельзя, однако, не заметить, что коэффициент полезного действия этой работы пока невелик.

В дни отдыха в общежитиях по-прежнему много пьяных.

В одно из воскресений я познакомился с хлопчиком-монтажником лет семнадцати. Звали его Ваня Жуков. В комнате он был один, сидел у стола и читал книгу. «Я непьющий, — объяснил он свое одиночество, — не могу составить компании... Даже перед товарищами как-то неудобно». Возможно, таким же пареньком приехал в Сегежу и Вадим Гудков, зарекомендовавший себя поначалу образцовым комсомольцем.

В тот же день я стал свидетелем безобразной сцены в женском общежитии. В квартиру, где поселили нескольких девушек из Чупы, рвался вдребезги пьяный парень в разорванной рубашке, с татуировкой на груди, выкрикивая отвратительные ругательства. С балконов соседних квартир с любопытством поглядывали на дебошира, не проявляя, однако, по этому поводу ни малейшего беспокойства.

Перепуганные девушки забаррикадировались в квартире.

Вообще-то они предполагали, что встретятся на стройке с некоторыми неудобствами. Их даже предупреждали об этом. И все же в этот день, возможно, кое у кого из них впервые мелькнула беспокойная мысль: а сумеют ли они все же прижиться на стройке?..

Бесчинства хулиганов, не встречающие жесткого отпора, далеко не последняя причина большой текучести рабочих. Здесь вспоминают, как в прошлом году из Куйбышевской области приехали несколько десятков человек, завербованных по орнабору. Многие из них не раз судились, отбывали наказание в тюрьме. Просто не понятно, в чьей голове могла явиться мысль послать на комсомольскую стройку целый отряд бывших уголовников. И вот всех их расселили в общежитиях, часто в квартирах, где живут выпускники школ, молодые рабочие и работницы, приехавшие в Сегежу по комсомольским путевкам. Как смерч, пронеслась эта «шпана» через Сегежу, терроризируя всех поножовщиной и пьяным разгулом.

Недолго, к счастью, продержалось это пополнение. Все до одного удрали. Пропали денешки, затраченные на вербовку. Но эти потери ничто в сравнении с тревожностями и дезорганизацией, которую они внесли в жизнь стройки, с той волной текучести, которую они вызвали среди рабочих.

А какое разлагающее влияние оказывают уголовники на недостаточно стойкую молодежь! Перед секретарем партийного комитета стройки стоит совсем еще молодой паренек-подросток. Мать его, уважаемая всеми труженица, ее запросто называют тетя Катя, умоляет секретаря побеседовать с ним:

— Отбилась парень от рук, не хочет работать, завел знакомство с худыми людьми.

Секретарь убеждает паренька:

— Как же думаешь жить, не работая? Так недолго и до тюрьмы докатиться.

— А что такое тюрьма? — развязно отвечает он. — Тюрьма — это школа мужества.

ПОИСКИ НОВОГО

Вернемся, однако, к проблеме воспитания и перевоспитания, над которой все больше задумываются в Сегеже.

«Поколение коммунизма, — говорил на XXII съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев, — надо формировать с детских лет, беречь и закалять его в юности,

внимательно следить за тем, чтобы у нас не было моральных калек — жертв неправильного воспитания и дурного примера».

Как же уберечь таких, как Ваня Жуков, от дурного примера, как сделать невозможным вторжение пьяных хулиганов в женское общежитие, как идеологически закалить молодежь стройки, чтобы она сумела перейти в наступление против кучки отщепенцев, нарушителей общественной дисциплины?

При мне в Сегежу приехала бригада петрозаводского обкома комсомола. Ребята работали с увлечением. Они участвовали в заседаниях совета общежития, инспектировали актив, с жаром взялись за организацию соревнования за коммунистический быт. Перед отъездом они особенно беспокоились о том, чтобы на дверях комнат, жители которых выступили застрельщиками соревнования, были вывешены плакаты: «Здесь борются за коммунистический быт».

Как только бригада уехала — плакаты исчезли. И понятно почему. Хорошие семена были посеяны на нелегкой почве общежития, но никто по сути дела не проявил заботы, не приложил труда, чтоб семена эти дали всходы. Общественный актив стройки так и не пришел в общежитие, не возглавил наступления против «сорняков» — организаторов пьянок, хулиганов, уголовников.

Причина малой действенности идеологической работы в Сегеже кроется в том, что она обходит главное в условиях стройки направление — о б щ е ж и т и е. Именно поэтому «непьющий» Ваня Жуков чувствует себя дома неловко, а пьяные хулиганы, никого не стесняясь, врываются и дебоширят в женских общежитиях.

Над несуразностью такой ситуации все чаще задумываются люди, постоянно соприкасающиеся с молодыми строителями.

Воспитатель общежития, простая, отзывчивая женщина, излагала мне свои соображения, которые она вообще-то побангалась высказывать вслух.

— Недавно у нас во Дворце культуры проводили теоретическую конференцию. Много было интересных докладов о ленинском внимании к человеку, о его заботе о людях. А я сидела и думала: хорошо было бы, если б докладчики заходили к нам в общежития. Нет, не с докладами, а просто так, побеседовать с молодежью, узнать, чем живет, посоветовать, научить, направить на правильный путь. Не заходят. А что сам воспитатель может сделать?.. Вся беда в том, что много говорим о воспитании молодежи, а живого дела мало. Как подходит пять часов, все — и партийные и беспартийные — смотрят на часы: домой пора или на рыбалку. А чтоб зайти в общежитие, так это разве когда кого-либо в комиссию назначат. Я думаю, если б серьезно поставить вопрос, можно добиться, чтоб к общежитиям прикрепили мастеров, они о своих рабочих обязаны заботиться, инженеров, учителей, пенсионеров, даже домашних хозяек. Разве от них доклады нужны? Этого у нас хватает. Приглядеть за ребятами нужно по-матерински, ведь совсем еще молодые. Да если бы к общежитию прикрепили хороших людей и завязали они дружбу с ребятами, мы бы хулиганов этих и пьяниц в куток загнали, заставили бы их жить по-хорошему.

Не только в Сегеже задумываются обо всем этом. Несколько дней я прожил на соседней ударно-комсомольской стройке — Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате. И здесь те же беды: большая текучесть, нет-нет и взбудоражит город какое-либо чрезвычайное происшествие в общежитии строителей.

Заместитель управляющего местным строительным трестом Яков Семенович Финкельштейн рассказывал:

— Я недавно выступал на партийном активе с таким предложением: есть у нас день партийной учебы, дни, отведенные на заседания бюро и другие дела; не важнее ли всего выделить один или два дня в неделю, чтобы сразу же после окончания рабочего дня весь актив шел в общежития молодежи, чтобы члены актива отвечали за прикрепленные к ним комнаты, квартиры, вели в них воспитательную работу?

Все это пока лишь пожелания, но есть уже попытки серьезно продумать новую организацию идейно-воспитательной работы в общежитиях.

Недавно избранный секретарь партийной организации сегежского строительства Дмитрий Степанович Александров пришел к интересным выводам.

— Бригада коммунистического труда, — говорит он, — считает одной из главных своих задач нравственное воспитание своих членов, заботу об их культурном росте. Воспитательное влияние коллектива сказывается здесь больше, чем где-либо. Влияние это нужно всячески усиливать, и особенно на комсомольских стройках, где большинство молодых рабочих живет вне семьи. Надо, мне думается, организовать расселение молодежи в общежитии так, чтобы члены бригады жили в одной комнате или квартире. Совет бригады будет обсуждать не только производственные вопросы, но и все, возникающие в общежитии: бытовые, организации досуга и, нисколько не ограничивая индивидуальные стремления молодежи, помогать осуществлять их. Бригада коммунистического труда в наших условиях станет трудовой семьей. Это, конечно, создаст более благоприятные условия для идеологического воздействия на нее со стороны партийного и общественного актива.

КТО ЗА НИХ В ОТВЕТЕ?

Много внимания в печати, да и в жизни уделяется вопросам бытового и этического распорядка в коммунальных квартирах, где жильцы разделены все же стенами «своих» комнат. Но разве не заслуживает куда более пристального внимания проблема рабочего молодежного общежития, особенно на ударных стройках, где делает первые шаги к самостоятельной жизни лучшая часть молодежи нашего времени?

Сотни тысяч юношей и девушек после окончания профессиональных училищ, общеобразовательных школ, увлеченные романтикой великого коммунистического строительства, покидают родные места, едут в новые осваиваемые районы. Они уходят от семьи, покидают среду, в которой выросли, и «пересаживаются» на новую почву, в новый для них коллектив, часто только формирующийся. И все это в самый ответственный период жизни — перехода от отрочества к самостоятельности.

И совсем не риторически звучит вопрос: кто за них в ответе? Кто обязан зорко приглядываться к первым шагам новой жизни? Кто в ответе за Ваню Жукова, за семнадцатилетнюю Галю Дорофееву из калевальского детского дома? Кто в ответе за Вадима Гудкова, так трагически споткнувшегося у порога совершеннолетия?

Вчера еще, до того, как они покинули свои семьи, ответственность еще как-то разделялась: семья — школа, семья — производственный коллектив. А с переездом на строительство первое звено отпадает. Остается производственный коллектив.

Само собой разумеется, семья не отпадает совсем. Из дома идут письма, полные заботы о птенцах, рано вылетевших из гнезда.

«Здравствуй, дорогая дочка моя! — пишут из Чупы. — С приветом мама, папа, бабушка, дедушка, Леля. Письмо твое получили. Рада, что ты хорошо устроилась (все чупинские девушки написали родным бодрые письма. — И. Б.). Живи дружно с девушками. К работе относись добросовестно, тогда будешь человеком».

В другом письме мать наставляет дочь: «Не забывай, что я тебе наказывала. Вечерами не ходи далеко. Думать все время надо об учебе, это нельзя забывать ни в коем случае».

Есть письма, где наряду с тревогой звучит беспредельная вера в воспитательную силу коллектива.

«Моей дочке всего девятнадцать лет, — пишет в отдел кадров мать одной из работниц. — Она у меня одна-одинешенька. Думала, что ее воспитаю. Не получилась, уехала она. Прошу, помогите ей».

Жизнь, долг требуют от партийно-общественного актива строек большого внимания к молодым рабочим. Нужно начисто отказаться от кабинетных методов воспитания, идти в молодежные общежития, взять на себя полноту ответственности

за судьбу каждого молодого рабочего — перед их семьями, партией, государством. И ответственность эта должна быть не «общей», а персонифицированной.

Взять хотя бы ту же Сегежу. Ее будущее предопределяется реконструкцией комбината и других предприятий города, строительством жилых кварталов. Город стал крупным строительным центром Карелии. И первый долг всех организаций города — всемерно содействовать строительству, успех которого решают около двух тысяч строителей, в основном молодежь.

Почему бы не прикрепить к рабочим общежитиям — к слову, неплохо оборудованным — членов городского комитета партии или даже бюро лучших представителей городского актива, с тем чтобы каждый из них нес персональную ответственность за положение в общежитии, чтобы не могла больше повториться в них трагедия Вадима Гуднова?

На комсомольских ударных стройках решаются узловые проблемы создания материальной базы коммунистического общества в основном силами героической нашей молодежи. Понятна забота о лучшем устройстве их жизни, очень важны поиски новых форм идейного воспитания и бытового устройства. Здесь нет мелочей. Нет ведь более важной задачи, чем идейное воспитание пополнения рабочего класса — оплота и основы Советского государства.

Сегежа. Сентябрь — октябрь 1963 года.



БОР. МЕДВЕДЕВ

★

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ...

(О кинопублицистике)

Один швейцарский ученый, призвав на помощь кибернетику — «электронный мозг», — не так давно подсчитал, что за последние 5559 лет человечество пережило 14 513 войн, в которых погибло 3640 миллионов человек, то есть куда больше, чем сейчас населяет нашу планету.

Общие потери за время второй мировой войны, как сообщала Организация Объединенных Наций, исчисляются в 86 миллионов человек, то есть почти в три раза больше, чем в первую мировую войну.

Впрочем, имеет ли это отношение к документальным лентам Аннели и Андре Торндайков, о которых пойдет речь в этой статье? Да, имеет.

Премьера документального фильма — первого большого фильма никому тогда еще не известных, начинающих режиссеров супругов Торндайк — вызвала очереди в кинотеатрах Берлина. Фильм шел с аншлагами не одну неделю подряд. Много ли знает подобных примеров история мирового кино?

В чем же секрет такого успеха документальных картин Торндайков, обошедших почти весь земной шар? В таланте авторов этих лент? В их интуиции? В мастерстве?

В ответ позволю себе привести отрывок из книги Торндайков «Операция «Тевтонский меч»¹, посвященной, как и одноименный фильм, «большой карьере мелкого шпиона» Ганса Шпейделя: «...то, что произошло в начале апреля 1957 года в Париже, окончательно побудило нас начать работу над фильмом. Это был день, когда Шпейдель вступил в свою новую должность в главной квартире НАТО. В этот день мы долго бродили по Парижу, беседовали со многими жителями города. И мы стали свидетелями возмущения, охватившего население французской столицы. Это возмущение не вылилось в активные действия против назначения Шпейделя только потому, что парижане были недостаточно информированы о том, какие беды причинил французам этот гитлеровский генерал всего лишь несколько лет назад. Правительство Франции 1957 года предпочло скрыть от народа прошлое Шпейделя. Получив наглядный урок того, как сильно незнание исторической правды мешает людям действовать в соответствии с их жизненными интересами, мы приняли окончательное решение показать в документальном фильме все, что нам удалось узнать о Шпейделе».

Помочь людям «действовать в соответствии с их жизненными интересами». Помочь настойчиво, решительно, упрямо, не опасаясь того, что историко-документальный фильм кое-кому покажется растянутым, назидательным, скучноватым, а кое-кому не кассовым.

Из многих статей, заметок, читательских писем о «Русском чуде», опубликованных в наших газетах, мне особо запомнились слова президента Академии педагогических наук РСФСР И. Каирова: «Это не развлекательная картина. Смотреть ее надо вдумчиво...»

Да, все фильмы, созданные супругами Торндайк, не развлекательны. И все они заставляют зрителя думать. И все они властно напоминают ему о его человеческом, об-

¹ Книга написана совместно с публицистом Карлом Раддацем

шественном долге. Если пользоваться новейшими кинотерминами, то фильмы Торндайков, основу которых составляют хроникальные кадры далеких и недавних лет, это так называемые монтажные фильмы. Если попытаться выйти за пределы специальной терминологии, то их работы следовало бы назвать «фильмы-раздумья». Их можно, а некоторые и нужно, смотреть не по одному разу. И при каждой новой встрече вы непременно обнаружите что-нибудь новое, не замеченное прежде и весьма существенное для понимания авторской концепции, для понимания истории за последние шестьдесят лет.

Двадцатый век — герой всех лент Торндайков, и не только потому, что братья Люмьер лишь 28 декабря 1895 года дали в подвальном помещении «Большого кафе» на бульваре Капуцинов в Париже первый публичный сеанс кинематографа. В двадцатом веке появился фашизм, борьбе с которым уже не первый год отдают свои творческие силы Торндайки. В двадцатом веке началось победное шествие идей коммунизма, утверждению которых они отдают все помыслы и мечты.

1. НАЦИ ИДУТ...

Случилось так, что главу о первом фильме Торндайков, принесшем им мировое признание, мне пришлось начинать по воспоминаниям. Каждому, кто занимается кино, знакомо, наверное, это чувство досады, беспомощности, охватывающее тебя всякий раз, когда предстоит говорить о фильме, виденном давным-давно, а его сейчас, как нарочно, нет в прокате. И в репертуарном плане на ближайший месяц нет. И сценарий его (как срочно понадобившуюся книгу) не снимешь с полки — его тоже нет. Единственный тогда помощник — память, а надо ли объяснять, какой это порой ненадежный помощник! Правда, при всех ее коварных свойствах, у памяти есть одна хорошая черта — избирательность. Безжалостно утрачивая многое, она почти всегда удерживает то, что когда-то по-настоящему поразило.

Так, стоило мне лишь написать название первого большого фильма Торндайков «Ты и твой товарищ» (у нас в прокате он назывался «Это не должно повториться»), как перед глазами встало разбитое сотнями ног шоссе, по которому в облаке пыли, точно призраки, двигались согбенные фигуры, что-то ташившие на себе из последних сил, что-то подталкивающие из последних же сил, — фигуры европейских беженцев первых дней первой мировой войны. И тут же, как бы набегая на эти кадры, эффектная — и столь же эффектно отснятая! — картина атаки немецкой пехоты, в рост, с примкнутыми штыками идущей на врага... на эту растянувшуюся по шоссе толпу женщин, детей, стариков, на эту согнутую годами и обрушившимся несчастьем старуху, которую буквально тащат на руках двое тоже весьма уже немолодых людей...

Существовала ли в кинохронике первой мировой войны подобная картина атаки пехоты на беженцев? Сомневаюсь. Скорее всего, эти кадры были отсняты в разное время разными операторами. Это Торндайки поставили их рядом, соединив посредством монтажа. И с помощью монтажа создали леденящий своей жестокостью образ несправедливой войны.

Если уж быть до конца пунктуальным, то надо признаться, что сразу мне вспомнились не столько эти кадры, сколько голос за кадром, с какой-то пронзительной горечью произносивший два слова: «Немцы идут!» (Когда наконец удалось добраться до хранящейся в Госфильмофонде, в Белых Столбах, ленты и прочитать монтажные листы, то оказалось, что полный текст звучит так: «По ту сторону бельгийской, люксембургской и французской границы пронесся крик ужаса: «Немцы идут!»)

«Немцы идут! Наци идут!» — эта фраза, этот крик ужаса еще раз возникает в фильме. И вновь на экране — разбитое прифронтовое шоссе. И вновь — посеревшие от отчаяния и пыли, изможденные тревогой и усталостью лица беженцев — только уже второй мировой войны. Об этом можно догадаться сразу. Без пояснений. Над мечущимися по дороге, торопливо скатывающимися в кювет, забивающимися в ямы людьми на брешущем полете с победным ревом проносится самолеты со свастикой, бомбя, расстреливая из пулеметов женщин, детей, стариков. И здесь уже Торндайка ничего не надо монтировать. Это могло быть только в фашистской армии.

Наци идут!.. Смотришь фильм и невольно представляешь себе, с какой болью за свой народ, за его историю писались эти слова, и понимаешь, что это острое, непроходящее ощущение горечи не оставляло режиссеров на протяжении всей картины, названной «Ты и твой товарищ». Вся эта полтора часовая лента — как бы разговор, беспокойный разговор с соотечественником, с современником, мучительная и в то же время мужественная попытка разобраться в том, почему дважды за эти шестьдесят лет Германия начинала кровопролитнейшие войны, охватывающие чуть ли не весь земной шар, почему именно Германия стала родиной нацизма.

Мне неизвестны подробности работы над фильмом, продолжавшейся около двух лет. Мне неизвестно, где и при каких обстоятельствах были отысканы те или иные уникальные кадры, когда родилась идея того или иного монтажного перехода или сопоставления. Но мне кажется, что режиссеры, повидавшие и пережившие многое за те дни и часы, пока просматривали сотни и тысячи метров киноархивов, однажды не смогли сдержать возгласа удивления. И случилось это в тот момент, когда перед ними прошли один за другим кадры немецких военных парадов десятых, двадцатых, тридцатых и пятидесятых годов.

И дело не только в том, что при всех режимах — будь это правление Гогенцоллернов, будь это Веймарская республика, будь это гитлеровский Третий рейх или ФРГ — солдаты с одинаковой безупречностью отбивали прусский гусиный шаг. Это армия. Это дисциплина. Это приказ. Но надо видеть зрителей, неизменно восторженных зрителей, надо видеть эти самозабвенно-фанатические физиономии уже весьма пожилых, уже давно обрюзгших и давно облысевших ветеранов, сейчас с поистине юношеским воодушевлением марширующих под гул барабанов и под выкрики труб по улицам и площадям, требуя для фатерланда «места под солнцем».

«Простодушные граждане, одурманенные барабанным боем, верноподданническими идеями и высокими словами о верности Нибелунгам, — невесело комментируют эти кадры авторы ленты. — О, мания величия! Они утверждали, что немецкий дух оздоровит весь мир. И все прикрывалось именем народа».

Нельзя не отдать должного мужеству режиссеров. Они не оставили эти кадры парадов и манифестаций в архиве. Они ни на йоту не приглушили их сегодняшнего иронического звучания. Они предъявили их такими, какие они есть, своим соотечественникам и тысячам зрителей других стран, полагая, быть может, что это окажется уроком не только для одних немцев.

Оглянись, человек! — вот о чем говорит, вернее — кричит, этот горький и честный фильм. Оглянись на историю своей страны, взглядишь в сегодняшний день ФРГ! На экране — только документы. Перед тобой — только факты. «Каждый кадр фильма является исторически достоверным», — подчеркивается во вступительных титрах. И в справедливости этого заверения, этого *sperdo* Торндайков пришлось основательно убедиться историкам из ФРГ, крупнейшим специалистам по истории Германии, из которых в свое время был создан специальный секретный комитет с секретной же целью обнаружить «извращение исторической действительности» в ленте «Ты и твой товарищ» (копия была выкрадена в ГДР). Около года в поте лица трудился комитет и вынужден был признать свое поражение: в фильме действительно не удалось обнаружить хотя бы один кадр, который был бы исторически недостоверен.

Оглянись, человек! — вновь и вновь призывают создатели ленты. Оглянись вокруг и подумай: сколько же раз можно так жестоко ошибаться, так жестоко заблуждаться, расплачиваясь жизнью, совестью, здоровьем миллионов людей.

Ведь это все уже было — и парады, и гром военных оркестров, и котелки (позднее шляпы), от избытка чувств взлетающие в воздух, и высокие слова, и клятвенные заверения именем народа. И все это повторяется вновь и вновь, как в дурной постановке безнадежно заштамповавшегося режиссера. И все-таки каждый спектакль, как бы он ни был похож на прежний, собирает аудиторию. Каждое представление рождает взрыв энтузиазма.

Война. Ей в фильме уделено немало метров пленки. И отданы они не только парадом. Используя лишь хронику, лишь кинсархивы, не допуская ни грана инсценировки, Торндайки с образной, художественной силой передают весь ужас, всю тяжесть,

весь духовный гнет несправедливой войны. Они срывают один за другим ее романтические покровы, они показывают, что несет война простому солдату.

Атака. Сколько об этом написано вдохновенных строк! Где, как не в эти мгновения, обнаруживается мужество, сила, смелость и самоотверженность солдата?

Режиссеры отбирают кадры одной из самых яростных атак первой мировой войны, когда пехотинцы — «С богом, за кайзера, за Германию!» — перепрыгивают через проволочные заграждения, через вражеские укрепления, завязывая в траншеях противника яростный рукопашный бой.

Вот они мчатся в атаку — один, другой, третий. И режиссеры, подчиняясь этому сумасшедшему ритму, коротким, стремительным монтажом на миг врубают в кадры немецкой атаки отчаянное, взмокшее от напряжения лицо пулеметчика, как видно, француза... И снова летят на экране солдаты кайзера, спеша навстречу славе, навстречу притаившемуся французскому пулемету. Один за другим прыгают они в широкую вражескую траншею, вдруг уподобившуюся гигантской братской могиле, со зловещим радушием распахнувшей для них свои холодные объятия...

И снова — уже другая — атака. И снова рвутся вперед и вперед солдаты кайзера, и снова деловито косит их вражеский пулемет. И вот тяжело раненный, совсем еще зеленый новобранец, с размаху упав на землю, закрывает в ужасе руками лицо... Эта картина смерти новобранца снова встает в памяти в финале фильма, когда на экране, как бы перекликаясь с ней, возникает разнесенная в клочья батарея и одинокая фигура скрючившегося на лафете солдата, закрывшего в немом отчаянии руками лицо, — молодого белокурого солдата в форме гитлеровского вермахта. Так режиссеры подводят итоги двух развязанных Германией мировых войн. Так кадры хроники превращаются в символ. Так документальное кино из регистратора событий становится гневной образной публицистикой.

Наци идут!.. Это как бы один из лейтмотивов фильма, пронизывающий его от начала до конца (система лейтмотивов — излюбленный прием Торндайков, применяемый ими не только в этой работе).

Наци идут!.. И вот мимо бесконечных, кажется, скелетов домов медленно, торжественно и зловеще проходят солдаты в фашистской форме, с засученными рукавами, с автоматами на груди. Они идут и идут, и кажется, что уже на земле ничего не осталось, кроме этих выжженных и вымерших развалин, — разве только старуха крестьянка с изможденным, морщинистым лицом, провожающая солдат таким ненавидящим, испепеляющим взглядом, что, право, им стоило бы обернуться, стоило бы призадуматься над тем, что происходит вокруг, что происходит с ними...

И возможно, что тогда между ними произошел бы точно такой же диалог, как между героями романа Ремарка «Время жить и время умирать», начавшими однажды размышлять, куда бы уехать, куда бы спрятаться после войны, в какую из стран, где нацистами не было ничего разрушено. И не нашедшими в Европе такой страны. И с горечью и отчаянием понявшими: «Никуда мы больше не поедем! Незачем и мечтать!»

Но бесстрастны лица немецких солдат, шагающих в вечерней мгле среди останков чужих городов и сел, как бесстрастны подслеповатые глаза мешковатого молодого конвоира в очках, деловито охраняющего на перроне молодых украинцев, согнанных на вокзал для отправки на работу в Германию.

Ведь все они — солдаты. Все они исполняют свой воинский долг. Все они выполняют приказ.

Эти кадры подобраны с ювелирной точностью, с беспощадной жестокостью. Они — документы обвинения. И они где-то вступают в спор с не единожды проходящей в фильме мыслью о простодушных людях, которые ничему не научились, о наивных людях, позволяющих обмануть себя, одурманить барабанным боем, высокими словами о верности Нибелунгам.

Нет, не только простодушие, наивность, ограниченность подданных позволили Вильгельму II начать первую мировую войну, дали возможность его бывшему соратнику фельдмаршалу Гинденбургу — президенту Веймарской «республики без республиканцев» — распахнуть двери канцлерского кабинета перед Адольфом Гитлером, разрешили последнему развязать вторую мировую войну, дают возможность нынешним правителям

Бонна вновь бряцать оружием. Это не простодушие, а равнодушие. Обывательски-мещанское равнодушие. То самое равнодушие, о котором с мрачным прозрением сказано: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить».

Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

Разве не это самое равнодушие, не эту духовную слепоту и глухоту, вдруг поразившие часть немецкой нации, имеют в виду авторы фильма, обращаясь к народу Германии, к ее лесам и полям в тот миг, когда на экране возникает самый обычный немецкий поезд тридцатых годов, в котором расположились самые обычные пассажиры и где на окнах одного из самых обычных вагонов виднеются свежеприделанные решетки? В этот вагон и приводят нас режиссеры, показывая со спины человека в полосатой арестантской одежде. Человека, печально и жадно глядящего (быть может, в последний раз!) на эти проносящиеся мимо, забранные железной решеткой города, селения, дома...

«Решетка. За решеткой — склон горы.

По всей Германии потянулись тюремные решетки!

За решеткой — селение.

Сколько смертей ожидает тебя, Германия.

Решетка.

Сколько смертей ожидает вас, живущие здесь.

За решеткой — пейзажи.

Вас, города, вас, долины, вас, леса.

На фоне решетки видна голова заключенного.

О, несчастная страна, когда же ты обретешь покой? Долго мы не услышим голос свободного человека.

Машинист паровоза.

Ты, едущий в этом поезде.

Шахтер в угольной шахте.

Ты, шахтер, добывающий уголь.

Рабочие делают оружие.

Для кого вы производите все это? Кто будет носить эти автоматы?

Рабочие делают танк.

Против кого пойдут эти танки?

Пушки поднимают дула.

Кто скомандует «огонь»?

Рабочие у станка. Деталь крутится на станке. Руки рабочего, работающие на станке.

Как бы вы были непобедимы, если бы все, что создавали ваши золотые руки, вы создавали для себя.

Панорама по заводу. Рабочий у дула пушки.

Почему вы забываете спросить, кто получает то, что вы создаете?

Рабочие собирают пушки. Офицеры с группой рабочих идут по цеху. Офицеры подходят к орудию. Дуло орудия.

Разве не вооружили вы уже однажды своего собственного врага? Разве двадцать лет — это так много, что вы уже успели все забыть?»

Я выписал этот отрывок из монтажных листов «Ты и твой товарищ» для того, чтобы читатель (а не только зритель) ощутил ораторскую, патетическую интонацию авторов ленты, заставляющую вспомнить созданные в двадцатые — тридцатые годы ораторски-публицистические, высокопоэтические фильмы пионера мирового документального кино советского режиссера Дзиги Вертова — «Шестую часть мира», «Три песни о Ленине», «Симфонию Донбасса». Я выписал этот отрывок для того, чтобы рассказ шел не только о режиссерской работе Торндайков; мне хотелось дать читателю возможность ощутить взволнованность литературного текста фильма.

Кстати, я до сих пор не назвал того, кому он принадлежит. Если вам доведется быть зрителями этой ленты (а я надеюсь, что она вновь появится на наших экранах),

то вы все равно не обнаружите его имени — имени Гюнтера Рюккера — в титрах, как, впрочем, не обнаружите там и имен Аннели и Андре Торндайков. Создателей картины было так много, однажды объяснил известному советскому кинодокументалисту Р. Григорьеву Андре Торндайк, что «всех указать невозможно, вот мы и решили в титрах имена не ставить вообще».

2. «СВЕЖИМИ ОЧАМИ»

Это выражение принадлежит Гоголю. В письме своему другу актеру Малого театра Щепкину, сетовавшему на то, что играть нечего, нет новых пьес, Гоголь спрашивал: а старые, уже однажды сыгранные пьесы — разве не засверкают они по-новому, если взглянуть на них «свежими и нынешними очами»?

Эта способность, истинно режиссерская способность, взглянуть на старый материал «свежими очами» отличает творческую манеру Торндайков с первых же шагов. Они берут старую хронику, официальную хронику, барабанную хронику, хронику, с помпой демонстрировавшуюся в свое время во всех кинотеатрах Третьего рейха, извлекают из нее «квадратный корень» — и кадры вдруг приобретают обратный смысл. Уничтожающий, иронический, убийственно-саркастический смысл!

И здесь мне хочется вспомнить имя режиссера, впервые использовавшего, вернее — открывшего, такой прием, имя одного из основоположников документального кино — Эсфирь Шуб.

Когда в середине двадцатых годов Эсфирь Шуб предложила использовать в будущем документальном фильме о Великом Октябре уцелевшие, по слухам, киноленты из личного архива последнего царя, некоторые киноработники взглянули на нее, мягко выражаясь, с удивлением.

— Кадры придворной жизни? Семейная кинохроника Николая Кровавого? Какое это имеет отношение к фильму о Великой Октябрьской революции? А не предоставляет ли тем самым трибуна врагу? Стоит ли тратить время на поиски исчезнувшего царского архива?

Но молодая, начинающая Эсфирь Шуб огличалась упрямством. Она поехала в Ленинград. Она рылась в поржавевших коробках дореволюционной хроники, сваленной тогда в сыром подвале где-то на Сергиевской улице. Она методично пересматривала пленки одну за другой. Она добилась того, что вся собранная ею хроника была перевезена в сухое помещение, в отделение Совкино. Она терпеливо развешивала с помощью давнего работника хроники Хмельницкого пленки с отсыревшей эмульсией и терпеливо ее сушила. Она — с его же помощью — искала, искала, искала... И однажды обнаружила у себя на столе принесенную Хмельницким стопку коробок.

— Эта старая царская контрреволюционная хроника, — сказал он, — не знаю, пригодится ли она вам. Таких коробок у нас очень много.

Эти коробки оказались не чем иным, как личным архивом последнего из династии Романовых...

Хроники, по воспоминаниям Эсфири Шуб, обнаружилось около двадцати тысяч метров. «Все было хорошо снято. Николай и его супруга любили сниматься. Они сняты в домашней обстановке, на парадах, маневрах, смотрах гвардейских полков, на флоте, в Москве, Петрограде, Ялте, в заграничных путешествиях, в поездках по стране, на открытых памятниках, вместе с черносотенными министрами, в кликушеских религиозных шествиях, даже в Саровской пустыни». И в знаменитом фильме Эсфири Шуб «Падение династии Романовых» эти «контрреволюционные кадры» хроники зазвучали вполне революционно. С нескрываемой сатирической силой. Умилительные картинки из «семейного альбома» русского царя вошли в фонд мирового кино...

Надо отдать должное Торндайкам — в первой серии «Русского чуда» они не без юмора перелистали несколько страниц этого киноальбома, дополнив сей небезынтесный экскурс дневниковыми интимностями его величества. Последний русский царь был трудолюбив: он оставил потомкам кучу дневников. Тридцать толстых тетрадей, где каждая строка, по замечанию авторов фильма, «дает наглядное представление о круго-

зоре самодержца одной из самых великих империй мира...» На сотнях страниц он описывал, когда он ел, где он ел, с кем он ел и что он ел. А чтобы абсолютно все было упомянуто, он прилежно записывал.

На страницу накладываются выхваченные из дневников предложения:

«Долго спал», «Великолепно выпались и проснулись с дождем», «Спали долго, я в особенности — до 10 часов...»

Режиссеры не отказывают себе — и зрителям — в язвительном удовольствии прочитать одну из записей от начала до конца: «15 августа, среда. День был теплый, утром шел дождь до 12 часов с перерывами, потом погода поправилась. В 11 часов поехали к обеду. Завтракала Тинхен с дочерьми Альбера. Погулял с Ольгой, Татьяной и Анастасией. Возились на гигантских шагах и прыгали на сетке». И тут же подкрепляют эти дневниковые записи страницей из кинолетописи: царь и царица, старательно помахивая ракетками, перебрасываются теннисными мячами, которые услужливо подносят им носящиеся по корту матросы. А вот его величество со свитой с веселым визгом купаются в пруду... Или кадры церемонии в Кремле в честь трехсотлетия дома Романовых. Тогда операторы не умели еще монтировать и делать цензурные вымарки. И вот чья-то бесхитростная камера запечатлела в первом плане торжественного шествия явно «ответственного» чина, выбежавшего из рядов и грозящего пальцем какому-то недисциплинированному нарушителю в толпе...

Я позволил себе этот экскурс в экранную жизнь семейного киноальбома последнего из дома Романовых, потому что не одна из его хлестких страниц, процитированных в свое время Эсфирью Шуб, пришла мне на память, когда в фильме «Это не должно повториться» на площади перед новобранцами вырос последний из Гогенцоллернов — Вильгельм II. Наблюдая актерски-напыщенную игру передвигающегося, как на шарнирах, кайзера, я словно услышал его лающую, отрывистую, как команда на плацу, речь: «Для вас ныне существует только один враг — это мой враг. При нынешних беспорядках, творимых социалистами, может случиться, что я прикажу вам стрелять в ваших близких, в братьев и даже родителей. Но и тогда вы должны безропотно выполнить мой приказ».

Быть может, подобно тому как стали хрестоматийными кадры из первых фильмов Шуб, станут с годами хрестоматийными и кадры из первых лент Торндайков, их приемы использования хроник времен Гогенцоллернов и особенно фашистских еженедельных киновыпусков «Die deutsche Wochenschau».

Ведь стоит вспомнить словно окаменевшие спины и затылки снятых сзади рекрутов, слушающих эту печально знаменитую речь последнего кайзера, как без долгих объяснений станет понятно, что такое «пруссачество», что такое «вильгельмовский дух», годами насаждавшийся не только в казармах, но и в университетских аудиториях, где еще в 1913 году можно было услышать из профессорских уст: «Человек категорического императива — это идейный знаменосец истинного прUSSачества! Германскому народу во всех его многочисленных племенах слишком недоставало прUSSкого: «Ты должен! Ты обязан!» — в качестве политического цемента».

А ведь этот парад «знаменосцев истинного прUSSачества» был извлечен из хроникальной ленты начала века, когда все снималось еще с одной точки, долгими планами и хроникеры менее всего задумывались об образности. Да, необходим был острый глаз художника, безошибочное чутье публициста, чтобы выхватить из пространной и торжественной церемонии именно эти кадры, бьющие прUSSачество, нацизм наповал. Перефразируя «Фауста», режиссеры могли бы иронически вспомнить гётевское: «Остановись, мгновенье!» Вот в одном из последних выпусков «Die deutsche Wochenschau» ставший от важности чуть ли не выше ростом Геббельс, обходя строй фольксштурмистов, вдруг — словно специально для вящего обобщения — застыл рядом с совсем еще юным, добродушным, наивно-восторженным мальчуганом в форме фольксштурма. Нужны ли здесь комментарии?

Однако Торндайки не отказываются и от комментария — от кинокомментария, создаваемого контрастным саркастическим монтажом. Вот Гитлер в 1933 году выступает на стадионе перед рядами солдат: «Наступило великое время, которое мы ждали четырнадцать лет. Германия пробудилась». И сразу: крупный план штурмовика, дающе-

го короткий командный свисток. Солдаты, решительно опускающие ремешки своих шлемов. Машины со штурмовиками, мчащиеся по выметенным тревогой улицам. Одинокый крик человека, рванувшего раму, и паучьи следы от пуль, разбежавшиеся по захопнувшемуся окну...

Так «пробуждалась» Германия...

А вот еще один из выпусков геббельсовских «Die deutsche Wochenschau» (лето 1942 года). Танки со свастикой на броне несутся по необрунным кубанским полям. Обливаясь потом, бодро шагает по шоссе пехота. Двое рослых, белокурых, совсем еще юных мотоциклистов, явно позируя, кокетливо улыбаются в объектив. А взвинченный, истерично-восторженный голос диктора оповещает: «Большое наступление на Востоке продолжается. Солдаты фюрера и здесь совершают небывалые подвиги».

Торндайки почти ничего не меняют в этом выпуске, они лишь привлекают наше внимание к боевому кресту, украшающему грудь одного из довольно улыбающихся, «совершающих небывалые подвиги» солдат фюрера. И вот на экране уже целый строй крестов, оттесняющих куда-то в глубь кадра шагающих по шоссе «солдат фюрера», — одинаковых, аккуратных могильных крестов, безмолвно выстроившихся там, где шло «большое наступление на Востоке».

Ирония, сарказм рождаются у Торндайков не только из монтажных сопоставлений. Нередко они сталкивают изображение и текст. Так, когда диктор в короткометражном фильме-памфлете «Отпуск на Зильте» оповещает, по каким ссображениям союзники отказались выдать Польше палача Варшавы, эсэсовца № 56634, то...

Впрочем, чтобы избежать недоуменных вопросов, необходимо представить читателям героя этого фильма — внимательного, скромного бургомистра скромного курортного городка на острове Зильте господина Рейнефарта, который, по сочувственному признанию авторов ленты, «несправедливо остается в тени». Несправедливо и незаслуженно, потому что всего каких-нибудь тринадцать лет назад (фильм был выпущен в 1957 году) господин бургомистр был генералом полиции, командиром соединений СС, брошенных на усмирение восставшей Варшавы.

Итак, когда мы узнаем о том, что союзники в лице майора Бьюкенена заявили, что «по причинам безопасности выдача Рейнефарта нецелесообразна», на экране — во весь экран! — возникает фотография улыбающегося Рейнефарта в форме генерала СС. Самодовольно, победно ухмыляющегося эсэсовца № 56634, словно предчувствовавшего, что одиннадцать лет спустя, после того как на Нюрнбергском суде народов войска СС будут признаны преступной организацией, близ Вюрцбурга в жаркий июльский день вновь загремят барабаны и восемь тысяч бывших офицеров СС придут на свой слет. И каждый придет на собственной машине. И вдоль Майна почти на километр, как на смотре, протянется строй авто. И генерал СС Майер, любивший величать себя Панцер-Майер, будет щедро раздавать своим бывшим соратникам автографы...

3. «УМНЫЕ ФАКТЫ»

На пресс-конференции в Центральном доме литераторов после просмотра «Русского чуда» Торндайка был задан вопрос: как удалось им отыскать те фото и те кинокадры давних лет, которые так потрясают?

— Никакого секрета не было, — ответил кто-то из них. — Мы просто очень долго и очень много искали.

Да, они умеют искать. С удивительным трудолюбием. С невиданным упорством. Достаточно вспомнить, что, создавая ленту «Ты и твой товарищ», они просмотрели свыше шести миллионов метров пленки, чтобы отобрать в результате около трехсот тысяч. За время четырехлетней работы над «Русским чудом» ими было изучено и снято столько материала, что на один просмотр его понадобилось бы пять суток.

«Тонны породы — и один грамм бесценной руды в виде пожелтевшей, технически бесполезной фотографии далеких времен, — писал крупнейший советский документалист Роман Кармен. — Затем в дело вступала великолепная, совершенная техника — и крошечная фотография увеличивалась до метрового размера. Эта операция похожа на

работу по реставрации древних фресок, когда из-под ремесленной мази заискрится вдруг настоящее искусство».

Но если бы фильмы Торндайков были лишь добросовестным собранием фото- и кинокадров, лишь скопищем, грудой фактов, ни у кого из зрителей этих лент, столь резко превышающих принятые когда-то лимиты и традиции документального кино, не хватило бы ни сил, ни желания досидеть до конца. А ведь перед кинотеатрами в ГДР, где в 1954 году шел фильм «Ты и твой товарищ», как уже говорилось, выстраивались очереди. Ведь на «Русском чуде» в первые две недели демонстрации побывало 1320 тысяч человек и печать констатировала, что «в ГДР еще ни один фильм не привлекал столь большого числа зрителей». Ведь в Москве в течение трех месяцев название «Русское чудо» не сходило с афиш кинотеатров художественных фильмов.

В чем здесь секрет? В 1928 году Александр Фадеев, споря с левовцами по поводу фильма «Падение династии Романовых», говорил на съезде пролетарских писателей: «...Левовцы не видят того, что Шуб шла по линии искусства, а не по линии простой фиксации фактов, потому что она приводила факты в определенную систему, брала наиболее типичные и тем самым превращала их в художественные символы».

Торндайки, подобно Шуб, знают, что для того, чтобы создать историко-документальный фильм, мало разыскать уникальные кинокадры, редчайшие фото, потрясающие документы (хотя само по себе это очень и очень не просто!), — необходимо «идти по линии искусства».

«Наша работа над новым фильмом, — рассказывали они в связи с «Русским чудом», — не может начаться с того, с чего в узком смысле начинается производство кинокартины, а именно — с написания сценария. Задолго до этого для нас начинается работа, имеющая, очевидно, больше общего с работой историка, а в некоторых случаях криминалиста, чем с работой создателя фильма. Натолкнувшись на событие или на какой-то интересный случай и решив показать его средствами документального кино, мы прежде всего приступаем к уяснению и конкретизации всех фактов и подробностей, связанных с этим событием. Мы стремимся собрать документы, рассказы очевидцев и другой материал в таком большом количестве и такой достоверности, чтобы ясно выявлялся как внешний ход происходящего, так и заключающиеся в нем логика и смысл.

Только тогда, когда этот первый этап в нашей работе проходит успешно и нам удается детализированно, с помощью фактов, раскрыть суть дела, мы приступаем к следующему этапу в нашей работе — к подготовке экранизации соответствующего события. Этот второй этап проходит в поисках киноматериала, а в некоторых случаях и фотографий, необходимых для того, чтобы сведения о том или другом событии приобрели форму фильма...

Нередко случалось, что после многомесячной работы, которая позволяла полностью выяснить суть дела, оказывалось, что событие не поддается экранизации, ибо нам не представляется возможным найти в необходимом количестве подлинные кино- или даже фотодокументы.

Если читатель учтет все сказанное выше, то он поймет, что архивы фильмов, фотографий и документов всего мира — для нас любимое место охоты».

Они любят повторять: «Наш творческий принцип — ни капли выдумки. Факты и только факты».

Но факты эти всегда увидены глазами художников-публицистов. Художников, точно и ясно знающих, что они хотят и что защищают. Художников, для которых суть искусства не в констатации, а в осмыслении явлений действительности, в приговоре над ними, пользуясь выражением Чернышевского. Н. Охлопков на премьере «Русского чуда», напомнив известное выражение Бальзака: «Глупо, как факт», заметил, что вот Торндайки знают «цену умным фактам».

«Умные факты» — это доказательные факты. Это осмысленные факты, приведенные в определенную систему. Это наконец факты, вовлеченные мастерством и волей сценариста и кинорежиссера в острое столкновение, в конфликт.

О том, как удалось нащупать и раскрыть глубинный конфликт в эпопее «Русское чудо», будет сказано ниже. А пока обратимся к уже знакомой нам ленте «Ты и твой

товарищ», в работе над которой режиссерам стало особенно ясно, что мало отыскать «враждебные» кадры, надо столкнуть их так, чтобы полетели искры. Надо добиться, чтобы каждый кадр стрелял. И у Торндайков они стреляют. И в эту схватку, в этот спор двух непримиримых идеологий режиссеры со всей страстью и убежденностью вовлекают зрителя. Они не дают ему сидеть на своем стуле спокойно, не позволяют бесстрастно переворачивать страницу за страницей истории. Они хотят, чтобы он печалился вместе с ними, негодовал вместе с ними, иронизировал вместе с ними.

А своих симпатий и своих привязанностей они не скрывают. Им явно импонирует Карл Либкнехт — этот типичный интеллигент в типичном интеллигентском пенсне. Они дважды (правда, по разным поводам) дают уникальные кадры его выступления на площади, бурлящей народом. И стремительный, яростный жест его правой руки, на что-то указывающей, о чем-то предупреждающей, навсегда остается в памяти. Как навсегда остается в памяти почерневшее, обрубленное ударом то ли молнии, то ли снаряда дерево на склоне горы в Тиргартене, где 15 января 1919 года был обнаружен изуродованный до неузнаваемости труп того, о ком в 1944 году помощник государственного секретаря США Сэмнер Уэллес писал: «Если бы было больше Карлов Либкнехтов, будущее Германии и всего мира выглядело бы иначе».

Как видно, не сохранилось киноизображений Розы Люксембург, иначе Торндайки их наверняка бы откопали. Но какой пронзительной скорбью, какой высокой поэтической грустью наполнены кадры словно подернутого траурной тенью Ландверканала, откуда было извлечено тело Розы Люксембург с проломленным черепом.

И точно так же, как Карл Либкнехт и Роза Люксембург, создателям ленты явно импонирует Эрнст Тельман с его обликом типичного рабочего. Импонирует своей силой, мужеством, непоколебимой убежденностью, которую ощущаешь в каждом его ораторском жесте, в каждом решительном повороте головы. И немногочисленные кадры выступлений Тельмана на митингах и демонстрациях покоряют своей скульптурностью, мощью. Они резко, почти вызывающе контрастируют с истерично-припадочной манерой Адольфа Гитлера, хотя режиссеры ни разу не располагают их рядом, оставляя этот «монтаж» фантазии зрителя.

Да, их симпатии безоговорочно отданы немецкой компартии, немецкому трудовому народу, жизнь и борьбу которых они прослеживают на протяжении полувека. Перебирая кадры «производственной хроники» прошлых лет и снимая новые в ГДР, они откровенно любят мастерством, трудолюбием тех, кто стоит у станка, работает в поле, они гордятся их выдержкой во время открытой и подпольной борьбы с нацизмом. И точно так же авторы фильма до конца откровенны (пускай противники такой открытой публицистической манеры скажут: тенденциозны, прямолинейны) в своей не любви, в своей ненависти к тем, для кого «война — это целебная ванна» согласно признанию Гинденбурга, оставленному в дневнике.

Стоит вспомнить, с какой безжалостной логикой развертывают Торндайки — на примере истории семейства Круппов — тему власти монополистического капитала, в чьих опытных и жестких руках Вильгельм II, Гинденбург, Гитлер и Аденауэр не более чем марионетки.

Стоит вспомнить портреты Гитлера с его истеричной пластикой провинциального актера; Геббельса, улощенного генеральской властью в последние часы Третьего рейха; смачно хохочущего, вернее — ржущего, Геринга и того же — осунувшегося, настороженного Геринга в машине, петляющей посреди развалин Берлина (здесь, правда, сами объекты во многом «сыграли на руку» режиссерам!).

4. «Я ОБВИНЯЮ!»

Точнее было бы сказать: мы обвиняем, поскольку режиссеров двое. Но классической стала формула Эмиля Золя. Поэтому — «l'accuse».

«Документы обвиняют» — так Торндайки предполагали назвать серию лент о нацистах, прeusпевающих в сегодняшние дни. В этой серии под номером первым они выпустили короткометражный фильм «Отпуск на Зильте», под номером вторым — «Операцию «Тевтонский меч». А прологом к этой серии послужили те части ленты «Это не должно

повториться», где действие происходит в ФРГ. Там на улицах Бонна, в министерствах, в роскошных кабинетах фабрикантов режиссеры впервые повстречались со многими «героями» своих будущих лент: и с пушечным королем Круппом, и со стальным королем Фликом, и с генералом Гансом Шпейделем. Они увидели их на журнальных фото, в выпусках кинохроник, оживленно беседующих, непринужденно раскланивающихся, солнечно улыбающихся. И тогда же решили помочь им (явно рискуя испортить настроение всем этим уважаемым господам!) вспомнить то, о чем им явно вспоминать бы не хотелось. И вот за спиной сегодняшнего уверенного, благополучного Флика возникает (опять эта двойная экспозиция!) настороженный, бледный господин Флик, по обе стороны которого у судебного барьера застыли два конвоира. И вот приветливая улыбка сегодняшнего Круппа сменяется точно такой же приветливой улыбкой того же самого Круппа фон Болен унд Гальбах-младшего, только адресована она... столь же радушно пожирающему ему руку Герману Герингу.

«Да, это тот самый Крупп — обвиненный, осужденный и освобожденный», — спешит развеять наши сомнения диктор.

«Да, это тот самый Флик — обвиненный, осужденный и освобожденный...»

Эти кадры по мгновенной силе воздействия можно сравнить с кокаутom. Но Торндайки задумались уже о другом. А что, если пройти шаг за шагом по жизни одного из тех оруженосцев Гитлера, кто задает сейчас тон в ФРГ? Выбор пал на генерала Ганса Шпейделя. Почему именно на него? Наверное, здесь сыграла свою роль их невеселая прогулка по Парижу апрельским днем 1957 года, когда человек, управлявший по воле Гитлера Францией из замка Фонтенбло, вновь торжественно прибыл в знакомые покои, но уже в качестве генерала НАТО. Тогда-то им стало ясно, что они не могут молчать, что они обязаны раскрыть тайну этого «философа в офицерском мундире», этого «ученого с манерами дипломата мирового масштаба», как с придыханием пишут о нем биографы. И они начали свой поединок — да, поединок с Гансом Шпейделем. С человеком, девизом которого с самых молодых ногтей было: осторожность, осторожность и еще раз осторожность. С влиятельнейшим человеком в ФРГ, сделавшим все, чтобы стереть и вырвать из биографии нежелательные страницы: к примеру, свидетельство о том, что именно им, а не кем-нибудь еще был выдан Гитлеру кумир нацистской Германии фельдмаршал Роммель как один из главарей знаменитого заговора против фюрера 20 июля 1944 года.

— Почему уцелел именно Шпейдель? — спрашивают Торндайки в своей книжке «Операция «Тевтонский меч». — Почему гестапо отпустило Шпейделя на свободу? Ответ будет неожиданным только для тех, кто не знает биографии Шпейделя с момента прихода Гитлера к власти и до этих бурных дней 1944 года. А если же она известна, то все представляется весьма простым и логичным.

Не будем утверждать, хотя для этого и имеются кое-какие основания, что Шпейдель был платным сотрудником гестапо. Однако совершенно неоспоримо, что в течение ряда лет он являлся активным секретным агентом гитлеровской военной разведки...

Правда, английское радио, которое было так взволновано нашим разоблачением Шпейделя, утверждало, что нет никаких доказательств того, что он выдал фельдмаршала Роммеля. Однако со всей прямотой следует заявить, что это поистине бесстыдная ложь. Именно по этому вопросу имеется нотариально заверенный документ, неоспоримо доказывающий сотрудничество Шпейделя с гестапо. Английское радио не может утверждать, что ему неизвестно это документальное доказательство, ибо мы привели его в нашем фильме, который так внимательно изучался в лондонском радиоцентре. Документ написан сыном Роммеля Манфредом. Манфред Роммель через несколько дней после того, как войска союзников заняли небольшой южногерманский городок Ридлинген, сделал бургомистру заявление под присягой относительно обстоятельств смерти своего отца...

В нотариально заверенном заявлении Манфред Роммель очень подробно описывает свой последний разговор с отцом: «Его бывший начальник штаба, генерал-лейтенант Шпейдель, арестованный несколько недель тому назад, показал, что мой отец играл в заговоре 20 июля 1944 года руководящую роль...» (Как известно, Роммелю было предложено от имени Гитлера или отравиться и остаться в памяти народа героем, или же не-

медленно предстать перед «народным трибуналом». Фельдмаршал предпочел принять яд, и ему были устроены государственные похороны с торжественными речами, с пышными венками, с горьким соболезнованием от фюрера. Эти похороны, заснятые на пленку, Торндайки демонстрируют в своей ленте, заставляя самого фельдмаршала — посредством двойной экспозиции — с тревожной прозорливостью наблюдать за этой величественной церемонией.)

О заявлении Манфреда Роммеля Торндайки узнали еще в 1955 году. «Но тогда не был известен точный текст, — рассказывают они. — Наконец в феврале 1958 года нам удалось получить экземпляр газеты, первой опубликовавшей этот документ... Из газеты мы узнали, что официальным лицом, перед которым Манфред Роммель сделал заявление под присягой, был бургомистр города Ридлингена Фишер.

Один из наших друзей отправился в Ридлинген, чтобы познакомиться с оригиналом заявления. Он разыскал бургомистра — старого человека, которому было уже за семьдесят. Господин Фишер хорошо помнил, как в апреле 1945 года к нему пришел сын фельдмаршала Роммеля и сделал это сенсационное заявление.

Однако как только речь зашла об оригинале документа, старый бургомистр сразу же вышел из себя: за последние месяцы этот документ требовали от него уже раз пятьдесят, если не больше, пояснил он. А ведь документа у него нет с 1952 года, с тех пор как к нему явились два господина из боннского министерства внутренних дел и отобрали заявление Манфреда Роммеля. Такого случая с ним не было за все сорок лет, в течение которых он занимает пост бургомистра».

Когда сейчас перебираешь в памяти вошедшие в «Операцию «Тевтонский меч» кинокадры, в которых фигурирует Ганс Шпейдель собственной персоной, то, право, хватает пальцев одной руки. Какой же нужно было обладать смелостью, непримиримостью и упорством, чтобы, имея на руках только эти кадры, все же продолжать борьбу. Но здесь и сказались интуиция, одаренность, мастерство режиссеров. Вернее, уже не просто режиссеров, а исследователей. И даже не исследователей, а следователей.

Теперь их можно увидеть не только в просмотрных залах кинофильма, но и в архиве методично перелистывающими папки с документами Третьего рейха.

Они понимали: Шпейдель мог со свойственной ему элегантностью «дипломата мирового масштаба» «уклониться» в сторону в тот миг, когда почувствовал на себе глаз кинообъектива, мог столь же мягко и решительно оказаться вне поля зрения фоторепортеров, но — увь! — подписи на официальных бумагах... если, конечно, эти бумаги уцелели... И они разыскали: донесения, препроводительные к отчетам, телеграммы. Возможно ли на этих документах построить фильм, который будет интересен, нужен не только прокурору и членам будущего суда? (Он так пока и не состоялся.) Оказывается, можно. Более того: можно заставить зрителя, даже не знающего языка, с пристрастием «читать», изучать на экране эти документы.

Короче: «Операция «Тевтонский меч» смотрится как детективный фильм, хотя режиссеры нигде и ни в чем не позволяют себе прибегнуть к искусственному заострению сюжета. Они лишь распутывают ниточку за ниточкой биографию почтенного генерала, неуклонно втягивая зрителя в ход своих поисков, в систему своих доказательств.

Начинают они как будто издалека: кадры старой французской хроники демонстрируют похороны погибшего от рук террориста министра иностранных дел Франции Луи Барту. Торжественно и печально движутся за гробом виднейшие государственные деятели, друзья, родные. И так же торжественно и печально — уже в югославской киноленте — движется процессия за гробом югославского короля Александра I — второй жертвы того же покушения.

Диктор начинает рассказ: «В этот день 18 октября 1934 года никто из участников похоронной процессии не знал, что существует какая-то операция «Тевтонский меч». Но в нескольких шагах от королевы шел человек, который не только знал, но и хранил в своем сейфе имена всех сообщников убийства». И белая мультипликационная стрела в это мгновение вливается в Германа Геринга в форме генерала СС, и он на миг застывает в «стоп-кадре» с нелепо поднятой ногой. Но вот генеральский сапог опять опустился на мостовую, траурная процессия двинулась в путь, а стрела спешит дальше. На ста-

рой, выцветшей парижской фотографии она обнаруживает приземистого капитана, почтительно отдающего кому-то честь. Это и есть Ганс Шпейдель, тогда незаметный помощник военного атташе при германском посольстве в Париже. Это ему Геринг направил 1 сентября 1934 года секретное «распоряжение фюрера и рейхсканцлера относительно операции «Тевтонский меч». Это он сообщил Герингу 3 октября, что «подготовка операции «Тевтонский меч» уже завершена», приложив в подтверждение копию донесения своего подручного Ганса Хаака, подробно излагавшего всю процедуру встречи в Марселе Александра I и все предусмотренные французской полицией меры по его охране.

Это донесение и звучит за кадром, пока по плану города, нащупывая путь, применяясь, прикидывая, рыщет стрелка, пока идут кадры французских операторов, прибывших снимать встречу министром Барту югославского короля, а заснявших свалку у автомобиля, руку отступающего перед полицейскими убийцы с уже пустым, бессильным револьвером, стекленеющий взгляд смертельно раненного Александра I и странно поспешное убийство полицейскими тут же, на месте покушения, террориста — единственного, кто бы мог пролить свет на все это темное дело.

«Все «играет» у Торндайков, даже паузы, — писал режиссер Р. Григорьев. — Вот на аппарат идет автомобиль с королем Александром и Барту. И медленно, в ритме движения автомобиля, говорит диктор: «После выполнения первых пунктов протокола Александр и Барту в открытой машине поедут из старого порта в префектуру...» Но вот постепенно меняется темп и интонация дикторского текста: «Машина пройдет еще несколько метров. Затем покушавшийся сомнет оцепление слева и прорвется к машине».

И сразу — пауза. И черная проклейка в изображении. Затем — смятение в толпе, а в автомашине лежит убитый король Александр. К нему тянутся руки... Но эмоционально все уже решено паузой, черной проклейкой. Без этого на экране была бы просто хроника. А благодаря проклейке возник драматический эпизод, в котором чувствуется дыхание истории».

Однако, исследуя и расследуя историю убийства Александра I и Барту, режиссеры располагали хроникой, запечатлевшей трагическую развязку тогда еще никому не известной операции «Тевтонский меч», осуществленной капитаном Шпейделем. А как рассказать о «благородной» деятельности подполковника Шпейделя во Франции в 1941—1942 годах? В распоряжении Торндайков оказался отчет, подписанный начальником штаба оккупационных войск Шпейделем: «Настроение населения и внутренняя безопасность», датированный 28 февраля 1942 года. Пространный военный отчет, полный текст которого занял в книге Торндайков около пяти страниц. Сухой, канцелярский отчет, методично разбитый на разделы, параграфы и подпараграфы:

- 1) Вражеская пропаганда.
- 2) Немецкая контрпропаганда.
- 3) Диверсионные акты.

Демонстрируя этот документ с одобрительными пометками на полях начальника Главного штаба вермахта Кейтеля, повешенного в Нюрнберге в 1946 году по решению Суда народов, режиссеры останавливают наше внимание на разделе третьем, на параграфе «г»:

«За отчетный период осуществлены следующие карательные мероприятия: аа) За различные инциденты и диверсии с применением взрывчатых веществ в Париже 3.2.42 расстреляно 6 коммунистов и евреев», — звучит за экраном холодный методичный голос, словно читающий приговор. И вдруг строка: «расстреляно 6 коммунистов и евреев», как бы отделается от текста, наплывает на зрителя, а на экране сквозь аккуратные немецкие строки отчета проступают фигуры немецких солдат, берущих автоматы на изготовку, и мы видим, как тела расстрелянных медленно оседают у стены... И тогда на текст отчета, на тела расстрелянных накладывается как всегда благочинная, как всегда интеллигентная, как всегда чуть задумчивая физиономия «философа в мундире» — доктора генерала Ганса Шпейделя, нынешнего начальника штаба сухопутных войск НАТО.

И еще несколько строк отчета: «В связи с мероприятиями по пунктам бб) — гг) по всей оккупированной территории было отдано распоряжение о передаче немецким вла-

стям 1000 арестованных коммунистов и евреев. Последние подготовлены к высылке на Восток».

А сквозь эти строки под нацистским конвоем движутся и движутся люди со сложенными на затылках руками...

«Так началось,— комментируют авторы фильма.— И так закончилось». А на экране — ряды колючей проволоки Освенцима (то, что это именно Освенцим, то, что тысяча евреев и коммунистов была отправлена именно туда, подтверждается документами Центральной комиссии по расследованию военных преступлений гитлеровцев в Польше, которые приводятся в книжке «Операция «Тевтонский меч»).

Примеры гневной изобретательности Торндайков, равно как и «элегантной» низости генерала доктора Шпейделя, можно было бы умножить... Но вспоминается признание режиссеров, сделанное в 1958 году: «Мы физически уже не можем возиться с той грязью и подлостью, запечатленными на кинолентку, с которыми мы имели дело последние пять лет. Нам необходимо заняться чем-то хорошим, величественным, светлым. Вот почему мы решили сделать перерыв в нашей серии обличительных фильмов». И потому довольно о Шпейделе, Круппе и Рейнефарте:

5. «КАКАЯ ОНА, РОССИЯ?»

«Перерыв» затянулся на четыре года. За это время Торндайками была создана двухсерийная эпопея «Русское чудо».

Со свойственной им обстоятельностью режиссеры называют день и час, когда окончательно откристаллизовалась главная цель их будущего фильма. Это случилось в марте 1959 года в Лейпциге, когда Н. С. Хрущев, выступая на девятой Общегерманской рабочей конференции, сказал: «Те, кто строит свою политику на запугивании недостаточно сведущих людей коммунизмом, будут горько разочарованы, когда эти люди узнают, что коммунизм — это не пугало, что он несет счастье всему человечеству. Коммунизм — это заря будущего всех народов».

На премьере «Русского чуда» в Москве Андре Торндайк уточнил: «Собирая материал для фильма, мы с женой побывали во многих городах мира. И убедились в том, что еще очень многие люди имеют весьма туманное представление о Советском Союзе. «Что, если бы эти люди,— сказала мне Аннели,— смогли поехать в Россию и посмотреть на все своими глазами...» Но мы понимали, что это невозможно, и поэтому решили создать такой фильм, который бы показал всему миру, чего добились советские люди за сравнительно короткие сроки». Но все это пришло уже, так сказать, в пути. А как началась работа?

Говоря о прежних лентах Торндайков, я уже позволял себе без стука приоткрывать дверь их творческой лаборатории — рискну еще раз, по-прежнему больше предполагая, чем располагая фактами, которые так ценят и уважают авторы «Русского чуда». Хотя кое-какие данные у меня есть. Мне известно, к примеру, что Торндайки однажды показали В. Осминину — главному редактору Центральной студии документальных фильмов, «при дружеской помощи» которой, как гласят титры, создавалось «Русское чудо»,— рукопись: «Заметки к выяснению вопроса о том, что должно быть показано в документальном фильме о Советском Союзе».

«Содержание фильма,— говорится в этих рабочих заметках, законченных 16 декабря 1958 года и занявших около пятидесяти страниц,— будет заключаться в изображении борьбы советского народа за решение главной экономической задачи, в освещении мысли, сформулированной Лениным в 1917 году: «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически». Фильм будет иметь небольшую историческую часть, большая же часть посвящена современности. Здесь будет показано, как экономическое соревнование двух систем вступает в свой новый и последний этап».

В сценарий намечалось включить восемь следующих «комплексов»: освоение новых промышленных районов на Востоке, энергетическая проблема и радикальное изменение

в топливном балансе, развитие химии, комплексная автоматизация и механизация, рост благосостояния советского народа, вопросы коммунистического воспитания, ориентация системы воспитания на новые задачи, развитие науки в СССР, опережающей науку других стран.

Рассчитывая охватить все эти восемь «комплексов», Торндайки и отправились в поездку по Советской стране... Они побывали в Казахстане и в Омске, в тундре и на Ангаре, на Крайнем Севере и Южном Урале. Ими было отснято сто километров (!) пленки. И на каком-то из километров был совершен решительный поворот.

Не берусь определить на каком. Но о том, что так было, неопровержимо свидетельствует первая серия «Русского чуда», занявшая два часа вместо предполагавшихся двадцати минут.

Как же так могло произойти с режиссерами, известными своей предусмотрительностью, аккуратностью, пунктуальностью? Рискну предположить, что, отправившись, как всегда, на свое «любимое место охоты» — в архивы и фильмофонды, — Торндайки были потрясены открывшейся им картиной российского прошлого. Как и большинство европейцев, они, вероятно, мало что знали о жизни дореволюционной России, а здесь — фотографии, документы, кинокадры. И все об одном. О кричащих, о вопиющих контрастах богатейшей по своим природным данным страны Об оглушающей, об удручающей, о подавляющей ее нищете. О нечеловеческом существовании человека...

Об этом нельзя было информировать зрителя походя, между прочим. Об этом нельзя было молчать. В этом необходимо было разобраться и выявить «как внешний ход происходящего, так и заключающиеся в нем логику и смысл», надо было понять самим и дать возможность понять другим, как смогла страна, где еще полвека назад соха была преобладающим орудием производства, первой в мире послать человека в космос, как стал возможен полет Юрия Гагарина, которым, словно торжественным заповедом, начинают Торндайки свою эпопею.

Действительно: как? «Какая она, Россия, которую большевики решили неизведанными путями привести к коммунизму?»

На этот вопрос режиссеры хотят ответить, всматриваясь в толпу, заполнившую 7 ноября 1918 года площадь Революции в Москве, где предстояло открытие первого памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Они вглядываются и вглядываются в глаза, в лица этих промерзших на ветру, годами недоедавших и недосыпавших, невеселых, сосредоточенных людей, которые собрались на празднование первой годовщины Октябрьской революции. Опять и опять они увеличивают, кадрируют эту старую фотографию, укрупняя и «оживляя» не только лица людей, ожидающих выступления Ленина, но как бы читая их мысли, вслушиваясь в их голоса, угадывая порой их безмолвные споры:

«Старый бородатый рабочий глубоко задумался.	Долго ли продержимся?
Средних лет рабочий с решительным выражением лица.	Стоят фабрики...
То же, другой план.	Пустует мое место у станка.
Морщинистое, заросшее густой бородой лицо старого крестьянина.	Деревня моя сгорела. Куда мне теперь податься?
Группа: на переднем плане старик крестьянин в шапке с козырьком.	Анна с ребятами осталась на юге — где белые...
То же, крупное лицо старика крестьянина.	Только бы там не узнали, что я большевик.
Молодой рабочий с суровым, решительным взглядом. На нем кожаная куртка и шапка-ушанка.	Завтра наш отряд уходит на Восток, за Волгу...

Старый крестьянин с окладистой бородой, голова непокрыта. На крестьянине разорванный зипунишка.

Зима скоро — ватник бы мне...

Старый крестьянин с седой бородой, в ушанке. Задумался.

Патроны нужнее...»

В этом условном приеме почти не ощущаешь условности. Лица на старой фотографии оживают, превращаясь в привычные крупные планы кино, которые режиссеры лишь чуть дольше обычного задерживают на экране...

Для них эти безмянные фигуры стали живыми, конкретными людьми. Они — мостик между прошлым России и ее будущим. Недаром на толпу, собравшуюся у памятника Марксу и Энгельсу, в какую-то минуту наплывает черная, мрачная тень и, резко повернувшись вокруг своей оси, вдруг превращается в последнего царя Николая Романова.

Так завязывается основной конфликт первой серии «Русского чуда» — столкновение старой и новой России, перерастающее в спор двух систем, социалистической и капиталистической, — в спор, продолжающийся до сего дня.

Так, задумав вначале (в самом начале, как свидетельствует один из очевидцев) кинорассказ о прогрессе советской науки, режиссеры пришли к эпосе. «Пришли» — написать это слово куда проще и легче, чем решиться на такое путешествие в глубь истории огромной и не очень знакомой страны.

Р. Кармен утверждает, что новаторство Торндайков «в первую очередь в том, что они взялись за полотно, отражающее полувековую эпоху, важную в истории не только Советской страны, но и всего человечества». Смело. Но одной только смелости, хотя она согласно поговорке и города берет, мало. Необходимы знания. В творческой группе Торндайков создается ни больше, ни меньше как научно-исследовательский отдел. И это не просто название.

Огромный шкаф во всю стену, от пола до потолка. Он неизменно фигурирует в рассказе каждого, кому довелось побывать в рабочем кабинете Торндайков.

«Десятки дверц ведут в «тайники». Открываем одну — тут материалы, которые относятся к фильмам, предшествующим «Русскому чуду», а вот толстые папки — плод работы авторов по новому фильму, тысячи карточек, по которым можно узнать все данные о людях и местах, снятых в фильме.

— Это филиал научно-исследовательского института, — говорю я.

Андре смеется.

— Не напрасный труд. Он позволил нам управлять собранным материалом, а не быть в плену у него»¹.

Но возвратимся (как возвращаются не раз Торндайки) на площадь Революции 1918 года, откуда режиссеры как бы с высоченной кручи, на которую рывком взобрался народ, решили обернуться назад, заглянуть вниз.

И в поле их зрения оказались:

сеятель на деревяшке, ковыляющий с лукошком по полю (документальный кадр, обобщающей силе которого мог бы позавидовать Довженко!);

крестьянин, с безнадежным упрямством перевязывающий и перевязывающий обрывками веревки распадающуюся на части соху;

рабочий с бакинских нефтяных промыслов — иссохший, непонятно как держащийся на ногах, но продолжающий в каком-то полузабытьи вращать и вращать ворот лебедки;

шахтер, впряженный в санки с углем и на четвереньках пробирающийся из забоя к штольне;

каторжник, цепями прикованный к тачке..

Эти кадры, потрясшие воображение режиссеров, возникают как лейтмотивы и в первой и во второй серии. Возникают снова и снова — как кошмарный сон, как наваждение, как напоминание.

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..

¹ В. О с ъ м и н и н. Прекрасная правда. «Искусство кино», № 10, 1963.

Я знаю —
 саду
 цвeсть,
 когда
 такие люди
 в стране
 в советской
 есть!

Есть в Советской стране «такие люди», и их с зоркостью поистине снайперской увидели Торндайки и на старых фото, и в цехах сегодняшних заводов, и на улицах сегодняшних городов. И дело, право, не только в том, что режиссеры, по словам одного из операторов фильма В. Кочеткова, вместо того, чтобы пойти по проторенному пути и показать, к примеру, в Магнитогорске эффектные панорамы гигантской домны, льющуюся сталь, снимали самых обычных людей так называемой «скрытой камерой», когда «герои» даже не подозревают об этом.

Естественность поведения героя документальной ленты — подкупающая черта «Русского чуда». «Скрытая камера» порой дает примечательные и занимательные эффекты: стоит вспомнить неизменно шутивную реакцию зрительного зала на кадры у зеркала на лестнице Омского Дома культуры, где девушки (и не только девушки) кокетливо поправляют прически, а диктор не без коварства предупреждает нас, что камера спрятана за этим зеркалом. Никто ее не видит, но ей видно все. Однако в работе Торндайков дорого не столько это, сколько их умение найти людей, за чьей судьбой встает судьба страны.

«Нас порой удивляло, — признается директор картины В. Печерников, — что Торндайки останавливались на фактах, которые нам казались обычными. Как-то они попросили оператора В. Копалина снять врача-казашку, когда она вылетала на самолете в горы на помощь роженице. Для жителей Казахстана, да и для всех нас в этом не было ничего удивительного. Но потом, когда в «Русском чуде» надо было рассказать о паразитических изменениях, происшедших в жизни казахского народа, этот кадр оказался очень убедительным и важным: при царизме — полуфеодальный уклад, почти полное отсутствие медицинской помощи, а сейчас, при советском строе, врач-хирург казашка, доктор медицинских наук, вылетает на высокогорное пастбище, чтобы помочь рождению маленького казаха. Эта способность Аннели и Андре Торндайков к большим обобщениям поражала нас».

Так случайная, казалось, встреча на Алма-Атинском аэродроме дала режиссерам возможность создать новеллу о первой женщине-казашке докторе наук Хадише Мурзалевой, которая вместе с другой новеллой — о русском инженере, члене-корреспонденте Академии наук СССР, Герое Социалистического Труда Василии Семеновиче Емельянове — явилась стержнем второй серии, дав возможность конкретно, документально и убежденно рассказать о будущем тех, кто мог присутствовать на площади Революции 7 ноября 1918 года — о людях, которых сделала людьми советская власть

Я не стал анализировать шаг за шагом «Русское чудо», потому что об этой эпопее было напечатано в наших газетах статей, писем зрителей, пожалуй, больше, чем о каком-либо другом фильме последних лет. Но, заканчивая разговор об этом интереснейшем произведении, было бы нечестно утаить от читателей и от немецких коллег, что во второй серии в отличие от первой, которая была действительно вершиной их композиционного мастерства, режиссерам порой изменяет точность, строгость, даже безжалостность в отборе материала, которая всегда так подкупает в их лентах. Здесь они нередко повышенно пунктуальны, излишне подробны, чрезмерно доказательны в стремлении подтвердить снова то, что ясно и так.

Конечно, следует помнить, что фильм «Русское чудо» был сделан для немецкого зрителя, которому многое в истории и в сегодняшней жизни нашей страны известно понаслышке, которому многое из того, что нам понятно и с полвзгляда, необходимо было растолковывать, объяснять. Но речь идет о чувстве художественной меры. Так, режиссерами в первой серии, как уже говорилось, был найден впечатляющий, неожиданный человеческий ход — «внутренние монологи» людей с фотографии 1918 года, а во вто-

рой они повторяют его — и дважды повторяют! — в тот миг, когда идут кадры летописи Магнитостроя и хроники, снятой на Красной площади в Москве в 1961 году. И свежий, оригинальный прием тускнеет, теряет свою естественность, новизну, становится заметна его условность.

Но поскольку статья подошла уже к финалу, я, для того чтобы мои замечания «под занавес» не показались и не оказались каплей дегтя в бочке меда, напомним слова такого мастера, как Р. Кармен: «Труд Торндайков — новая веха в документальном кино... Успех Торндайков наполняет радостью мое сердце документалиста, отдавшего всю свою жизнь этому искусству. Это праздник для всех нас. Это утверждение образной публицистики как великого искусства, которому мои товарищи и я служили многие годы».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. БЕРЕЗКИН

★

БЕСЕДЬ ВПАДАЕТ В ОКЕАН

(К 50-летию Аркадия Кулешова)

Океан — это океан, «дело воображения», как говорил Маяковский, и наши рекомендации ему не нужны. Об океане писали многие поэты, в том числе и самые выдающиеся. Беседа — река, небольшая речушка на Могилевщине, в Белоруссии, и у нее только один певец — Аркадий Кулешов.

В стихотворении сорокового года, так и озаглавленном «Моя Беседа», Кулешов писал о своей поэзии:

Хочу, чтоб она разлилася волной —
Не Волгой широкой и даже не Камой —
Хоть Беседью б только — моею, родной.

(Перевел М. Исаковский)

Что в этих строках: неприхотливость автора, его готовность удовлетвориться малым во имя такой же маленькой страсти быть «непохожим»? Думается, в них другое. желание ясности, верность родным корням и, пожалуй, главное — понимание того, что миром для всех способен стать лишь мир, неотъемлемо, безусловно принадлежащий художнику, его незаемному знанию, опыту, чувству.

Возвращаясь недавно из поездки в США на родину, Кулешов еще раз вспомнил реку детства и юности:

Опять стою, объятый чувством странным,
Гляжу на след, бурлящий за кормой,
Как будто я плыву не океаном,
А Беседью — желанною рекой.

(Перевел Я. Хелемский)

Это знаменательное признание: реки индивидуального поэтического творчества, вливаясь в океан бытия общенародного, обще-

человеческого, сохраняют свое «лицо», свой нрав и характер.

В том «океане», которого достигла муза Кулешова, очень приметны и различимы его истоки: крохотная речушка на Могилевщине, колыбель привязанностей и тревог, вдохновения и надежд поэта...

Аркадию Александровичу Кулешову пятьдесят лет. Его республике, Советской Белоруссии, сорок пять. Между этими двумя датами, такими разными по значению и масштабам, существует тем не менее легко улавливаемая связь: творчество Кулешова — одно из наиболее цельных и убедительных выражений жизни своего народа, его духовного облика, пройденного им исторического пути в условиях советского строя.

Сила воздействия кулешовской поэзии неизмеримо вырастает по той причине, что яркий и наглядный образ стремительно движущегося времени смыкается в ней с образом человека в непрестанном росте и развитии. Нет, это не два отдельных, пусть и близко соприкасающихся между собой образа — это образ целостный и неделимый: правда времени, раскрытая в человеке, и неподдельно живой, меняющийся человек в деятельном служении единственной правде века, имя которой — Революция и коммунизм.

Поэзия Кулешова (во всяком случае наиболее зрелые ее образцы) еще и потому так привлекает к себе доверие читателя, что она естественна и органична, что для автора ее не существует идей, взятых «формулированно», отвлеченно, не добытых самостоятельной мыслью, не соотносящихся с лично пережитым в многочисленных испытаниях «эпо-

хя бурь». И еще потому, что в ней, в этой поэзии, представлен весьма отчетливо тот преобразующий, творящий момент искусства, который и переплавляет правду факта в одухотворенную, полную обаяния художественность правдивого вымысла. Добавьте сюда по-белорусски негромкую, несуетную сердечность Кулешова, свежесть и чистоту воплощенного в его стихах нравственного чувства, щедрость его таланта на подробности и детали, как правило, подчиненные какому-то общему взгляду, — и перед нами возникнет явление поэзии незаурядной, обращенной к существенным сторонам народной жизни...

Аркадий Кулешов — представитель и сын поколения, входившего в мир, недавно отвоёванный бойцами Октября. Самые ранние его жизненные впечатления относятся ко времени, когда «эхо гражданской войны по лесам, по околицам шло», а романтика Кронштадта и Перекопа затмила самую прекрасную романтику минувших веков.

И как это характерно для Кулешова, молодого поэта начала тридцатых годов, что первый трактор в белорусском селе совершает «революционный поход» и что весь цикл, посвященный колхозной деревне (1931), называется «Солнечное завтра»! Сегодняшнее, повседневное, будничное воспринималось поэтом и его сверстниками не иначе, как в озарении грозовой эпохи, и оно же несло в себе обещание будущего.

При всем несовершенстве ранних стихов Кулешова, обусловленном и недостатком опыта, и весьма распространенной в те годы установкой на очерк, на фотографическую достоверность, — в них нашла свое отражение трепетная, живая реальность трудных и радостных лет. А сколько человеческих судеб, взятых во всей их невыдуманной сложности, проходит перед читателем!

Тракторист Анис, который из-за сада вывел машину так, что задребезжали стекла в бывшей панской усадьбе, и чей «голос, как басовой звон. От радости, от воды, от емкого ветра...» — преданный и очень привлекательный в своем расположении к людям энтузиаст колхозного дела... Товарищ Алесь — раздумчивый, сосредоточенный в самом себе паренек-мечтатель («его занимает все, даже планета Марс»), называющийся «оппортунистом» и «маловером» рыбу, которая не клевет, и непрерывно пристающий с вопросами к рассказчику-автору: «А верно ли писали газеты, что мы вступили в социа-

лизм?..» Семёнка, «первобытный человек», который всю жизнь провел в лесу, среди осочки и гнилушек (парадоксальная разновидность индивидуализма: полудикарская «независимость»), а нынче решил податься в совхоз. И наконец тетка Ольга, та самая, что, впервые увидев трактор в поле, «кричала на все улицы, задыхаясь от беготни до слез: «Ах, мои вы родимые, схватил мою полоску и понес...»

Множество биографий и характеров, самых разных, множество дорог и судеб, самых несхожих, — и все они в своей совокупности создают картину белорусской деревни на крутом перевале от старого к новому, от собственнической, хуторской разобщенности к небывалым в истории коллективным формам крестьянского быта.

И если в кулешовских стихах начала тридцатых годов этот быт изображается в стадии становления, на резком «изломе», при явном и очевидном, однако, преобладании нового, то в стихах конца того же десятилетия эта общественная новизна становится как бы само собой разумеющейся, душевно освоенной и обжитой, успевшей возрастить на собственных традициях трудового товарищества и дружбы новое человеческое поколение. С этим поколением по-настоящему и нашел себя Кулешов-поэт.

Поэма «В зеленой дуброве» (1938), прервосходный лирический цикл: «На сотой версте», «Карусель», «За двоих», «Бюро справок», «Улица Московская», «Ельник» (1938—1941) — с этих вещей, собственно, и начинается Аркадий Кулешов, зрелый мастер советской поэзии со своим душевным складом и голосом, самобытным способом понимать и выражать окружающую его действительность.

Для нас и сегодня, по истечении многих — да каких еще! — лет, не потеряли своего очарования светящиеся легкой печалью кулешовские стихи о школьных товарищах, съезжающихся в мокрую после июльской грозы рощицу детства, на милую Беседь. О праздничной карусели, что кружит их, уже семейных людей, как некогда беззаботно кружила в шумный базарный день. О встречах и расставаниях, о любви, об охоте и о многом другом, что, в общем-то, пересказать можно, но трудно, так как за пределами пересказа, каким обстоятельным он ни будь, неизбежно останется важнейшее: «та тонкая (говоря словами Шедрина) струя жизни, которая именно и заставляет выхва-

ченный из действительности образ двигаться, радоваться, страдать и трепетать».

Внимательному читателю поэзии помнится, вероятно, что среди многих «стиховых плоскостей» двадцатых—тридцатых годов широкое хождение имела и такая: немолодой человек, чаще всего поэт из столицы, приезжает в родные края; он обрадован и удивлен переменами и свое удивление выражает при помощи разительно схожих, однообразно устойчивых формул: «Давно, давно я не был дома», «Я снова там, где под окном два клена», «Другими вижу я родные дали» (это начала трех стихотворений трех разных белорусских поэтов тех лет).

Рассказывающий о том же кулешовский цикл решительно отличался от многочисленных своих предшественников прежде всего несравненно большим доверием к простому и каждому из нас доступному факту, большей «грузоподъемностью», что ли.

У героя кулешовской лирики совершенно иные, чем у «поэта из центра», отношения с «фоном» и средой. Там преобладало соседство: сам по себе поэт и сами по себе «другие» (хотя и близкие) люди; здесь — свободное взаимодействие и контакт, предусматривающий не только близость, а и готовность стать рядом, даже «поменяться местами». Столичный гость удивлялся, и только; герой Кулешова, помимо естественной радости от столкновения с новью, испытывает и множество других чувств: грустное сознание уходящей молодости, добрую зависть к поколениям, что идут вслед, желание еще и еще раз пройтись незабытыми стезжками, которые когда-то торила первая и уже такая далекая любовь...

Поэт снова вспоминает пережитое: первый колхоз, первый трактор, перепахавший межи, — и стихи обретают уже не очерковое, а лирическое, интимное звучание:

Я за первым трактором бежал,—
Лет с тех пор прошло немало.
Ты к селу родному не спеша
С гулом подъезжала...
Звал тебя, желанную, встречал,
Доверял тебе мечты, тревоги,
Желтеньким песочком посыпал
Летние дороги.

(Перевел А. Кленов)

Что и говорить, строки эти несколько идиличны; неприятзательна и наивна попытка вот так (песочек под ноги трактористке, украшенная дерезою арка на ее

пути) показать внутреннюю красоту мира, открывшегося героям, слить воедино частное с общим, «любовь» и «дело». Но идиличность эта не лжива. «Идеальное» просвечивается насквозь и деей нового колхозного быта, воспринятой не умозрительно, не со стороны, а непосредственно, живо, со всем непритворным волнением молодости. И люди не подогнаны под «идею», не подверстаны к ней — они сами несут в себе это поэтическое состояние мира, включающее в свой обиход очень многое: обыкновенную «прозу» достатка, согласие, свободный труд и даже старый обряд, давнишнюю песню, в которой, если хорошенько прислушаться, тоже мечта о целостности, о достоинстве и добром мире.

Звеньевая колхоза «Червоная зорка», Христина, героиня поэмы «В зеленой дуброве», оказавшись после замужества в чужом колхозе, горько жалуется на свою долю:

Село не такое,
Земля не такая.
И все здесь другое,
И мать не родная.
Не та вроде печка,
Не те половицы,
И солнце за речкой
Не этак садится...

(Перевел М. Исаковский)

Что это: выплывшее из дали лет голошение молодой жены, насильно оторванной от «воли бабушкиной» и отданной «за старого, за постылого»? Конечно же, нет. Христина поет о своем: о бригаде, оставленной в горячую пору страды, о подружках, о родном колхозе — и в этом нет ни грана наигрыша и натяжки, это «свое» звучит тем доходчивей и понятней, что положено оно, так сказать, на мотив, передававшийся из уст в уста в течение столетий, но только теперь возникает в существенно новом и неожиданном повороте...

Итак, линия была определена, манера — или, как у нас еще говорят, почерк — выработана; у Кулешова появились подражатели — казалось бы, чего еще желать поэту, умеющему извлекать преимущества из одной надежды столь выгодно и счастливо найденного? Но Кулешов не принадлежит к числу таких поэтов. Чуткий к действительности, он умеет «изменять» самому себе. умеет свергать себя с уже достигнутой высоты ради достижения новой. Так, в 1940 году была

есть такое место: поэт вспоминает осенний перелет птиц, их грустную песню, связавшую воедино «родные гнезда — Днепро и Нил...» И далее о себе, романтическом юноше-комсомольце:

Я слал с ними, плившими южным курсом,
Навстречу смерчам песчаным, бурям,
Песню близкую и неграм, и индусам,
И даже
 далеким, далеким бурам.

Тема осеннего перелета птиц, или, как у нас говорят, «выраю», — тема традиционная в белорусской поэзии. Кулешов обогатил «хрестоматийный» мотив новым смыслом сообразно с качествами национального характера, воспитанными в нем советским обществом. Действенность идеи интернациональной солидарности трудящихся тем сильнее, что реализована она в конкретных формах национального сознания, на «белорусской» почве и в живом характере, в человеке с воспоминаниями: ведь и «далекие буры» — реминисценция из старой, распевавшейся и в белорусских селах песни про страну Трансвааль, что «вся горит в огне...»

Поэзия Кулешова — и в этом одно из больших ее достоинств, — будучи прочно связанной с демократическими традициями белорусской классики, вместе с тем резко протискивает национальную инертности и ограниченности, любому окаменению национальной формы. Кулешов в огромной степени расширил изобразительные возможности белорусского стиха, обогатил его повышенной напряженностью мысли — метафорической, многоплановой, сложно ассоциативной. Поэту одинаково чужды и вялое «отобразительство», и беспредметное парение в сфере субъективистского вымысла (хотя истины ради следует сказать, что иногда и Кулешов «воспаряет», теряет из виду реальную связь вещей, чересчур увлекаемый потоком ассоциативного мышления).

И, пожалуй, никогда раньше лучшие свойства кулешовской поэзии не проявлялись с такой очевидной наглядностью и полнотой, как в годы войны, когда имя поэта стало широко известно «большому читателю» нашей страны.

В поэме сорокового года, желая представить себе масштабы грядущей войны, Кулешов рисовал ее в образах чуть ли не космического размаха. И все-таки та война, которая первой бомбой на рассвете разбудила

первого ребенка, оказалась и более невероятной, и более страшной, и более фантастической, пожалуй, в своей слепой разрушительной силе. И когда мы, читая лучшее произведение Кулешова военной поры — поэму «Знамя бригады», следим за возмужанием ее героя Алеся Рыбки, то замечаем, что первое чувство, вызванное в нем войной, — растерянность. Да, растерянность доброго и бесконечно мирного человека перед жестокостью и коварством зла, двинувшего свои смертоносные чудища «на эти реки и на эти села, на сновиденья дочери моей...»

Думается, нет особой нужды подробно останавливаться на поэме «Знамя бригады» — о ней писалось и говорилось много; блистательно переведенная на русский язык М. Исаковским, она известна широко.

Вот уже скоро двадцать лет минет с тех пор, как торжественно прогремел салют Победы, но все продолжают звучать, как нечто неотторжимое от самой войны, от впечатлений ее первого года, — мужество и ненависть, печаль и боль кулешовской поэмы, стоят в воображении ее разнообразные, неотропливо сменяющиеся «кадры»: городская улица после бомбежки, похожая на засыпанную обвалом дорогу в горах; притихшая белочка на сосне и горестное обращение к ней бойца-«окруженца»: «По земле мы идем иль по Марсу, зверек мой пушистый?»; тронутый первым хрупким ледком неприметный ручей, что выводит к своим двух советских бойцов со знаменем погибшей бригады...

Обычно мы говорим — и это, разумеется, верно, — что и в самую тяжкую годину военных неудач наша поэзия выражала веру народа в неизбежность победы над гитлеризмом. Поэма Кулешова относится к лучшим произведениям нашей поэзии по степени выстраданности этой веры, естественно вырастающей из картины жизни на оккупированной земле — во всей ее сложности, во всем трагизме. Никакого стремления «улучшить» или подправить эту картину; все правдиво, и честно, и убеждающе как в частностях, так и в основном — в образе белорусской земли, которая всеми своими просторами, всем неброским своим богатством и, главное, всей своей приверженностью к советским формам жизни отвергла, не приняла захватчиков.

В кулешовской поэме много сцен, доведенных до крайней трагической остроты:

десертир, что предпочел «тишину и покой» воинскому долгу, сам роет себе могилу, приговоренный к расстрелу бывшими фронтовыми товарищами; не выдержав надругательства гитлеровской солдатни, накладывает на себя руки «молодая хозяйка — Марина»; на немецком минном поле подрываются оратай с женою... Все это — правда жизни трагической, потрясенной до самых основ. И невероятно, как на материале такой правды, ни на йоту ее не скрадывая, возникла поэма песенно-ясная, рассказанная (именно рассказанная!) с чуть ли не детской непринужденностью и простотой:

Жил лесник со своей лесничихой
Возле заводи тихой.
Тут-то мы комиссара больного
Положили у хаты сосновой.
Нам воды было нужно,
А фляга — пустая,
И хозяйка сказала радушно,
Березовый сок подавая:
— Пейте, милые, сколько хотите,
А товарища в хату несите...

И дальше строки о раненом комиссаре Зарудном и о приютивших его в глубоком немецком тылу леснике с лесничихой звучат еще ласковей, чище, как добрая сказка в краю берез и светлой озерной воды:

Онликая озерные дали,
Кукушки с утра куковали,
Будто клены, березы считали,
Комиссару здоровья желали.
Комиссар понимал, улыбался,
Слушал их,
Поправлялся.

Откуда эта прозрачность, эта гармония, вроде и неуместные в произведении о войне? От органично народных привязанностей поэта, одинаково черпающего из народного бытия и образы непомерных мук, и душевную силу для их преодоления. И еще — от решительного непринятия Кулешовым натуралистических «подобий» жизни, «ничейных» копий ее. Мир, изображенный в поэме «Знамя бригады», отмечен своим неповторимым, живописным колоритом (физически ощутимы звонкость и синева высоких небес, облетевшего леса, холодной воды); строго выдержан до конца стиль дневникового повествования, достаточно гибкого, чтобы принять в себя все оттенки чувства, все его переходы. И главное, мир Кулешова до последней подробности окрашен верой и мужеством его героя, Алеся Рыбки, который выносит спасенное им боевое знамя. готовое развер-

нуться, взлететь на свежем и крепком ветру наступления...

Через годы и расстояния, отдалившие от нас войну, доходит до нас суровый облик этого мира. Мы отчетливо слышим и отчаянные слова молодой невольницы, угоняемой «в Неметчину, будто в Туретчину»: «Я рабыня, рабыня, я черная, черная, черная...» («Письмо из полона»); и торжественно скорбную тишину над могилами белорусских парней, похороненных под Старой Руссой («Над братской могилой»); и твердую поступь возрожденной бригады, собирающей силы для сокрушающего удара по врагу, — мы видим народ в один из самых ответственных и важных моментов его истории.

Переход поэта к темам послевоенной жизни был сопряжен для него с известными трудностями, общими для литературы тех лет. Кое-где заметно у Кулешова снижение уровня правды: не думаю, чтобы спор двух специалистов о том, какую электростанцию — на тридцать пять или на пятьдесят киловатт — целесообразно строить в разрушенном войной колхозе, явился спором, типичным для послевоенной белорусской действительности, способным передать ее противоречивую сложность (поэма «Новое русло»). Смутно мистифицирующий элемент в манере повествования и сюжете, недостаточная их проясненность помешали прозвучать во весь голос интересно задуманной поэме «Простые люди». Та тяга к революционной романтике гражданской войны, которая всегда жила в сердце поэта, не привела к большому успеху в «Песне о славном походе», где очевидная неполнота жизненного содержания как бы «компенсируется» испытанно романическим и здесь не очень идущим к делу мотивом любви, на сей раз любви красноармейца к беднячке, ставшей женой кулака...

И если мы тем не менее можем говорить о послевоенном периоде поэзии Кулешова как о периоде плодотворном, то потому, что в эти годы она обогащается новыми качествами, озаряется той новой зрелостью, которую внесла в нашу жизнь победа над фашистским злом.

Конечно же, преувеличена дискуссия двух инженеров относительно мощности колхозной гидроэлектростанции, но ничуть не «сочинен», а глубоко правдив тот разбуженный советской властью и не остановленный

никакими трудностями внешнего и внутреннего порядка массовый «порыв к свету» (Ленин), который и составляет лирический пафос поэмы «Новое русло», и пафос не декларативный, а согретый сердечной мыслью поэта и очень далекий от расцветавшего в те времена одописного штампа.

Истинно поэтична, одухотворенна любовь героя поэмы:

Шел хлопец поляной,
где девушка прежде ходила,
И нес он письмо,
что орешинам послано было...
«Прощайте, орешины,—
девушка так им писала,—
Я к вам не пришла, не пришла,
хоть прийти обещала»...

«Прощайте, прощайте!» —
слова в отдаленье звучали.
...Орешины слушают,
головы свеся в печали.

(Перевел Я. Хелемский)

Это весьма показательный для Кулешова отрывок. Поэт сохраняет наивную романтичность народной песни, ее душевное изящество, скромность и простоту, не переступая, однако, черты, за которой начинаются стилизация и подделка. Такого рода переключки и уподобления человека и природы в высшей степени характерны для белорусской поэзии, для Коласа и Купалы, где они означают нечто большее, нежели формальный прием или просто «цитацию» из фольклора, выражая собой душу народа, многовековым укладом жизни связанного с землей, с природой. Кулешов сберег и продолжил традицию, значительно усилив в ней психологическое начало.

В «Новом русле» природой окружена, с природой родственно связана одна из наиболее важных в общем замысле вещи сценария работы «лесного» райкома:

Пуца влево и вправо,
дубняк, бурелом,
И под сенью дубравы
стал работать райком.
Пень широкий — их стол,
эхо — их телефон...
И, казалось, не дятел
стучит на заре,
А воззвание печатает штаб
на коре.

(Перевел Я. Хелемский)

Как видим, изменяясь, Кулешов остается верен себе — обобщение о партии коммунистов как о вожак масс, «океанская» мощь

политической и гражданской мысли «завязываются» не где-то вовне, а в сфере изначального лиризма поэта, дома, на Беседе.

В подобном подходе к действительности есть своя опасность: чуть-чуть «пережал» — и внутренняя связь между далеким и близким, большим и малым коснеет, а то и рассыпается вовсе, делаясь связью декоративно-условной. Лучший способ предотвратить это «остывание» мира — не дать измельчать идейной, мыслительной деятельности самого поэта.

Поэзия Кулешова всегда дышала воздухом политики. Оно и естественно для представителя поколения, выросшего на революционных заветах отцов и особенно в условиях Белоруссии, являвшейся на протяжении многих лет форпостом на самой границе с капиталистическим Западом.

Беда этих и некоторых других довоенных вещей Кулешова не в том, что в них «преувеличен» драматизм классовой борьбы, а в том, что этот драматизм, его политическая оценка заметно отрешены от потока действительности, самостоятельно, лично воспринятой художником.

Патриотическая идея борьбы с фашизмом в произведениях Кулешова военных лет мощно поддерживалась и питалась ощущением жизни, ее упорного сопротивления нашествию. Жизни глубоко историчной и социально определенной в «Знамени бригады», «извечной» и элементарно простой в другой военной поэме, в «Цимбалах», — вещи разноречивой по стилю, но яркой по изобилию звуков и красок. Здесь «шумно, залиvisto, жарко здороваются табуны» и очень смешно разговаривают между собой коровы: «Как живешь-поживаешь?» — «Как видишь, тяну борону... Трудно?... Всяко бывает, да свыклась уже за войну...» Здесь на цимбальной струне сушит крылышки луговой шмель, и стрекозут кузнечики, и тихо жалуется сверчок, выжитый огнем из запечья, и самовар бросает солнышко под ноги детям, героям поэмы, — Васильку и его сестре... Жизнь, жизнь. Большая, крохотная, разная, но одинаково живая, теплая и одинаково защищающая свое право не делаться добычей «политики» смерти и уничтожения...

В первые же послевоенные годы раскрылся дар Кулешова как поэта непосредственно политического, умеющего извлекать поэзию из животрепещущей злобы дня, взятой

в самом прямом, «необразном» ее выражении.

Сорок седьмой год. Еще как будто не расseyалось над спасенной от фашизма землей страшное облако Хиросимы, а угроза атомной катастрофы стала сгущаться над человечеством. Кулешов пишет ставшее впоследствии весьма популярным «Слово к Объединенным нациям» — обращение к делегатам «уважаемой ассамблеи» в духе «международных» монологов Маяковского:

И бомбы их не боюсь я!
Пускай поджигатели знают,
Что небу моей Беларуси
Напрасно они угрожают.

На мирную нашу просинь
Не действуют их угрозы,—
Не меньше, чем птиц под осень,
Видала она бомбовозов.

(Перевел К. Титов)

За каждой строкой стихотворения — родина Кулешова, его Белоруссия, в испытаниях войны доблестью своей завоевавшая право вот так — независимо, гордо и непреклонно — отстаивать интересы мира. Показательно стихотворение и как «поправка» рядового человека к делу, являвшемуся доселе привилегией «избранных» и «немногих», как вмешательство его в большую политику.

Начиная со «Слова к Объединенным нациям», в творчестве Кулешова все более утверждается поэтика прямых обобщений, кое-где приводящая к риторической сухости, но в большинстве случаев убедительно страстная и правдивая, ибо за ней — характер, человек с биографией.

В дни, когда прогрессивное человечество отмечало столетие «Коммунистического манифеста», Кулешов написал стихотворение «Коммунисты» с непривычной для него «высокостью» речи, с поэтикой старого революционного гимна и торжественной символикой:

Нас миллионы, коммунизмом окрыленных,
Не страшимся мы ни бури, ни преград.
Наши крылья — это красные знамена,
Наши гнезда — это камни баррикад.

(Перевел Н. Кислик)

По «гулкости» и широте общественного резонанса стихотворение «Коммунисты», посвященное боевому авангарду рабочего класса,— одно из наиболее сильных в творчестве Кулешова.

Та же традиция революционной песни, но взятая в другой ее разновидности — горькой острожной романтики, использована Кулешовым в «Балладе о правде» — про антифашиста, выданного провокатором и погибшего в застенке гестапо. Есть в этой балладе свойственная тюремной песне скупая сдержанность, особая внятность рассказа. И какая-то жалость человека к самому себе, смешанная с гордым сознанием подвига, и желание непременно остаться в памяти тех, ради кого и совершался безвестный подвиг...

Кулешов умеет вживаться в чужую душу, делать видимой скрытую в ней диалектику переходов из одного состояния в другое, при сохранении ведущего и чаще всего героического начала.

У поэзии Кулешова своеобразная «походка». Каждый раз, освоив новые горизонты в народной жизни, достигнув новой и высшей «отметки» во внутреннем духовном росте, Кулешов возвращается к тому, что было вначале. И там — в незабываемой ли дружбе с трактористом Анисом, в любви к однокласснице с кимовским значком на груди, во впечатлениях от первой увиденной смерти, так больно поразившей своей бессмысленностью (умирал пионер и, как Валя у Эдуарда Багрицкого, «хоронить без попов, без крестов приказал»), — он обнаруживает самую раннюю «завязь» характера, удивившего мир своим героизмом в годы строительства и в годы войны.

Поэма «Только вперед». Знакомые по кулешовской лирике пейзажи Беседи, заветных стежек в лесу, росного луга. И та же Алеся, которую «так искренне, и так легко, и грустно» любил юноша из раннего кулешовского стихотворения «Дороги» (1930) и чье имя «писал на сосновой коре» мечтатель из «Дневника бригадира» (1934). Не очень счастливой была та любовь, и герой поэмы вспоминает ее через много лет, стоя у обелиска с дорогим именем, — Алеся погибла в партизанском отряде, подрывая вражеский эшелон... Строго говоря, я не могу отнести поэму «Только вперед» к числу лучших кулешовских вещей. Есть в ней холодок рассудочности, проистекающей, должно быть, от чересчур приметного желания все «закруглить», привести трагедию Алесяной смерти в «полное соответствие» с оптимистической мыслью о преемственности поко-

лений. Автор явно спешит, стремясь убедить читателя, будто та Алесь; которую знал и любил его герой, как две капли воды похожа на молодую комбайнерку наших дней.

Лучшие наши художники и в те годы, владея верным тактом действительности, успешно преодолевали опустошающий догматизм подобных «закруглений» и «замен», и среди этих художников был и Кулешов — автор «Знамени бригады», «Цимбал», лирики. А вот поди ж, не удержался!

И все же «Только вперед» — произведение интересное как попытка поэта сегодняшним днем проверить прошлое и в дне вчерашнем добыть уроки для будущего, для движения к новым далям.

Там, где Кулешов не приглушает в себе (из установки на «обобщение») отзвуков пережитого, там, где он чутко их ловит, со страниц поэмы «Только вперед» снова звучит та исполненная чистоты и достоинства — и такая «белорусская» по самой сути — кулешовская доверительность, явственно различимая в многоязычном хоре советской поэзии:

Мне хотелось с нею
остаться вдвоем,
И сказал я:
— Быть может, до леса дойдем?
— А зачем? Для чего?.. —
Повела в огород.
Как чужие совсем,
у пчелиных колод
Постояли мы там,
удивляя народ.
— Едешь?
— Еду.
— На Дальний?..
— На Дальний Восток... —
Вот и все, что сказать,
Что услышать я мог...

(Перевел М. Исаковский)

Потребностью сегодняшним взглядом взглянуть на события тридцатых годов рождено и такое произведение Кулешова, как «белорусская хроника» «Грозная пуща». Классовая борьба в деревне, полная опасностей и тревог романтика пограничья, лесные пожары — черное дело лазутчика и диверсанта, трагедия былой разобщенности белорусского народа, рассматриваемая с позиций нынешнего дня, когда весь белорусский народ живет в единой советской семье, — вот главное и решающее в «Грозной пуще».

Признаюсь, и это крупнейшее по размерам произведение Кулешова я не беру

причислять к лучшим его творениям, хотя отчетливо вижу в нем немало частных достоинств. Дело здесь, наверное, в каких-то органических свойствах кулешовского дарования, которыми поэт пренебрег, приступая к работе над большой эпической формой с ее широко разветвленным сюжетом, многосторонними связями и начисто «отлученными» от авторской личности образами героев, действующими «от себя», по строго эпической логике.

Сила же Кулешова, как мне кажется, в другом — в его лиризме, мало считающемся с прозаической логикой и раскрывающем сущность явления «не через длительное изложение, а молниеносно, озаренно» (Н. Асеев). Никакого произвола в такого рода прозрениях, как правило, нет. Наоборот, Кулешова отличает, кроме прочего, способность к общему и очень ясному пониманию мира, его объективной сути. Но Кулешов хорошо понимает, в чем заключается «чудо» поэзии, умеющей «сжимать» явление жизни до обнаружения его сокровенного смысла.

У Кулешова, поэта радостной и легкой фантазии, чудесно получалось, когда он в «Цимбалах» говорил — и очень сжато, в самом деле «молниеносно» — о погорельцах, жителях сожженной немцами деревни: «Соседи по пеплу хат». Или вот так — конденсированно, с пропуском ненужных подробностей — рисовал гибель лесной елочки:

Заблестел белой лысиной пень,
Ель из темных теней
Свою вырвала тень,
Положив ее рядом с собой
На поляне лесной.
И уже не звенела,
А пень остывал от пилы, —
Словно в капельках пота,
Весь в капельках чистой смолы.

(Перевел М. Исаковский)

И гораздо хуже получается у Кулешова, когда он, изменяя свойственному его дарованию «активному лиризму», дает — как в той же «Грозной пуще» — «протяженные» описания пожара, пограничной тревоги, поимки диверсанта и т. д. Впечатление от этих описаний такое: это мог бы сделать и кто-либо другой, не Кулешов.

Завершая разговор о «Грозной пуще», скажу, однако, — и в этом, разумеется, нет приличествующего юбилеям «критического этикета», — что и здесь, в «белорусской хронике», проблематика, тема, круг интере-

сов — кулешовские, и что и в нынешнем несовершенном виде она — необходимое звено в той летописи дел и чувств своего поколения, которую вот уже тридцать с лишним лет неутомимо, от книги к книге, создает Аркадий Кулешов...

Очень важной по значению главой этой летописи представляются новые лирические циклы поэта.

В них Кулешов возвращается к тому лучшему, что в нем закрепилось творчеством военного лихолетья, «Коммунистами», «Словом к Объединенным нациям», — к щедрости и прямоте лирического изъяснения, но на более высокой ступени гражданской и человеческой зрелости.

Большинство стихов из последних кулешовских циклов, их замыслы родились во время поездки поэта в Америку, на Ассамблею ООН, и обратно, домой. Когда-то, проделывая тот же путь на маленьком («вроде нашего ГУМа») пароходе «Эспань», Маяковский шутил над способностью океана настраивать на философский лад: «Кто над морем над философствовал? Вода». Философствует «над морем» и Кулешов.

То, что он привез из-за океана, ничуть не похоже на примелькавшиеся у нас «зарубежные» циклы, среди которых немало таких, ради написания которых совершенно не нужны были ни собственные наблюдения поэта над чужой действительностью, ни сколько-нибудь серьезные «заготовки» в его сознании, кроме самых отвлеченных и общих.

Широта поэтического мышления — вот что подкупает прежде всего в новых кулешовских стихах. И пусть в них кое-где заметен излишек холодноватого «мудрствования» и чересчур суров, как мне кажется, возложенный на себя Кулешовым обет в виде «железного» шестнадцатистрочия, — в последних его стихах есть тот нечастый в нашей поэзии пафос высокого созерцания, который улавливает нечто очень важное в бытии нашей эпохи.

Это эпоха бесстрашная, срывающая покровы с любой и всякой «красивой» лжи, дряблости и лицемерия, и в частности с лицемерия индивидуалистического, с иллюзий обособленного, замкнутого в себе от дельного существования.

Всеобщность «частной» судьбы, ее неразрывная слитность с миллионами других судеб, нет, даже не слитность — бесспорность ее притязаний на всеобщее «представитель-

ство» — вот что звучит в кулешовских строках, «сделанных», помимо всего прочего, добротой и ладно:

Мне что ни год, то жизнью жить иной
В двадцатом нашем веке довелось.
Я — колос в море зреющих колосьев,
Миллионы судеб собраны в одной
Моей судьбе — все их разноголосье¹.

Излишне доказывать, ссылаясь на стихи Кулешова, что подобного рода «представительство» не умаляет самооценности каждой личной судьбы, что оно как раз и предполагает ее всесторонность и полноту, включающие в себя весь неохватный мир радостей и скорбей, в том числе и способность не опускать глаз при мысли о временности (но отнюдь не бренности!) человеческого существования. Среди лучших даров, унаследованных нашей эпохой от эпох минувших, — мужественная ясность Пушкина, его гармоническое осознание связи между поколениями, его понимание «жизни молодой», — и они-то, эти пушкинские бесстрашие и печаль, и послышались мне в кулешовских строках о человеке, отдающем «посеву, жатве свой короткий век», о «дне мольбы», что «стоит и у моих дверей», и о березке, посаженной при дороге:

В июльский день потомок молодой,
Найдя приют под зеленью сквозной,
Здесь переждет часы дневного зноя,
Мотор горячий напоит водой.

Не будет знать он о моей могиле,
Не будет знать он о моей мечте,
Но вспомнит благодарно руки те,
Что вешний грунт лопатой разрыхлили.

И в давний час — не для себя, для всех —
Взрастить сумели деревце на воле,
Березку эту не из леса в поле
Перенеся — из века в новый век.

Как «заиграла» в контексте пушкинского настроения строка о моторе, который «напоит водой» человек иного века, сын «молодого, незнакомого племени»!

Впрочем, этот «мотор» — не единственное подтверждение особой кулешовской чуткости к тому, что условно можно назвать «материальной», обусловленной временем стороной бытия. Во всех его стихах последних лет, не разрушая непосредственности переживания, присутствует характерное для нашей эпохи слияние разных подходов к природе, досель существовавших обособ-

¹ Здесь и дальше перевод Я. Хелемского.

МИХ. ЛИФШИЦ

★

В МИРЕ ЭСТЕТИКИ

«Красота, красота!» — все твержу я...

Козьма Прутков.

Пусть наша дорога, ведущая в этот мир, будет менее гладкой, чем в учебниках прекрасного, и пусть возделанные поля философии и социологии останутся пока в стороне. Общие рассуждения на эти темы теперь не в моде. Все пишут доверительно, интимно, пишут от своего имени, а не от лица угрюмой истины, холодной, как стены мертвого дома. Я тоже хочу быть современным, писать легко, вторгаться в жизнь. Итак, последуем общему примеру. К чему бесплодно спорить с веком?

1. ИЗ ГАЗЕТ

Не так давно я прочел статью академика В. Трапезникова «Критерий — качество». Как и другие участники экономических споров последних лет, автор справедливо подчеркивает, что существующая система планирования по валовому выпуску продукции не совершенна. Средние отчетные цифры, пишет академик В. Трапезников, ничего не говорят о качестве изделий, а следовательно, об их реальной стоимости и полезности для народного хозяйства. Между тем если рассматривать народное хозяйство как единый субъект, то окажется, что этот субъект обманывает самого себя, измеряя свою производительность только числом произведенных тонн или штук.

Весьма простые соображения указывают на то, что хорошее изделие дольше служит. Поэтому, например, увеличить эксплуатационный пробег автомобильной шины — все равно что увеличить выпуск шин, но обходится это в последнем счете дешевле. Мно-

го других преимуществ сулит народному хозяйству повышение качества продукции. Сократятся простои и потери на ремонте, уменьшится потребность в запасных частях. Все это будет равно строительству новых заводов в короткие сроки с малыми затратами и без омертвления капиталов. А для этого, пишет академик В. Трапезников, нужно планировать не в абстрактных тоннах и штуках, а в «эффективных тоннах» и в «эффективных штуках», с учетом коэффициента качества (например, теплотворности, если речь идет об угле). Изменение системы планирования само по себе станет могучей силой технического прогресса.

Я не буду пересказывать в подробностях содержательную статью «Критерий—качество». Замечу только, что мысль академика В. Трапезникова встречает на своем пути одно препятствие. Очевидные преимущества планирования в «эффективных штуках» гребут для своей реализации весьма эффективного механизма для определения и проверки эффективности этих штук. Дело в том, что и в настоящее время существуют качественные стандарты, но они не являются остановкой, когда качество продукции приносится в жертву принципу вала. И так как изобретательность человеческая в этом отношении очень велика, то главный вопрос состоит в том, чтобы создать условия, при коих новый «коэффициент качества» не превратился бы в прежний бессильный «стандарт». Нужен стимул, действующий достаточно объективно и безусловно, чтобы обеспечить интересы народного хозяйства в целом, когда различные части этого целого

вступают между собой в отношения поставщика и потребителя.

Поскольку экономическая необходимость такого стимула очевидна и настоятельна, трудно сомневаться в том, что он будет найден. Ведь нет ничего на свете сильнее экономической необходимости. И вот на этой основе мысль академика В. Трапезникова о планировании в эффективных штуках получает свое осуществление. А насчет того, как это сделать, мне давать советы нечего, ибо, как говорится, не моего ума это дело.

Хочется только сказать, что в области духовного производства планирование, основанное на коэффициенте качества, а не на простом стандарте, еще более необходимо. При отсутствии большого дефицита плохой костюм трудно продать, так что здесь действует проверка рублем, хотя и не всегда. Если же перед вами литературное произведение или научный труд, одного рубля слишком мало. Недостатки людей пока еще таковы, что плохой уголовный роман будут рвать из рук, а серьезная книга, в которой автор хочет воспитывать нас, может залежаться на прилавке. Идеологию и культуру нельзя свести к хозяйственному расчету, они требуют своих, затрат, которые окупаются только в большом масштабе.

А с другой стороны — если нужная для коммунистического воспитания книга лежит на прилавке, что от этого пользы? Ведь при этом самая лучшая идеология превращается в бездымный табак, которым угощали Теркина на том свете. В идеологической губернии также бывают потемкинские деревни. Если затраты на морально-политическое состояние читающей публики нельзя вполне проверить рублем, то проверить их все же необходимо, ибо, ссылаясь на полезность своей темы, любой мастер пустозвонства может снабжать читателя неэффективными изданиями. Читатель сначала соблазнится названием, но со временем он поймет, что вывеска не отвечает существу дела. И не дай бог, если из этого опыта выйдет недоверие к печатному слову и в итоге получится что-то вроде загробного пайка:

Обозначено в меню,
А в натуре нету.

Словом, в области духовного производства также необходимо иметь эффективный инструмент, способный отделить эффективную штуку от неэффективной, причем это должно быть привычным делом, не требую-

щим каждый раз особого вмешательства, ибо за тысячеликкой жизнью не уследишь. Народ в своем развитии к коммунизму — вот кто должен выиграть в результате взаимодействия его частей, в данном случае — поставщиков и покупателей духовных изделий.

Представляется неясным, как применить коэффициент качества в духовном производстве. Кто будет определять теплотворность его продукции, если ни рублем покупателя, ни каким-нибудь специальным надзором, даже прокурорским, этого проверить нельзя? Есть ли на свете такой инструмент? Конечно, есть. Это общественное мнение, сила моральная. Правда, общественное мнение также нуждается в развитии, оно может заблуждаться, но ничего лучшего нет. И чем больше развита эта сила, чем больше уважают люди общественный приговор как объективный и безусловно действующий стимул в их отношениях между собой, тем меньше возможностей для всякого литературного бизнеса, для буржуазных и феодальных пережитков, тем больше честной службы народу в литературе и науке.

Паскаль говорит: «Чем бы человек ни обладал на земле, прекрасным здоровьем и любимыми благами жизни, он все-таки недоволен, если не пользуется почетом у людей. Он настолько уважает разум человека, что, имея все возможные преимущества, он чувствует себя неудовлетворенным, если не занимает выгодного места в умах людей. Вот какое место влечет его больше всего на свете, и ничто не может отклонить его от этой цели; таково самое неизгладимое свойство человеческого сердца. Даже презирающие род людской, третирующие людей как скотов — и те хотят, чтобы люди поклонялись и верили им».

Мы это знаем из опыта, знаем очень хорошо, но не всегда умеем ценить силу общественного мнения и пользоваться его гласным судом. Я хочу обратиться к этой силе с жалобой, заявлением по поводу пустозвонства в эстетике. А почему именно в эстетике? Может быть, потому, что в других областях этого нет.

На всякий случай шутки лучше всего сопровождать комментарием. Желая быть правильно понятым, я хочу прямо сказать, что обвинение в пустозвонстве нельзя распространить на всю нашу обширную и быстро растущую эстетическую литературу.

Это было бы очернительством. Но, как говорится, наряду с целым рядом в массе продукции встречаются совершенно неэффективные штуки. Надеюсь также, что никому не придет в голову упрекать автора в том, что он против вторжения эстетики в жизнь. Он только против вторжения пустозвонства в жизнь.

А впрочем, лучше всего показать, что не нравится автору, на конкретном примере. В качестве примера возьмем произведение В. Разумного. Я добросовестно изучил их с целью представить читателю точный диагноз определенной болезни. И если кому-нибудь придет в голову, что мне доставляет удовольствие этот патологический разбор, пусть объективный читатель представит себе врача, который, потирая руки, говорит студентам: «Обратите внимание — перед вами классическая язва желудка!» Разве это значит, что врач радуется болезни?

II. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Имя В. Разумного мелькает в летописях отечественной литературы не так давно, но с каждым днем все чаще и чаще. Он очень плодovit, что само по себе представляет большое достоинство. Продуктивность — одна из черт истинного таланта, и нет человека, более уважающего эту черту в других, чем ваш покорный слуга. Да, количество не следует презирать даже в науке. Имеется ли содержание и каково оно — вот главный вопрос.

Когда мне впервые попала в руки книга В. Разумного, я был ослеплен фейерверком имен и цитат. Такова слабость человеческая, что весь этот фосфорический блеск показался мне признаком по крайней мере начитанности. Однако при более внимательном рассмотрении пришлось расстаться с милой иллюзией. Дело в том, что так называемая эрудиция скоро будет продаваться на вес, а научные ужимки и прыжки легко усвоить, не углубляясь в дебри познания. Было бы грубостью сказать это о В. Разумном, но, кажется, можно утверждать, что в его ученых статьях и книгах много бутылки. Такое утверждение будет достаточно точным.

Я впервые усомнился в том, что В. Разумный имеет основание учить народные массы эстетике, открыв его брошюру «О хорошем художественном вкусе» (1961), из-

данную в количестве двухсот тысяч экземпляров. Судите сами. Автор громит киргизский промсовет, выпускающий украшения плохого качества: «Так, еще недавно магазины города Фрунзе были забиты поразительными по безвкусице «рельефными» картинами, изображавшими бюргерские замки над водами» (стр. 9). Возможно, что вкус киргизского промсовета нуждается в исправлении, но неужели наш учитель хорошего вкуса думает, что бюргеры жили в замках? Члены киргизского промсовета могут, пожалуй, отвергнуть уроки наставника, не знаящего простые факты истории культуры.

Заметив, к моему огорчению, что между блестящим фасадом образованности В. Разумного и действительным состоянием ее на сегодняшний день имеется некоторая щель, я стал более внимательно читать. Оказалось, что брошюра «О хорошем художественном вкусе» несет на себе отпечаток планирования по валовому выпуску продукции. Никакого коэффициента качества, а на обычный, принятый согласно инструкции, стандарт автор просто не обращает внимания. Некогда, нужно спешить! Из нижеследующего разбора читатель увидит, что бьющая через край активность В. Разумного представляет более серьезное общественное явление, чем картины, изображающие «бюргерские замки над водами».

Начнем с невинных и простительных недостатков. Значительную часть написанного В. Разумным образуют цитаты. Их много, и они очень велики. Автор приводит целиком стихотворения Игоря Северянина и Александра Межирова, рассказы Чехова и Горького. Многие цитаты занимают страницу, а то и две. Нельзя утверждать, что все они не нужны, но значительная часть во всяком случае служит только для заполнения места и ничего не доказывает или доказывает то, что ясно без всяких цитат.

Зачем, например, приводится полностью небольшой рассказ Чехова «Случаи «Mapia grandiosa»? Чтобы доказать наличие разницы между учебником медицины и художественным произведением («Что такое искусство», 1958, стр. 14—15). Разница, конечно, есть, но разве в рассказе великого писателя речь идет о медицине? Большие Чехова — это бывший становой, помешавшийся на том, что «сборища воспрещены», отставной урядник, нанимающий за свои деньги охотников сесть под арест.

— Посиди, голубчик! — умоляет он. — Ну, что тебе стоит? Ведь выпущу! Уважь характеру!

И, найдя охотника, он сторожит его день и ночь до положенного срока.

Вот какие случаи душевной болезни описывал Чехов, а наш эстетик, принимая его иронию за чистую монету, сравнивает образы писателя с учебником медицины и находит, что разница есть. Еще лучше было бы сравнить оперу «Золотой петушок» с книгой о птицефермах.

Но оставим цитаты. Изучая вопрос о том, каким образом В. Разумному удалось обеспечить выполнение плана своей литературной продукции в печатных листах, мы видим, что корпус его трудов бурно растет за счет бесконечных перечислений¹. Целые хороводы имен — от Аристотеля до Я. Эльсберга, от скульптора Агесандра до Э. Неизвестного. Вереницы художественных произведений — от «Махабхараты» до басни Сергея Михалкова «Лиса и Бобер». Широта охвата поистине необычайная.

Вот несколько образцов: «Илиада» Гомера и «Всеобщая песнь» Неруды, трагедии Шекспира и драмы Островского, живопись эпохи Возрождения и графика Домье, «Василий Блаженный» Бармы и Постника и фильмы Эйзенштейна, танцы жителей острова Бали и чешское стекло... Все доступно В. Разумному, все открыто его пониманию. «Мы, конечно, любимся смелым, неожиданным колоритом полотен Рембрандта или Куинджи, потрясающей пластичностью картин Дейнеки, контрастами света и тени скульптур Родена».

А вот другой эпический прием, посредством которого можно заполнить много страниц: «Нельзя не радоваться появлению таких фильмов, как «Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и М. Хуциева, «Повесть о первой любви» В. Левина, «Дом, в котором я живу» Кулиджанова и Я. Сегеля, а также целого ряда других...», «Достаточно вспомнить такие образцы советской классики, как «Цемент», «Время, вперед!», «Энергия», «Гидроцентральный», «Соть», «Не перевода дыхания», «Поднятая целина», как тематические картины советских живописцев, опозитировавших труд: «Кузнецы» А. Дейнеки и «Хлеб» Т. Яблонской, скульптурная компо-

зиция В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как «Песнь о лесах» Дм. Шостаковича и «Поэма о море» А. Довженко, а также целый ряд других...» Когда имен и названий не хватает, остается только «целый ряд».

В. Разумный восседает в центре событий, заставляя маршировать перед собой батальоны художников, писателей, режиссеров, то вдруг он устраивает смотр эстетикам или тревожит тени Носира Хисроу и Пак Ин Но. «Творческие поиски таких мастеров театра, как Г. Товстоногов, Н. Охлопков, В. Плучек, Н. Акимов...», «В творчестве таких мастеров, как В. И. Мухина, И. Д. Шадр, С. Д. Меркулов...» и опять: «Горький, Маяковский, Прокофьев, Шадр и другие...»

И другие... Всех привлекает В. Разумный к своему трибуналу, всем читает нотации, учит, осуждает или фамильярно хлопает по плечу. «Мы все-таки считаем недостаточным обоснованным выступление Н. Охлопкова...», «Мы солидаризируемся с той критикой, которую дал А. Ефимов...» Во всем этом бесконечном суждении В. Разумный взял себе роль председателя; он парит над всеми и дает указания. В конце концов, изнемогая под бременем ответственности, он выкликает уже почти неразборчиво: «Некоторые живописцы до последнего времени не излечились...», «В последнее время имели место факты недостаточной требовательности отдельных работников издательств, руководителей некоторых театров...», «К сожалению, наши театры в последнее время создавали мало ярких спектаклей...», «К сожалению, в нашей критической литературе в последнее время мало встречается ярких талантливых выступлений...»

К сожалению, все это имитация широкой осведомленности и тесной связи с жизнью. Относительно связи с жизнью можно сказать, что есть разница между интригой и законным браком. Кажется, В. Разумный командует, не имея на то никаких оснований, что же касается широты его диапазона, то необходимо сделать некоторые оговорки.

Если в статьях и книгах В. Разумного совершить некоторое упрощение за счет подобных членов — операцию, известную каждому школьнику, — от всего их богатства останется не так уж много. В. Разумный ведет свою научную работу методом панельного строительства. Одна и та же фабричная деталь переходит из книги в книгу. Каждая цитата размером с добрую страницу текста

¹ На это уже указывал А. Лебедев в статье «Теория и практика» («Вопросы литературы», № 11, 1960).

используется до предела, повторяясь дважды, а иногда и трижды в его сочинениях. Так, повторяются в полном или усеченном виде стихотворение Игоря Северянина «Квадрат квадратов», рассказ Горького «Девочка», очерк Глеба Успенского «Выпрямила», индийская сказка о четырех оленях, басня «Лиса и Бобер», описание игры Ермоловой из записок Сумбатова-Южина, цитаты из Белинского, Чайковского, Лессинга, Радищева, Пак Ин Но...

С такой же бережливостью относится В. Разумный к деталям собственной конструкции. «Разве, когда мы бываем в сосновом бору и восхищаемся стройными великанами-соснами, мы мысленно не восклицаем: «Совсем как у Шишкина!»? Разве, любуясь бушующим морем, мы в воображении своем не сравниваем его с картинами Айвазовского?» Это потрясающее наблюдение в точности перенесено из «Воспитательной роли советского искусства» (1957, стр. 71) в книгу «Этическое и эстетическое в искусстве» (1959, стр. 155). Целые абзацы, состоящие из довольно плоских общих мест, например: «Художник подобен волшебнику, преобразующему мир...», «У некоторых картин живописцев мы невольно останавливаемся, пораженные гармонией красок...» или афоризм: «Чувствовать себя художником и быть художником — далеко не одно и то же» — перешли из брошюры «Что такое искусство» (стр. 17, 18) в книгу «О природе художественного общения» (1960, стр. 22, 23). Ничто не теряется в хозяйстве В. Разумного, и если вы встретите у него что-нибудь один-единственный раз, не беспокойтесь — в будущем году вы найдете эту деталь в новой книге, изданной в другом издательстве. Только что он выпустил брошюру «Ленинская теория отражения и некоторые теоретические вопросы изобразительного искусства». И вот уже популярная брошюра переливается в докторскую диссертацию «Проблемы теории социалистического реализма (о художественной правде и социальной функции советского искусства)» (Автореферат. Москва, 1963).

Повторения, конечно, возможны, они встречаются у самых лучших авторов. Но В. Разумный сделал из этого простое средство для выполнения плана своей эстетической продукции. И если он еще не измеряет ее в тоннах и гектолитрах, то мы должны быть благодарны за это единственно его личной скромности.

III. ЗА И ПРОТИВ

Однако мелкие пятна на солнце еще не беда, а только полбеды. Настоящая беда впереди. Дело в том, что творческий метод В. Разумного имеет одну черту, более сомнительную с точки зрения качества продукции.

Здание его трудов растет не только посредством простого повторения деталей. Наш автор применяет также систему повторения одних и тех же «аксиоматических положений» (как любит он выражаться) в двух прямо противоположных смыслах — утвердительном и отрицательном. Таким образом, из одной мысли получаются две — расчет простой.

Нужно заметить, что свои «аксиоматические положения» В. Разумный произносит с необычайным апломбом, выпаливая их скороговоркой, в состоянии какого-то экстаза или самозабвения, совершенно не думая о том, что он пишет. В его книге «О природе художественного общения» (стр. 99) мы читаем: «Искусство социалистического реализма не знает каких-либо тематических ограничений». Почему же, собственно, не знает? Где вы нашли в советском искусстве религиозную тему, которая пользуется таким распространением на Западе? Советское искусство не фантазирует на темы будущей войны, не занимается гробокопательством, его не привлекает тема неврозоз и половых извращений.

Однако — не стоит беспокоиться. В другой книге («Этическое и эстетическое...», стр. 52—53) В. Разумный выдвинул прямо противоположную аксиому: «Каждый новый этап художественной культуры, знаменующий расширение области эстетических интересов художников, их прогрессивное сближение с жизнью, приносит с собой и новые (в том числе и тематические) ограничения». Итак, советское искусство имеет право себя ограничивать, не допуская, например, порнографии.

Впрочем, относительно вольных сюжетов остаются некоторые сомнения. Найден «чудесный сплав интимного и социального» — распространенная болезнь ханжества мешает его применить. «Не потому ли столь чопорны и безжизненны герои наших пьес, не умеющие любить истинно человеческой, «грешной» любовью? Не потому ли столь робко наши кинематографисты вздымают объектив к облакам в ту минуту, как герой

привлечет к своему сердцу героиню?» (Там же, стр. 72). Станный вопрос. Что делает каждый порядочный человек при виде подобной сцены? Отворачивается. Так же поступает и объектив. А вы чего ждете от него, товарищ Разумный?

Однако вернемся к методу «за и против». Допустим, что нам желательно знать, существует ли прогресс в искусстве? На странице 117 книги «О природе художественного обобщения» В. Разумный пишет: «Некоторые буржуазные эстетики прямо-таки специализируются на повторении унылой мысли о невозможности художественного прогресса». Наш автор не принадлежит к числу унылых, он решительно высказывается за прогресс, то есть признает, что одна ступень истории искусства может быть выше (или ниже) другой в художественном отношении. Переверните несколько страниц, и вы прочтете прямо противоположное утверждение — нельзя сравнивать две разные эпохи.

«Иногда, когда речь идет о новом в искусстве, возникает вопрос, как соизмерить его со старым? Точнее, можно ли утверждать, что новое художественнее старого, можно ли решить вопрос, что художественнее — реализм XIX века или социалистический реализм. Нам представляется, что такая постановка вопроса попросту неправомерна. О степени художественности можно говорить в рамках искусства одного творческого метода и одних творческих принципов (скажем, сравнивать по степени художественности творчество двух актеров нашего театра). Новое рождает новые критерии художественности; оно — п о н о в о м у х у д о ж е с т в е н н о. Так, критерии художественности социалистического реализма иные, чем реализма XIX века» (стр. 125).

Следовательно, общего масштаба для всех эпох и творческих методов не существует. Сравнивайте реалистов с реалистами, модернистов с модернистами — социалистический реализм тоже хорош в своем роде. У него своя епархия. Вообще каждая эпоха имеет свой критерий художественности, одно не выше другого.

Похоже на то, что автор здесь проповедует «унылую мысль о невозможности художественного прогресса». Загляните на следующую страницу — и вы успокоитесь: прогресс есть! С обычным видом знатока В. Разумный указывает четыре признака «художественного прогресса».

Возьмем другой пример. Ученый исследует вопрос о взаимных отношениях этического и эстетического, нравственности и красоты в искусстве. На странице 51 своего труда, посвященного этому вопросу, он утверждает, что единой для всех эпох и классов нравственности не существует, и так как абсолютной нравственности нет, то невозможно логическим путем получить «некоторые метафизические формулы соотношения нравственности и художественности, и шире — этического и эстетического». А если бы это было возможно, то... Здесь В. Разумный делает вывод не совсем понятный в логическом отношении, но достаточно определенный: «В этом случае вполне приемлемыми оказались бы рассуждения старой эстетики о том, что если не всякое нравственное по своему значению произведение в силу этого уже художественно, то всякое художественное произведение нравственно и т. д. Однако, несмотря на подкупающую убедительность и ясность рассуждений о таком соотношении этического и эстетического в искусстве, в действительности они являются теоретическими лишь по видимости, по форме; фактически же они бессодержательны, ибо нет и не может быть ни абсолютной нравственности, скрепленной для всех периодов...» и т. д.

Запомним или запишем вывод В. Разумного: думать, что всякое подлинно художественное произведение — нравственно, не следует. Это метафизическая формула, основанная на признании абсолютной нравственности, общей для всех эпох и классов, другими словами — бессодержательное рассуждение, теоретическое лишь по форме, по видимости.

Мы готовы согласиться с В. Разумным, хотели бы согласиться с ним, однако на странице 133 того же труда, ссылаясь на Белинского, он высказывает новое аксиоматическое положение: «Если произведение художественно, то есть правдиво, то оно также и нравственно».

Возьмите очки, читатель, протрите их лучшей замшей, читайте снова и снова! Нет, это не обман зрения — черным по белому вывел В. Разумный метафизическую формулу, имеющую только видимость теории. Мы так и не знаем в конце концов, верно ли это «бессодержательное рассуждение», а хотели бы знать. На проклятые вопросы дай ответы нам прямые! И автор дает ответы — прямые, но разные.

Одна из любимых идей В. Разумного состоит в том, что «художественная правда — это не только правда отражения реального мира, но и правда выражения идеала» (ср., например, «О природе...», стр. 56). До сих пор нам казалось, что существует только реальный мир да еще отражение его в человеческой голове. Если понятие «идеал» уместно в материалистической эстетике, следует вывести его из отражения действительности, а не искать вторую правду на стороне. Но оставим эти придирки. Пусть «отражение реального мира» нужно дополнить чем-то взятым из другого источника. В данном случае В. Разумный не объяснил, откуда он собирается взять это дополнение, и мы готовы простить ему недостаток аргументации ввиду благородства его намерений. Однако...

Читатель уже догадывается. На страницах 76—77 той же книги В. Разумный не долго думая поворачивает на другой галс. Он торжественно признает «право художника на эстетический интерес даже к безобразным, темным сторонам жизни» и заслоняется от возможных обвинений цитатой из Белинского: «Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть».

Итак, все же, идеал или отражение реальной жизни, как она есть, — что нужно художнику? Уплатив тридцать копеек за книгу В. Разумного, читатель хочет это знать.

Собственно говоря, вы ни в чем не можете упрекнуть эту систему эстетики. В ней, почти как в Греции, по чеховскому рассказу, все есть — и то и сё. Наш пытливый исследователь необыкновенно горяч. Не существует общечеловеческой нравственности, все идеалы носят классовый характер («Этическое и эстетическое...», стр. 51). Вернитесь, гражданин! Вы забыли общечеловеческую человечность (стр. 60).

Нет существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией («О природе...», стр. 62). Есть существенная разница между ними — произведения искусства не измеряются истиной («Этическое и эстетическое...», стр. 53).

В. Разумный все время громит чье-то недомыслие, дает взыскания, ставит на вид. Так, например, он осуждает теорию, согласно которой предмет всякого искусства является человек («О природе...», стр. 17). Однако за минусом следует плюс: «Да,

именно «мир человеческих интересов» волнуется в искусстве любого человека, ибо в воплощении этого мира, правды о нем — сокровенный смысл искусства» (стр. 33)¹.

Другой мишенью для постоянных нападок В. Разумного является общая мысль о присутствии реализма во всяком подлинном искусстве. Автор утверждает, что понятия «первобытный реализм», «античный реализм» и т. п. бессодержательны, антиисторичны (см. стр. 65). Читатель готов верить ему, но на странице 33 той же книги В. Разумный восторгается «удивительным чувством жизненной правды» в изображениях животных эпохи палеолита. Быть может, жизненная правда и реализм не одно и то же? Нет, В. Разумный подтверждает, что это одно и то же. «Само понятие «раскрытие жизненной правды», применяемое при характеристике реалистического типа творчества, очень точно выражает главное в нем» (стр. 66). На другой странице той же книги автор признал первобытный реализм де-факто. Оказывается, что искусство палеолита «не может быть безоговорочно отнесено к формам реализма» (стр. 35). Это уже совсем другое дело. «Безоговорочно» к формам реализма нельзя отнести даже произведение Бальзака.

Та же история повторяется с античным реализмом. Вопреки своей собственной аксиоме В. Разумный признает, что античное искусство «ориентировано на действительность» (стр. 69), между тем эта «ориентированность», по торжественному заверению того же В. Разумного, является главным признаком реализма (стр. 66).

После этого вас не удивит еще более яркий пример аксиоматики В. Разумного. В статье «Мечты и явь» («Театр», № 12, 1956) он говорит: «Как справедливо подметил Я. Эльсберг, у теоретиков до сих пор имеет место упрощенное деление всех явлений художественной культуры на реалистические и антиреалистические. Подобный схематизм затрудняет понимание действительного значения различных исторических стилей и использование их традиций как живого наследия мастерства. Более того, он обедняет картину развития советского искусства» и проч. и проч.

¹ В брошюре В. Разумного «Художественный образ» (1955, стр. 12) мы читаем: «Основным предметом искусства является человек, его жизнь и борьба, его мысли и чувства».

Сам я не пользуюсь такими двугорбыми словами, как «антиреализм», и другим не советую, хотя совершенно понятно, что реакционные идеи, религиозная мистика, болезненная, ложная фантазия, фальшивая идеальность и прочее в этом роде образуют духовную силу, враждебную подлинному, реалистическому искусству всех времен и народов. Это совсем не схематизм, а безусловный вывод из опыта передовой общественной мысли, включая сюда просветителей XVIII века, Гёте и Гегеля, школу Белинского, классиков марксистской литературы. Нужно беречь свет, зажженный для нас этими людьми, нужно помнить кровь, пролитую за его распространение героями и мучениками революции. Одним словом, нужно быть действительно современными людьми, а не расстригами прогресса, как сказал бы Герцен.

Но это отступление в сторону серьезного жанра, может быть, неуместное в нашем повествовании. Я верю, что схематики, описанные В. Разумным в статье «Мечты и явь», действительно существуют. Но как узнать их имена? Открываю книгу того же В. Разумного, вышедшую на год раньше. Начало первой главы украшено формулой: «История искусства есть история становления и развития правдивого, реалистического искусства в борьбе с различными формами антиреализма» («Проблема типического в эстетике», 1955, стр. 5). Теперь мы знаем, кто делит все явления художественной культуры на реалистические и антиреалистические. Позор схематикам!

Впрочем, если В. Разумный перестроился и это на пользу — не будем придирааться. Сделаем даже более широкое допущение. Пусть истина находится в руках Я. Эльсберга и В. Разумного. Но пусть в обращении с ней соблюдаются все же известные нормы. В одной из своих последних книг герой нашего повествования дает отпор трижды презренной «антиисторической схеме развития искусства как борьбы реализма и антиреализма» («О природе художественного обобщения», стр. 65). Взгляды свои В. Разумный всегда отстаивал страстно и горячо. Неизвестно только, в чем они состоят, ибо на странице 45 того же произведения, не веря своим глазам, мы читаем: «Ревизионисты сознательно затушевывают эту очевидную разницу реализма и антиреализма в решении проблемы взаимосвязи предметности и выразительности в процессе ху-

дожественного обобщения». Похоже на то, что сам себя человек обозвал ревизионистом.

Не ищите в произведениях В. Разумного какой-нибудь мотивировки этих противоречий, ее нет. Может быть, он хочет сказать, что борьба реализма и антиреализма бывает только в определенные эпохи, а в другие не бывает? Может быть, он думает, что эта схема применима к одним вопросам и не применима к другим? Никакого намека на объяснение, никакого следа *principium divisionis*, на основе которого можно произвести такое деление эпох и вопросов, у него не найти.

Перечисление двойных аксиом В. Разумного можно продолжать до бесконечности. На каждой странице своих трудов он сжигает то, чему вчера поклонялся, и поклоняется тому, что вчера сжигал. Число страниц неуклонно растет — вот единственный результат этой процедуры. Бывает, конечно, что мысль ученого развивается посредством отрицания прежних его взглядов. Белинский сказал однажды, что он меняет свои взгляды, как меняют копейку на рубль. В. Разумный более скромнее в своих меновых операциях. Он меняет копейку на копейку, а в итоге...

IV. ЛОГИКА

Я хотел представить читателю литературные опыты в принятом ныне более свободном стиле, но, как назло, получается монография, посвященная творчеству В. Разумного. Видимо, победить привычку к сухому пайку науки, вошедшую в плоть и кровь, не так легко. В качестве автора монографии я обязан перейти от простого собирания фактов к причинам, их объясняющим.

Можно ли объяснить наше эстетическое чудо простым желанием сделать из одной мысли две с целью повысить уровень продукции? Нет, такое объяснение явно недостаточно. Нужно принять во внимание еще два обстоятельства. Одно из них имеет отношение к логике, второе — к морали.

Первое обстоятельство говорит в пользу нашего героя, оно смягчает его вину. Дело в том, что логическая последовательность требует памяти особого рода. В. Разумный, конечно, обладает прекрасной памятью. Он способен держать в голове много имен и названий, он помнит, кого нужно цитировать, чего надо и чего не надо бояться. Но это еще не все. Если вы не хотите противо-

речь себе на каждом шагу, вам нужно иметь про запас и другую память. С одной стороны, следует помнить, о чем вы взяли рассуждать, чтобы не потерять из виду свой предмет. Если по дороге вы забыли его, у вас получится вздор. С другой стороны, опять же следует помнить, о чем вы взяли рассуждать, чтобы не топтаться на месте. Если в результате вашей умственной работы, весь в поту, вы пришли к исходному пункту, то не стоило и начинать.

Этой логической памяти В. Разумный, как видно из его трудов, начисто лишен, и здесь не вина его, а беда. Он постоянно теряет из виду свой предмет, а принятое им однажды положение незаметно для него самого по ходу дела превращается в другое, прямо противоположное. Наш автор может написать целую книгу, наполнив ее множеством слов, восклицательных и вопросительных знаков, цитат, кипучих полемических выпадов и восторгов, пахнущих духами «Мечта». Но он не имеет понятия о том, что некое следящее устройство, именуемое логикой, отмечает каждое движение его мысли или тот факт, что она топчется на месте. Одним словом, он не хозяин своего мышления, а жертва его.

Взявшись объяснять читающей публике, что такое «художественный вкус», В. Разумный находит прежде всего, что «наша вкусовая оценка — непосредственная». Самый ученый профессор своими доводами не может поколебать мнение простого читателя: «Не нравится!» — и баста. Следует несколько оговорок, однако... «Подводя итог сказанному, можно определить художественный вкус как способность непосредственного суждения о достоинствах, качествах произведения искусства, его эмоциональной оценки» («О хорошем художественном вкусе», стр. 21).

Определение точное — как в учебнике геометрии. Остается выяснить, что такое «непосредственный». Толковый словарь русского языка поясняет: «следующий без мышления внутреннему влечению». Так и запишем: вкус есть способность судить о достоинствах произведений искусства по внутреннему влечению. Если вы начали рассуждать — это уже не вкус, а что-то другое.

Однако двумя страницами ниже В. Разумный с такой же горячностью бьется за исключение непосредственной оценки. Бывает, говорит он, что людям не нравятся

«высокохудожественные произведения, заслужившие всеобщее признание». Хорошо ли это? Нет, совсем нехорошо. Такая неудача постигла, например, Белинского и Толстого. Первый не понял художественной ценности французского классицизма, второй «не любил» Шекспира. «Вывод напрашивается сам собой. Удовольствие не может служить критерием художественного вкуса, мерилом того, хороший он или плохой».

Означает ли этот нравоучительный вывод, что у Белинского и Толстого был дурной вкус? Трудно поверить, да и сам В. Разумный признал их лицами, «в хорошем вкусе которых никак нельзя усомниться». Между тем им не нравились «высокохудожественные произведения», да еще «заслужившие всеобщее признание». Чем объяснить такие вольности со стороны Белинского и Толстого? Тем, что они положились на непосредственное внутреннее влечение, а нужно было подумать. Возбужденный этой идеей, В. Разумный старается доказать, что обладатель художественного вкуса должен по крайней мере окончить университет марксизма-ленинизма и еще лучше — защитить диссертацию по эстетике (вывод, конечно, полезный, хотя и не вытекающий из исходной посылки).

Между прочим, пример Белинского и Толстого рисует по просвещению, которое несет в народные массы брошюра «О хорошем художественном вкусе». Читатель может подумать, что Белинский отверг французский классицизм без всякого основания, просто в силу непосредственной антипатии, причуды личного вкуса. Не понравились ему Корнель и Расин, как болельщикам «Динамо» не нравятся футболисты команды «Спартак». Такую вкусовщину в литературе, конечно, терпеть нельзя.

Однако информация В. Разумного требует проверки. Дело в том, что Белинский осуждал французский классицизм и его русских подражателей не случайно. Он видел в этом направлении духовную силу определенного строя жизни, несправедливого и отсталого. Белинский судил о классицизме с точки зрения более высокой ступени общественной мысли, более свободного и развитого вкуса. К тому же впоследствии он исправил некоторую односторонность своей оценки, вызванную остротой борьбы, придав ей исторический характер. Его последним словом было: «Наше время не отрицает заслуг Корнеля, Расина и Мольера».

Что же касается Льва Толстого, то он не любил Шекспира по очень простой причине — все развитие европейской драмы, чуждое религиозному содержанию, было, с его точки зрения, вредно для человечества. В Шекспире он справедливо заметил полное внутреннее расхождение с духовным миром религии. При этом Толстой осудил не только Шекспира, но и «бессодержательные драмы» Гёте, Шиллера, Гюго, Пушкина и все окрест. Он осудил всякое артистическое светское искусство, не исключая и своих собственных гениальных творений.

В основе этой странной позиции лежала наивная патриархально-крестьянская критика цивилизации, усвоенная великим писателем, но это уже другой вопрос. Так или иначе, В. Разумный включил Толстого в свой задачник по эстетике как пример человека, которому все хорошо, что доставляет удовольствие.

Нет никакой возможности разбирать в этой статье другие нескладницы брошюры о вкусе. Я хотел только показать читателю, что, набрав курсивом в начале своих рассуждений определенный тезис, автор тут же забыл его. Непосредственная оценка вкуса превратилась сначала в простое чувство удовольствия, и было доказано, что этого недостаточно. Затем она отделилась от хорошего вкуса, вкуса в собственном смысле слова, основанного на рассуждении. Многие из того, что пишет В. Разумный о «художественной образованности», само по себе не ложно. Однако все это поставлено в такие логические рамки, что получается противоречие с исходным пунктом его рассуждений, согласно которому оценка нашего вкуса всегда непосредственна. В общем, автор легкомысленно касается здесь антиномии, которая доставила много хлопот доктору философских наук Иммануилу Канту.

На этом проказник был пойман за ухо старшим блюстителем эстетики... лицо воображаемое. Представим себе другого автора, более умудренного опытом. Наш идеальный эстетик строг, но справедлив. Он давно заметил, что ветреные пируэты В. Разумного могут привести к неприятным последствиям, и потребовал его к ответу:

— А ну, подойди, подойди, голубчик! Значит, непосредственное влечение, да?

— Так в книжках написано, дяденька.

— Собрать бы все ваши книжки, да и проверить. Что же это выходит? Мы учим, учим, а придет какой-нибудь пижон и ска-

жет: «Не нравится!» Опять же Бетси из Балтиморского зоопарка, которая абстрактные картины пишет. Ты ей про эстетику, а она, к примеру, допустит что-нибудь в твой адрес да еще сослаться будет на брошюру Разумного: вкус, мол, есть способность непосредственно судить о качествах произведения.

— Обезьяна, дяденька, не имеет второй сигнальной системы, она не может сослаться.

— Это все равно, абстракционист какой-нибудь.

— Простите, но у меня сказано: «Ни один человек со здоровой психикой не приемлет творений абстракционистов». И в другом месте: «Пачкотня абстракционистов не может доставить удовольствия здоровому, нормальному человеку».

— А чем ты докажешь, что они не нормальные, если у каждого своя непосредственная эмоция играет? Сам написал: «И все же в капиталистических странах находятся люди, которые отнюдь не из-за моды, а искренне наслаждаются ею», то есть пачкотней.

— У меня там дальше говорится: «А ведь их оценки не имеют ничего общего с хорошим художественным вкусом!»

— Ишь ты! А еще дальше? «И вместе с тем нельзя сказать, что все абстракционисты оскорбляют наше чувство цвета. Нет, полотно некоторых из них написаны в кра-сивых тонах».

В. Разумный вносит предложение провести тонкую грань между красивым и художественным. Он полагает, что Бетси гонится за красотой, упуская из виду художественность...

Привычка к более прозаическим занятиям мешает мне свободно парить в царстве воображения. Хочется глотнуть земного воздуха, богатого кислородом, и я обращаюсь за помощью к реальному автору — И. Астахову. Нестор нашей эстетики посвятил брошюре В. Разумного о художественном вкусе подробную рецензию в журнале «Театр» (№ 8, 1962). Некоторые суждения, высказанные им, кажутся мне слишком резкими, но психологическая характеристика В. Разумного как исследователя проблемы вкуса заслуживает внимания. И. Астахов — старый воробей, его на мякине не проведешь. Он вообще невысокого мнения о стойкости В. Разумного и высказывает это со всей прямотой: «Любовь к витиеватым, неясным и путаным

формулировкам столь сильна, что автор не может удержаться перед искушением даже вполне ясное сделать неясным, путаным».

Однако воображаемый разговор еще не кончен.

— У меня, дяденька, сказано, вы не заметили: «Стоит поговорить с ними обстоятельнее, как от апломба таких «ценителей» не остается и следа». Понимаете? Пообстоятельнее надо поговорить...

— Непонятный ты человек. Говори прямо: чем будешь бить?

— Как чем? Образованностью, «художественной эрудицией». Потому что от необразования нашего все это.

— А вот послушай. Взялся я одному абстракционисту лекцию читать, а он мне — вы хоть и профессор, однако без гарантии не можете. В брошюре В. Разумного ясно сказано, сейчас я вам читаю: «Образованность сама по себе еще не дает гарантии того, что у человека художественный вкус совершенен». Это что еще за гарантии выдумал?

И. Астахов объясняет существо вопроса о гарантиях следующим образом: «Хорошо известно, что в наших вузах читают курсы лекций по эстетике люди разных квалификаций: преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Можно ли утверждать, что наличие звания доцента, профессора, степени кандидата или доктора наук является гарантией совершенного вкуса?»

Действительно, этого утверждать нельзя. Но я понимаю И. Астахова. Если еще гарантии требовать, то порядка не будет. Сегодня гарантию вам подай, а завтра еще что-нибудь. Нет, порядок должен быть!

Нельзя сказать, продолжает И. Астахов, что степень образованности, равная степени кандидата или доктора наук, является обязательной мерой художественного вкуса. «Это ясно и бесспорно. Но бесспорно и другое: способность эстетического наслаждения находится, вне всякого сомнения, в зависимости от степени развития эстетического чувства, знания предмета, являющегося источником эстетического наслаждения».

А кто больше знает предмет — профессор или студент? Подумайте сами.

Должен признать, что в этом споре я целиком на стороне И. Астахова. Он излагает свой взгляд весомо, грубо, зримо. Он говорит от имени всех преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров, а

наш герой скользит в эфире, переходя с одной орбиты на другую.

Теперь вернемся к логике. Можно считать доказанным, что логическая последовательность не является сильной стороной нашего автора. Он не соблюдает закон постоянства исходной посылки, забывая, о чем идет речь, на второй минуте после старта. По той же причине у него часто встречается и другая логическая неувязка. Множество громких слов, ненужных примеров и прочей бутафории имитирует движение мысли, но, подводя итоги, вы видите, что воз и ныне там.

Что такое вкус? Вот вопрос, поставленный в брошюре В. Разумного, и притом — не вкус вообще, а специально та способность, которая позволяет нам ценить хорошее и осуждать плохое в искусстве. Читатель должен знать, что В. Разумный различает три вида вкуса: физиологический, эстетический и художественный. Он обещает указать «строгий объективный критерий, который позволил бы нам судить о качестве художественного вкуса других людей». Наше любопытство достигает величайшего напряжения. Автор искусно поддерживает его, разжигая интерес читателя всевозможными отступлениями и препятствиями. Наконец приближается время свести концы с концами. Сейчас В. Разумный будет платить по счету, и действительно, мы узнаем от него, в чем состоит «строгий объективный критерий». Чтобы отличить хорошее произведение от плохого, нужно иметь хороший вкус. А что такое хороший вкус? Это и есть способность отличать хорошее произведение от плохого. Проследите ход мыслей в брошюре В. Разумного — и вы увидите, что больше ничего он не может сказать.

Достигнув этого поворотного пункта в своем исследовании, автор чувствует, что обманул читателя, и, желая компенсировать его, начинает подробно рассказывать, что называется хорошим произведением искусства. Этим заполнена большая часть книжки В. Разумного.

«В искусстве правда и красота неразрывны», «В искусстве все подлинно прекрасное пронизано гуманизмом» и т. д. Трудно возразить что-нибудь против этих истин. Другие аксиомы нашего автора, изложенные в обычном для него директивном тоне, менее достоверны, но не в этом дело. Будь они вернее устава караульной службы, брошюра В. Разумного все равно написана не на тему. Допустим, что вы хотите объяснить чи-

тающей публике, что такое хорошее зрение. Цель вполне достижимая, если у вас имеются нужные сведения из медицины, физиологии и других наук. А если их нет, что тогда? Займитесь чем-нибудь другим — только не нужно доказывать нам, что человек, обладающий хорошим зрением, видит мир. Мы это знаем без вас. Можете сколько угодно описывать разницу между магазином ликерно-водочных изделий и отделением милиции. Хороший глаз, конечно, замечает эту разницу, но вы не ответили на поставленный вопрос.

V. МОРАЛЬ

Всякий поклонник прекрасного, знакомый с нашей эстетической литературой, знает, что В. Разумный всегда впереди прогресса. Он не упустит случая блеснуть модной фразой. Вот и сейчас, схватив на лету несколько терминов современной западной философии — «коммуникация», «слой», «структура», — он сияет ими, как медными пуговицами. Эта убогая роскошь наряда играет полезную роль в его научных занятиях. Но если от множества слоев эстетики В. Разумного перейти к ее внутренней структуре, мы не откроем здесь ни логики, ни смысла.

Зачем же так зло смеяться над чужими недостатками? Вы правы, смеяться над чужими недостатками грешно, за исключением, однако, тех случаев, когда люди делают из них выгодное предприятие. В таких случаях, вовсе не редких, говорить о сочувствии уже неуместно; скорее наоборот — самая беспощадная критика может оказаться слишком снисходительной.

Так обстоит дело и в нашем случае. В. Разумный прекрасно умеет пользоваться своими слабостями. Его апломб, его торжественные речи от имени «эстетической науки» свидетельствуют о полном процветании. Само отсутствие логики помогает ему менять свои взгляды, всегда оставаясь правым.

Возьмем в качестве примера великий вопрос нашего времени — вопрос о новом и старом. Когда В. Разумному не хватает пафоса, он велит набрать свои аксиомы курсивом: «Новизна — эстетическая особенность художественного обобщения» («О природе...», стр. 115). Многие читатели помнят, что Ленин в беседе с Кларой Цеткин назвал подобное рассуж-

дение «бессмыслицей». Если новое хорошо — оно заслуживает высокой оценки, если же оно только ново, зачем преклоняться перед ним, как перед богом? Но В. Разумный не оставит нас в беде. Немного ниже он вещает тем же курсивом: «В искусстве хорошее не является синонимом нового» (стр. 122). Итак, можно ли считать «новизну» обязательным признаком художественного обобщения? В. Разумный не дает определенного ответа. И не ждите.

Дело в том, что структуру эстетики В. Разумного можно представить в виде модели, устроенной на шарнирах. Есть у меня игрушечная фигурка: тяните ее в ширину — получится жизнерадостный толстяк, попробуйте потянуть вниз или вверх — появится другой забавный тип, сухой и длинный, с постной физиономией. Ну, словом, Пат и Паташон, Санчо Панса и Дон-Кихот. Так устроена и модель эстетики В. Разумного. Все зависит от конъюнктуры. По первому зову времени наш герой становится бешеным защитником «новизны», но бронепоезд традиций стоит где-то на запасном пути, грозно подняв к небу жерла орудий. Мгновение — и он вырывается вперед, громит противника... А противник-то кто? В. Разумный здесь ни при чем.

Составные элементы этой универсальной эстетики всегда одни и те же, ее алгоритм очень прост: нужно быть новатором, но не следует забывать о традиции — искусство изображает жизнь, но не копирует ее, — в художественном творчестве нас пленяет правда жизни, а также идеал. Все это верно и совершенно точно, как в таблице умножения: одножды один — один. Сам Буало согласился бы с В. Разумным, и сам Илья Эренбург не мог бы ничего возразить.

Но, боже мой, какие разнообразные значения может принять эта схема в умелых руках! Как сияет на солнце В. Разумный, переливаясь всеми цветами радуги и поминутно меняя окраску! Тон делает музыку, установки приходят и уходят — модель остается. В. Разумный никогда не произносит слов, которые могли бы ему повредить, и никогда не забывает слов, без которых он не мог бы держаться «на плаву». Но в этих пределах — все, что угодно!

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,—

однако никто не скажет, что В. Разумный когда-нибудь забыл произнести слово «реализм». В последнее время его барабан громко бьет тревогу, и все же на всякий случай он делает полукомплименты абстрактной живописи. В. Разумный всегда горячо сражался против натурализма, но кто же не помнит, что против натурализма бывали походы еще во времена царя Гороха? Нужно знать несколько простых условных формул — в этом и состоит вся эстетика. Остальное делает время — модель на шарнирах вытягивается то в одну, то в другую сторону.

Пусть исходным пунктом нашего обзора будет 1956 год. В. Разумный бьется в истерике, известной со времен Щедрина под именем «глуповского либерализма». Он требует споров, дискуссионных положений: «В самом деле, не странно ли: клопочет, бурлит мысль в коллективах художников, мысль, прокладывая дорогу новому — а эстетика молчит! Все громче и действеннее становится протест художников против натуралистической правденки, бытописательства, заземленности искусства — а эстетика молчит!» В. Разумный борется за широкое понимание реализма, против нивелировки творческих индивидуальностей, против критической дубины. «Ведь не секрет, что подлинное новаторство в искусстве, прокладывающее путь в его завтрашний день, нередко третируется нашими критиками как формализм».

Я не исследую здесь вопрос о наличии в этих двусмысленных, тертых фразах крупницы истины. Мое дело — собрать несколько черт, рисующих направление творческой мысли нашего автора в указанный период. Пусть нервный читатель не беспокоится — ничего страшного не произойдет. Мысль В. Разумного, правда, бурлит и клопочет, но это больше игра. Акции новаторства повышаются — и Фигаро здесь. Он маневрирует достаточно ловко, отвергая «всякую попытку сформулировать общие черты художественного метода, обязательные как для архитектора, так и для балерины, как для композитора, так и для актера». Призывая эстетиков бурлить и клокотать, В. Разумный хочет разрушить построенную на этом «систему догм и норм».

Здесь, как всегда, нет ничего определенно-го, однако тон делает музыку, да время от времени нашего героя заносит слишком далеко. Дорого бы он дал, чтобы взять обратно свои презрительные слова об «унылом отражении жизни в формах самой жизни».

По странной иронии судьбы в этом пункте позиция его достаточно ясна. Да, В. Разумный предлагает покончить с «требованием отражения жизни в формах самой жизни, которое якобы характеризует суть реалистического метода». Он высказывается против искусства, основанного на сходстве художественного образа с реальной жизнью, какой она является нашему глазу. Под влиянием моды он требует символов и условностей. С этой точки зрения наш смелый новатор осуждает статью Б. Иогансона, защитника традиций передвижников, объявляя его идеи «ограниченным представлением о реализме» и сообщая для надобности, что в указанной статье содержится «внутренняя полемика» с выступлением композитора Дмитрия Шостаковича в «Правде».

Таковы некоторые сведения о В. Разумном, почерпнутые из беспристрастной летописи печатного слова за 1956 год. Читатель может проверить наши цитаты, обратившись к журналу «Театр» (№ 12, 1956) и другим, менее значительным изданиям.

В начале следующего года В. Разумный уже не тот. Теперь он посвящает много пустых страниц методу социалистического реализма, громит ревизионистов, утверждавших, что этот метод придуман «для подчинения искусства единым нормативам», и тех заблуждающихся товарищей, которые нигилистически относятся к нему. Однако сила инерции еще действует. В январском номере того же журнала «Театр» за 1957 год В. Разумный продолжает бурлить против «жесткой регламентации». Он даже усилил свою неосторожность, выступая против невинной фразы другого реалиста по эстетике — П. Трофимова: «Реализм — особый метод в искусстве, который требует, чтобы отражение жизни совершалось в основном в форме самой жизни». С каким-то непонятным пылом наш автор называет эти слова «одной формулировкой одного философа, оторвавшегося от реальной практики искусства».

Вольт «налево» завершается у В. Разумного небольшой, но весьма значительной статьей «К вопросу об условности» в журнале «Творчество» (№ 3, 1957). Необходимо ли, чтобы искусство сохранило «непосредственную достоверность явления»? Другими словами, нужно ли, чтобы портрет был похож на изображаемое лицо? В. Разумный отвергает это в самых сильных выражениях. Правда жизни и правда искусства — не одно

и то же. Из этой мысли, допускающей различные истолкования, автор делает вывод, что путем отрицания вышеозначенной «достоверности» искусство может только выиграть. Путь к высшей истине лежит через условность. В. Разумный нигде не отказывается от реализма, он только думает, что незачем зря проливать пот и слезы. Условность — это реализм, а реализм — условность. Дело простое. Спросите В. Разумного, и он объяснит вам, как оно делается.

Вот один из путей к высшей цели: «Лако-ничность! Это очень важно в искусстве, где превыше всего — мера, «чуть-чуть». Условность и должна способствовать лаконичности, помогать художнику добиваться результата наиболее экономными средствами». Отсюда конкретный вывод: «Детализация, которой отличаются работы А. Лактионова, плоха именно тем, что убивает выразительные возможности отдельных детали как характерной части целого».

Прошу занести в протокол эти подробности. Они помогут нам выяснить «непосредственную достоверность явления», которое мы исследуем. Итак, В. Разумный не останавливается даже перед смелой атакой укрепленных позиций художника А. Лактионова. Автор статьи «К вопросу об условности» признает, конечно, что свобода художника в погоне за экономией средств не может быть безграничной — приходится соблюдать принцип «доходчивости», в противном случае получится ребус. Но обязывает ли это художника, принуждает ли это его к «повторению старых, общепринятых форм»?

В те времена, которые здесь описаны, принцип доступности не содержит для В. Разумного никакой объективной положительной нормы. Это просто консерватизм восприятия масс, привыкших к повторению старых, общепринятых форм. «Конечно, консерватизм восприятия — факт бесспорный, отменить который невозможно. Старое, знакомое, всегда воспринимается легче, чем новое и неожиданное. Но это отнюдь не означает, что художник может пользоваться старыми формами механически, просто заимствуя их у предшественников. Если бы это было так, то никакой прогресс в искусстве не был бы возможен. Однако его история показывает смену старых форм новыми, превращение новых, необычных. порою дерзко необычных форм с течением времени в традиционные и канонические» Все это, конечно, банальности, но нельзя отрицать, что

такие банальности густо окрашены модернистским течением мысли.

Прошло несколько лет, и мы снова видим В. Разумного в первых рядах борцов за реализм, мы слышим его громкий голос, читаем его обличения нестойких товарищей, списки которых он предлагает читателю для сведения. Наш герой — это живая хронология, почти как у Чехова. Год или два он был яростным защитником «новых форм», «условности», «лаконизма», «индивидуального видения», не подчиненного никакой «системе догм и норм». Ничто не могло примирить его с изображением жизни в формах самой жизни. Всю эту массу новых идей он с такой потрясающей силой бросил на чашу весов, что другая чаша поднялась вверх и стала почти не приметной. Но с тех пор много воды утекло. Началось перемещение тяжестей. С некоторыми колебаниями новаторство поднялось вверх вследствие утраты веса. Другая чаша весов стала солиднее, тяжелее. Вы можете проверить это, обратившись к сочинениям В. Разумного.

Правда, он все еще выступает против консервативного понимания художественной формы, смело пользуясь для своей критики примером бывшего президента Академии художеств Александра Герасимова, и эта смелость даже возросла после того, как Александр Герасимов скончался. Однако условность и лаконизм утратили прежнюю привлекательность, а новые формы уже не пользуются полной поддержкой В. Разумного. Где-то посредине пути установилось равновесие. Мы имеем возможность в точности зафиксировать этот момент.

На страницах своей книги «О природе художественного обобщения», изданной в 1960 году, В. Разумный устанавливает различие между двумя группами теоретиков, дополняющих друг друга. Одни, а именно — «теоретики, усматривающие новаторство нашего искусства преимущественно в содержании», поклонники Репина и Левитана, забывают о том, что новое содержание требует возникновения новых форм. Другие теоретики замечают, что искусство XX века имеет много достижений, что для него характерно «стремление к графической лаконичности, интеллектуальной насыщенности, экспрессивности» и т. д. Следует список «других теоретиков». В чем их достоинство? «Возражая сторонникам первой точки зрения на новаторскую природу социалистического реализма, защитники второй справед-

ливо замечают, что без учета реального обогащения формы наше искусство предстанет как наполненные новым вином старые меха. Однако в полемическом задоре они забывают о том рациональном, что есть у оппонентов, и, в частности, о прогрессивности реалистического понимания предметного начала в искусстве». Как видит читатель, обе стороны имеют свои достоинства и недостатки. Полное равновесие.

Мудрая осторожность и знание жизни, всегда поражающие в трудах В. Разумного, делают особенно интересным следующее сообщение, заимствованное нами из его брошюры «О хорошем художественном вкусе» (1961). Петроний сохраняет позу глубокого раздумья: «Сейчас во многих квартирах вы найдете легкую и целесообразную мебель в том стиле, который принято называть «современным». Но другие квартиры обставлены (и причем с не меньшим вкусом) старой мебелью, характерной для прошедших эпох».

В. Разумный источает елей. Какое понимание многообразия человеческих вкусов и точек зрения, какая уверенность в том, что старое правило католической церкви: *sopelle intrate* — «принуждай войти», не применимо в делах искусства! «Следует иметь в виду,— пишет тонкий политик,— что «запрет» плохого может оказать делу эстетического воспитания весьма плохую услугу. Он не убивает, а обостряет интерес к плохому. Недаром говорится: «запретный плод сладок». Более того, «запрещение» (если бы оно было возможно) лишило бы нас представлений о плохом, без которых, конечно, не понять и не почувствовать хорошего, совершенного».

Значит ли это, что «плохое» вечно, как и «хорошее», и зло полезно в этом мире, понеже свет не бывает без тьмы?

Где думает наш воспитатель завербовать тех дурачков, которые согласятся играть роль опытно-показательных образцов «плохого»?

Хочет ли он предоставить людям самим разобраться или он предлагает действовать хитростью, маневром?

Но зачем спрашивать? Вы никогда не узнаете, чем занят В. Разумный.

И вдруг... что случилось, куда глядеть? Еще вчера «другие теоретики» были почтенной спорящей стороной, еще вчера они были во многом правы, и вдруг — наплыв, как в кино, и крупным планом все они причисле-

ны к лицам, проявившим неустойчивость в идеологическом отношении. Это они были источником модернистских представлений о новаторстве, «объективно способствовавших распространению среди художников враждебных эстетических взглядов». В. Разумный уже не требует сохранения «плохого», чтобы яснее были видны преимущества «хорошего». Напротив, «самостоятельная экспозиция доморощенных абстракционистов» представляется ему теперь прямым нарушением норм социалистического реализма («Ленинская теория отражения...», 1963, стр. 13, 15 и др.).

Я, конечно, не оспариваю право В. Разумного активно и горячо бороться за чистоту коммунистической идеологии. Приходится, однако, сказать, что в списке неустойчивых критиков, составленном его твердой рукой, не хватает одного лица. И это лицо — сам В. Разумный.

Конечно, в последних превращениях нашего героя сохранилась его постоянная схема, идеальная модель эстетической мысли, непогрешимой, как таблица умножения: одиножды один — один, нельзя допустить вылазки лженоваторов, нельзя похвалить и консерваторов. Однако, при всем постоянстве личности, В. Разумный уже не тот, совсем не тот. По сравнению с нормативами 1956 года он вывернул наизнанку всю совокупность своих эстетических учений.

Вы помните, кто издевался над консервативной программой «унылого изображения жизни в формах самой жизни», кто требовал условности, ведущей художника в глубь вещей? Постарайтесь скорее забыть о тех временах, когда В. Разумный бурлил и клокотал. Теперь он пишет другое: «Суммируя все сказанное выше, следует подчеркнуть, что предметность, отражение жизни в тех формах, которые порождены ею и которые практически неисчерпаемы по выразительным возможностям, является главным, коренным средством выразительности» (там же, стр. 78, курсив автора, ср. также стр. 20).

Вы помните, кто советовал людям искусства смело противоречить «непосредственной достоверности явления»? В. Разумный уверен в том, что вы давно забыли об этом, и потому не считает нужным даже переменить терминологию. «Непосредственная достоверность» является у него теперь с по-

ложительным знаком. Он доказывает, что умалять значение «внешней достоверности» могут только критики, склонные к модернизму, неустойчивые в идеологическом отношении. «Вот почему глубоко заблуждаются те критики, которые, радуя за выразительность художественных образов, говорят об элементах языка искусства и забывают о том целостном образе, который создается при их помощи, о его внешне достоверном облике как выразительном факторе» (стр. 78). Итак, портрет не должен быть символом или условной схемой; он прежде всего нуждается в сходстве с определенным лицом. Так все изменчиво на свете. Только что Фигаро был здесь, где же он? — Фигаро там.

Вы помните, кто осуждал художника А. Лактионова за чрезмерную склонность к детальному изображению жизни. А теперь? «От первого плаката первых военных дней до радостного «Письма с фронта» А. Лактионова...» Забыты символы, знаки вместе с экспрессией. Пресловутая «лаконичность» больше не трогает сердце ученого, как бывало. Он окончательно разлюбил ее и допускает теперь на всякий случай только у некоторых художников, с коими, видно, уже ничего не поделаешь. Всякая попытка придать условности более широкое значение подавляется им в зародыше с указанием конкретных носителей зла. Много страниц В. Разумный посвящает теперь доступности художественного произведения. Это уже не «консерватизм восприятия», а норма вкуса, и горе тем, кто требует от народа, чтобы он возвысился до понимания новых форм (обратное см. у того же В. Разумного «О хорошем художественном вкусе», стр. 54).

Вы помните, что в былые дни В. Разумный не соглашался с порочным методом хранения нового вина в старых мехах. Он отвергал догматическую идею, согласно которой «старые формы» могут иметь значение для нашего времени. Но все проходит, и это тоже прошло. Теперь он издевается над первооткрывателями «новых типов видения», поджаривая их на медленном огне. Он понял, что все эти мнимые открытия — не более чем формализм, уводящий художника от больших гражданских проблем, от активного вторжения в жизнь и т. д. «А прикрывается этот отход криком о недостаточной выразительности старой формы. Да, как говорится, дай-то бог поднять-

ся многим нашим художникам до тех высот формы, которые были достигнуты старыми мастерами: Микельанджело и Гойей, Врубелем и Репиным, Антокольским и Роденом, Хогартом и Домье!» Так говорит В. Разумный, а что будет завтра — неведомо даже аллаху.

Вы помните, наверно... Нет, вы не помните, что писал В. Разумный, и не надо. Довольно того, что я прочел для вас все его сочинения от начала до конца. Наука требует жертв — поверьте, это был каторжный труд. Временами у меня рябило в глазах, кружилась голова. Я думал, что это сон. Какой странный человек В. Разумный! Как умещаются в его уме все эти противоречия? Почему он с ясным челом говорит сегодня одно, а завтра другое — противоположное, и никто не остановит его? Откуда он пришел? Куда он идет?

Тысячи вопросов теснятся в груди, и я чувствую, что В. Разумный растет у меня на глазах, принимая поистине фантастические черты.

VI. ИДЕОЛОГИЯ

Читатель, наверно, уже устал от этого парада эстетики. И все же я должен продолжать. Дело в том, что пустозвонство отнюдь не такая невинная вещь, как может показаться. У него толстая шкура, острые когти и крепкие зубы — оно кусается.

Некоторое представление об этом читатель уже имеет. Зная, где раки зимуют, В. Разумный старается обеспечить себе полную неуязвимость. С этой целью он цитирует самые важные документы, ссылается на самые большие авторитеты. Он верит, что остальные грехи ему простятся, если будет доказано, что в идеологическом отношении он человек надежный.

Принимая во внимание нашу основную задачу — проверить коэффициент качества, необходимо выяснить, имеет ли идеология В. Разумного достаточный запас прочности или в ней тоже много бутафории. Так как он часто издает свои книги под грифом Института философии Академии наук, проверим прежде всего, знает ли он разницу между материализмом и идеализмом. С этой целью будет поставлен следующий эксперимент.

Обратите внимание на красивую фразу в книге В. Разумного «Этическое и эстети-

ческое в искусстве» (стр. 11): «Прекрасное ценит внутреннее содержание только по его проявлению во внешней форме, а стремление к доброму заботится только о сущности, внешность же не важна для него». Автор ссылается на Н. Г. Чернышевского. Однако что-то не похоже на Чернышевского! Если у вас есть сочинения великого русского мыслителя, давайте проверим эту ссылку. Вот и соответствующее место, но здесь выясняется поразительная история. В. Разумный просто не заметил, что несколькими строками ниже Чернышевский говорит: «Мы изложили обыкновенные понятия о прекрасном и его сущности. Постараемся теперь изложить наши собственные мнения о том, в чем состоит сущность прекрасного». Мысль, приведенная В. Разумным, представляет собой часть «обыкновенных понятий о прекрасном и его сущности», а всякий читавший диссертацию Чернышевского знает, что под именем «обыкновенных понятий» он имеет в виду идеалистический взгляд гегельянца Фридриха Теодора Фишера, против которого направлена его критика.

Кроме приведенного случая, в книжке Разумного еще два раза цитируется Чернышевский (стр. 11, 18), и каждый раз — та же история. Не обращая внимания на немецкие слова в скобках, поясняющие термины Фишера, В. Разумный выдает его эстетику за материализм Чернышевского. И это странно, ибо показывает — с почти математической точностью, — что В. Разумный не читает книг, на которые он ссылается, а выхватывает цитаты, не давая себе труда вдуматься в их содержание. Это странно и потому, что автор, выступающий в качестве философа, не может отличить идеализм от материализма.

Проверим теперь, каковы познания нашего философа в области диалектического метода. Вот небольшой пример. В. Разумный рассматривает вопрос о том, можно ли сказать, что «каждое новое прогрессивное художественное направление более правдиво, чем предыдущие». Сего числа автор решает этот вопрос отрицательно. Сравнить между собой произведения разного времени нельзя. Доказательство следует: «Если бы перед художниками разных периодов была бы одна действительность, один эстетический объект, то с грехом пополам возможно было бы сравнивать их между собой по степени истинности создаваемых ими образов. Но ведь эта дейст-

вительность не неизменна: история есть процесс смены одних общественных форм другими; вслед за сменой этих форм образуются и все представления людей, в том числе и их этические идеалы, запечатлевающиеся в творчестве художников. Очевидно поэтому, что у художников каждой новой эпохи другой предмет отражения, ибо они, в отличие от своих предшественников, не только сталкиваются с иной действительностью, но и выражают иное отношение к ней» («Этическое и эстетическое...», стр. 53, курсив и синтаксис автора).

Ответ В. Разумного на тройку не тянет. Разве предмет отражения в политической экономии или в социологии не изменяется от эпохи к эпохе? Значит, сочинения Адама Смита и Карла Маркса также нельзя сравнивать «по степени истинности»? Вы говорите, что предмет отражения в искусстве меняется. А где же он не меняется? Покажите нам такой предмет, который не подчинился бы закону всеобщего изменения. Выходит, что в человеческом сознании вообще не может быть истины, ибо предмет отражения непрерывно меняется.

Конечно, мы уже знаем, что искать в сочинениях В. Разумного логику — занятие безнадежное. Он, например, не раз повторяет, что всякое искусство есть познание жизни. А так как сравнивать художественные произведения по степени истинности нельзя, то выходит, что истина не является мерой познания. Вот и судите о нашем философе как вам угодно. Впрочем, он не менее часто повторяет мысль Белинского: содержание искусства и науки одно и то же — истина. Если это верно, а это несомненно верно, то почему же нельзя сравнивать различные произведения искусства по степени приближения их к истине? Разве не так рассматривал Белинский путь русской литературы от Тредиаковского до Пушкина и Гоголя? Другое дело, что понятие истины — вещь сложная, особенно в искусстве; ее поступательное развитие противоречиво. Но все это не может служить оправданием старых философских предрассудков, излагаемых под видом нового творчества в эстетике.

В. Разумный говорит от имени марксизма, не иначе. Читатель, пожалуй, примет его слова за чистую монету, между тем сам наставник не имеет элементарных знаний, приобретаемых обычно в семинарских за-

нятиях. Вы только что видели, что он не умеет обращаться с понятием исторической относительности, то есть не знает разницы между диалектикой и релятивизмом.

На этом, пожалуй, можно закончить экзамен по философии. Довольно с вас, можете идти. Нет, постойте, есть еще один вопрос, относящийся к области эстетики. Это вопрос о реализме.

Мы уже знаем, что здание эстетики В. Разумного подвержено сильной вибрации. Хотя постоянные колебания нашего автора, его плюсы и минусы дают в совокупности совершенный нуль, этот нуль нельзя назвать состоянием полной невинности. Выпаливая свои «аксиоматические положения», В. Разумный время от времени заговаривается, его заносит бог знает куда. Вот, например, одна из его аксиом: «Эстетика, обособывающая реалистический тип образного мышления, провозглашает субъективное видение мира художником специфическим законом художественного творчества» («О природе художественного обобщения», стр. 92). Этот сомнительный принцип получил самое широкое развитие в произведениях В. Разумного. Смешное и совершенно не свойственное русскому языку словечко «видение», простая калька с модного иностранного термина, встречается у него на каждом шагу.

Если слова имеют свою философию, то слово «видение» до краев наполнено какой-то декадентской жижей. Оно закрепляет ходячее представление, будто каждый человек, и особенно каждый художник, видит мир по-своему. Пока речь идет о метафоре, литературном образе — сделайте одолжение. Но фраза «видит мир по-своему» должна означать нечто большее, а именно — субъективность восприятия. В таком случае дело обстоит не так просто.

Восприятие мира у каждого живого существа бесконечно индивидуально. Но именно бесконечно. И чем тоньше эти различия, тем труднее выразить их в конечных измерениях. Практически или в пределе, то есть в границах биологического вида, все люди, не говоря о больных глазами болезнями, видят один и тот же мир одинаково. Если особенности восприятия становятся слишком заметны, мы имеем дело с болезнью или чрезмерным влиянием организма, затемняющим внешнее восприятие. Бывают слабости зрения и зрительные иллюзии, но че-

ловек научился отличать их от общей нормы и корректировать их.

Заметные различия между людьми возникают в процессе истолкования того, что видит человеческий глаз. Хотя эта примесь сознательного элемента возможна на очень ранней ступени восприятия и проявляется часто в бессознательной форме, ее следует отличать от зрения в собственном смысле слова — естественного процесса, лежащего в основе. Разница между людьми становится особенно ясной, когда речь идет о выражении и передаче нашей картины мира при помощи разнообразных средств, связанных с особыми историческими и личными условиями. Здесь люди больше всего расходятся между собой. Так, импрессионисты начиная с семидесятих годов прошлого века перешли к «светлой палитре» в отличие от академических и салонных живописцев, которые писали темно, применяя много коричнево-краски, асфальта. Было бы наивно думать, что изменилась тональность зрительного восприятия. Нет, изменилась передача его рукой художника.

Почему же в этой области индивидуальные различия принимают характер более определенных типов «видения», как говорит наш автор? Потому, что всякое человеческое творчество, совершаемое умом или рукой, в отличие от того, что дано природой, несет на себе печать искусственности. Не надо думать, что это унижает человека — в искусственности его созданий есть не только слабая, но и сильная сторона. Все, что он создает сам по себе, от прямой линии, проведенной на песке, до небывалой пластмассы, синтезированной на заводе, от научного понятия до пейзажа Коро — все это имеет достоинство всеобщности и простоты, недоступных в столь правильной форме миру природы без человека. Борясь против неисчерпаемой сложности природы, он вступает в союз с ее низшими, простыми, механическими силами, и это позволяет ему, как правителю Макиавелли, надеяться, что он сумеет навести порядок в своем уголке вселенной. Лишь бы царь природы не проявил излишнего рвения, ибо природа этого не терпит. «Слишком строгие господа долго не управляют», — гласит старая немецкая поговорка.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что «субъективное видение» не является специфическим законом художественного творчества. Напротив, законом его является

стремление к общей норме, отвечающей объективному содержанию нашей картины мира. При этом художник невольно или сознательно упрощает свое восприятие, ибо всякое человеческое искусство приближительно и условно. Не субъективность восприятия, а свойство создавать искусственные всеобщности лежит в основе более или менее ясной кристаллизации разных типов «видения мира», если угодно в переносном смысле пользоваться этой терминологией. Колорит одного художника красноватый, другого — зеленоватый, и мы легко замечаем это. Типы эти заметны, определены, очерчены ясными линиями в отличие от естественных особенностей восприятия, бесконечно индивидуальных у каждого человека. Условности бывают исторические, местные, принадлежащие определенному жанру, не только личные. Это искусственные миры, верные природе у настоящих живописцев, но зараженные конечностью, как все искусственное, упрощающие богатство восприятия. Хорошо это или плохо?

Солнце художника — не солнце природы, писал Дидро. Как искусственный соловей не может заменить естественного, при всех своих преимуществах, пленивших китайского императора, так искусство вообще, даже наделенное стихийной силой гения, не может догнать природу. Но это и хорошо. Без этой разницы между неповторимой природой и повторением ее в различных формах человеческого творчества, включая сюда и процесс мышления, и реальные абстракции техники, без этой разницы, создающей столько проблем, не может быть второго человеческого мира в рамках природы, а этот мир нужен нам и, говорят, нужен самой природе, которую мы повторяем на свой лад, надеясь, что это к лучшему.

Конечно, есть мера в вещах. Более значительная доза искусственной всеобщности уже не помогает нам приблизиться к сердцу природы, а удаляет от нее. В совершенно чистой, стерильной среде вредные бактерии не живут, но в ней не может жить и сам человек. Это мертвое царство стиля, если вернуться к художественному творчеству, и есть область «субъективного видения» как такового. Чуть поодаль от него начинается уже зараза жизни, конкретное содержание реальности. Зеленая, красная, желтая окраски «видения» слабеют, порядка в этом мире меньше, и он гораздо сложнее, многообразнее. «Тик мастеров», как говорят

французы, маниакальная последовательность, облекающая пациентов доктора Кривоша, уступает место более трезвому подражанию природе.

Искусство в своих архаических и перерезлых (или упадочных) формах часто граничит с отвлеченной типичностью стиля, в которой стирается все индивидуальное. Как признают теперь сами участники новейших течений, погоня за оригинальностью «видения» привела к полному конформизму, то есть однообразию. Здесь действуют больше законы статистики, чем эстетики. Только реальная жизнь во всем богатстве ее исторического развития настолько неисчерпаема, что ее можно изображать, не опасаясь за себя, — оригинальности хватит на века. Вот почему в те времена, когда художник наивно думал, что существует только один способ видеть мир, и честно старался передать эту «непосредственную достоверность», сильных индивидуальностей в искусстве было гораздо больше.

Природа, точнее — живая действительность, включая сюда и мир истории, есть общий масштаб для всех искусственных миров, созданных человеком с его опасной склонностью к чрезмерному, механическому упрощению бесконечного многообразия жизни. Лишь обращаясь к этой общей основе, можно понять слова Маркса — «понимающее мышление» одно и то же во все времена. Так же близки, едины в своей основе все формы искусства, и только на периферии, в слишком заметных провинциальных диалектах оно распадается на «субъективные видения». У всех бодрствующих один общий мир, сказал Гераклит, во сне же они уходят в свой собственный.

Мысль о том, что каждый человек имеет свое особое «видение», хорошо известна. Стремление разбить историю человеческого сознания на множество не сообщающихся между собой субъективных форм, оригинальных сновидений, личных и коллективных, является одним из продуктов современного западного иррационализма. Отсюда растет эстетика различных модернистских направлений, отвергающих объективный масштаб человеческого глаза во имя субъективно окрашенного «видения».

Где подхватил В. Разумный это словечко, я не знаю. Знаю только, что здесь нужно выбирать. Либо, при всем многообразии стилей и форм, при всех противоречиях развития, имеется общий критерий художест-

венной правды — или реализма — и эта правда развивается в истории, как вся совокупность материальных и духовных сил человечества, либо вы должны признать вместе с Мальро и десятками, нет, сотнями, тысячами других, более мелких бесов нового царства тьмы, грозящего нашей эпохе, что исходным фактом сознания является слепота, а не зрение, ночное безумие, а не единый для всех бодрствующих общий мир, «субъективное видение», а не истина, то есть отражение действительности в человеческой голове.

У них-то это понятно, а у вас это откуда? Если «субъективное видение» является специфическим законом художественного творчества, как утверждает В. Разумный, то единственным общим критерием становится оригинальность этого «видения», сила его выражения. Такая позиция слишком напоминает различные теории искусства, основанные на иррациональной экспансии «художественной воли». Признайте тогда и «волю к власти» главной движущей причиной человеческих поступков. Признайте «великую ложь», сознательное мифотворчество, целью искусства и литературы. Одним словом — определите вашу позицию.

В. Разумный грозит стереть с лица земли буржуазную эстетику. Но если под именем буржуазной эстетики понимать различные школы модернизма, родственные новейшим течениям идеалистической философии, то именно в этой среде принято рассматривать «реалистический тип художественного образа» как чистую условность, и притом наиболее субъективную. Взгляд, согласно которому греческая классика, искусство эпохи Возрождения и дальнейшее развитие этих начал есть высший подъем художественной правды, считается теперь устаревшим. «Сорок тысяч лет модернизма», история различных условностей, субъективных типов «видения», стилей и методов, одним из которых является «реалистический тип художественного образа», — так выглядит мир искусства с точки зрения его могильщиков. Чтобы пояснить, в чем острее вопроса, стоит напомнить, что и наука от Архимеда до наших дней также рассматривается как одно из возможных условных мировоззрений наряду с древним мифом и средневековой схоластикой. Все одинаково истинно, все одинаково ложно для софистов двадцатого века.

Мы видели, что В. Разумный отстаивал широкое понимание реализма и был готов

принять в него на общих основаниях различные формы условности. Здесь нет еще греха, и я надеюсь, читатель не понял меня в том смысле, что реализм исключает условность. Не об этом идет речь. Истинное содержание дела состоит в том, что, борясь за расширение границ реализма, наш смелый автор столь же горячо выступает за сужение его принципиальной роли как основы всякого искусства. «Реализм без берегов», выражение, впрочем, не принадлежащее В. Разумному, — вот естественный вывод из теории «субъективного видения».

Однако берега все-таки есть. Иная условность выше иного реализма, даже самого достоверного. Но тот, кто стал бы утверждать, что существенной грани нет, что все зависит от «субъективного видения», был бы похож на человека, отрицающего разницу между мужчиной и женщиной на том основании, что у некоторых женщин растут усы. Это еще не все.

Вы можете глубоко ценить условности Рабле, Свифта, Вольтера, вы можете понимать Кафку, несмотря на болезненную странность формы, в которую облакаются его реальные наблюдения. Подчиняясь одному и тому же закону, писал Герцен, железо падает, а пух летит. Но если, сославшись на то, что пух летит, вы скажете: «Закон тяжести устарел» — вы будете софист, и вам любая теория что дышло — куда повернешь, туда и вышло.

Мне кажется, я достаточно доказал, что наш поклонник «субъективного видения» недалеко ушел от такого подхода к законам искусства. Идеология В. Разумного течет без берегов. Что за сила несет его в беспредельность, несмотря на привычку держаться более осторожно? Сила не малая и не новая — пустозвонство, пустословие, пустоутробие...

Жаль, что эти черты проявляются там, где их не должно быть. Однако печальный опыт тоже играет роль в жизни людей. Не утверждая, что деятельность В. Разумного в ее нынешней форме необходима для процветания нашей эстетики как пример «плохого», можно надеяться, что история его эстетических взглядов заставит тех, кто ищет «хорошего», но увлекается субъективным «видением» вследствие добросовестного заблуждения, подумать над биографией таких идей.

В своей последней брошюре, претендующей на сверхортодоксальность, наш оракул

более осторожен. По крайней мере словечко «видение» в смысле субъективной призмы, меняющей достоверность взгляда, встречается у него и с отрицательным знаком. Тем не менее он тут же съезжает на знакомую колею: «Содержание нашего сознания обусловлено не только тем, что «идет» от объекта, познается в нем человеком в процессе общественной практики, но и тем, что идет от субъекта. В науке эта субъективность, связанная с ограниченностью достигнутого уровня знаний, с влиянием установившихся традиционных представлений и идей, преодолевается ее поступательным, прогрессивным движением. В искусстве же субъективность образа — кардинальный признак, определяющий его эстетическое значение в той же мере, как и объективное содержание».

Итак, содержание нашего сознания обусловлено не только объектом, но и субъектом. Что сие означает? Можно представить В. Разумного последователем Канта, но это было бы несправедливо. Ведь наш знаток философии самым детским образом путает термины «трансцендентный» и «трансцендентальный», хотя в известном смысле они имеют прямо противоположное значение. Однако нельзя назвать это и материализмом. Во всяком случае грустно читать такие рассуждения в книге, которая называется «Ленинская теория отражения и...». Бедная, бедная теория отражения, за что это ей?

Нет двух начал в человеческом сознании, начало его одно — отражение объективной действительности. И это начало не «обусловлено» субъектом; нельзя выдавать такой вздор за учение Ленина. Не может быть субъективность «кардинальным признаком» искусства, и вообще нельзя смешивать разные принципы теории познания, идеализм и материализм — это называется пустой эклектикой.

В. Разумный может сказать, что под именем «субъективности образа» он понимает не только особую окраску «индивидуального видения», но и субъективную позицию классов и партий. Если так, почему субъективное начало в науке является, с его точки зрения, только признаком ограниченности, подлежащей устранению? Разве марксизм — не наука или это учение не рассматривает мир в форме практики, то есть субъективно? С другой стороны, никто не станет отрицать, что по крайней мере образы Гёте, Пушкина, Бальзака, Гончарова, Флобера

вполне объективны. Значит ли это, что они лишены «кардинального признака» искусства?

У В. Разумного нет никакого намека на действительное понимание вопроса. Как в искусстве, так и в науке субъективность может играть и положительную и отрицательную роль. Все зависит от содержания этой субъективности, а содержание дает ей только реальный мир. Обратите внимание на классическое место в полемике Ленина против Струве. Материалист, пишет Ленин, глубже, последовательнее объективиста проводит свой объективизм. Вот почему он не сбивается на точку зрения апологета, хвалителя исторических фактов. В рамках объективной необходимости возможны различные пути. Сама действительность распадается на противоположные силы, содержит в себе классовые противоречия. Не останавливаясь перед суммарной картиной исторического движения, материалист вскрывает эти внутренние противоречия, чтобы при всякой оценке событий прямо, открыто занять свое место на стороне определенной общественной группы, представляющей более передовой и широкий интерес. Таково объективное содержание его субъективности, его партийной позиции.

Если же В. Разумный под именем «социального идеала» понимает что-то вроде «субъективного видения», то есть условности, которая «идет от субъекта», преломляя определенным образом объективное отражение мира, то эта старая выдумка больше похожа на взгляд народников, эсеров или анархистов, больше напоминает теории «социального мифа», столь распространенные на политической арене и в наше время, чем ленинское понимание партийности.

За неимением места я не могу разбирать вопрос о степени участия субъекта в искусстве по сравнению с наукой. Скажу только, что фраза о субъективности художественного образа — не единственная в своем роде. Существует и другая хотя бы фраза, согласна которой достижения науки условны, имеют значение только для своего времени, а образ художника объективен и остается. Какая из этих теорий справедлива? Ни та, ни другая. Это разные стороны более сложного целого; они увлекают мысль своей доступностью, но из таких маложивых рассуждений нельзя делать слишком широких выводов.

Ввиду отсутствия прочной идейной основы наш герой старается заменить ее крикливостью. И все же там, где речь идет о действительном столкновении с буржуазной идеологией, В. Разумный всегда пасует, всегда доступен сомнительным влияниям.

Не так давно Издательство иностранной литературы выпустило книгу польского философа Романа Ингардена «Исследования по эстетике» (1962). Видный ученик Гуссерля, основателя так называемой «феноменологии», Роман Ингарден известен во всем мире. Он, конечно, может иметь свою точку зрения, и никто ему не указ. Но автор предисловия к русскому изданию этой книги, с необыкновенной важностью пишущий о своих собственных трудах в области марксистско-ленинской эстетики — я имею в виду В. Разумного, — должен считаться с основами принятого им учения.

Я не ставлю в вину В. Разумному его любезный тон, его реверансы в сторону польского философа. Это можно рассматривать как проявление вежливости. Недостаток вступительной статьи состоит в другом. Кроме самых общих фраз, ее критическая часть сводится к тому, что Ингарден еще бы более наострил, когда бы у В. Разумного немножко поучился. В остальном речь идет о мирном сосуществовании. В. Разумный рекомендует так называемый «структурный метод» анализа литературных произведений и связанную с ним теорию «слоев» в качестве полезного приобретения для марксистской эстетики. Из книги Ингардена все эти «структуры» и «слои» проникли в словарь самого В. Разумного. Он весьма одобряет анализ эстетического переживания, проведенный Р. Ингарденом в этой книге. «В частности, — пишет автор вступительной статьи, — интересно его различение непосредственного удовольствия, которое возникает в результате первого мимолетного впечатления, от эстетического переживания, выступающего как сложный процесс, имеющий различные фазы». Откройте автореферат докторской диссертации В. Разумного, и вы увидите, что он немедленно пересади́л это открытие в свою собственную систему эстетики. Автор не только рекламирует понятие «переживания» как инструмент марксистского анализа, видимо, даже не зная, какое значение это понятие приняло в идеалистической «философии жизни» и в дальнейшем развитии идеализма XX века. Мы найдем у него и прямое

заимствование из книги Ингардена: «Эстетическое переживание — явление неизмеримо более сложное, чем эстетическое удовольствие, которое может вызываться и бессодержательной игрой форм» и т. д. (стр. 29).

Тонкость этого различия должна произвести глубокое впечатление на читателей В. Разумного. Большинство даже не поймет, в чем оно состоит, да и где понять! Ведь это различие имеет какой-то смысл в рамках «феноменологии» Гуссерля — сложной постройки с большими излишествами, если не считать, что она сама снизу доверху является неким излишеством современного интеллекта, в котором, как говорится, ум за разум зашел. Дело в том, что эта философия стремится изолировать сознание, взятое в чистом виде, от внешнего восприятия, очистить его от наблюдения предметов действительного мира и вызванных ими непосредственных психологических эмоций. За вычетом всех признаков конкретного бытия остается чистое «видение» сущности предмета, относительно которого мы даже обязаны забыть, существует он реально или нет. Руководствуясь принципом феноменологии, ее духовным бюрократизмом высшего класса, можно составить «объективку» на самого черта, хотя, как думают в настоящее время, он не существует.

При таких общих идеях совершенно естественно, что Роман Ингарден хлопочет о том, чтобы отделить эстетическое переживание от непосредственного наблюдения предметов внешней реальности и удовольствия, которое они могут нам доставить самим фактом своего существования. В результате такой обработки эстетическое переживание приобретает здесь чисто формальный смысл — это как бы собственная резолюция на заявлении, обращенном к самому себе. Поводом для переживания является нечто вне нас, но эстетический предмет отделяется от предмета в плебейском смысле слова. Он создается самим переживанием и не имеет дела с изображением вещей. Поясним ход мысли Ингардена при помощи следующего примера.

Следуя совету Леонардо, вы можете увидеть на стене, покрытой плесенью, превосходный пейзаж с горами, поросшими лесом, долинами рек и т. д. Ваше ощущение будет колебаться где-то на грани — то перед вами грязная стена, то глубокое пространство. Иногда трудно бывает войти в эстетическое

переживание, иногда трудно расстаться с иллюзией и увидеть грубый предмет как таковой. Вот вам два «слоя», которые прежде всего имеет в виду феноменология. Несколько ученых страниц, посвященных Ингарденом этому вопросу, основаны на удивительном недоразумении.

Конечно, переходя от плесени на стене к образу леонардовского пейзажа, мы, как говорит Ингарден, переходим от практической точки зрения повседневной жизни к эстетической точке зрения. Но когда нас покидает ощущение стены и возникает иллюзия широкого окна в мир, глаз не теряет связи с предметной реальностью вне нас. Он продолжает наблюдать предметы внешнего мира, ибо в этом и заключается его роль. Только вместо стены или холста мы наблюдаем пейзаж, изображенный художником или представленный нами при виде удивительных узоров, созданных самой природой.

Философская конструкция, пленившая В. Разумного, основана на игре ума. Она возводит эстетическое переживание в ранг самостоятельного «слоя», отделенного резкой чертой от более низкого «слоя» наблюдаемой предметности. На самом же деле эта система слоев ровно ничего не доказывает, ибо, кроме предмета, служащего материалом для нашего воображения, в данном случае стены, покрытой плесенью, есть еще другой предмет, отраженный в этом материале для нас. Это реальный пейзаж, лежащий в основе работы нашего воображения, синтезированный нами, но все же реальный. Роман Ингарден странным образом смешивает эти два предмета, чтобы устранить зеркальное отношение между нашим сознанием и внешним миром, превратив то и другое в два самостоятельных этажа одной и той же постройки. Нельзя не заметить, что это и есть «кардинальный признак» современного идеализма.

Допустим, что вы держите в руках сто рублей — билет государственного казначейства. Он отпечатан на бумаге, которая тоже имеет стоимость, но стоимость ее ничтожна по сравнению с той, которую он представляет. Вы легко можете доказать, что эта бумажка и сто рублей не одно и то же — и вот вы разделили один и тот же факт на разные «слои». Но кто же сделает отсюда вывод, что сто рублей есть величина самостоятельная, чистая стоимость, не имеющая отношения к предметному «слою» жизни?

Эту бумажку вы обменяете на другие вещи, более ценные, чем она сама. Вещественность вашей купюры отступает на задний план, зато растет функция денег как всеобщего эквивалента, реального отражения стоимости всех вещей.

Так же точно наблюдение холста, испачканного краской, или стены, покрытой плесенью, отступает на задний план перед зрением более широкого мира, отраженного в этом экране. Мы никуда не ушли от наблюдения внешней реальности. Скорее наоборот. Прежде мы только соприкасались с малой частью предметного мира (это и есть «повседневная точка зрения»), теперь же мы действительно наблюдаем — благодаря экрану расширился наш обзор. На этом построена вся история человеческой культуры от экономики до искусства.

Между человеком и внешним миром выросло много посредствующих звеньев. Можете, если угодно, называть их «слоями». По другой терминологии их называют «шифрами», «символами», «кодами» и т. д. Но никакая толща этих слоев не может отменить того основного факта, что наше сознание есть зеркало, повторение внешнего мира, а не самостоятельная величина среди других. Глядя на странные черные крючки, покрывающие белый лист, вы можете забыть о них и видеть перед собой типографский узор, образующий печатную страницу. Этим занимается книжная графика. Вы можете забыть и этот узор, чтобы проникнуть в одно из приключений Дон-Кихота — оно как раз изложено на этой странице. Вы можете, далее, забыть и это приключение, перейдя к более общему смыслу романа Сервантеса. Но чем дальше вы уходите от черных крючков, тем больше вы возвращаетесь к предметному миру на другой лад.

Люди все дальше уходят от природы и с каждым шагом возвращаются к этому началу всех начал. Ведь уход эстетического переживания от «повседневной точки зрения на мир» состоит прежде всего в том, что сфера нашего непосредственного наблюдения растет благодаря многим формам изображения, созданным человеком. В этом естественная магия искусства, и она доставляет нам громадное удовольствие. Вы входите в чужую жизнь, вы видите свою собственную жизнь с новых сторон. Но даже прекрасное в природе изобразительно. Оно обладает для нас эстетической ценностью, вызывает эстетическое переживание именно

потому, что каждый прекрасный предмет несет в себе отражение бесконечного мира, является для нас окном в этот мир. Природа тоже имеет свое искусство. Насколько более глубокой, по сравнению с пустыми тонкостями феноменологии, является точка зрения Дидро, который думал, что пейзажи Берхема или Воувермана висят на стене потому, что люди, ушедшие от природы, пытаются неистребимое желание охватить ее в своем сердце более широко.

Изолируя эстетическое чувство от простого впечатления, наблюдения и удовольствия, Роман Ингарден хочет превратить художественное произведение в некий самостоятельный предмет, не зависящий более от реальных предметов вне нас. Эта тенденция вполне совпадает с тем движением мысли, которое привело Аполлинера, Сальмона, Пикассо и его друзей, основателей «нового духа» в искусстве, к фантастическому выводу, будто задачей живописи является создание особого предмета, *objet-reinture*, в отличие от предмета природы, *objet-nature*. Согласно этой теории оба предмета не связаны между собой, как изображение и модель,— они образуют два слоя нейтральной структуры, больше ничего. Совершенно естественно, что Роман Ингарден с полным одобрением относится к абстрактному искусству.

Это естественно. Но объясните мне, каким образом что-то похожее на эти идеи может попасть в труды столь громогласного защитника идейной непорочности, как В. Разумный? Я не подозреваю его в симпатиях к идеализму, это было бы смешно, хотя никто не скажет, что материализм без берегов имеет какую-то реальную стоимость. Я хотел только сказать, что пустозвонство и пустоутробие до добра не доводят. Пора, на худой конец, применить к нашей эстетической литературе критерий качества, планировать ее в эффективных штуках, ибо штуки В. Разумного совершенно не эффективны.

На этом моя монография закончена. Карл Маркс сказал, что критика должна быть

беспощадной. Я выполнил указание великого учителя, конечно, не вполне, но все же процентов на тридцать. Прощайте живописные берега эстетики, стремящей пресные воды свои меж двух опасностей, Сциллы и Харибды, двух страшных скал, описанных мною при помощи цитат из В. Разумного. Прощайте цитаты, ссылки, аксиомы, благородные восторги и строгие логические доказательства. Прости и ты, мой добросовестный, хоть малый труд. Отчего же какое-то чувство грусти охватывает меня, как будто мне предстоит расстаться по крайней мере с Евгением Онегиным?

Оттого ли, что я предчувствую неприятности, связанные с должностью критика? Едва ли. Не думаю об этом, да и не первая зима на волка. Оттого ли, что я потратил столько времени на пустое дело, вместо того чтобы выбрать себе классика и писать о нем или исследовать вопрос о форме и содержании, новаторстве и традициях — вообще вести себя солидно и обдуманно? Оставим этот вопрос без ответа.

Оттого ли, что человечество, создавшее хор из Девятой симфонии, рождает такие химеры эстетики, такие странные шутки ума и совести? Оттого ли, что марксизм, в котором я вижу надежду современного мира, должен нести ответственность за эти прорехи на человечестве? Не знаю, но, расставаясь с В. Разумным, я не весел.

Чем бы утешиться? В старину портретный жанр считался самым низким. «Он портретной», — говорили о художнике, выражая этим пренебрежение к его трудам. А теперь? Совершите прогулку по всей истории искусства, сквозь все бесконечное разнообразие религиозных, мифологических, литературных, военных, бытовых и прочих сюжетов — что оказалось самым живым и достоверным? Портрет. В основе всякого искусства лежит портрет, даже в тех случаях, когда существо, изображаемое человеком, похоже на призрак.

Может быть, и моя слабая копия с оригинала будет жить, как живут химеры, высеченные рукой неизвестного каменщика.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Арсений Гарковский. Языком поэзии.— **М. Сокольский.** Еще о славе и о тоске.— **Н. Крымова** Телевидение и первая книга о нем.— **Ст. Рассадин.** «Нужна мне розовая дымка».— **В. Павлова.** Неизвестные страницы Слепцова.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Калачников. В жизни — сложнее.— **И. Ермашев.** Опасные иллюзии одержимых.— **Б. Галанов.** На Севере дальнем.— **Г. Федоров.** История и поэзия.— **Ю. Попков.** «Некто в черном».

Литература и искусство

ЯЗЫКОМ ПОЭЗИИ

Геворг Эмин. Стихи. Авторизованный перевод с армянского.
«Художественная литература». М. 1963. 288 стр.

Чтобы принять и полюбить творчество поэта, существуют стимулы не менее важные, чем общность речи. Это единомыслие поэта и читателя, их взаимное сочувствие.

Среди советских поэтов, близких и нужных нам, армянский поэт Геворг Эмин в послевоенные годы занял значительное место. Издательство «Художественная литература» выпустило в свет книгу его стихотворений в серии «Библиотека советской поэзии». Это «издательское» признание, несомненно, совпало с признанием читателей.

В сборнике представлены стихотворения из четырех книг. Поучительно, как бы следуя за поэтом от года к году, наблюдать, как развивается его дарование, следить за борьбой, которую подлинный поэт всегда ведет с привычностью литературного канона — ради выявления самобытности своей творческой личности.

Развитие поэзии Геворга Эмина шло от мелкого к крупному, от сугубо личного — к широкому, общезначимому, от явлений часа и дня — к явлениям эпохи. Соответственно этому в течение ряда лет выявлялось и своеобразие его стиля.

Многих из нас еще в школьные годы преподаватели «словесности» истязали вопросом: «Что данный поэт хотел сказать данным стихотворением?» Узко утилитарное понимание поэзии, этот грех старой педагогики, вольное и невольное намерение выдать произведение искусства за некоторое подобие справки из энциклопедического словаря у очень многих еще в детстве отбило вкус к поэзии. Известно, что каждое подлинное стихотворение больше, многозначней того, «что хотел сказать поэт», как каждое слово в таком стихотворении больше и многозначней, чем то же слово у Дала, Ушакова или в Академическом лексиконе. «Что хотел сказать поэт» очевидней

всего там, где стихотворение утилитарно. Рекламные строки «Нигде кроме, как в Моссельпроме!» допускают единственное, вполне ясное толкование. «Я помню чудное мгновенье» истолковать труднее, впрочем, оно в толковании и не нуждается. Дело не только в том, что в стихотворении этом сказано все, что надо было сказать, и прозаических дополнений оно не допускает. Язык поэзии иначе и больше говорит сердцу и разуму читателя в подлиннике, чем в переводе на прозаический язык анализа.

В книге Геворга Эмина вы найдете стихотворение «Мама моя говорит так тихо...». Если мы станем на точку зрения школьника былых времен и постараемся ответить на вопрос: «Что хотел сказать поэт данным стихотворением?» — у нас выйдет примерно такое сочинение на эту тему:

«Мама поэта имела обыкновение говорить как можно тише, боясь прогневить горе. Проведя дореволюционные годы в крайней бедности, она обожествляла горе, что вошло в привычку, о которой сказано выше. Вот почему мама, не имея к этому оснований, опасается горя и теперь. Поэт, от лица которого ведется повествование, берет ружье и хочет рассчитаться с маминим горем. Но оно прячется «за» сердце мамы (так сказано в переводе, и мы вправе спросить: куда же именно?) — и поэтому приходится целиться поточней, чтобы, убивая первое, не задеть второго. Представим себе затруднительное положение поэта, и тогда нам станет вполне ясно, что поэт хотел сказать в данном стихотворении».

Если бы язык поэзии не был языком метафорическим, мы, пожалуй, только так могли истолковать это стихотворение. Но мы не делаем этого. Мы понимаем, что высказывание:

...я ружье свое поднимаю —
с горем маминим рассчитаться...—

принадлежит к области метафоры. А метафорический язык иной, чем язык аналитической прозы. Когда поэт уверяет в стихах, что где-то в горах, стоит ему того пожелать, вспыхивает костер — вы не считаете его ни обманщиком, ни фокусником. «Я» в его стихотворении может принадлежать не ему, а какому-либо другому лицу, даже не лицу, а человечеству или его части. Говоря о поэзии, нужно помнить не только

о мирозерцании поэта, но и о его мироощущении. Не только о том, «что» выражено, но и о том, «как» выражено это «что».

Каково же мирозерцание и мироощущение Геворга Эмина?

...Я сам не понимаю, отчего
Всю жизнь мою меня влекли дороги,—
Дороги, рельсы, волны, облака,
Машины, поезда и самолеты...

В этих словах выражена главная тема Геворга Эмина: жизнь в ее движении, изменении, развитии, разнообразии, прелести, исключительности, неповторимости и ярчайших проявлениях. Наш поэт полагает, что все на свете существует только для человека, что все сущее бессмысленно, если оно не служит так или иначе человеку. Все — для человека, для его счастья, для его грядущего, которое предоставит ему это счастье с невиданной щедростью. Из этой темы проистекают, так сказать, подтемы — любви к родине, любви к миру и ненависти к войне, любви к правде и добру, ненависти ко лжи и злу.

Впрочем, такое определение темы поэзии Геворга Эмина может показаться слишком общим. Но если я скажу, что суждения поэта находят своеобразное и всегда убедительное воплощение, если я процитирую отрывки из его стихотворений... Не лучше ли, однако, вам самим заглянуть в его книгу? Только стихотворение может рассказать все о себе самом.

У Геворга Эмина слепец говорит, что он не настолько слеп, чтобы не узнать родины. В другом стихотворении — Ленин не похоронен и не будет похоронен в земле, потому что не прекращается поток желающих проститься с ним. Поэт готов судить по Уголовному кодексу акации в саду гестапо за то, что они были безмолвными свидетелями преступлений. Все эти примеры из той же области, области метафоры, области искусства поэзии.

О своих стихах Геворг Эмин говорит: «Мои созданы, полные тревоги». Он тревожится и о нашей судьбе. Он охраняет нас от превратностей истории, он готов грудью прикрыть нас в недобрую годину. Эти ненаигранные качества самоочевидны для каждого, кому знакомо творчество армянского поэта.

«В мою душу, наверно, тысяча рек впадает», — говорит поэт, — и тысячи жизней, и

все человеческое горе, и все человеческое счастье. Тяжесть была бы непосильной, если бы из души «не рвался наружу моих щедрых песен маленький ручеек». Это прекрасно и скромно сказано, но что за «ручеек» проистекает из души поэта — мы, русские читатели, не до конца знаем, ибо можем судить только по переводам, составившим рецензируемую книгу.

Как же переведены стихотворения Геворга Эмина?

В идеале, на мой взгляд, перевод хорош, если создан одним переводчиком, наиболее близким по духу и стилю автору подлинника. Если в переводе передана не только суть стихотворения, но и воплощение этой сути — от общего характера стиля до ритма, рифмы и даже «мелочей» звучания, едва приметных для уха. Если в переводе стихотворение производит на читателя то же впечатление, что в подлиннике «у себя дома». В подлиннике «содержание» находит для себя единственно возможную «форму», в переводе также следует искать единственно возможную «форму».

В книге Геворга Эмина немногим больше ста стихотворений. Их переводили тридцать русских поэтов. Тридцать более или менее ярко выраженных индивидуальностей — от В. Звягинцевой и М. Петровых до Л. Мартынова и Ю. Левитанского, от Б. Слуцкого и М. Дудина до Е. Евтушенко и Б. Окуджавы. Далеко не все эти тридцать, садясь за письменный стол, помнили слова «Смирись, гордый человек!», слова, которые каждому переводчику (по выражению одного русского поэта) забывать никогда не следует. И вот — можно подумать, что в одном стихотворении Геворг Эмин робко, как школьник, подражает Е. Евтушенко, в другом — А. Вознесенскому и т. д. Здесь вы не вычитаете, как пишет Геворг Эмин, даже если есть в книге и верные духу и стилю подлинника переводы (а такие несомненно есть, но они теряются). Что бы вы сказали, если бы два стихотворения русского поэта, схожие по стилю, как братья-близнецы, были бы переведены одно в манере К. Фофанова, а другое — Маяковского? Нечто подобное случилось с нашим армянским другом. Попробуйте, руководствуясь его книгой, постичь, как он пишет? Верен ли он в своем творчестве традиционным «классическим» стихотворным размерам или предпочитает «свободный стих»? Не-

ужели один и тот же поэт написал стихи, которые мы приведем в отрывках:

1. Морской прибой ласкает нас,
 дай наглядеться на тебя.
 Не опускай лучистых глаз,
 дай наглядеться на тебя...
2. Три девочки в траве —
Три тонких линии,
Одна из них подобна лилии.
(О, детские мечты!
Они так радужны,
И все печали их — легки и радостны...)
3. Я снова у моря.
И горе не в горе.
В закатном сиянье огня
И доброе солнце,
И синее море
Баюкают сказкой меня...

Чем выше творческая квалификация поэта-переводчика, тем «смирненной» — и полнее — пытается он выявить черты стиля подлинника. По-моему, лучшие и наиболее достоверные переводы в книге принадлежат В. Звягинцевой, М. Петровых, В. Потаповой, Д. Самойлову, Б. Слуцкому. Имен авторов недостоверных переводов перечислять не хочется. В переводы вкрались звучия, какие Юлиан Тувим называл «недорифмами», вроде «красиво — силу», «досадно — завтра», «ночи — мощи», «вставши — пропавшим». В большинстве случаев переводы, составившие книгу, бедны интонациями, подлинник же ими богат.

Нужно сказать, что Геворгу Эмину с переводами вообще не повезло. Его сборник «Перед часами» («Советский писатель». М. 1962) тоже переведен целой ротой поэтов. А в книге не больше двух тысяч стихотворных строк, и штурмовать ее можно было бы меньшему подразделению, но состоящему из наилучших бойцов. Все же книга эта выигрывает от сравнения с рецензируемой: «коэффициент» разнобоя здесь поменьше, в сборнике есть превосходные стихотворения, почему-то не включенные в издание «Художественной литературы».

Искусство стихотворного перевода достигло у нас небывало высокого уровня. Вспомним Шекспира в переводах С. Маршак, Гёте — Б. Пастернака, Данте — М. Лозинского. Кому же, как не издательствам вместе с переводчиками стремиться к тому, чтобы уровень этот не падал, как барометр перед непогодой?

Тираж книги Геворга Эмина — пять тысяч экземпляров: из каждого гражданина СССР приходится только одна сорокатысячная одного экземпляра книги — ве-

личина, как говорят математики, стремящаяся к нулю. Но на этих «сердца горестных заметах» мне не хотелось бы заканчивать рецензию. Вернемся к нашему поэту.

Он широко охватил мир современного переломного человечества. Темы его разнооб-

разны, и все они — его собственные темы. Слово поэта — дело поэта. Сфера деятельности Геворга Эмина — добро и человечность. В стихах его много нового, расширяющего круг представлений читателя.

Арсений ТАРКОВСКИЙ.

★

ЕЩЕ О СЛАВЕ И О ТОСКЕ

Леонид Борисов. В тоске и славе. Повесть. «Звезда», № 8, 9, 1963.

Новая повесть Л. Борисова «В тоске и славе» посвящена последним годам жизни великого русского музыканта Сергея Рахманинова.

Рахманинов в эмиграции — тема эта в нашей художественной литературе еще не тронута, тема интересная, в какой-то мере даже «сенсационная». Леонид Борисов берется за нее решительно, он пытается передать все-сторонне облик этого замечательного человека: его одержимость музыкой, его творческие и нравственные поиски, отношения с женой, с окружающими людьми, его мысли о родине, тоску по ней и т. д.

Но как справился со своим замыслом автор, удалось ли ему убедительно воплотить сложный образ Рахманинова-человека и Рахманинова-музыканта?

Повесть начинается с приезда шестидесятипятилетнего композитора в Париж к умирающему другу Федору Шаляпину. Затем последний концерт в охваченной войной Европе, отъезд Рахманинова в Америку и его жизнь там до самой смерти, то есть до весны 1943 года.

Годы, которые описывает Л. Борисов, были очень тяжелыми в жизни композитора. К ощущению надвигающейся старости, болезней примешивается страх, боль за охваченную войной родину, нравственные тяготы жизни на чужбине, в Америке.

Всей этой сложности Л. Борисов совершенно не передал. Герой повести вроде бы и мыслит и рассуждает на разные темы, но как все это убого и неинтересно! Будто это вовсе и не Рахманинов, а какой-то мелодраматический страдалец. На каждой странице он «разнонивается», жена его Наталья Александровна, выступающая в роли няньки, поминутно вытирает ему слезы, а зеркало говорит «не в пользу его морщин... большими скобками закрывавших самые края рта». Таким он и останется до

конца дней, когда «врачи... подобно почетному конвою сопровождали его в смерть».

Душа Сергея Васильевича, по выражению автора, была в последнюю пору жизни «полна заноз» и «психоперекатов». Даже если согласиться с таким «толкованием», все равно придется признать, что в изображении всех этих «психоперекатов» очень много литературной безвкусицы.

Особенно поражает вольное обращение с фактами, неосведомленность автора в музыке, что, согласитесь, имеет немаловажное значение для повести, главный герой которой — великий композитор и пианист.

Кто не знает у нас Третьего фортепианного концерта Рахманинова? Одно из наиболее популярных музыкальных произведений, концерт этот на слуху буквально у миллионов людей, помнящих его в исполнении Вана Клиберна, Эмиля Гилельса и множества других советских и иностранных пианистов. А вот если верить Л. Борисову, Третий концерт так и не был написан Рахманиновым. Судите сами: «...Наталья Александровна вынула платок из сумочки, висящей на поясе, и стала утирать мокрые глаза и щеки мужа.

— Ишь, как наплакал! Ай, сколько наплакал, и зачем? Вот пройдет год, второй, ты напишешь Третий концерт свой, и тогда...

— О, я никогда, никогда не напишу его! — воскликнул Сергей Васильевич... — Никогда уж мне ничего не написать...

— Глупости, — сказала Наталья Александровна. — Напишешь. Ради нас, меня, детей, внуков...»

Уточняем: семейный диалог этот ведется в конце тридцатых годов, Третий концерт сочинен Рахманиновым в 1909 году.

Чем дальше развертывается повествование, тем больше убеждаешься в странной неосведомленности автора повести относительно некоторых простейших фактов и под-

робностей, знакомых, кажется, всякому любителю музыки.

Вот идет описание последнего перед отъездом в Америку выступления Рахманинова в Швейцарии:

«Дежурный дал и третий звонок, сразу же после того, как диктор заявил, что фашизм будет побежден в самое ближайшее время. Заиграл духовой оркестр. Дежурный дал четвертый звонок, то нажимая кнопку, то отпуская ее. Дежурный дал этот последний звонок в три приема: длинный, короткий и с перерывами, пунктиром, и пунктир этот сказал (Сергею Васильевичу первому), что в мире все спокойно. Но не навсегда. Опасно сегодня поддаться действию Бетховена и Рахманинова,— в музыке этих людей много правды, пережитого, эту музыку писали не просто и не только композиторы, но и носители мелодии, а мелодия доживала на Западе последние дни свои, и это особенно чувствовал Сергей Васильевич...»

— Идемте,— Сергей Васильевич потянул за рукав фрака альпийский рожок: в этом оркестре не существовало деления на имена и фамилии, были названия инструментов, и альпийский рожок запросто слыл за одно существительное: рожок. Он так же, как Сергей Васильевич, был эмигрантом... Спустя две—три секунды зал стал подобен концентрированному ливню (речь идет об аплодисментах.— М. С.) — весь шум падающего водяного потока спрессовался в этом зале...»

Мы привели этот отрывок, чтобы дать представление читателю о литературном слого и манере изображения Л. Борисова. Но хотим обратить внимание также и на другое. Мы не знаем, как можно дать четвертый звонок «в три приема». Но зато твердо знаем, что в симфоническом оркестре бывает английский рожок, а никак не альпийский (играет на нем обычно гобоист). Причем в данном конкретном случае Рахманинов не мог тянуть за рукав фрака «рожок, который запросто слыл за одно существительное» и «был эмигрантом», по той простой причине, что в партитуре Первого фортепианного концерта Бетховена английский рожок отсутствует.

В первой половине повести Рахманинов играет концерт Бетховена на рояле. Во второй — он этим же концертом уже дирижирует. Кто исполняет фортепианную пар-

тию — неизвестно; пусть фортепианный концерт играет один оркестр, автора это, видимо, не волнует.

Впрочем, знаменитый романс «Весенние воды» тоже исполняют здесь только на рояле. Романсу этому, кстати, вообще не везет в повести Борисова. Какой-то бывший русский князь играет «искусно приготовленную смесь из произведений Рахманинова, нечто такое, что могло дать ясное представление о творчестве этого композитора, если бы попросили спрессовать его работы в единое целое... была в этой талантливо сделанной композиции одна волна звуков, ею начинался каждый новый пассаж, и ею же заканчивалась та или иная мелодия. То был, попросту выражаясь, мотив «Весенних вод»...»

Попросту выражаясь, вся эта цитата — сплошная чеховская «френиска»!

Думаю, что уже из приведенных выдержек достаточно ясно, что и язык произведения часто претенциозен, безвкусен. Вот, например, как автор повести пишет о Бетховене: «Этот композитор напоминал сплошные каскады грома и света, бывшего из какой-то почти осязаемо-видимой части оркестра, где был сосредоточен ежеминутно взрываемый источник ослепительно сверкающего, подобно молнии, озарения...»

А вот как изображается творческий процесс художника:

«Сергей Васильевич, поднявшись с кресла, в котором «пересиживал» свое настроение, подошел к роялю, поднял крышку и взял несколько аккордов наудачу: что получится? Дадут они сигнал тайне? Тайна опустится на мгновение, чтобы, не выдавая себя, обернуться музыкой... «Переживу ли я ту минуту, что уже не однажды переживал?» — вслух спросил себя Сергей Васильевич и, боясь попытать мгновение, ближе придвинул стул и взял несколько бурных аккордов...»

Судьба Рахманинова в эмиграции — это трагедия большого художника, бросившего родину, сделавшего страшную, тяжелейшую ошибку и горько расплывшегося за нее. Об этой трагедии следует писать. Но писать так, как это сделано в повести Борисова, — значит лишь дискредитировать тему и исказить облик великого русского музыканта, каким был и остается для нас Сергей Васильевич Рахманинов.

М. СОКОЛЬСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПЕРВАЯ КНИГА О НЕМ

В л. Саппак. Телевидение и мы. Четыре беседы. «Искусство». М. 1963. 182 стр.

Пожалуй, две из многих телевизионных передач последнего времени вспоминаются, когда речь заходит о телевидении.

Одна — из цикла передач, посвященных поискам героев Отечественной войны. Вел ее, как обычно, писатель С. С. Смирнов. На этот раз он рассказывал о русском солдате по имени Федор, которого война занесла в Италию, и он стал там руководителем партизан. Благодаря ему был выигран решающий бой в окрестностях Генуи, но сам он погиб в этом бою и был похоронен на генуэзском кладбище. Смирнов рассказал, что каждый год в феврале к месту гибели Федора съезжаются его товарищи, итальянские партизаны, — и мы увидели на экране необычную процессию. Это были главным образом пожилые мужчины, хорошо, но как-то не по февралю легко одетые. Их было много, и они медленно шли, растянувшись по снежной дороге. Потом остановились у края обрыва. Человек в пестром кашне, с запавшими щеками, лицом похожий на Эдуардо де Филиппо, стал вспоминать, как вот здесь, на обрыве, завязался бой, как они лежали вот тут с Федором и в самую страшную минуту, когда все казалось потерянным, Федор вскочил и бросился прямо вниз, на врагов...

Рассказчик оживленно жестикулировал — мы вспоминали при этом героев итальянских фильмов, — а толпа слушала его внимательно и почтительно.

Восемнадцать лет оставалось неизвестным, кто же этот легендарный Федор Потан (так его фамилию запомнили итальянцы). И только недавно выяснилось, что он кузнец из рязанской деревни, рядовой солдат Федор Полетаев.

— Вот его дом, в котором, уходя на фронт, он оставил жену с четырьмя малыми детьми.

И мы увидели деревенский дом с пристроечкой-терраской и деревьями за плетнем.

— Вот кузница, где он работал. Говорят, он был силач, великан и подковывал лошадей, вскидывая ее на плечо.

И мы увидели кузницу.

Потом на экране появилась женщина в платке, с суровым, обветренным лицом крестьянки, глубоко сидящими глазами

и сухим, твердым ртом. Это была жена Федора, вырастившая одна четверых детей и восемнадцать лет ничего не зная о муже.

— И вот наступил день, — продолжал Смирнов, — когда она приехала в Геную...

День был дождливый, и сплошные зонтики покрывали улицу. Впереди толпы шла женщина, ее вели под руки сын и дочь, а кто-то сзади держал над ними зонтик. Они пришли на кладбище и долго стояли у могилы. Люди были в плащах и шляпах, а женщина — в простой вязаной кофте, будто спешила прямо из дома. Потом она стала плакать так, как исстари плачут русские вдовы на кладбищах.

Вокруг, между могилами и на дорожках, стояли итальянцы — видно было, очень разные, разного достатка и положения, — и все хранили почтительное молчание. Некоторые из тех, что были ближе — вероятно, бывшие партизаны, — тоже плакали.

И в этом долгом молчании людей под дождем, в выражении лиц, в плаче женщины вдруг проступил, прояснился какой-то большой и волнующий смысл. Что-то связало Рязань и Геную, людей разных стран, привычек и характеров и сделалось более важным, чем все эти различия. Это было чувство интернациональной солидарности.

Маленький эпизод на экране, переданный без особых разъяснений и комментариев, неожиданно сделал живыми огромные события эпохи, когда в войне столкнулись нации, когда стерлись границы государств, когда человек умирал на чужбине, сражаясь за свободу страны, дотоле ему незнакомой. Нас, сидящих у телевизора, вдруг словно выхватили из спокойного течения будней, подключили к огромному, полному драматизма миру и дали почувствовать, что мы сами — тоже принадлежность этого мира...

Второй передачей была та, что состоялась в дни после убийства Кеннеди.

В своей книге, размышляя о свойствах телевидения, Вл. Саппак писал: «Я пью чай, а на экране Кеннеди, человек моих лет с по-мальчишески зачесанными на лоб волосами, в окружении несметного числа фото- и кинокорреспондентов принимает присягу, вступает на пост президента США...» И через несколько страниц: «Человечество гото-

вится давать одну и ту же передачу сразу на весь мир, используя (в качестве отражателя) искусственные спутники...» Автор книги «Телевидение и мы» рассматривал лицо Кеннеди, размышлял о том, к чему «готовится человечество», — жизнь понеслась дальше — и вот уже обещание исполнено, над планетой плывет «Телестар», и мы смотрим передачу «на весь мир». Нам отсюда, с другой стороны земного шара, буквально с места, где разыгрались события, показывают момент убийства Кеннеди, тащат к микрофону человека с перекошенным, растерянным лицом, который только что стоял вот тут, он показывает где: вот тут он стоял со своим ребенком, когда раздался выстрел...

Будто раздвинулись стены дома и исчезли, как в сказке, расстояния. И мы не просто узнали, услышали (как раньше слушали по радио) о событиях, а стали их свидетелями, получающими, как получают зрители в театре, одно общее впечатление, испытывающими одно единое чувство. Телевизор, поразительно быстро из сенсации превратившийся в предмет быта, оказывается, способен куда больше, чем вчера радио, расширять наши знания, влиять на характер наших мыслей. Только вчера вы тащили из магазина тяжелый ящик, выслушивали насмешки знакомых (обрастаете, мол!), а сегодня этот самый ящик с экранчиком может поломать ваше уютное, домашнее настроение, расстроит, укажет вам ваше действительное место в мире и ваши обязанности в нем...

Вл. Саппак писал свою книгу три года назад и, разумеется, пользовался другими примерами. День, когда передавали возвращение из космоса Юрия Гагарина, он назвал самым счастливым днем телевидения. Миллионы людей получили возможность сами, без посредников, взглянуть в то, что каждый считает самым главным в человеке, в герое. И то, что у Гагарина оказалась застенчивая улыбка и мы сами увидели момент, когда она появилась, может быть, было важнее, чем серьезная газетная статья, восхваляющая его подвиг.

И еще об одном замечательном дне телевидения напомним нам Вл. Саппак. Это время Международного московского фестиваля молодежи. День, когда режисерам телевидения не надо было ничего репетировать и подготавливать, — жизнь, бесконечно

интересная, разная, неожиданная, сама текла перед камерами, захватывая в свой поток тех, кто в этот момент сидел в своих комнатах перед экранами.

Перелистываем страницы книги и как бы еще раз, повторно, видим эти передачи, и откликаемся на них, и осознаем, каковы масштабы замечательного человеческого открытия — телевидения — и как легко ему осуществлять самые грандиозные задачи.

Разумеется, телевидение живет не только этими возможностями, не только событиями мирового значения. Саппак в своей книге равно коллекционировал и моменты, когда экран отражает высокие минуты истории, и удачу будней. Как какой-нибудь филателист радуется новому приобретению, он радовался каждой такой удаче и любовно присоединял ее к своему собранию. Он старался в книге передать прелесть такой счастливой новинки, рассмотреть и разгадать ее секрет, извлечь из нее все возможные уроки. Он вовсе не был скептиком, который сидит с блокнотом у телевизора рядом с пьющими чай родственниками и старается подхватить на кончик пера каждый промах. Все было как раз наоборот — отлично понимая, что перед ним молодое, на глазах делающее первые шаги, живое и новое искусство, он выискивал крохи, элементы прекрасного в самых разных передачах. Корней Чуковский, читающий детям стихи, сражение студентов в КВН, просто диктор, овладевший вдруг законом нелегкого телевизионного общения, — все это выстраивается в книге Саппака в некий ряд, в некую цепочку больших и малых открытий специфики телевидения.

Что касается «бездн», куда иногда это телевидение проваливается, то к ним он относился тоже прежде всего аналитически, терпеливо, как хороший педагог разбирая каждый случай — и тоже выстраивая из них свой ряд, своеобразный ряд телевизионных провалов.

Недавно по телевизору передавали сбор пионерской дружины. (Это опять пример не из книжки, а из недавней «зрительской практики». Книга тем и хороша, в частности, что она возбуждает мысль в определенном направлении.) Дружине торжественно присваивали имя героя Отечественной войны. Детям показали фотографию молодого солдата, и они принялись внимательно ее разглядывать. Они разыгрывали перед камерой, будто видят эту фотографию впер-

вые, хотя было совершенно очевидно, что им ее уже показывали и даже научили, как на нее нужно смотреть, когда начнется передача. Видимо, тем, кто делал передачу, казалось опасным довериться естественному ходу вещей, они боялись или того, что дети растеряются, или что будут недостаточно выразительны их лица, и поспешили все это организовать. Но вместо того, чтобы организовать условия для максимальной освобожденности и естественного проявления детских натур, они организовали театральное представление, которое не только исполнялось самодеятельным образом и потому не было эстетически привлекательным, но и вносило, по выражению Саппака, «нравственную безвкусицу» в самое существо, в самую идею передачи.

Видимо, мастерство телевизионного дела (как, впрочем, и всякого другого художественного дела) неразрывно связано с такими вещами, как чувство правды, ненависть к фальши, к показухе и т. п. Без этого «этического фундамента» мастерство превращается в бездумное ремесло. Телевидение — во многом построенное на документальности, на силе факта — демонстрирует эту истину с исключительной наглядностью.

С болью и в то же время сарказмом описывает Саппак подобные случаи. Но не ограничивается насмешкой и отрицанием, а ищет и находит первые и основные эстетические критерии телевидения. Он чувствовал себя стоящим у фундамента, который только-только начинают закладывать, и искал наиболее надежный материал для этого фундамента — болел за будущее здание, любил его и переживал ошибки в планировке. «Искусство телевидения или не искусство?» — он искал моменты, минуты искусства, жадно хватался за них, чтобы разгадать, сделать достоянием эстетики. Но эстетика неожиданно (а в общем, неизбежно) оборачивалась этикой. Моменты искусства возникали при условии полной правды и свободы и пропадали там, где появлялась ложь или не были созданы условия для свободы. Эта мысль, равно элементарная, как и сложная, легла в основу многих раздумий и наблюдений критика. Кажется, нет другой работы по эстетике, где с такой тщательностью были бы рассмотрены все разновидности фальши — в искусстве и около него, увеличенные экраном телевизора и пущенные им в «массовое производство».

Вообще Вл. Саппака волновал факт (который, вероятно, будет так же волновать каждого следующего исследователя этой области), что аудитория телевидения столь грандиозна. Поэтому он и написал книгу, ратующую за подлинную гражданственность передач, за их высокий художественный уровень и вкус. Эту книжку читаешь как первую маленькую энциклопедию нескольких лет телевидения с его уже значительными успехами и очевидными падениями. Читаешь как первое собрание телевизионных эстетических наблюдений и выводов.

Студия телевидения на первый взгляд явление странное. Это авторы и администраторы, редакторы и механики, режиссеры и дикторы, операторы, артисты, обозреватели, снабженцы, бутафоры и еще множество людей других профессий и занятий. Это кабинеты, аппараты, машины, гримерные, горы кинолент и тонны рукописей. Это удивительная помесь театра с киностудией, редакции газеты с фабрикой. Если вы попали туда впервые, вам покажется, что это учреждение суматошное, суетное и бестолковое, размах которого явно не соответствует какой-то общей самодеятельности стиля и организационной аляповатости.

Однако среди всей этой вокзальной суеты, мелькания лиц, передач, репетиций, разумеется, идет неумолимый процесс освоения и упорядочения нового дела.

А самая большая неразбериха — вовсе не в организационных делах, а в еще не сложившихся художественных критериях и эстетических оценках. В театре и кино, искусствах куда более старых, тоже часто нет единодушия в том, что хорошо и что плохо. А уж про телевидение и говорить нечего. Там нет еще своих «классиков», нет еще своего Станиславского или Эйзенштейна. Как сказал в своей книге Вл. Саппак, вакансия «основателя» открыта. И тем не менее можно с уверенностью сказать, что он (основатель) рано или поздно появится из этого хаоса строительства.

Вл. Саппак не участвовал непосредственно ни в этом хаосе, ни в этом строительстве и не претендовал, конечно, на роль основоположника.

Просто однажды к экрану телевизора подсел человек, занимающийся искусством, критик. С тех пор он сидел у телевизора почти каждый вечер, несколько лет подряд. (Саппак был большим человеком и редко выходил из дома.) Он был заинтере-

сован самим процессом развития этого нового вида искусства (или не искусства). Он не так уж часто ездил на Шаболовку, а больше смотрел «со стороны», смотрел просто как зритель, как его мать или отец. И не как зритель — записывал, думал, на сотнях карточек копил впечатления. Передачи не повторялись, их забывали, как забывают прочитанную газету, — он их помнил, сопоставлял, сравнивал, пробовал понять причину неудач и связь между удачами. Так родилась книга «Телевидение и мы» — первая книга не о технических, а об эстетических и нравственных основах великого открытия.

По складу ума автор ее был не сухим теоретиком, а писателем, художником, воспринимавшим жизнь в равной мере эмоционально и умственно. И книга получилась необычная — теоретическая и одновременно художественная, глубокая и в то же время занимательная, какими бывают книги о путешествиях (он в эстетике видел «простор для острого сюжета»). Серьезная — и вместе с тем веселая. Именно так — веселая, а не просто с чувством юмора. Переворачиваешь страницу и улыбаешься, а это, увы, так редко бывает при чтении книг по эстетике — нашим теоретикам не до юмора!

Автор будто чувствовал себя мореплавателем, пустившимся в плаванье по неизведанным морям, и это наполняло его не страхом, а живым любопытством. Он не притворялся, что знает все, и никого не собирался поучать, наоборот — его, видимо, приводило в хорошее настроение то, что он чего-то еще не знает, и он увлекал читателя этим азартом познания нового.

Книга вышла в свет после смерти автора. Это позволяет говорить столь подробно о его личности. Тем более, что в том плане, в котором она написана, все решала именно личность автора.

Книга — свободное размышление, книга-импровизация, книга со своим лирическим героем, роль которого берется исполнять автор. Разве это не ответственно? Не каждому критику дано право на такую смелую субъективность. Если попробуют иные из них пуститься в воспоминания о своем папе или свое детство сделать эстетической меркой, можно представить себе, что из этого

получится. Саппак разговаривает с читателем с полным доверием, с такой открытостью, что иногда страшновато — вот-вот сорвется. Но нет, не срывается и не мог сорваться, потому что честность, чувство меры и человеческого достоинства были органически присущи ему.

Конечно, книга по эстетике может быть написана совсем в другом плане — более теоретическом, общем, рассудительном и т. п. Она может не иметь той прелести конкретных деталей и того обаяния непосредственности, что книга «Телевидение и мы». Но она должна быть такой же добросовестной, такой же серьезной и умной.

Не так давно на книгу Вл. Саппака появилась рецензия критика Юр. Зубкова, напечатанная в журнале «Октябрь». Может, и не нужно было бы вспоминать об этом, если б не был настолько силен контраст между ясным, открытым тоном книги Саппака и недоброй подозрительностью рецензента.

Книга «Телевидение и мы» такова, что ей, кажется, трудно придать какой-то второй, потайной смысл. Однако чуть ли не за каждой фразой ее рецензент видит криминальный подтекст. Прочтет он, например, на странице 5 или 8 о человеке XX века и уже обвиняет автора в забвении самых существенных политических и социальных истин. А где-нибудь на странице 15 прочтет, как Саппак высмеивает любующегося собой оратора-литератора, и увидит в этом не более не менее как протест автора книги «против пропагандистской, агитационной роли» нашего телевидения. Впрочем, обо всем этом уже хорошо написал в своей реплике Юр. Зубкову в «Известиях» Игорь Ильинский.

Очевидно, «нравственная безвкусица» бывает свойственна не только плохим телевизионным передачам, но и критическим статьям. К счастью, статьи такого рода все меньше значат в жизни нашей литературы и искусства вообще и мало будут значить, в частности, в той жизни, которая предстоит умной, талантливой книге Вл. Саппака.

Н. КРЫМОВА.

«НУЖНА МНЕ РОЗОВАЯ ДЫМКА»

Ашот Гарнакерьян. Лирическое наступление. Стихи. Ростовское книжное издательство. 1963. 92 стр.

У рецензентов вошло в обычай возмущаться тем, как порой безответственно и нескромно составляются издательские аннотации к книгам стихов и прозы. И впрямь—такая аннотация, сочиняемая с откровенно рекламной целью, ставит автора книги в неудобное положение, объединяя под одним переплетом его произведения с несдержанной хвалой в их адрес,—с хвалой, на которую сам автор, может быть, и не претендует.

Аннотация, предпосланная этой книге, если и отличается от прочих, то разве что особой приподнятостью тона:

«Ашот Георгиевич Гарнакерьян — один из крупных русских поэтов, работающих на юге России.

Тонкий художник, глубокий лирик... В стихах поэта созданы яркие картины... И все это освящено (!) раздумьями современника, его делами, мыслями, его крылатыми надеждами...»

Но на этот раз аннотация вовсе не противоречит собственным аттестациям поэта — они не менее торжественны:

Как в зеркале, вы можете во мне
Черты страны увидеть обновленной...

Или:

Пусть гроза бушует, буря пусть!
Я боюсь, как Лермонтов, покоя.

Или:

Говорят, что не мешало б
Сбросить десять лет с лихвой.
От меня подобных жалоб
Ты не жди — я не такой.

И еще, и еще, и еще:

И вот я вижу ясно даль люблю...
Свободен я, как в паводок волна...
Ничем меня теперь не удивить...
И сам я как гремящий выстрел...

Вообще большая часть стихов в книге — своего рода «разрешите представиться». И, как видим, представляется поэт без ложной скромности.

Но как бы нам ни были приятны (или, напротив, неприятны) декларации и самоаттестации поэта, все же не они определяют самую суть его поэтической позиции. Тем более что в поэзии на слово не верят — как

ни странно это может прозвучать в применении к искусству слова. Отношение поэта (или его лирического героя) к миру, счет, предъявляемый им себе и другим, его нравственные критерии — вот что дает нам истинное представление о поэте. И выражается все это не только в декларациях, но и буквально во всем строе стиха, отражающем строй чувств поэта.

Поэзия — такая область, где нельзя имитировать страсть.

Пожалуй, из всех черт, которые приписывает своему лирическому герою Ашот Гарнакерьян, главная — это наступательность (выраженная даже в заглавии книги), жажда полета и безостановочного движения:

...Крылья хочется иметь,
Чтоб прямо к звездам полететь...

Я нетерпению учусь
У горного потока...

Чтоб сердцами рваться ввысь,
В чистоту и высоту...

Символический шторм бушует чуть не в каждом стихотворении А. Гарнакерьяна: «Пусть в пути гроза и качка», «Пусть гроза бушует, буря пусть!», «Где шторм гремит, где бой идет», «Цветы без запаха, без шторма океан, жизнь без опасности — как это все бесцветно!» Даже в словах «причал», «стоянка» поэту чудится «неподвижность, обреченность». А одно из обвинений, брошенное им мешанину, таково:

Льет ливень на дворе --
Он раскрывает зонт...

Конечно, сам поэт такого малодушества себе не позволяет:

Нáсквозь (?) весь промокнувший, до костей,
Я стою под высверками молний,
Не скрываю радости своей.
...Не спасаюсь от стихии вольной.
...Это ты меня, двадцатый век (!),
Приучил к такой бурлящей жизни...

Но как только этот друг небесных стихий попадает в земную, прозаическую обстановку, так с ним происходит что-то странное. По видимости он не пасует, а вот по сути...

В одном из стихотворений А. Гарнакерьян развивает свою любимую тему о том, какой

он охотник до странствий. И венчает стихи таким четверостишем:

А если ночь вдали от дома
В степи застанет, — что ж,
друзья,
Посплю охотно на соломе,
Пока прояснится заря.

Возникает вопрос: если ночь, проведенная на соломе, кажется поэту испытанием, да еще — судя по горделиво-страдальческой интонации — серьезным, то какова же цена его декларациям?

Но не надо спешить с выводами — это все-таки мелочь, пустяк, как пустяково и само испытание. А вот лирический герой поэта попадает в другую — тоже вполне земную, вполне прозаическую — ситуацию: он пришел на прием к бюрократу — и куда вдруг девалась его непобедимая уверенность, его горделивая самостоятельность! Но дело тут не только в том, что этот «гремящий выстрел», который любит бури, «как Лермонтов», ведет себя перед заведомым бюрократом смиренно и жалостно. Дело — главным образом — в том, что и сам-то его романтический полет, оказывается, зависит от того, захочется ли этому бюрократу пошевелить рукою:

Стоит двинуть лишь рукою,
Трубку телефона снять,
Подойти ко мне с душою,
Боль души моей унять.
Написать письмо куда-то,
На кого-то приналець —
И взлетел бы я крылато (!),
И гора б свалилась с плеч.

Крылья, которые выдаются в приемной бюрократа, право же, немногого стоят. И вряд ли на них можно «прямо к звездам полететь».

Но сам поэт ничего этого вовсе не замечает и по-прежнему остается в восторге от самого себя. В таком восторге, что воспевает как выдающиеся и те свои черты и поступки, которые на самом деле обычны и элементарны.

А от утраты представления об элементарном и выдающемся — уже всего один шаг (притом шаг неизбежный) и до сознания собственной исключительности. И вот в стихах «О дружбе» поэт рассказывает, что, не раз разочаровавшись в друзьях, он все же верит в дружбу, все же «опять расцвел» для нее:

Растрочу этот дар не скоро,
Не погашу в себе я свет.
Ищу таких друзей, которых,
Быть может, в самом деле нет.

Иначе говоря, поэт горестно (а на самом деле — самодовольно) сознает, что людей, вполне достойных его дружбы, людей, которые его не разочаруют, может быть, и вовсе не существует. Слово бы он слишком хорош для этого несовершенного мира. Это ощущение закрепляется еще и тем, что во всей книге, кроме самого лирического героя и кроме разного сорта отрицательных персонажей (бюрократа, модернистов, браконьеров, циников и т. п.), — лишь два «положительных» героя, два «друга-однопольчанина», да и о тех поэт лишь сожалеет, ибо один из них стал «немного трусоват», а другого «словно подменили».

Об этом втором у А. Гарнакерьяна написана целая поэма — «Лирическое наступление». Вернее, поэма лишь начата, потому что поэт очень скоро вовсе забывает о судьбе своего героя, всю свою страсть направив на обличение своих литературных противников, окарикатуренных «модных мальчиков», на обличение их рифм, ассонансов и даже авансов. Такое изменение замысла поначалу поражает, но потом понимаешь, что поэт поступил так неспроста. Ведь не будь в поэме этих «мальчиков», изображенных ублюдками и вырожденками, лирический герой ее был бы просто неощутим. Поскольку же он их антитеза, то мы получаем возможность узнать, что он:

не выродок,
не циник,

не пользуется модными рифмами (что, кстати, составляет предмет особой гордости автора),

не хапает авансы — и т. п.

Что ж, этого, быть может, достаточно для самоутверждения, но не для того, чтобы создать цельный и интересный характер лирического героя.

Поэтому в книге А. Гарнакерьяна преобладает то бездумная описательность (даже перечислительность), не соединенная во что-то целое, а распадающаяся на строчки; то банальности, желающие сойти за открытие. Таково, например, вот это стихотворение:

У астрофизиков в обсерватории
Всю ночь ученые
О чем-то спорили.

Таинственное начало. Но что же за ним следует?

И там наслышался
О звездном царстве я,
Где миллиарды лет
Живут и здравствуют
И светят яростно,
Тускнеть не думая,
Созвездья старые
Сквозь мглу угрюмую.

А дальше (в который раз) следует сентенция: «Бывают люди — как звезды эти». Стоило ли ради этого открытия посещать обсерваторию? Или писать стихотворение?

Есть в книге и странные противоречия, происходящие от той же неощутимости характера, доходящие до взаимного исключения. Мы уже видели (и еще увидим) стихи Гарнакерьяна, в которых он говорил о монолитности своего лирического героя, о незнакомстве его с грустью и сомнениями. И вдруг — даже не просто жалоба, а беспробудный пессимизм:

Алый парус Грина где ж ты?
Жизнь проходит! Я зажался.

Между прочим, стихи об алом парусе, где А. Гарнакерьян вдруг заговорил жалобным голоском маленькой Ассоль, начинаются словами: «Я — романтик». Мы уже получили некоторое представление о сущности романтической мечты А. Гарнакерьяна. Остается закончить этот разговор.

С. Я. Маршак писал в одной из статей: «Может ли быть мастерство там, где автор не имеет дела с жесткой и суровой реальностью, не решает никакой задачи, не трудится, добывая новые поэтические ценности из житейской прозы, и ограничивается тем, что делает поэзию из поэзии, то есть из тех роз, соловьев, крыльев, белых парусов и синих волн... которые тоже в свое время были добыты настоящими поэтами из суровой жизненной прозы?»

А. Гарнакерьян словно нарочно взялся проиллюстрировать слова Маршака — в его книге полный набор именно этих застарелых штампов.

Соловьи? Пожалуйста — да еще не простые, а сходящие (или сводящие) с ума: «Опять с ума сойду от этой майской лунности, от соловья в саду»; «С ума сходили соловьи».

Крылья? И их сколько угодно: «Крылья хочется иметь, чтоб прямо к звездам полететь»; «Я — за стремительные крылья, что поднимают над землею»; «Взлетает птицей

многокрылой и в бездну падает волна»; «Снова облака летят крылато»; «И взлетел бы я крылато» — и прочие «взмахи крыл».

Волны? Уж этого-то так много, что всего и не перечислишь. Вот только некоторые строчки: «Свободен я, как в паводок волна»; «А волны вздымаются косо, горбато»; «Волна то вспыхнет светом синим, то притворится голубой»; «Хочу назвать волну ручною»; «О чем шумит, куда зовет волна у Айвазовского, вскипая пеной»; «Бархат дремлющей волны» — и т. д. и т. п.

Парус? А как же без него: «И парусник белый, и ветер колючий»; «Шли по жизни, как легкий парусник»; «И счастье парусу желать»; «С алым парусом заката»; «Снится алый парус Грина».

Точно такие же наборы есть в книге и на тему «Сердце» (конечно, разрывающееся), и на тему «Буря», и на темы «Закаты», «Рассветы», «Ветер», и во всем этом безнадежно тонут немногочисленные приметы нового (космос и т. п.). И это не просто бедность словаря — но бедность содержания. То есть именно то, о чем и говорил Маршак. Не удивительно, что само понятие «романтика» в этом случае оказывается чем-то бездумным и розовым, а мысль — чем-то ненужным и даже вредным, способным разрушить спокойствие и понятность поэтического мира.

Как известно, Маркс, отвечая на ставшую теперь знаменитой домашнюю анкету, своим любимым девизом назвал: «Все подвергай сомнению».

А. Гарнакерьян, по-видимому, избрал бы себе другой девиз:

Подвергнуть можно все сомненьям,
И в сердце станет горько, пусто.
Я верю первым впечатленьям —
Где над рассудком властно чувство.
К чему рентгеновские снимки,
Чужих сердец кардиограммы?
Иужна мне розовая дымка
Над будничными облаками.

Это сказано, конечно, с похвальной откровенностью. Но как же связать этот демонстративный отказ от поисков и открытий с многочисленными — и тоже демонстративными — призывами лететь, спешить, бежать, рваться и стремиться?

Вероятно, очень просто: все эти призывы лететь и мчаться — не более чем условность. Так сказать, требование хорошего тона.

«Лирическое наступление» было лишь обещано нам, но не состоялось.

И еще два упрека, но уже не А. Гарнакерьяну.

Первый — редактору книги Н. Бабаховой. Как могла она пропустить в свет не слабые (это на совести поэта), а неграмотные и неряшливые стихи? Стихи, переполненные такими ударениями, как «хлѳпот», «насквѳзь»; такими выражениями, как «на стеклах вывели пейзаж», «закрыться сердцу не даю», «я долго целился в поэму» (в свою!) и т. д. Подумал ли редактор, как выглядит все это рядом с гордым (но, по правде, тоже не вполне грамотным) заявлением: «И все ж классическую форму, как ни старался (?), я избрал»?

Второй упрек — Ростовскому педагогическому институту, выдвинувшему книгу «Литрическое наступление» на соискание Ленинской премии. Что это — неуважение к высшей литературной награде? Или у студен-

тов и сотрудников Ростовского пединститута именно такое представление о поэзии, о современности, о художественности?

Р. С. Когда номер был уже сверстан, в «Комсомольской правде» от 29 января 1964 года появилось письмо сотрудников Ростовского пединститута, осветившее истинную историю «выдвижения» А. Гарнакерьяна на Ленинскую премию. Мы рады, что наш упрек коллективу пединститута таким образом отпал. Однако и теперь выступление по поводу книги А. Гарнакерьяна кажется нам небесполезным, поскольку, как выяснилось при обсуждении стихов поэта на кафедре литературы Ростовского пединститута, «какую бы то ни было критику в свой адрес он решительно отмечает».

Ст. РАССАДИН.



НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ СЛЕПЦОВА

Литературное наследство. Том 71. Василий Слепцов. Неизвестные страницы. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 548 стр.

На суперобложке этой книги немного выше имени автора помещены слова Льва Толстого, которые могут служить укором, напоминанием и рекомендацией: «...его совершенно напрасно забыли...» Речь идет о замечательном писателе середины прошлого века Василии Алексеевиче Слепцове.

Писатель-демократ, сотрудник некрасовского «Современника», он долгий срок оставался в сознании читателей автором небольшой повести «Трудное время», а также рассказов и сцен, которые можно пересчитать по пальцам. Среди них были, правда, такие маленькые шедевры, как «Спевка», «Ночлег» или «Питомка», которую Толстой, по воспоминаниям очевидцев, любил читать вслух, но «никогда не мог дочитать до конца... глаза заволакивались... он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно уходил».

О Слепцове вспоминали редко, несмотря на авторитетные суждения таких людей, как Толстой и Горький, находивших в оригинальном таланте Слепцова нечто родственное Чехову. И мало кто мог предположить, что перу Слепцова принадлежит множество фельетонов, сцен, обзоров и статей, собранных теперь впервые — через сто лет после того, как они были написаны, — в тол-

стую книгу, которая более чем на треть увеличивает известное нам литературное наследие писателя и показывает нам его не только остроумным рассказчиком, но боевым литературным критиком и публицистом.

Жизнь Слепцова была коротка и драматична. Дворянин по рождению, получивший в дар от судьбы незаурядную внешность, редкое обаяние и замечательный талант рассказчика, человек энергичный, деятельный, энтузиаст по натуре, воспитавший в себе убеждения революционера и социалиста, он принужден был жить жизнью, слишком мало отвечавшей его стремлениям и кипучему темпераменту. Недолгие странствования по Руси, журнальная работа, попытки организовать «Знаменскую коммуну», выступления в пользу эмансипации женщин, отчаянная борьба со сплетнями литературных и нелитературных врагов, наконец арест — вот великие биографии до 1866 года, то есть той поры, когда были написаны основные его произведения. Всего несколько месяцев просидел он в тюрьме, но из вонючей, сырой камеры Александровской части вышел надорвавшимся, больным. В семидесятые годы печатался он редко, скупо, много болел и часто подолгу молчал. Его унесла ранняя смерть.

Судьба произведений Слепцова была немногим счастливее. После смерти его быстро

стали забывать, и даже историки литературы долго не интересовались им. Тут был ряд причин. Об одной из них К. И. Чуковский, много сделавший для изучения и популяризации Слепцова в советское время, так пишет в статье, открывающей том «Литературного наследства»: «Главным же препятствием на пути изучения и популяризации Слепцова был тот иносказательный, двупланный язык, которым писал Слепцов и который носит название эзоповского... Этот язык хорошо понимали читатели шестидесятых годов. Но позднейшие поколения забыли эту условную речь, утратили ключ к ее замысловатому шифру».

Для того, чтобы мы могли лучше понять эту тайнопись Слепцова, советские ученые провели большую исследовательскую работу над его текстами, раскрывая смысл сложной вязи иносказаний писателя. Например, рассказывая в «Петербургских заметках» (1863) о столичных развлечениях и увеселениях, автор, как оказывается, имел в виду пореформенный угар либерального ликования. И когда он предрекал, что «программа всех этих удовольствий» скоро истощится, и что «трубачи протрубят все свои три отделения», и что «распорядитель праздника объявит почтеннейшей публике, что представление кончилось», он рассчитывал на догадливого читателя, который поймет, что даже «три отделения» по аналогии с III отделением мелькнули тут недаром.

Конечно, автор прибегал к такой сложной системе разговора с читателем не из собственного удовольствия, а по нужде, стараясь обойти гласную и негласную цензуру. Беда этого способа писания состояла в том, что, зашифровывая свою мысль от враждебных взоров, он рисковал остаться непонятым и широким кругом читателей, сжал свою аудиторию до очень узких пределов друзей и единомышленников, понимавших его с полуслова. К. И. Чуковский пишет, что эзоповский язык Слепцова «хорошо понимали читатели шестидесятых годов». Боюсь, что далеко не все и не всегда. Так случилось, например, с повестью «Хороший человек», которую Слепцов после пережитых им несчастий написал особенно осторожно, начал печатать в 1871 году в «Отечественных записках», но вскоре бросил. По свидетельству В. И. Танеева — а это был человек близкого Слепцову круга, — начало повести было написано «так, что все удивились. Это был совсем не прежний Слепцов». Но публика-

ция в том «Литературного наследства» первоначальной редакции «Хорошего человека» и умелая расшифровка его тайнописи показывают, что Слепцов не изменил своим революционно-демократическим убеждениям, что он остался «прежним», но читатели плохо поняли его, и не была ли тут виною вынужденная изошренность его словесного шифра? Он сам должен был зажимать свой голос, глушить свой талант, и это мы тоже должны приписать к счету русской литературы царскому самодержавию.

Трагедия Слепцова-художника и Слепцова-критика состояла в том, что талант его набрал силу, достиг полной зрелости в самую трудную, реакционную полосу русской жизни. Позади были годы общественного подъема, либерального оживления перед реформой, самые славные годы «Современника», когда на его страницах широко и громко выступали Добролюбов и Чернышевский. Но в ту пору сам Слепцов был еще юношей с небогатым жизненным опытом и не вполне сложившимся мировоззрением, посетителем московского салона Евгении Тур, в заштатном журнале которой «Русская речь» он опубликовал в 1861 году свои первые очерки «Владимирка и Клязьма». Теперь же, когда он чувствовал в себе всю полноту сил, ощущал желание и возможность сказать то, что он узнал и понял, когда он мог печататься в «Современнике» рядом с Некрасовым и Щедриным, он должен был говорить с зажатым ртом, изобретать систему иносказаний, прибегать к «темной эзоповщине».

Возможно, все это приучило его особенно чутко относиться к каждому слову, «колдовать» над фразой, возможно, это изострило его речь и сделало особенно утонченным его подтекст, но какой ценой приобреталось то, что ныне литературоведы склонны считать достоинством его литературной манеры!

И все же сила таланта Слепцова такова, что за всей сложной сетью тайнописи мы часто даже без помощи внимательных комментаторов слышим голос человека с темпераментом бойца и стойкими демократическими убеждениями. Перечитывая том «Литературного наследства», убеждаешься, что именно Слепцов в самых трудных условиях продолжал революционно-демократическую традицию в критике и публицистике. Борясь с литературной реакцией, он боролся с реакцией общественной.

Замечательным примером может служить его статья «Тип новейшей драмы», аноним-

но опубликованная в «Отечественных записках». Трудно удержаться, чтобы не привести из нее хотя бы одну выписку:

«Давно уж слышатся жалобы, с одной стороны, на отсутствие новых талантов, а с другой — на присутствие старых пройдох, которые силою врываются на Парнас и превращают его в кабак. Как та, так и другая жалоба — равно основательны: новых талантов, действительно, нет, но и помочь этому нечем; остается одно — ждать и надеяться; что же касается старых пройдох, то этому горю помочь тоже нельзя, да по-моему и не стоит; потому что пройдохи на Парнасе — вещь наносная, следовательно, преходящая. Вертоград российской словесности на время пришел в запустение — ну, разумеется, и завелась нечистота, как это всегда бывает. История этого вертограда показывает, что бывали нередко и прежде подобные случаи; но как только обстоятельства изменялись к лучшему, нечистота эта метлою времени каждый раз уничтожалась. А до какой степени бесплодными оказывались в этих случаях усилия отдельных лиц — видно из той же истории. Так, покойный Ломоносов, известный ученый, но плохой политик, в свое время сильно восставал против этого зла и даже входил с прошением к президенту Академии наук, рекомендуя принять надлежащие меры против одного лица, которое, по мнению Ломоносова, своим присутствием весьма позорило российскую науку. При том Ломоносов выставлял на вид опасность, которой подвергается наука в этом случае, и советовал подумать: «сколь много может наколбродить такая, допущенная в нее скотина». Но если Ломоносов, радея о чистоте академических нравов, беспокоился и восставал против допущения одной только скотины, то интересно знать, что бы он стал делать в наше время, когда четвероногие всевозможных пород беспрепятственно пасутся в вертограде российской словесности, и не только никто не подает на них прошения, напротив, сами четвероногие с каждым днем приобретают все ббльшую и ббльшую самоуверенность и дошли, наконец, до того, что начинают считать себя хозяевами этого вертограда. Что предпринял бы Ломоносов при виде такого позорного зрелища — сказать трудно».

С таким литературным блеском и боевой энергией написаны многие страницы статей и обзоров Слепцова, впервые собранных

в томе «Литературного наследства». Авторы публикаций и редактор тома С. А. Макашин провели большую и плодотворную работу по разысканию неизвестных произведений писателя. Значительная часть печатаемых рукописей была извлечена из фондов III отделения (рукописи были изъяты у Слепцова при аресте по делу Каракозова и пролежали в архиве почти сто лет). Неизвестные страницы писателя нашлись и в других архивах, а кроме того, был признан принадлежащим Слепцову ряд анонимных произведений в журналах «Искра», «Женский вестник», «Отечественные записки».

Специальный раздел тома — «В творческой мастерской» — посвящен записным книжкам Слепцова.

Среди биографических материалов, впервые опубликованных, следует отметить агентурные документы, связанные с делом о «Знаменской коммуне» и освещающие подробности ареста писателя. Интересны также воспоминания «нигилистки» А. Г. Маркеловой, В. И. Танеева, биографический очерк о Слепцове его гражданской жены Л. Ф. Нелидовой.

Особенно трудная задача, как можно понять из того, что говорилось о «тайнописи» Слепцова, стояла перед комментаторами тома — М. Л. Семановой, Л. А. Евстигнеевой, В. Э. Боградом и другими. Эта задача решена в основном успешно. Содержателен, например, комментарий Л. А. Евстигнеевой к повести «Хороший человек», где вскрыты потайные пласты повествования. (К сожалению, приходится отметить одну фактическую оплошность в этой работе. Говоря о журналисте С. П. Колошине, автор комментария пишет: «В 1859—1861 годах он примыкал к «молодой редакции «Москвитянина». Однако этого не могло быть, так как «молодая редакция» распалась к 1853 году, а в 1856 году журнал вообще прекратил свое существование.)

Доброе слово необходимо сказать и о подборе иллюстраций к тому. Репродукция архивных документов, картин и рисунков русских художников прошлого века, запрещенных некогда карикатур в «Искре» и «Гудке» — все это делает еще более живым представление о той общественной атмосфере, в которой довелось жить и работать замечательному писателю и критику Василию Алексеевичу Слепцову.

В. ПАВЛОВА.

Политика и наука

В ЖИЗНИ — СЛОЖНЕЕ

П. Филонович. О коммунистической морали. Популярный очерк.

Политиздат. М. 1963. 255 стр.

В. А. Сухомлинский. Нравственный идеал молодого поколения. Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1963. 152 стр.

В книге П. Филоновича «О коммунистической морали» часто и горячо говорится о гражданской, революционной совести, которая не позволяет стоять в стороне от больших свершений современности, мириться со злом, — о совести, рождающей горячее стремление стать лучше, чище, приносить больше пользы обществу, строительству коммунизма.

Очерк П. Филоновича и книга В. А. Сухомлинского «Нравственный идеал молодого поколения» родственны по общей проблематике, хотя и различны по характеру рассматриваемых вопросов и по методам их освещения.

П. Филонович задался целью популярно изложить основные вопросы морали как одной из форм общественного сознания, показать ее классовый характер, принципиальное отличие социалистического понимания нравственности от буржуазного, поставить некоторые злободневные вопросы воспитания советских людей в духе морального кодекса строителя коммунизма. И думается, что автору в основном удалось осуществить свой замысел. Это нашло и общественное признание: на конкурсе, организованном Академией общественных наук при ЦК КПСС, Институтом философии Академии наук СССР и Политиздатом, работа П. Филоновича удостоена премии.

Излагая марксистско-ленинское понимание нравственных принципов, таких, как долг, совесть, честь, достоинство, автор показывает, что они утверждаются в острой борьбе нового со старым. И это, пожалуй, самая сильная сторона книги, убеждающей читателя, что соблюдение морального кодекса строителя коммунизма — это один из тех критериев, на которых сегодня проверяется идейность, зрелость каждого советского человека.

Может быть, еще никогда так остро, как сейчас, не стояли вопросы нравственности, не проводился водораздел между людьми честными и бесчестными, между бескорыстными тружениками и стяжателями.

«Нельзя брать в коммунизм человека, выросшего в мхом капиталистических предрасудков. Надо прежде позаботиться о том, чтобы освободить его от груза прошлого», — говорится в докладе Н. С. Хрущева на XXII съезде партии.

Книга П. Филоновича напоминает, что в нашей большой дружной семье, к сожалению, еще немало таких «обросших мхом» уродов — взяточников, очковтирателей, расхитителей социалистической собственности. Их пороки носят не только нравственный, но и социальный, политический характер. Любые сделки со своей совестью — попытки обойти советский закон, игнорировать общественное мнение — наносят ущерб нашему делу.

Автор книги о коммунистической морали не выполнил бы своей задачи, если бы не ответил на вопросы: чем объясняется живучесть отвратительных пережитков прошлого, а главное — как бороться с этим злом, покончить с ним. П. Филонович пытается осветить эти вопросы. Правда, не всегда удачно. Он прав, говоря, что одна из причин, подогревающих пережитки капитализма в сознании и поведении людей, — известные экономические трудности, например, недостатки в организации торговли, чем пользуются различные дельцы и спекулянты. «Наши хозяйственные успехи, — справедливо утверждает автор, — оказывают значительное влияние на искоренение пережитков капитализма в сознании советских людей». И вдруг такое неожиданное рассуждение: «Но здесь (?) таится некоторая опасность. При недостаточной воспитательной работе у отдельных людей под влиянием повышения их материального благосостояния появляется чувство самоуспокоенности, благодущия... У них начинает притупляться чувство ответственности перед обществом, снижается трудовая активность, появляется излишнее внимание к «своим» домашним делам, к еще большому комфорту, к накоплению... Перспектива строительства нового общества мало-помалу заслоняется перспективой

дальнейшего «обживания», и человек скатывается в обывательщину».

Если согласиться с такой концепцией, то можно прийти к абсурдной мысли, будто чем ближе к коммунистическому изобилю, тем больше опасность благодушия, самоуспокоенности и обывательщины. В действительности улучшение материальных и культурных условий жизни трудящихся способствует совершенствованию морального облика людей, их взаимных отношений. Вот почему партия и решает одновременно как общую, единую проблему — создание материально-технической базы коммунизма, повышение благосостояния народа и моральное воспитание советских людей.

Значительно ближе к истине рассуждения автора о том, что живучесть некоторых отрицательных явлений объясняется недостаточной острой борьбой с ними. П. Филонович не раз возвращается к мысли о непримиримости к злу. В этом одна из особенностей социалистического гуманизма. Любовь к человеку, подлинная забота о нем предполагает самую решительную, непримиримую борьбу со всем тем, что мешает ему жить красиво, счастливо и в полную меру наслаждаться плодами своего труда. Разоблачить и наказать хулигана, взяточника, казнокрада — значит защитить от этих паразитов сотни и тысячи честных людей.

Прав автор книги, когда обрушивает гнев на равнодушие, которое «становится не просто пассивным безразличием, а пособником халатности, несправедливости, тунеядства, всей той дряни, которая мешает нам». В основе равнодушия лежит подленькое обывательское стремление во всех случаях жизни блюсти свои личные интересы, свое благополучие... А зачастую равнодушием прикрывают собственную трусовость.

Тунеядцы, взяточники, хулиганы порой еще живут кое-где волгоотно только потому, что окружающие «не хотят связываться» с ними. А если бы взяты как следует...

Характерен приведенный П. Филоновичем случай в театре во время спектакля. Несколько молодых людей нагло, по-хулигански вели себя в зале. Никто не пытался одернуть их. Тогда актриса Н. И. Николаева не выдержала. Прервав монолог, она шагнула к рампе и крикнула в зал:

— Комсомольцы, поднимитесь!
Поднялось много людей.

— И вы не можете обуздать жалкую кучку хулиганов?

Буквально через несколько секунд нагледцов как ветром дуло.

Надо, чтобы каждый раз, когда нарушается общественный порядок, раздавался бы голос протеста и призыва к действию, голос нашей совести.

Главное в проблеме утверждения коммунистической нравственности — воспитание людей, в особенности молодого поколения. В книге этому вопросу посвящена специальная глава. Но автор слишком упрощенно представляет процесс формирования высоких нравственных качеств.

Рабочий В. часто пил, забросил учебу, плохо работал. Административные меры воздействия не оказывали на него влияния. «Но вот за воспитание взялся коллектив. И оказалось достаточным один-единственный раз пригласить товарища в цех, провести с ним разговор по душам, и человека словно подменили. Если теперь в цехе и говорят что-либо о нем, то только с положительной стороны».

В другом случае рабочие взяли из колонии правонарушителей нескольких ребят к себе на завод, для перевоспитания. «Прошло не так уж много времени,— спешит сообщить автор,— и ребята стали совершенно другими».

К сожалению, это не единственный случай, когда авторы, пишущие на моральные темы, ограничиваются главным образом толкованием общих принципов и не показывают, как эти принципы внедряются в жизнь, какие трудности приходится преодолевать воспитателям, коллективу в борьбе с пережитками прошлого в сознании и поведении людей.

Несколько лучше, но также недостаточно глубоко этот процесс отражен в труде В. А. Сухомлинского «Нравственный идеал молодого поколения». Книга написана опытным педагогом, около тридцати лет проработавшим классным руководителем и директором школы. На ряде примеров он раскрывает характерные черты морального облика молодого советского человека — стремление постоянно жить большой идейной жизнью, стать активным участником коммунистического строительства. Очень верно подмечены такие черты нашей молодежи, как интерес к новейшим научно-техниче-

ским знаниям, отвращение к косности, бюрократизму, лицемерию, угодничеству. Советские юноши и девушки стремятся стать людьми, чистыми душой, прямыми, смелыми, мужественными.

Автор на жизненном материале иллюстрирует ленинскую мысль о том, что одни книжные знания и усладительные речи о нравственности не могут сформировать активного строителя коммунизма. Он рождается лишь в созидательном труде, в ходе преодоления реальных трудностей. В книге приводится много примеров того, как учащиеся с самого раннего возраста выполняют пусть небольшие, но полезные дела: удобряют поле, помогают колхозу строить хозяйственные помещения и т. д. Все это развивает у ребят чувство коллективизма, трудолюбие, ответственность за общее дело.

Система обучения и воспитания, с которой знакомит читателей В. А. Сухомлинский, бесспорно интересна. Но рассказ о ней очень уж схематичен. Получается, что одни и те же педагогические приемы всегда и с неизменным успехом оказывают одинаковое воздействие на всех подростков, юношей и девушек. А в жизни все значительно сложнее. Кроме общих черт мировоззрения и характера советского молодого человека, педагогу приходится иметь дело еще с калейдоскопом самых разнообразных (и не всегда приятных) личных качеств школьников. Вот почему в процессе воспитания огромное значение имеет правильный учет индивидуальных особенностей людей, умение, как говорил М. И. Калинин, «подходить к разным людям по-разному».

Обезличенными предстают в книге не только школьники, но и воспитатели. Это тем более досадно, что В. А. Сухомлинский как опытный педагог, несомненно, мог бы очень интересно рассказать о творческих раздумьях, поисках и находках, о радостях и огорчениях, которые и составляют тайны

сложнейшего искусства — воспитания людей.

Передача опыта ведется в отчетно-информационном стиле: «...Мы стремились всячески поддержать нравственную чистоту, юношескую непосредственность, творческий огонек воспитанников...», «Мы добиваемся того, чтобы...», «Мы внушаем ученикам мысль...», «Мы прививаем ученикам взгляд...» Но ведь каждый педагог, каждый воспитатель «стремится» и «добивается» по-разному и, как правило, с далеко не одинаковыми результатами. Тут очень много значат и опыт воспитателя, и его педагогический такт, и личное обаяние.

Может быть, неуместно требовать от небольшой книжки полного и всестороннего раскрытия всех тонкостей нравственного воспитания в школе. Но есть вещи, без которых нельзя обойтись в серьезном разговоре на такую тему. Это индивидуальный подход к людям, разнообразие приемов и методов формирования высоких моральных качеств, пути преодоления трудностей, неизбежно встречающихся в столь большом и сложном деле. Иначе читатель не получит ответа на самые волнующие вопросы, выдвигаемые жизнью.

Несмотря на недостатки, которыми грешат обе книги, они пробуждают у читателей интерес к животрепещущим проблемам коммунистической нравственности. Читая их, убеждаешься, что сейчас, когда принципы морального кодекса строителя коммунизма в основном уже неплохо разъяснены в литературе, пора переходить «во второй класс» — сосредоточить внимание на том, как эти принципы внедряются в жизнь. Очень важно всесторонне анализировать и раскрывать сложный, подчас противоречивый процесс формирования нового человека, пытливо искать наиболее верные и действенные пути решения этой насущной задачи нашего времени.

А. КАЛАЧНИКОВ.

★

ОПАСНЫЕ ИЛЛЮЗИИ ОДЕРЖИМЫХ

Г. Аптекер. Внешняя политика США и «холодная война». Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 424 стр.

Нет необходимости рекомендовать автора рецензируемой книги: имя Герберта Аптекера, видного общественного деятеля, историка-марксиста современной Америки,

хорошо известно в Советском Союзе по его трудам, изданным у нас. Новая его книга, предлагаемая вниманию читателей, отмечена, как и предыдущие, глубиной анализа

общественных явлений, богатством фактического материала, широким диапазоном исследования.

Автор вводит нас в мрачный мир американской послевоенной внешней политики, указывает на ее зловещие черты (среди которых авантюризм стоит на первом месте), на ее иллюзии и провалы. Перед читателем книги проходят характерные фигуры одержимых: политиканствующих финансистов, реакционных генералов, фашиствующих идеологов, служителей и прислужников культа насилия, трубадуров ядерной войны, носителей лжи и обмана.

Едва ли можно было бы когда-либо называть Соединенные Штаты Америки миролюбивой державой. На их историческом «текущем счете» достаточно войн, военных экспедиций, интервенций, вторжений в соседние страны, захватов чужих территорий, угнетения многих народов. Но в истории США еще не было такого периода, когда политика (внутренняя и внешняя) была бы целиком подчинена подготовке и ведению войн. В истории США не было такого периода, когда их государственные деятели, представители вооруженных сил и вообще все кому не лень отваживались бы открыто провозглашать, что считают состояние мира опасным, а состояние войны — полезным. В качестве образчика подобного «мышления», весьма распространенного в определенных кругах США, автор приводит заявление капитан-лейтенанта Джона Рили из штаба военно-морских сил, опубликованное в ведущем военно-морском журнале «Юнайтед стейтс нэйвл инститют просидингс»:

«...Мир ставит самое наше существование под угрозу куда более серьезную, чем война. В дни войны проблема проста: надо выжить и выиграть войну. Однако в дни мира внешняя и внутренняя политика усложняются в колоссальной степени. Проблемы становятся страшно запутанными, и их еще более усложняет ряд не поддающихся учету факторов, дух национализма и борьба идеологий».

Итак: война лучше, чем мир!

Капитан-лейтенант пересказал то, что, без сомнения, слышал из уст высокопоставленных начальников. Это типичная точка зрения ведущих деятелей американской реакции в мундирах и без таковых.

В самой откровенности и в безудержном хвастовстве, столь типичных для одержимых психозом разрушения и массовых

убийств, проявляются аморальность идеологов агрессии. Разве не о том же свидетельствует заявление командующего стратегическими военно-воздушными силами США генерала Пауэра: «...Мы должны быть в состоянии напасть первыми»? Уточним: напасть при помощи ядерного оружия. Г. Аптекер напоминает, что в свое время морской министр США Мэтьюс открыто высказывался за «превентивную» войну против СССР, а адмирал Бэрк из Объединенной группы начальников штабов громко заявил: «Мы можем полностью уничтожить Советский Союз».

По сообщению американской газеты «Стар», в среде хвастунов из Пентагона утвердились следующие «установки»: «...Мы оставляем за собой право (!) взорвать Россию, не дожидаясь, пока ракеты начнут падать на базы американской стратегической авиации»; «...Когда война действительно начнется, Соединенные Штаты разобьют Россию наголову».

Это не просто слова — это авантюристская политика подготовки материальных условий и духовной атмосферы для войны, обмана народа, создания такой путаницы в международных отношениях, при которой возможно вызвать конфликт, неминуемо перерастающий в войну. Эта политика проводилась и раньше в течение двух десятилетий — настойчиво, упорно, с маниакальным упрямством. И ей соответствовали: система опаснейших провокаций (полеты американских бомбардировщиков с ядерным оружием на борту вдоль границ и над пределами СССР и других стран социализма, шпионские полеты самолетов У-2), доктрина «балансирования на грани войны», гонка вооружения, особенно ядерного, небывало обширная и по сути дела бесконтрольная власть военщины.

В связи с провокационным полетом шпиона Пауэра на У-2 над СССР сенатор Мэнсфилд заметил, что «этот инцидент или любой другой, ему подобный, может случайно зажечь всеобщий пожар ядерного конфликта». Тогда же Эдлай Стивенсон задался вопросом: не сделают ли Соединенные Штаты «именно то, чего мы так боимся — по небрежности, случайно зажгут всеобщий пожар?» Помощник министра обороны США по вопросам атомной энергии Герберт Б. Лопер признал, что «случайный ядерный взрыв возможен». Эти господа настолько уже свыклись с мыслью о ядерной

войне, что свои страшные признания о том, что она может возникнуть «из-за небрежности», «случайно», они делают с поразительным спокойствием, как будто речь идет о проигрыше партии в покер!

Не удивительно, если в такой атмосфере, царящей в «верхах», американцам в качестве «избавления» преподносятся различного рода теории «ограниченной» войны, в ходе которой должны погибнуть «лишь» от 30 до 150 миллионов людей! У атомщиков свои «теории», у сторонников химического и бактериологического оружия свои, по их мнению — более «гуманные». И так далеко зашли в США изыскания с мрачной проблемой массового человекоубийства, что там появилась новая отрасль «науки» — похоронная! Об этом дает представление прямо-таки зловещее «исследование» двух авторов — д-ра Джорджа Мура и д-ра Пола Линдквиста «Гражданская похоронная служба и термоядерная война», опубликованное в официальном военном органе — журнале «Милитери медисин». Недостает лишь, чтобы была издана для всеобщего сведения инструкция, как в случае ядерной войны населению организовано ложиться в могилы...

Приведенные в книге Г. Аптекера данные (мы упомянули лишь некоторые из них) свидетельствуют о широко распространенной в правящих кругах США одержимости агрессией. Где источники ее?

Источник — империализм с его типичными чертами: монополией, вывозом капитала, паразитизмом, страхом за сохранность грабительских доходов — дани, взимаемой с народов и стран, подвластных горстке американских сверхмиллиардеров.

В. И. Ленин давно уже установил значение вывоза капитала как источника особой агрессивности империализма. В работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», приведя данные о годовом доходе Великобритании от всей внешней и колониальной торговли за 1899 год в сумме 18 миллионов фунтов стерлингов (около 170 миллионов рублей), Ленин писал: «Как ни велика эта сумма, она не может объяснить агрессивного империализма Великобритании. Его объясняет сумма в 90—100 млн. фунтов стерлингов, представляющая доход от «помещенного» капитала, доход

Доход раньше в пять раз превышает доход от внешней торговли в самой «торговой» стране мира! Вот сущность империализма и империалистического паразитизма».

Эти замечательные выводы В. И. Ленина полностью приложимы и к современным Соединенным Штатам Америки.

Британские капиталовложения за границей в конце прошлого столетия представляются сумой нищего по сравнению с огромными капиталами, инвестированными американскими финансовыми воротилами в различные страны в настоящее время. Точные данные о размере этих инвестиций держатся в секрете и оберегаются куда более тщательно, чем государственные тайны США. Делается это с целью скрыть размеры доходов гигантских банковских корпораций от зарубежных капиталовложений. Но все скрыть невозможно. Путем сложных вычислений экономистам удалось установить, что сумма зарубежных прямых капиталовложений американских корпораций не ниже 27—30 миллиардов долларов, а быть может и выше. Общая же сумма всех зарубежных капиталовложений США (прямых и косвенных) уже в 1955 году достигла, по данным органа крупного капитала журнала «Форчун», исполинской цифры — 75 миллиардов долларов! Заметим, что ныне они составляют более восьмидесяти миллиардов долларов. По подсчетам известного американского экономиста В. Перло, ежегодные доходы американских монополий от своих инвестиций за границей уже в 1956—1957 годах превышали одиннадцать миллиардов долларов (это значительно больше, чем доходы от внешней торговли). Как видим, тенденция та же, что была вскрыта В. И. Лениным на примере Великобритании. Масштаб, однако, несравненно больше.

Миллиарды долларов, вложенных американскими корпорациями в экономику Латинской Америки, Западной Германии, Японии, Конго и других стран Азии, Африки и Западной Европы, лучше всего объясняют, почему во всех этих частях света политика США свелась после войны и сводится и сейчас к тому, чтобы всеми средствами, в том числе прямого военного насилия, сохранять, укреплять и подпирать реакционные, фашистские антинародные режимы и силы, почему США содержат на свой счет Чан Кай-ши, Франко, южнокорейских и южновьетнамских диктаторов, военных заговорщиков, «фюреров» и их хунги в Латинской

Америке, Салазара в Португалии, реакционеров в Лаосе и Таиланде, греческих и турецких черносотенцев, но главное — вчерашних хозяев гитлеровских преступников — магнатов Рура и Рейна и их боннский рейх. Все они — стражи американских интересов, американских миллиардов.

Вся мировая политика американского империализма, нашедшая свое воплощение и в военно-агрессивных блоках (особенно в НАТО), возникших по решению и по планам Вашингтона, это по существу политика мировой агрессии, выражающая стремление финансового капитала США к господству над миром, а поэтому ставящая своей целью развязывание мировой войны — прежде всего против стран социализма.

Внешняя политика неотделима от политики внутренней. Цели американской внутренней политики насквозь контрреволюционны. Автор цитирует высказывание известного социолога и публициста Арнольда Тойнби о том, что политика США преследует те же цели, какие в свое время ставил перед собой главарь европейской реакции Меттерних.

Духовный отец контрреволюционного «Священного союза», австрийский канцлер Клеменс Меттерних вполне подходит к роли духовного отца американской реакции, лозунгом которой стал его девиз: «Никаких перемен!» Этот девиз лег в основу знаменитого закона Маккарэна, направленного к удушению и разгрому любой прогрессивной организации в США и к развязыванию сил фашизма, что на практике и происходит. Фашизация США осуществляется «под сенью закона!» Автор справедливо указывает, что закон Маккарэна «заимствует у Гитлера свирепый антикоммунизм и люютую ненависть к советскому народу» (можно добавить: к революционной Кубе, к народному Китаю, к любой стране, которая отвергает претензии американского империализма на «руководительство» и на роль «наставника»). Прав Аптекер, когда пишет: «...Подобно тому как результатом гитлеризма был разгул реакции в Германии и губительная война за ее пределами, по логике закона Маккарэна фашизм становится внутренней

политикой, а агрессия и война — политикой внешней».

Это политика авантюристов, неспособных учесть перемены, происшедшие в мире. Как ни бесчинствовали почти два десятилетия американские «бешеные», одержимые маниакальным стремлением к открытому разбою, их планы в конечном счете потерпели полный крах. Силы мира оказались сильнее сил войны. Те, кто способен был постигнуть веления истории, поняли, что политика безудержной агрессивности чревата гибельными последствиями для самой Америки. В связи с этим стало неизбежностью смягчение политики диктата и ультиматумов, отказ от нее. На этот путь пытался в последние месяцы своей жизни стать Джон Кеннеди. Началась острая борьба в правящем лагере. Президент не уступал давлению одержимых. И тогда прогремели выстрелы в Далласе...

Заговор американских черносотенцев потерпел неудачу. Как раз в те дни, когда в США бесновались ультра, стараясь всемерно обострить международную обстановку, из Москвы прозвучали спокойные и веские слова о том, что необходимо идти дальше по пути разрядки напряженности и уменьшения бремени вооружений. Москва встала на защиту того благотворного курса, который уже привел к договору о частичном запрете ядерных испытаний. Москва объявила о сокращении военного бюджета СССР на шестьсот миллионов рублей в 1964 году, а также о намерении произвести дальнейшее сокращение советских вооруженных сил и призвала все страны последовать этому примеру. Москва предложила всем государствам заключить соглашение об отказе от пересмотра границ при помощи силы. И это предложение встретило живейший отклик во многих странах. Наметившийся в мире курс на разрядку не будет сорван. Однако необходимо быть начеку и неотступно следить за происками «бешеных», учитывая, что они все еще питают иллюзии — опаснейшие иллюзии! — вернуть международные отношения на путь, чреватый неисчислимыми бедствиями для народов мира.

И. ЕРМАШЕВ.

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ

Геннадий Фиш. *Норвегия рядом. «Советский писатель». М. 1963. 476 стр.*
 Геннадий Фиш. *Здравствуй, Дания! Отшельник Атлантики. Путешествия по Дании и Исландии. Географгиз. М. 1963. 512 стр.*

Писатель, который берется за жанр путевых очерков, непременно должен обладать талантом интересного собеседника. Сколько бы разнообразных впечатлений ни вывез писатель из чужих стран, отчет его неизбежно покажется сухим и скучным, если виденное и пережитое он не постарается передать в живой и занимательной форме, если не сумеет заставить окружающих «заслушиваться» своими рассказами. Конечно, рассказ рассказу рознь. Еще Гончаров в свое время заметил, что писатель свободен «описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры». «Словом,— добавлял Гончаров,— никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику». С тех пор, как были написаны Гончаровым эти слова, не перевелись такие путешественники, которые могут заполнять свои путевые дневники, страница за страницей, рассказами о мелком, поверхностном, незначительном. Польза от таких занимательных басен будет не слишком велика. Но мы-то имеем в виду собеседников, у которых живость и занимательность повествования соединяется с остротой наблюдений, точность знаний с умением из разнообразных впечатлений выбирать действительно самые главные, самые существенные.

Именно к числу таких рассказчиков принадлежит Геннадий Фиш, за последние годы выпустивший несколько интересных книг путевых очерков. «Теснота», на которую жаловался еще Гончаров и которая в жанре путевых очерков представляется как бы синонимом самоограничения и жестокого самоконтроля, заставляла и Фиша, вероятно, не раз задумываться над вопросом: а как вместить всю пестроту впечатлений в одну книгу, чтобы при этом оказалось меньше потерь? И если писателю во многом удалось справиться со своей задачей, так это потому, что он достаточно свободно ориентируется в истории, политике, экономике, статистике, быте тех стран, о которых пишет. А пишет Фиш о наших северных соседях, основательно и последовательно изучая страну за страной. Несколько лет назад были изданы его книги «На финской земле»

и «Здравствуй, Дания!». А теперь вышли новые — «Норвегия рядом» и «Отшельник Атлантики» (последняя посвящена поездке в Исландию в 1961 году). Об этих двух книгах и хочется сказать несколько слов.

В новых своих очерках, так же, впрочем, как и в предыдущих, Фиш не ограничивал наблюдений одной определенной темой. Его интересовало абсолютно все, что помогало так или иначе постичь жизнь народов этих стран, лучше узнать их характер. Он сам признавался в конце книги «Здравствуй, Дания!», что когда редактор предложил для нее название «В стране Андерсена», он отверг его, потому что подумал, что такое название «сводит все к литературе». А Фиш хотел описать жизнь во всем ее богатстве и многообразии, рассказать не только о литераторах, но и о рабочих, рыбаках, животноводах, ученых, общественных и политических деятелях. Но и о писателях, конечно, потому что как можно, побывав в Дании, не вспомнить Андерсена, в Исландии не встретиться с Халдором Лакснесом, а возвратившись из Норвегии, не сказать ни слова о вдохновенном лирике и драматурге Нурдале Григг, в минувшей войне отдавшем жизнь за освобождение своей родины. И все-таки не писатели и не книги, ими написанные, в этих очерках главное.

В них вы найдете и острые суждения публициста, и интересно сопоставленные сведения экономического характера, и увиденную взглядом писателя живописную картину — знаменитый рыбный рынок в центре Бергена, на берегу Норвежского моря, и по-журналистски, на лету подхваченный отрывок разговора, характерную уличную сценку. С восхищением описывает автор своеобразную, величественную красоту природы Севера — горные кряжи, водопады, ежеминутно меняющиеся краски неба и моря на Лофотенских островах, знаменитые исландские гейзеры, вздымающие к небу столбы воды высотой в десятиэтажный дом. И все это вместе помогает читателям путевых очерков сложить в своем воображении живой облик описываемых стран.

А с каким поистине удивительным трудолюбием люди заставляют себе служить су-

ровую природу Севера! В одной старой-старой книге, написанной лет пятьдесят назад французским писателем Октавом Мирбо (еще на заре развития автомобилизма он совершил путешествие на автомашине по странам Европы и таким образом, наверное, оказался самым первым писателем-автомобилистом), я прочитал любопытную запись беседы с неким предприимчивым жителем Антверпена: «Жаль, что природа не дала Голландии вулканы, как итальянцам,— с искренним сожалением говорил этот человек.— Наша вода и эти вулканы...» «Что бы вы сделали с вулканами?» — перебил пораженный писатель. «Не знаю... Но будьте уверены, мы что-нибудь сделали бы...» В этом разговоре, вызывающем невольную улыбку, в то же время нельзя не почувствовать энергию и внушающую уважение веру в силу человеческого духа. На территории Исландии находится, как известно, огнедышащий вулкан Гекла. Правда, исландцы не научились пока извлекать из него пользу. Однако, когда в книге Геннадия Фиша читаешь о том, как талантливо и изобретательно приручили они ледяные реки и ключи природного кипятка, как заставили покорно служить себе казавшиеся бесплодными чудеса природы и даже сумели здесь, в Исландии, выращивать бананы, невольно думаешь о том, что до грозной Геклы у них, как говорится, попросу еще не дошли руки. Но дойдут, непременно! И это исландское трудолюбие (в скобках можно сказать и норвежское трудолюбие), которое подчеркивает в своей книге писатель, делает для советских читателей близким и понятным исландский народный характер.

Геннадий Фиш много пишет о людях. Не вообще о людях, которые появляются в иных путевых очерках, как скучные, бесплотные тени, как некое отвлеченное понятие гостеприимства вообще, настойчивости и любознательности вообще, а о совершенно конкретных людях, с точными почтовыми адресами, именами и фамилиями, которых писатель встречал и с которыми подружился во время своих поездок в Норвегию и Исландию. Нет, меньше всего об этих очерках можно сказать, что они безлюдны. Ради новых знакомств писатель готов иной раз даже пропустить какое-то знаменитое чудо природы или историческую достопримечательность. Такой случай произошел, например, в маленьком городке Буде, на севере Норвегии. Времени было мало. Друзья

советовали отправиться километров за двадцать к водовороту Сальстрем, «самому мощному водовороту в мире», превосходящему даже всемирно известный Мальстрем, некогда описанный Эдгаром По. Однако писатель предпочел прогуляться по Буде и встретиться с бургомистром этого городка. Быть может, как художник он проиграл. Бурлящий водоворот, иногда затягивающий в свою воронку целые суда,— какое эффектное зрелище! Зато в книге прибавилась интересная, содержательная глава. И дело не только в том, что город Буде как раз в те дни оказался в центре мирового внимания — там после шпионского полета должен был посадить свой самолет американский разведчик Пауэрс,— а в том, что мы познакомились еще с одним интересным человеком — бывшим наборщиком, старым членом Рабочей партии Биргером Халсом, ставшим бургомистром Буде сразу же после войны, когда город еще лежал в развалинах. А от Халса услышали много здравых мыслей о важности для Норвегии дружбы с Советами и о том, с каким возмущением жители Буде узнали о подлинном назначении секретного аэродрома НАТО в Буде.

Сколько замечательных людей мы встречаем в очерках Геннадия Фиша, начиная с Тура Хейердала и его ближайшего помощника на плоту Кон-Тики Кнута Хаугланда, человека легендарной судьбы, и кончая простыми рыбаками в Лофотенах, рабочими порта в Рейкьявике, девушками, работающими на рыбоперерабатывающем заводе в Сейдисфьердуре, фермерами, журналистами, ветеранами рабочего движения Исландии и Норвегии! Биографии многих своих собеседников писатель хорошо изучил, правда, не до двадцать восьмого колена, как это принято в Исландии (где каждый исландец ведет свою многовековую родословную), но все примечательное и значительное, что случилось с человеком на его собственном веку, можно не сомневаться, писатель занес в свою записную книжку. И эти-то люди наполняют очерки Геннадия Фиша разноголосым говором, движением, красками, оживляют нарисованные им картины.

А какая сильная страница в норвежском дневнике—рассказ о «русской маме» Марии Эстрем и других мужественных женщинах Северной Норвегии, которые в годы войны помогали русским военнопленным. И столь же органично входят в эту книгу рассказы

о советских войнах, перешедших границу Норвегии как ее освободители. Геннадий Фиш, который во время войны сам находился здесь в качестве военного корреспондента, воскресил в своей книге многие имена — Игоря Трапицына, танкиста Боярчикова, разведчика Покрамовича, генерала Короткова. Эти люди храбро сражались за независимость Норвегии и вместе с другими советскими воинами стали как бы частицей ее истории. Пусть в Норвегии не знают имен многих героев. Но подвиг Советской Армии здесь свято чтут. Об этом свидетельствует не только памятник советским воинам в городе Киркенесе...

Писатель приводит такой факт: когда замечательная русская женщина Софья Ковалевская стала профессором Стокгольмского университета, в Скандинавии в честь Ковалевской девочек стали нарекать ее

уменьшительным именем — Соня. В годы войны в знак симпатии к советскому народу некоторые норвежцы окрестили новорожденных девочек именем Ваня — самым русским именем из всех, какие они знали...

Геннадий Фиш написал четыре книги о поездках в страны Севера. Но, в сущности говоря, каждая из них как бы становится продолжением предыдущей. В своих очерках он не выступает, конечно, как первооткрыватель. Однако писатель сумел внести много нового, интересного, неожиданного в наше представление о каждой из этих стран. Его книги помогают прокладывать дороги дружбы на Север. А в этом, в укреплении и расширении дружеских связей между народами всей земли, состоит одна из благородных обязанностей литературы.

Б. ГАЛАНОВ.

★

ИСТОРИЯ И ПОЭЗИЯ

Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 361 стр.

Никогда не утратится живой интерес к тому блестящему периоду русской истории, когда было создано могущественное государство — Киевская Русь, культура которого достигла удивительного расцвета и вот уже много столетий поражает воображение людей. От той поры сохранились до нашего времени и величественные здания, и великолепные изделия, и гордость русской средневековой культуры — летописные своды, и живые голоса современников — народные былины и сказания. Киевское древнерусское государство существовало относительно недолго — от IX до середины XII веков. Однако настолько важен и интересен для нашей истории этот период, что к изучению его все время обращаются ученые.

Книга Б. А. Рыбакова — новое слово в этом изучении. Она состоит из двух частей. В первой рассматриваются русские сказания и былины, во второй — летописи и летописные своды. В книге исследуются исторические концепции и политические взгляды народа и феодальных верхов Киевской Руси в той мере, в какой они отразились во всей совокупности дошедших до нас устных и письменных источников.

Автор делит историю русских эпических фольклорных произведений на три этапа, каждый из которых характеризуется преобладанием определенного жанра.

Наиболее архаичные сказания окрашены мифологией, облечены в сказочные гиперболические формы. Они посвящены эпическому описанию дел целого племени или союза родственных племен, характерны для идеологии первобытности и относятся еще к последним векам до нашей эры и первым векам нашей эры. До нас в записях фольклористов дошли лишь схемы этих сказаний, получивших еще в эпоху средневековья христианскую окраску. К персонажам этого эпоса относятся древнейшие сказания о славянских языческих богах. Герои этого эпоса — высшие существа — божественные пахарь и кузнец, бог — покровитель племени или группы родственных племен. На втором этапе — в пору сложения племенных и межплеменных союзов, великого переселения народов и усиления власти племенных князей, — героями эпоса становятся уже реальные живые люди: князья и военачальники, возглавлявшие далекие походы и оборону, постройку первых городов, поиски новых земель. Эпические сказания эти, как

доказывается в книге, складывались еще в эпоху военной демократии — в VI—VII веках, но бытовали и в XII веке.

Мастерски сопоставляя русские эпические сказания с византийской, аланской, армянской литературой VI—VII веков, с эпосом народов Северного Кавказа, долгое время общавшихся со славянами, автор прослеживает в сказаниях отражение реальных исторических событий: борьбу славян с готами, гуннами, аварами, хозарами, тщательно исследует легенду об основании Киева и о первых киевских князьях — Кие, Щеке и Хориве, показывая, как уже в эпоху создания первых летописных сводов эта легенда совершенно по-разному интерпретировалась киевскими и новгородскими летописцами в соответствии с их различными политическими взглядами.

Разумеется, даже при самом тщательном анализе выделение эпоса первых двух этапов из позднейших произведений в ряде случаев имеет гипотетический характер.

Третий этап — былины, древнейшие из которых, как доказывает автор, можно возводить к событиям и явлениям IX века, а наиболее поздние — к XIII веку. Вопреки мнению ряда фольклористов, считающих былины лишенными исторического содержания, в книге дается убедительная периодизация былинных сюжетов, былины связываются с вполне определенными событиями и историческими деятелями. Автор исходит из совершенно правильного положения, высказанного еще покойным академиком Б. Д. Грековым: «Былины — это история, рассказанная самим народом».

Отмечая огромную ценность летописных сводов, Б. А. Рыбаков вместе с тем подчеркивает и показывает политическую направленность, тенденциозность летописцев, отражавших преимущественно точку зрения феодального класса. Углубленно исследуя былины, автор, несмотря на обилие в них обобщенных эпических ситуаций, гиперболлизированность образов, нарушение хронологии и смещенность ряда событий, убедительно раскрывает народность былин, историческую конкретность героев и событий. В этом одно из главных достоинств большого и талантливого исследования.

Сквозь всю книгу проходит противопоставление и сопоставление двух борющихся начал в оценке истории: монаха-летописца, сурового и строгого, но отнюдь не беспристрастного, вольно или невольно тен-

денциозно излагавшего факты, и певца-сказителя, красочно и ярко, пусть и не всегда точно, изображавшего события, но всегда справедливо с точки зрения народа оценивавшего события и людей.

Невольно вспоминаются мудрые слова поэта:

Порой историк вводит в заблуждение,
Но песнь народная звучит в сердцах
людей.

При сопоставлении летописных данных и былин становится ясной не только ценность былин как исторического источника, но и огромное значение такого сопоставления, позволяющего дополнять и контролировать два важнейших типа исторических источников.

В книге былинный эпос исторически осмысливается путем анализа не только деятельности определенных исторических лиц и конкретных событий, но и тех общих исторических условий, в которых складывались различные былинные циклы. Этот анализ произведен путем сопоставления былин с данными летописей, житийной литературы, сведениями византийской, восточной, грузинской, болгарской, скандинавской и другой исторической литературы, данными археологии, этнографии и т. д. В результате мы получаем стройную, пусть не во всех частях одинаково убедительно доказанную, но наполненную конкретным содержанием картину развития былинного эпоса, тесно связанного на всех своих этапах с важнейшими событиями русской истории IX—XIII веков. Бережно, осторожно снимая с былинных циклов позднейшие напластования, автор восстанавливает их первоначальный смысл, используя их как интересный исторический источник.

Изучение былин начинается в книге с древнейших — относящихся еще к IX — первой половине X века. В исторической атрибуции этих былин особенно интересно и остроумно сопоставление былины о борьбе Ивана Годиновича с Кашеем Бесмертным с изображением кульминационного пункта этой борьбы (что доказано автором) на серебряной оковке знаменитого турьего рога из Черной могилы — княжеского погребения X века. Интересна и историческая интерпретация былин о Вольге, которого автор сопоставляет с Олегом Древлянским, убившим знатного варяга Люта

Свенельдича, а также былин о пахаре-богатыре Микуле Селяниновиче.

Не все одинаково убедительно в этих разделах: Нам кажется, например, несколько искусственной попытка объяснить отсутствие былин, посвященных князьям Олегу, Игорю и Святославу, тем, что к ним, как к варягам, народ относился враждебно или равнодушно.

Широко и тщательно рассмотрены в книге былины времен Владимира. Б. А. Рыбаков обращает внимание читателя на то, что этот былинный цикл сложен в период, когда феодальная княжеская власть — прогрессивная сила на том этапе — объединила весь народ для обороны Руси. Поэтому вполне закономерно, что героями эпоса стали и князь Владимир, и боярин Добрыня, и крестьянский сын Илья Муромец. Очень любопытна попытка показать отражение в былинах XI века половецкого нашествия, напряженной классово-борьбы, в частности одного из кульминационных пунктов этой борьбы — киевского восстания 1068—71 гг. Сопоставляя былины о Волхе Всеславиче с летописным рассказом о князе Всеславе — избраннике восставшего народа, автор показывает, что народ в своих былинах прославлял этого князя, а феодальная придворная поэзия его порицала. Большое внимание уделяется в книге и былинам эпохи Владимира Мономаха. Особенно хочется отметить исследование былин о Тугарине Змеевиче, который сопоставлен с половецким ханом Тугорканом, куртуазных сюжетов былин об Апраксе-королевичне, сопоставленной с сестрой Владимира Мономаха Евпраксеей, бывшей императрицей Священной Римской империи, женщиной со странной и трагической судьбой, а также былин об Алеше Поповиче и Даниле Игнатьевиче, который сопоставлен со знаменитым русским паломником игуменом Даниилом, автором известного «Хоженья» в Иерусалим и Палестину. Историческое осмысление получают и придворные былины-новеллы эпохи Владимира Мономаха, прослеживается угасание былинного жанра в пору распада древнерусского государства, изучаются былины, связанные с татарским нашествием и гибелью богатырей.

Во второй части книги, посвященной летописям эпохи Киевской Руси, Б. А. Рыбаков проделал громадную работу, обозначая каждый этап летописания IX—XII веков, характеризуя его. На основании тщатель-

ного текстологического анализа и сопоставления с другими письменными источниками — в частности, с византийскими хрониками — сделан вывод о том, что начальная летопись с погодной записью событий велась в Киеве при Аскольде с 867 года (год крещения русов) и закончилась гибелью князя от руки варяга и вокняжением Олега. Хронологическую путаницу автор остроумно и убедительно объясняет тем, что летописец пользовался вначале александрийским летосчислением, проникшим на Русь из соседней Болгарии, а затем — летосчислением византийским, отличающимся от александрийского на восемь лет.

Вслед за другими советскими историками автор считает, что древнейший летописный свод был составлен в Киеве в конце X века. Этот свод характеризуется как феодальная дворцовая параллель Владимирову циклу былин — придворный эпос, в котором выделяет борьбу двух тенденций: варяжской и антиваряжской. В целом это представляется правильным. Однако трактовка сказания о гибели Олега от укуса змеи как возмездия русской земли варягу представляется необоснованной. Ведь все сказание об Олеге носит явно панегирический характер, а сама сюжетная канва относится к категории так называемых бродячих сюжетов и известна во многих странах.

В целом же трактовка киевского свода конца X века как первого исторического труда, обобщившего разносторонний материал (краткие погодные записи, устные сказания, а может быть, и отдельные летописи), очень интересна и представляется совершенно правильной. Чрезвычайно интересны и предположения об авторах этого свода, среди которых называется и дядя Владимира — один из влиятельнейших людей при княжеском дворе — боярин Добрыня, который вместе с тем стал и одним из персонажей былинного эпоса.

В главе о киевском и новгородском летописании XI века подробно разобрана полемика между двумя летописными школами, каждая из которых в соответствии со своими политическими взглядами освещала ряд важнейших вопросов русской истории.

Очень важный раздел книги — анализ трех редакций знаменитого и величественного свода «Повести временных лет» и попытка реконструкции ее первой редакции, принадлежавшей Нестору. Анализу подвергнуты обе части летописи: введение в

русскую историю (от библейского Ноя до киевского князя Кня) и погодное изложение событий в Киевской Руси на протяжении двухсот пятидесяти лет — от похода русов на Царьград в 860 году до 1111 года. И анализ и реконструкция первоначальной редакции сделаны необычайно увлекательно, вдохновенно и тонко, однако, как отмечает и сам автор, реконструкция текста носит условный характер и, очевидно, вызовет немало споров. Хочется обратить внимание на некоторые спорные места. Вряд ли можно связывать описание дохристианских первобытных обычаев древлян, радимичей и полян с археологическими культурами первых веков нашей эры — зарубинецкой и черняховской, ареал которых выходит далеко за пределы самых смело очерченных границ обитания этих племен. Черняховская культура, например, на запад распространена была до самой Трансильвании. Кроме того, как считает большинство исследователей, эти культуры были не моноэтническими. Недостаточно оправдано и сопоставление племенных славянских союзов VI века, известных нам по византийским источникам (анты и склавины), со многими летописными «княжениями». Эти союзы и племенные княжения; видимо, представляли собой разные этапы развития славянского общества. Нельзя говорить о расселении западных и восточных славян на рубеже нашей эры. Ни письменные, ни археологические источники не дают для этого оснований. Ряд сообщений, как, например, сообщение об уличах и тиверцах, дан в произвольной, притом

лишь одной редакцией. Перечисление поводов для спора можно бы увеличить, и тем не менее перед нами очень интересная, стройная в своей логической последовательности попытка воссоздания одного из самых замечательных в мире исторических трудов в его первоначальном виде.

Последняя глава книги посвящена анализу княжеского летописания Южной Руси в середине XII века — в ту эпоху, когда династические интересы князей пришли в резкое противоречие с потребностями дальнейшего развития общества. В книге очень хорошо показано, как в условиях значительного возрастания политической роли боярства и местных феодальных центров в отдельных княжествах выросли и свои специфические формы летописания, отражавшие интересы местных феодальных властителей. Различия в подборе и освещении событий отразили реальную политическую борьбу между отдельными центрами и внутри них. Книга, во многом по-новому поставившая и решившая ряд сложнейших проблем истории Киевской Руси, в иных вопросах спорная, но везде интересная и талантливая, написанная с огромным увлечением и любовью к истории родной страны, — способна принести большую пользу и доставить истинное эстетическое наслаждение самым широким кругам читателей.

Следует отметить и отличное качество издания книги, наличие в ней большого количества карт и иллюстраций.

Г. ФЕДОРОВ,
доктор исторических наук.



«НЕКТО В ЧЕРНОМ»

И. Х а л и ф м а н. Муравьи. «Молодая гвардия». М. 1963. 303 стр.

Малая капля природы — вездесущий, всем привычный муравей — одно из ее самых организованных и загадочных творений и в то же время живой ключ к открытию многих законов, определяющих развитие всего безбрежного океана живого.

И. Халифман не пытается представить этот ключ некоей универсальной отмычкой, открывающей все двери. Каждая страница книги утверждает: живая природа не терпит шаблонов, заранее заданных умозаключений.

Книга «Муравьи» как бы продолжает и развивает другой широко известный совет-

ским и зарубежным читателям труд этого писателя и ученого — «Пчелы». Раскрытие закономерностей, присущих семье общественных насекомых, смыкается с главной задачей всего комплекса биологических наук: разработкой способов управления жизненными процессами, в частности обменом веществ, наследственностью...

Сколько увлекательных вариаций «на муравьиную тему» содержит эта повесть! Сейчас ученым-мирмекологам известно более двадцати тысяч видов муравьев. И почти каждый из них отличается не только анатомическими особенностями, но и своим

особым образом жизни, характерными нравами, привычками и обычаями.

Есть муравьи «жнецы», «ткачи», «пастухи», «охотники», муравьи—листорезы, грибоводы, кочевники... А сколько познавательного и удивительного в рассказах о процессе общественного питания и воспитания в муравьиной семье, о рождении и росте («каждый муравей как бы трижды появляется на свет»), о брачных полетах, о действиях муравьев—рабочих, солдат, нянек, о симбиозе муравьев с другими насекомыми, растениями и грибами.

Право, не хочется говорить обо всем этом скороговоркой и лишать читателя возможности получить полную меру познания нового, когда он обратится к самой книге.

Перед автором, рискующим писать в научно-художественном жанре, прежде всего встает двуединая задача: во-первых, ничего не утерять от научной точности и глубины, во-вторых, добиться доходчивости, образности, нравственно-эстетического воздействия, присущего художественной прозе. Здесь оба способа познания мира — наука и искусство — как бы синтезируются.

Встречаются, однако, работы, в которых научное и художественное лишь сосуществует, иногда переплетаясь, но не сливаясь в единое качественно новое целое. Нужен высокий накал научной страсти и писательского мастерства, чтобы получился хороший сплав. У Халифмана он получается.

В книге приведены великолепные строки Маршака:

...А зайдешь в лесную даль и глушь,
Муравьиным спиртом пахнет сушь.
В чаще муравейники не спят —
Шевелятся, зыблются, кипят...

«Каким надо, однако, быть сухарем и педантом, чтоб к мастерски нарисованной картине делать еще какие-то дополнения. Но что же попишешь, у научной повести свои законы...» — замечает И. Халифман, приглашая читателя в путешествие по муравьиному миру.

Любой человек, остановившись у муравейника и наблюдая поначалу кажущееся беспорядочным «кипение» тысяч проворных черных мурашек, постепенно начинает улавливать, какой-то строгий внутренний ритм, деловитую целесообразность и взаимосвязанность этого жизнедеятельного «кипения». Муравьиное гнездо со всеми его запутанны-

ми, многометровыми ходами, ответвлениями, камерами — пример логики и стройности.

В повести Халифмана на первый взгляд тоже множество ходов, переходов, ответвлений; «кипение» фактов, сведений, сопоставлений, обобщений. В каждой главе повествуется о чем-то конкретно-локальном, однако логические нити протягиваются дальше. Глядишь — ниточка превращается в клубок, а из него в свою очередь потянулись нити дальше и глубже. Книга «Муравьи» в своей композиции как бы повторяет специфические признаки, присущие самому объекту научно-художественного исследования.

Фактологическая ткань переходит в ткань художественную. Постепенно открывается закономерность этого композиционного приема: он позволяет глубоко и полно освещать проблему и в то же время незаметно, исподволь вовлекает читателя в сам процесс научного поиска, пробуждает в нем страсть исследователя.

Постоянно сохраняющееся ощущение проникновения вглубь приводит читателя к выводу, что хотя он узнал о муравьях необыкновенно много, «некто в черном» не стал от этого менее интересным. Одни загадки и тайны раскрыты, объяснены, однако возникли десятки новых, о которых он раньше и не подозревал. Малая капля так же неисчерпаема для человеческого познания, как и океан.

Пожалуй, «Муравьи» — не столько повесть о муравьином мире, сколько о могуществе человеческого разума, о человеке — искателе и исследователе, раскрывающем тайны природы, познающем ее законы и познающем себя как высшее творение и неотъемлемую часть природы.

И. Халифман не только руководствуется законами диалектики, он всем научно-художественным строем книги убеждает читателей: если вас увлекут проблемы биологии, то и на вашу долю хватит работы и вы можете стать Колумбами, открывающими новые материи в великом океане живой природы.

Закономерность обогащения художественной ткани сокровищами, взятыми из кладовых той отрасли науки, о которой идет речь в книге, можно показать на ряде простых примеров.

В повести Халифмана триста страниц и на каждой говорится о муравьях. Казалось бы,

невозможно избежать многократного повторения этого слова. Ничего подобного: автор употребляет два десятка разных вариаций к слову «муравьи» (строители, грузчики, носильщики, квартирьеры, фуражиры, тягачи, сторожа, привратники, горнисты, няньки, малютки, слепые лилипуты, живое сито, живые жернова, живые бурдюки и бочки и т. п.). Это одновременно и точные термины, и литературные синонимы, обогащающие образный строй повести. Однако автор решительно отвергает такие «образные» термины, как «рабы и рабовладельцы», «господа и слуги». Он указывает не только на их биологическую несостоятельность, но и социологическую предвзятость.

Сравнения, как правило, кратки, неожиданны и тоже взяты из «биологического арсенала». Например, речь идет о крупных муравьях, дробящих зерно. А маленьким «такое занятие не по зубам» — замечает автор.

А вот как говорится о преимуществах наблюдения перед опытом: «Опыт искусствен, нетерпелив, суетлив, склонен разбрасываться, страстен, ненадежен. Наблюдение просто, спокойно, прилежно, честно, лишено предвзятого мнения». Сказано и в шутку и всерьез. Это всего небольшие штрихи, а в книге их сотни.

Автор не применяет испытанных, но уже становящихся шаблонами приемов популяризации, не пытается «оживить» материал беллетризацией тех или иных эпизодов чисто внешними сопоставлениями («Если всех муравьев расставить в одну шеренгу, то...») и т. п.

Но будем справедливы: часто встречаются в книге не легкие для чтения и восприятия куски. Над ними задумываешься, перечитываешь еще и еще раз. И. Халифман многократно поворачивает каждую проблему разными гранями, старается показать всю ее сложность. Если необходимо, предпочитает научную точность легкости стиля.

Ведь популяризация не есть популярничанье. Когда-то для образованного человека считалось необходимым минимумом — знание иностранных языков, музыки, истории, литературы. В наши дни, когда наука становится непосредственной производительной силой, когда встает, например, задача хи-

мизации всего народного хозяйства, — неизмеримо вырос круг необходимых для каждого знаний. Теперь в минимум наряду с общественными науками входят и химия, и физика, и биология. Речь идет не о школьном образовании, а о том могучем и массовом способе пропаганды знаний, каким является научно-художественная литература, воздействующая не только на умы, но и на чувства людей. И очень важно не идти по линии приспособления к «среднешкольному» уровню, а открывать перед читателями всю глубину и диалектическую сложность научных проблем.

В недавнем Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем развитии биологии в числе других проблем ставится задача изыскания биологических способов борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений. В книге «Муравьи» приведены поразительные цифры: обитатели только одного муравейника очищают в лесу (при пятиметровой высоте подъема на деревья) пространство в миллион кубометров (!). Они способны уничтожить за сезон от двух до восьми миллионов (!) насекомых-вредителей.

Но польза от муравьев не только в этом. Они способствуют образованию почвы, обогащают верхний слой органическим веществом. Миллионы вездесущих мурашек прямо и косвенно помогают человеку и в борьбе за лес, и в борьбе за урожай.

Основываясь на этих фактах, И. Халифман выступает в своей книге страстным защитником муравейников, которые, что греха таить, нередко разоряются ради потехи. Но мало просто учесть и защитить существующие гнезда. Автор подробно и заинтересованно рассказывает об интересных опытах по искусственному расселению муравьев в новые районы обитания, по созданию новых гнезд — своеобразного биологического кордона, перед которым бессильны прожорливые насекомые-вредители.

Однако интерес изучения муравьев не только в этом. И. Халифман показывает, как исследование семьи насекомых смыкается с проблемами медицины, химии, физики, астрономии, автоматике и моделирования.

Ю. ПОПКОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Ю. ЮРОВ. Прост, как правда. По следам ленинских документов. Политиздат. М. 1963. 207 стр. Цена 24 к.

Записная книжка. Обычная карманная алфавитная книжка для записи адресов и телефонов. У кого нет такой... И записи в ней тоже обычные: чья-то фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, иногда несколько уточняющих слов.

И все же это совершенно необыкновенная записная книжка — она принадлежала Ленину. Эта маленькая вещица в черном коленкоровом переплете была помощницей Ленина в его необъятных трудах, освобождала его память от многих житейских подробностей для больших государственных дел.

Многие имена, записанные Лениным, хорошо известны. Они вошли во все учебники по истории партии. Но вот мы встречаем новое для нас имя и задаемся вопросом: что это за человек, как он был связан с Лениным, какой жизненный путь привел его к личному общению с вождем революции?

Интересно и поучительно путешествие по записной книжке вождя. Совершить его помог нам журналист Ю. М. Юров, написавший книгу «Прост, как правда». В книге шестнадцать очерков-репортажей, созданных на основе ленинских документов. Первый так и назван: «Путешествие по адресной книжке».

Каждый очерк строго документален. За многими угадываются исследования, потребовавшие от автора немалого труда. Труд этот оправдался, принес хорошие плоды.

В книге мы находим много неизвестных широкому читателю или полузабытых фактов и эпизодов деятельности В. И. Ленина, знакомимся с яркими штрихами жизни людей, окружавших Ильича.

Кто не знает, к примеру, имени Маргариты Васильевны Фофановой, героической женщины, которая на своей квартире укрывала Ленина после июльских событий 1917 года и накануне Октябрьского вооруженного восстания. Но мало кому известно, что большевичка Фофанова уже в то время изучала агрономию, а год спустя после победы революции вошла в состав коллегии Наркомзема. Об этом упоминается в очерке «По личному вопросу». Здесь же рассказано, сколь трогательно заботил-

ся Владимир Ильич о тяжело заболевшей дочери Фофановой.

Из очерка «Партийный билет» мы узнаем, когда, где, кем и при каких обстоятельствах В. И. Ленину был вручен партбилет. А многим ли известно, что выдающийся пролетарский полководец Фрунзе был назван Лениным в одном из писем к нему «Главкомом соли»? Почему, когда, при каких обстоятельствах? Об этом мы также узнаем из книги Ю. М. Юрова.

Каждый очерк, каждая деталь, каждый факт в нем раскрывает ту или иную черту Ленина-человека, показывает его неиссякаемую любовь к людям, характеризует ленинский стиль работы.

В. Низковский.

★

С. С. КАМЕНЕВ. Записки о гражданской войне и военном строительстве. Избранные статьи. Составители: Н. С. Каменева, Л. М. Спиринов, П. П. Чернушков. Воениздат. М. 1963. 262 стр. Цена 73 к.

Полковник Генерального штаба старой армии, опытный офицер С. С. Каменев вступил в ряды Красной Армии с первых дней ее организации. Вместе с ней он прошел весь ее путь строительства и боевых действий, занимая ответственные посты. А 8 июля 1919 года по инициативе В. И. Ленина ВЦИК назначил С. С. Каменева Главнокомандующим всеми вооруженными силами республики. И понятно, что его высказывания, мнения, выводы и оценки по основным вопросам ведения гражданской войны представляют очень большой интерес не только для военных историков.

Особенно важны лекции и статьи С. С. Каменева под общим заголовком «Очередные военные задачи», «Предисловие ко второму тому книги «Гражданская война 1918—1921», «Борьба с белой Польшей». В этих и других статьях автор анализирует и критически оценивает опыт гражданской войны и военного искусства Советской Армии, делает ряд ценных теоретических обобщений и выводов. Некоторые положения можно, пожалуй, оспорить; кое-что, понятно, устарело. Но при всем том книга дает богатейший материал для обсуждения и размышлений.

В сборнике помещены также воспоминания С. С. Каменева о Владимире Ильи-

че Ленине. Он отмечает исключительную роль, которую В. И. Ленин играл в годы гражданской войны, осуществляя руководство Красной Армией. «В ходе операции против белополяков мне,— пишет он,— было приказано каждые сутки докладывать Владимиру Ильичу карту с нанесенным расположением результатов суточных передвижений частей Красной Армии на Западном фронте». «Организация борьбы,— пишет он в другом месте,— шла под повседневным контролем и нажимом Владимира Ильича», который был хорошо осведомлен о положении на фронтах, в армиях и на отдельных боевых участках.

Любопытны высказывания С. С. Каменева о новом типе полководца, рожденного гражданской войной. Критически оценивая свою деятельность, С. С. Каменев пишет, что с помощью Владимира Ильича он «прошел абсолютно новую... школу по организации и руководству военным делом»... И это соответствовало действительности.

Глубоко преданный советской власти и пользовавшийся полной поддержкой ЦК партии и В. И. Ленина, С. С. Каменев как Главноком, осуществляя директивы Центрального Комитета и Советского правительства, развернул большую и успешную оперативную-стратегическую работу по руководству боевыми действиями на фронтах гражданской войны.

В годы культуры личности военная деятельность и теоретические труды С. С. Каменева были преданы забвению. Тем большую ценность приобретает сейчас сборник его избранных трудов. Предпосланная сборнику обстоятельная статья генерал-лейтенанта А. И. Тодорского поможет читателю полнее и лучше усвоить и по достоинству оценить военно-теоретическое наследие С. С. Каменева.

А. Кадишев,
доктор исторических наук.



ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945. Краткий исторический обзор. Воениздат. М. 1963. 526 стр. Цена 1 р. 30 к.

Этот коллективный труд — серьезная попытка обобщить богатейший опыт организации и ведения партийно-политической работы в армии и на флоте в годы Великой Отечественной войны.

«Во всякой войне победа в конечном счете обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь»,— говорил В. И. Ленин. Достоинство книги в том и состоит, что в ней показано, как армейские партийные организации и политические органы обеспечили такое «состояние духа масс», которое в конечном счете обусловило нашу победу.

Тяжелые оборонительные сражения 1941 года... Защита городов-героев... Контр-

наступление советских войск под Москвой... Битва на Волге... Блокада Ленинграда и ее прорыв... Сражение под Курском... Форсирование Днепра... Наступательные операции Советской Армии в 1944—1945 годах... Война с империалистической Японией. Книга рассказывает о том, какими методами велась партийно-политическая работа на всех этих этапах, как политически обеспечивались важнейшие боевые операции.

Перед нами не только история партийно-политической работы в Советских Вооруженных Силах в годы войны, но и документальное повествование о великом мужестве нашей армии, о бессмертном героизме коммунистов и комсомольцев, чей личный пример вдохновлял всех бойцов. Нельзя, однако, не отметить, что, рассказывая о славных боевых делах, многие авторы прибегают к штампу, который лишает их рассказ свежести и убедительности.

И. Лунин.



Р. ЗЕРНОВА. Свет и тень. Рассказы. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 184 стр. Цена 27 к.

Русский коммунист, командир республиканской армии в Испании; девочка, написавшая продолжение «Аэлиты» и посланная его тайком в журнал; офицеры испанской армии в последние, трагические дни сражений за свободу страны; рыженькая малышка, обиженная товарищами по играм; городская мешаночка, наказанная жизнью за скудость ума и души,— очень разные люди и судьбы представлены нам автором этой книги.

Однако, ознакомившись с большинством рассказов сборника, начинаешь улавливать и нечто общее в заинтересовавших писательницу характерах. Герои Р. Зерновой чаще всего — люди скромные, но стойкие, к тому же нередко пережившие серьезное горе, разочарование, обиду. Но вот происходит в их жизни событие, само по себе не столь уж примечательное, — и что-то меняется в человеке. Даже если сам герой не осознает всей значительности перемены, что произошли в его внутреннем мире, мы все равно угадываем за ними серьезную нравственную перспективу.

История, рассказанная в «Сильве», например, обыденна и невесела: женщина не первой молодости сошлась с человеком моложе себя, глупым и злым. Лишь после особо жестокого поступка своего возлюбленного решается женщина на разрыв с ним, а расставшись, долго еще тоскует, потому что прощается не только с ним, но и с мечтой своей о любви, о друге. Это правдивый рассказ, но, несмотря на грустный сюжет и отсутствие крутого поворота к доброму концу,—жизнерадостный, потому что в нем торжествует человеческое достоинство.

В рассказах Р. Зерновой часто сюжетные и психологические нити стягиваются к моральному конфликту, связанному с проблемой доверия. Иногда писательница ставит

эту проблему широко и ответственно, доказывая, что потребность и умение доверять непримиримо враждебны всему эгоистическому, мешанскому, обывательскому. В рассказе «Письмо» происходит своего рода поединок чистосердечия, откровенности с вот этой обывательской подозрительностью, привычкой сразу видеть в поступке человека самое дурное.

Но иногда идея доверия выводится писательницей из круга всех других сложных жизненных проблем и низводится до бытового, ограниченно-житейского уровня. И тогда произведение оказывается малозначительным, откровенно назидательным («Дамский зал»).

Герои Р. Зерновой в большинстве случаев сами рассказывают о себе — в письмах, исповедях, монологах. Писательница хорошо владеет искусством речевых характеристик и широко использует их. Разнообразные аспекты прямой речи («Городской романс»), многозначительность отдельных реплик, умело вводимые иностранные словечки, дающие иллюзию испанской и французской речи в рассказах «Бакалао» и «Два дня в Восточных Пиренеях», не говоря уже о речи детей, воспроизводимой с доброй иронией, — все это делает повествование красочным, живописным.

М. Блинкова.

★

НА ДАЛЕКИХ АЛАСАХ. Рассказы якутских писателей. «Советская Россия». М. 1963. 111 стр. Цена 39 к.

В этом сборнике десять небольших рассказов о прошлом и настоящем якутского края. Первый из них — «Видение Кожемяки» — принадлежит перу основоположника якутской советской литературы поэту, прозаику и драматургу П. А. Ойунскому и воплощает в себе ее лучшие черты: лиризм и смелую фантазию, следование традициям русской литературы и верность национальной поэтической стихии.

Неизбывной горечью напоена исповедь старого, но детски простодушного Кожемяки. Один только раз, в молодости, монотонный, безрадостный ход его жизни был нарушен ярким, причудливым сном: он попадает в подводное царство, где видит легкую серебристую рыбку. Голодный Кожемяка хочет ее поймать. И вдруг она оборачивается девушкой редкой красоты, но тут же навсегда исчезает... Всю жизнь вспоминает потом Кожемяка этот жестокий сон, изменчивое видение счастья.

Большой эмоциональной силой отмечен и печальный рассказ Афанасия Федорова «Я не забыл тебя, Уренча!», рисующий картины нужды и бесправия якутов в глухое, дореволюционное время.

Сегодняшним дням Якутии, жизни ее рыбаков, охотников и лесоводов посвящены рассказы писателей молодого и среднего поколений. Мы узнаем пастуха Луку, с риском для жизни выручающего из болота чужую корову («Пастух Лука» Д. Тааса), молодого охотника-зверолова Макси-

ма, отдающего последнюю буханку хлеба встреченным в тайге геологам («В лесах Ботуобья» Л. Попова), самолюбивого старика Басыкаана, вынужденного учиться у молодежи («Рыбаки» Н. Габышева), неплохого, но слабохарактерного Прокопия и живую, деятельную Танюшу («Если веришь в человека» В. Протодьяконова).

Привлекает теплота и мягкость интонаций якутских писателей, живая красочность описаний. Вместе с тем следует помнить, что якутская литература еще находится в процессе становления. Этим, на наш взгляд, объясняются недостатки, характерные для многих рассказов, такие, как наивность сюжетных поворотов и даже порою известная упрощенность. В рассказе М. Догордурова «Даша и Семен Семенович» поставлена важная и острая еще для Якутии тема равенства мужчины и женщины, однако решается она весьма прямолинейно. Вызывает возражение и проскальзывающее у писателя пренебрежение к домашнему труду женщины-жены, к труду, берущему столько душевных и физических сил.

Хочется думать, что знакомство русского читателя с якутской литературой на этом сборнике не остановится, а будет продолжено.

Ю. Шилов.

★

ЛЕВ ОЗЕРОВ. Работа поэта. Книга статей. «Советский писатель». М. 1963. 336 стр. Цена 79 к.

Заглавие книги Льва Озерова уже ее содержания. В самом деле, можно подумать, что речь здесь пойдет о стихотворной технике, о различных поэтических приемах, — наконец о многострадальной проблеме русского стихосложения. Однако тема книги выходит за эти пределы. Лев Озеров сочетает в себе поэта и литературоведа, влюбленного в, русскую поэзию.

Как бы вступлением к книге служит статья «Страна Русской Поэзии». Она написана по конкретному поводу — автора вдохновили многие томов «Библиотеки поэта», созданной по инициативе Горького. От Державина до Блока, от Радищева до революционной поэзии первых десятилетий двадцатого века — путь свободолобивой и человеческой русской поэзии, и автор видит на этом пути примеры высокой гражданской ответственности.

Автор любит и знает девятнадцатый век нашей поэзии, ее классическую пору, он говорит и о тех ее представителях, о которых не так уж часто пишут у нас. Три статьи о Батюшкове, Баратынском и Тютчеве содержат немало любопытных, порой забытых, порой лишь вскользь замеченных другими черт творческих характеров.

Большая часть книги посвящена творчеству советских поэтов. Близок автору книги недавно ушедший из жизни старейший поэт Н. Асеев, которого он характеризует как своеобразного «лирического поэта с врожденным чувством русского эпоса».

К поэзии Анны Ахматовой (статья «Тай-

ны ремесла») автор подошел широко — во всем многообразии тем, образов и переживаний поэтессы на ее сложном творческом пути. Решающим в поэзии Ахматовой, по мнению автора книги, была и остается правда чувства, выраженная в формах высокой культуры русского стиха.

Вот еще два портрета в книге Л. Озерова. Поэт текстильного края, скромный и взыскательный Дмитрий Семеновский и рядом с ним Дмитрий Кедрин — «искатель и следопыт по натуре». А дальше Павел Антокольский, Владимир Луговской, Вера Звягинцева и Петр Семинин, Павел Шубин и Семен Гудзенко, Борис Слуцкий и Яков Хелемский, Яков Городской и Клара Арсенева... Можно было бы поспорить с автором насчет некоторых из этих поэтов — правомерно ли они занимают место в сборнике, но нельзя не признать, что многие из этих «карандашных зарисовок» привлекают внимание. Автора интересует основной вопрос — насколько дух времени коснулся его больших и малых современников, насколько поэзия наших дней отвечает возросшей этической и эстетической требовательности современного читателя.

Жаль, что в этой удумчивой и поэтически написанной книге нет ни Маяковского, ни Исаковского, ни Пастернака, ни Тихонова, — но тут приходится вспомнить, что это не исчерпывающая монография, а только размышления поэта о других поэтах, чем-то взволновавших и затронувших сердце автора.

Александр Дейч.

★

А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ. Избранные произведения. «Советский писатель». М.—Л. 1963 (Библиотека поэта. Большая серия). 416 стр. Цена 84 к.

Написавший свое первое стихотворение в год смерти Пушкина, Жемчужников сложил навеки перо в 1908 году, после первой русской революции. Его называли «последним могианином», «поэтом забытых слов», «уцелевшим колосом доброй, старой русской литературной нивы». Образ никогда не существовавшего и тем не менее бессмертного Козьмы Пруtkова во многом обязан ему своим созданием.

Если порой его гражданские стихи и были не свободны от налета либеральной дидактики, то лучшие из них обладают бесспорной ценностью, это — своеобразная поэгическая летопись русской общественной жизни его времени. Жемчужников-сатирик проявил себя мастером острой и язвительной миниатюры.

Не потрясают поэтической силой, но теплые и задушевные пейзажи Жемчужникова — четкие и предметные зарисовки любимого им сельского уединения и красоты простой русской природы. Тема старости в стихах Жемчужникова не несет в себе ничего упадочного, поражает своей бодростью и жизнелюбием.

Если не считать небольшой книжки избранных стихотворений Жемчужникова, вы-

пущенной в Тамбове в 1959 году, издание «Библиотеки поэта» — первое послереволюционное издание Жемчужникова. Можно пожалеть об отсутствии некоторых произведений, заслуживающих внимания (например, «Дети уехали», очень нравившееся И. А. Бунину; «Охота», «Лошадка»; комедия в стихах «Сумасшедший», которую хвалил Н. А. Некрасов, и другие), но в целом отбор следует признать удачным. Вступительная статья Е. Покусаева дает достаточное представление о главнейших сторонах творчества Жемчужникова. Но примечания, к сожалению, не свободны от неточностей. Многие, нуждавшиеся в комментировании, остались необъясненным. Немало неточностей в списке произведений Жемчужникова, не вошедших в данное издание. Как ни странно, в этом списке можно обнаружить среди других и стихотворение «Весны развертывались силы...» (стр. 406), благополучно помещающееся на странице 136 сборника.

Мало хорошего можно сказать и о переводах иностранных текстов. «*Pia desideria*» (благие пожелания) переведено: «Обетованная земля» (стр. 216). Штатсрат (штатский советник) переведено: советник (стр. 389), хотя эта деталь существенна; Сараев — герой сатирических сцен Жемчужникова «В чем вся суть?» — гордится своим высоким саном и говорит разnochинцу Кузьмину: «Тайный Советник я. Отец твой только был штатсрат» (стр. 333).

Эти небрежности досадны: «Библиотека поэта» приучила нас к высокому уровню редакционной культуры.

А. Наркевич.

★

ЭЛЛИНСКИЕ ПОЭТЫ. В переводах В. В. Вересаева. Гослитиздат. М. 1963. 407 стр. Цена 64 к.

Не так давно — всего несколько лет назад — классическую филологию именовали «забытой наукой». Однако за последние годы выяснилось, что интерес к античной культуре, в частности литературе, в широких читательских кругах вовсе не угас. Произведения античных авторов и научные работы, посвященные античности, стали издаваться неизмеримо более широко, чем раньше.

Среди всех этих изданий, несомненно, важное место принадлежит сборнику древнегреческой поэзии в переводах В. Вересаева, являющемуся до сих пор самой полной антологией эллинских поэтов на русском языке.

Это прекрасная книга. В ней предстает перед нами ряд неповторимых поэтических индивидуальностей: простодушная и величаящая архаичность гимна к Аполлону Делосскому; суровая простота, наивная мудрость «Работ и дней» земледельца Гесиода; непосредственность поэтического высказывания, импульсивность, злая ирония солдата-наемника и великого поэта Архилоха; искренность, человечность, потрясающий своей проникновенностью лиризм «десятой музы» — лесбосской певицы Сафо; элегиче-

ская философичность «песен к Нанно» Мимнерма; бурная эротика Ивика; изнеженность и меланхоличность Феогида — все это складывается в широкую и многостороннюю картину духовной жизни эллинов.

Сборнику предпослано обстоятельное и популярное (что вполне оправдано для такого типа издания) предисловие Н. Сахарного об античной поэзии, не менее обстоятельные и комментарии, помогающие разобраться в том, что не сразу может быть понято современным читателем. Не все в предисловии и комментариях бесспорно. Так, обращает на себя внимание резкое различие оценки Анакреона в предисловии и комментариях. Иногда натянуты толкования фрагментов, но это уже частности.

Что касается фрагментов, то они вообще составляют значительную и весьма интересную часть книги. Нам страшно даже на секунду представить, что, скажем, с Пушкиным или Лермонтовым нашим потомкам пришлось бы знакомиться по отдельным строчкам, выуженным из других книг. Именно так мы знакомимся с большинством произведений многих великих поэтов древности, не говоря уже о тех, которые известны нам лишь по именам... Но даже эти строфы, строки, полустроочки заключают в себе могучее и непреходящее обаяние гения древней Эллады. Тем более велика заслуга составившего эту книгу Вересаева, который собрал, бережно и мастерски перевел и разместил эти маленькие отрывки — весточки от создателей навсегда утерянных для нас неведомых шедевров.

В. Непомнящий.

★

М. С. ГОРЯЧКИНА. Сатира Лескова. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 231 стр. Цена 48 к.

Книга, посвященная сатире Н. С. Лескова — одного из оригинальнейших художников слова, — не может не вызвать интереса у читателей.

Анализируя творческую эволюцию Лескова-сатирика, формирование его сатирического стиля, М. Горячкина подчеркивает не только отличие сатиры Лескова от сатиры его великого современника Салтыкова-Щедрина, но и то, что их сближало, несмотря на всю разницу в мировоззрении этих писателей. При этом автору книги удалось избежать натяжек и надуманных параллелей.

Путь Лескова от антинигилистических романов шестидесятых годов к боевой, политической сатире восьмидесятых — девяностых годов не был прямым и ровным. Отсутствие четкой политической программы, стихийный демократизм со всеми своими сильными и слабыми сторонами обусловил, как верно показывает М. Горячкина, те идейные метания, которые сопровождали всю творческую деятельность Лескова и которые не могли не наложить отпечатка на его сатиру.

Но не все в книге М. Горячкиной можно признать одинаково убедительным и удачным.

У Лескова немало произведений, в которых элементы сатиры перемежаются с бытовыми и психологическими мотивами. Автор привлекает эти произведения, и это вполне оправдано. Но беда в том, что роль этих сатирических элементов иногда чрезмерно преувеличивается, в результате чего некоторые произведения Лескова без каких-либо серьезных оснований зачисляются в сатирические.

Есть в этой книге и другие недостатки. Тем не менее работа М. Горячкиной расширяет и обогащает наши представления о творчестве Н. Лескова.

В. Азбукин.

Томск.

★

А. Л. МОНГАЙТ. Археология и современность. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 112 стр. Цена 16 к.

Мир, в который вводит читателя эта книга, таит в себе много увлекательного и неожиданного. «Романтика археологических поисков, — справедливо замечает автор, — тайны истории, раскрывающиеся перед учеными, очень быстро становятся достоянием широких масс, привлекают к себе постоянное и неослабевающее внимание».

В книге рассказывается об археологических исследованиях, о решении многочисленных загадок истории, о связях археологии с важнейшими явлениями современности, о новых методах археологических исследований. Автору удалось на серьезном научном уровне ввести в круг сложных проблем археологической науки читателя, не обладающего специальной подготовкой.

Археология как наука появилась около ста лет тому назад, и за это время, говоря образными словами видного английского ученого Г. Чайлда, она «расширила пространственный горизонт истории почти в той же степени, в какой телескоп расширил поле зрения астрономии». Нельзя забывать, что письменность появилась пять тысяч лет назад, а человечество существует около восьмисот тысяч лет! Одно это обстоятельство указывает на важность археологической науки. А. Л. Монгайт хорошо показал, как полемика, разгоревшаяся в последние годы вокруг отдельных открытий, свидетельствует о том, что достижения археологии отнюдь не безразличны для современного общества, для острой идеологической борьбы наших дней. Буржуазные идеологи, защищая расизм и колониализм, утверждают, что малоразвитые народы отстали в своем развитии не вследствие социальных, а вследствие биологических причин. Археология опровергает подобные рассуждения апологетов капитализма, разрушает многие положения буржуазной идеологии, в том числе религиозные мифы и представления.

Читатель также найдет в книге интересные сведения о новейших археологических материалах, добытых в СССР — на Прикаспийской низменности и в Новгороде.

Археология — одна из наиболее интернациональных наук, и для ее развития огромное значение имеет сотрудничество ученых разных стран. Автор с глубоким знанием дела и с непримиримым отношением к буржуазной идеологии живо и доходчиво освещает новые аспекты археологической науки.

М. Попов,
кандидат исторических наук.

★

ЭКВАДОР. Историко-этнографические очерки. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 224 стр. Цена 1 р. 15 к.

Велик интерес советского народа к жизни и быту народов Африки и Латинской Америки, сбрасывающих с себя оковы империализма. И поэтому выход подготовленных сектором Америки Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая историко-этнографических очерков о Эквадоре весьма своевременен. То обстоятельство, что некоторые из авторов сборника сами побывали в Эквадоре и многое увидели своими глазами, придает их очеркам большую убедительность.

Книга рассказывает о политическом строе страны, ее экономике, народах, ее населяющих, об их своеобразной культуре, нравах, обычаях.

И. Р. Григулевич в статье «Католическая церковь в истории Эквадора» обстоятельно рассказывает, как католическое духовенство начиная с фанатичного доминиканского монаха Висенте Вальверде (XVI век) прилагало все силы к закабалению эквадорского народа, подчиняло его влиянию католической церкви. Закабаление народа сопровождалось безжалостным уничтожением памятников индейской культуры и искусства. Католическая церковь и по сей день продолжает оказывать влияние на население страны.

И. В. Евдокимов в очерке «Студенческое движение» высоко оценивает роль эквадорского студенчества в национально-освободительном движении на всех его этапах.

Очерк С. П. Мамонтова «Литература Эквадора» знакомит с развитием литературы за период с XVIII века до наших дней.

Пока на русский язык переведены лишь немногие произведения эквадорских писателей (Хорхе Икаса «На улицах». М. 1938; «Эквадорские рассказы». М. 1962, и некоторые другие). Но хочется надеяться, что в недалеком будущем появятся еще переводы произведений эквадорской литературы.

К сожалению, в книге нет очерка о старом и современном изобразительном искусстве, который мог бы пополнить представление о культуре Эквадора.

В общем же — это нужное и интересное издание.

В. Пуцко.

А. КАЖДАН. В поисках минувших столетий. Детгиз. М. 1963. 205 стр. Цена 40 к.

Древнегреческий историк Геродот, прозванный «отцом истории», видел назначение исторической науки в том, чтобы сохранить в памяти деяния людей и объяснять причины событий. И в наше время историком нужно собирать, систематизировать и объяснять факты, чтобы познать законы развития человеческого общества.

Исторический факт — особенно из истории далекого прошлого — не приходит к ученому сам, его нужно добыть. О кропотливом и тяжелом труде историков, о том, как ученые находят и изучают многообразные и загадочные следы минувших веков, и написал свою книгу А. П. Каждан.

Любое человеческое общество — будь то небольшое поселение первых земледельческих племен или могущественное рабовладельческое государство — не исчезало бесследно с лица земли. Извлеченные из-под земли орудия труда, утварь, оружие, монеты и украшения нуждаются в датировке, в истолковании. Изучение вещественных памятников помогает ученым проникнуть в глубь тех времен, о которых ничего не говорят письменные источники (если они есть вообще и их удалось прочесть).

Автор показывает важное место археологических данных при решении спорных и неясных вопросов. Вот яркий пример. Арабские и византийские писатели упоминали о древней Руси. Не имея других данных, историки долгое время считали, что тысячу лет тому назад в долине Днепра обитали полукочевые племена, занимавшиеся охотой и сбором меда и не знавшие ни земледелия, ни ремесел. И лишь после того, как археологи раскопали древнерусские города и нашли остатки гончарных, железодельных и ювелирных мастерских, вырыли из земли серпы, мотыги и кости домашних животных, которых разводили жители Поднепровья еще до возникновения Киевского государства, была отброшена легенда о дикой о полукочевой Киевской Руси.

Увлекательно пишет А. Каждан и о том, как нумизматы по легендам (надписям) древних монет, по размещению и содержанию кладов воссоздают картины политической и хозяйственной жизни ушедших народов и государств; о том, как помогают археологии другие науки — палеография, эпиграфия, астрономия, физика; знакомит с остроумными приемами датировки вещей и документов, с методами сравнительного анализа средневековых хроник и русских летописей.

Автор рассказывает не столько о том, какие открытия сделаны историками, сколько о том, как они приходят к своим открытиям. Именно в этом ценность книги.

Г. Веселая.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Об авторитете руководителя. Сборник. 240 стр. Цена 44 к.

В. И. Ленин. Краткий биографический очерк. Издание второе. 192 стр. Цена 18 к.
КПСС о культуре, просвещении и науке. Сборник документов. 552 стр. Цена 96 к.

В. Беляев, И. Подольнин. Эхо черного леса. Документальная повесть. 192 стр. Цена 30 к.

Беседы на политические темы. 343 стр. Цена 50 к.

Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет. 934 стр. Цена 1 р. 70 к.

Записная книжка партийного активиста. 1964. 288 стр. Цена 45 к.

Капитализм против человека. Справочник 224 стр. Цена 20 к.

Книга для чтения по экономике сельского хозяйства. 288 стр. Цена 58 к.

В. Колотов, Г. Петровичев, И. А. Вознесенский (Биографический очерк). 48 стр. Цена 5 к.

Я. Наумов. Чекистка. Страницы из жизни заместителя председателя Казанской губернии В. П. Брауде. 104 стр. Цена 12 к.

В. Хазанский. Ася. Очерк о белорусских партизанах-подпольщиках. 144 стр. Цена 16 к.

«МЫСЛЬ» (СОЦЭКГИЗ)

И. Кант. Сочинения в шести томах. Том I. 543 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Княжинский. Западная Европа и проблема мирного сосуществования. 287 стр. Цена 92 к.

И. Куранов. Наука и техника в период развернутого строительства коммунизма. Некоторые вопросы развития. 151 стр. Цена 44 к.

А. Спиркин. Курс марксистской философии. 503 стр. Цена 74 к.

И. Судеревский. Проблемы разделения труда (Коммунистический способ производства). 239 стр. Цена 87 к.

Б. Цетлин. Условия труда и организация промышленного производства. 319 стр. Цена 1 р. 17 к.

Экономическая история СССР. 510 стр. Цена 84 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Бажан. Итальянские встречи. Стихи. Перевод с украинского. 42 стр. Цена 8 к.

И. Гусейнов. Родные и чужие. Телеграмма. Повести. Перевод с азербайджанского. 252 стр. Цена 36 к.

День поэзии. 1963. Сборник. 292 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Долинин. Последние романы Достоевского. 344 стр. Цена 94 к.

В. Кожин. Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк. 439 стр. Цена 1 р. 1 к.

А. Кременской. Голова Медузы. Рассказы. 340 стр. Цена 49 к.

Д. Кугультинов. Равные солнцу. Стихи и поэмы. Перевод с калмыцкого. 134 стр. Цена 23 к.

Р. Ланнаускас. Осенние краски земли. Повесть и новеллы. Перевод с литовского. 202 стр. Цена 26 к.

Н. Матвеева. Кораблик. Сборник стихов. 81 стр. Цена 10 к.

Э. Межелайтис. Кардиограмма. Стихи. Перевод с литовского. 216 стр. Цена 31 к.

Л. Промет. Деревня без мужчин. Роман. Перевод с эстонского. 412 стр. Цена 53 к.

Рассказы 1962 года. Сборник. 451 стр. Цена 1 р. 1 к.

М. Слонимский. Семь лет спустя. Роман. 250 стр. Цена 28 к.

В. Сосюра. Счастье семьи трудовой. Поэмы и стихи. Перевод с украинского. 320 стр. Цена 34 к.

Л. Татьяничева. Время теплых дождей. Стихи. 107 стр. Цена 12 к.

А. Тимонен. Белокрылая птица. Роман. Перевод с финского. 308 стр. Цена 54 к.

И. Френкель. Давай закурим. Стихи. 83 стр. Цена 12 к.

В. Цыбин. Пульс. Стихи. 102 стр. Цена 16 к.

Г. Шатберашвили. Корни и ветви. Повесть и рассказы. Перевод с грузинского. 242 стр. Цена 43 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Альберти. Стихи. Перевод с испанского. 350 стр. Цена 68 к.

Н. Асеев. Собрание сочинений в 5-ти томах. Том I. 456 стр. Цена 1 р. 25 к. Том II. 416 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Барбюс. Несколько уголков сердца. Рассказы. Перевод с французского. 336 стр. Цена 67 к.

Д. Бедный. Собрание сочинений в 8-ми томах. Том I. 440 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Бялый. Роман Тургенева «Отцы и дети». 139 стр. Цена 17 к.

Ф. Вольф. Избранное. Переводы с немецкого. 456 стр. Цена 1 р. 23 к.

Восточный альманах. Сборник. Выпуск шестой. 336 стр. Цена 94 к.

М. Гарникули. Отражение. Повести, рассказы, роман. Перевод с грузинского. 320 стр. Цена 56 к.

Герой современной литературы. Статьи. 400 стр. Цена 1 р. 2 к.

О. Досвитный. Кварцит. Роман. Рассказы. Перевод с украинского. 288 стр. Цена 61 к.

Эса де Кейрош. Реликвия. Роман. Рассказы. Перевод с португальского. 391 стр. Цена 49 к.

Ян Козак. Марьяна Радвакова. Повесть. Перевод с чешского. 160 стр. Цена 20 к.

Литература и современность. Сборник четвертый. Статьи о литературе 1962—1963 годов. 511 стр. Цена 1 р. 24 к.

П. Ойунский. Избранное. Перевод с якутского. 296 стр. Цена 45 к.

А. Поморский. Стихотворения (1908—1963). 215 стр. Цена 47 к.

Ронсар. Лирика. Перевод с французского. 160 стр. Цена 60 к.

Сенанкур. Оберман. Перевод с французского. 372 стр. Цена 71 к.

Г. Соловьев. Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова. 288 стр. Цена 57 к.

В. Шекспир. Сонеты. Перевод с английского С. Маршак. 178 стр. Цена 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. Аграновский.** Нам — восемнадцать... Повесть-быль. 152 стр. Цена 24 к.
- А. Акимова.** Дидро. 480 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 91 к.
- С. Анарбаев.** Серебряный блеск Лысой горы. Роман. Перевод с узбекского. 383 стр. Цена 71 к.
- А. Гидаш.** Другая музыка нужна. Роман. Перевод с венгерского. 608 стр. Цена 1 р. 25 к.
- П. Зейтунцян.** Не люблю вокзалов. Роман. Перевод с армянского. 288 стр. Цена 56 к.
- Д. Зигмонте.** Дай руку утренней заре. Роман. Перевод с латышского. 368 стр. Цена 70 к.
- Т. Илатовская.** Да здравствуют Архимеды! Заметки о молодых ученых Сибири. 143 стр. Цена 20 к.
- М. Мижо.** Сент-Экзюпери. Перевод с французского. 464 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 87 к.
- О. Писаржевский.** Прянишников. 240 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 52 к.
- М. Поступальская, С. Ардашникова.** Обручев. 432 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 84 к.
- А. Яшин.** Сирота. Повесть. 144 стр. Цена 21 к.

ДЕТГИЗ

- К. Андреев.** Искатели приключений. А. Дюма, Ж. Верн, Стивенсон, Конан-Дойль. 192 стр. Цена 38 к.
- С. Андреев-Кривич.** Тарханская пора (О М. Ю. Лермонтове). 192 стр. Цена 66 к.
- Г. Вилле.** Чудесный мир воды. Перевод с немецкого. 144 стр. Цена 36 к.
- Е. Драбина.** Навстречу бурям! Повесть о Джоне Риде. 352 стр. Цена 78 к.
- М. Дудин.** Янтарь. Стихи. 208 стр. Цена 38 к.
- Е. Сапарина.** Тортила учится думать. 128 стр. Цена 28 к.
- М. Сергеев.** Падение Икара. Повесть. 208 стр. Цена 41 к.
- В. Старцев.** Звезды в горах. Повесть. 176 стр. Цена 36 к.
- Г. Федоров.** Древняя поверхность. 240 стр. Цена 48 к.
- Н. Чаусов.** Степкина правда. Повесть. 240 стр. Цена 41 к.
- Е. Юнга.** ОМЭ. Рассказ о Феде Губанове и его товарищах. 144 стр. Цена 28 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

- Ф. Буанаротти.** Заговор во имя равенства. Том I 428 стр. Цена 1 р. 3 к.
- И. Васильев.** «Лучи смерти» и жизнь растений. 79 стр. Цена 11 к.

- А. Вяльцев.** Легчайшие атомные ядра. 335 стр. Цена 1 р. 70 к.
- Гуманизм и современная литература.** 406 стр. Цена 1 р. 14 к.
- Материальное стимулирование развития колхозного производства.** 327 стр. Цена 1 р. 37 к.
- И. Неупокоева.** Проблемы взаимодействия современных литератур (Три очерка). 228 стр. Цена 69 к.
- Проблемы комплексного изучения засушливых зон СССР.** 244 стр. Цена 1 р. 28 к.
- Пыльные бури и их предотвращение.** 168 стр. Цена 80 к.
- Е. Рубинштейн.** Крушение Австро-Венгерской монархии. 428 стр. Цена 1 р. 62 к.
- Н. Смирнова.** Советский театр кукол 1918—1932. 384 стр. Цена 2 р. 70 к.
- Н. Чирнов.** О стиле Достоевского. 188 стр. Цена 31 к.
- М. Школьник.** Значение микроэлементов в жизни растений и земледелии Советского Союза. 88 стр. Цена 40 к.
- Экономические проблемы стран Латинской Америки.** 512 стр. Цена 2 р. 24 к.
- Этимология. Исследования по русскому и другим языкам.** 315 стр. Цена 1 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Мела Махмуд Баязиди.** Нравы и обычаи курдов. 202 стр. Цена 60 к.
- И. Брагинский, Д. Комиссаров.** Персидская литература. 213 стр. Цена 45 к.
- Восточная новелла.** 320 стр. Цена 1 р. 10 к.
- История и культура древней Индии.** Сборник статей. 331 стр. Цена 1 р. 35 к.
- Новые формы колониализма.** 327 стр. Цена 1 р. 30 к.
- Проблемы современной Турции.** Сборник статей. 220 стр. Цена 70 к.
- В. Руднев.** Малайя. 1945—1963. 208 стр. Цена 60 к.

«КОЛОС» (СЕЛЬХОЗИЗДАТ)

- Б. Дворецкий.** Опыт рентабельного ведения хозяйства. 108 стр. Цена 14 к.
- Краткий справочник механизатора сельского хозяйства.** 584 стр. Цена 1 р. 5 к.
- Наука — сельскому хозяйству.** Растениеводство. Сборник статей. 440 стр. Цена 1 р. 4 к.
- Освоение Голодной степи.** 136 стр. Цена 17 к.
- Б. Рунов.** Электромеханизация животноводческих ферм в США. 120 стр. Цена 30 к.
- Д. Рыжиков.** Влияние полезных культур на урожай сельскохозяйственных культур. 208 стр. Цена 28 к.

Редакция журнала «Новый мир» переехала по адресу:
Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.
Телефон для справок К 5-81-77.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Сдано в набор 4/1 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 31/1 1964 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 02022. Зак. 25. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

В Издательстве Академии наук СССР

вышла из печати книга:

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА

Искусство первой трети XIX века

Под общей редакцией академика И. Э. ГРАБАРЯ, действительного члена Академии художеств СССР В. С. КЕМЕНОВА и члена-корреспондента АН СССР В. Н. ЛАЗАРЕВА. 1963. 707 стр. 6 руб.

Предлагаемая книга является отдельным оттиском VIII тома 12-томной «Истории русского искусства», распространяемой по подписке. Она охватывает историю русского изобразительного искусства первой трети XIX века.

В истории русского искусства первая треть XIX века имеет особое значение. В этот период закладывались основы реалистического искусства, получившие развитие в середине и конце XIX века в творениях выдающихся русских художников.

Содержание книги: Архитектура. Архитектура Петербурга. Архитектура русской провинции. Архитектура русской усадьбы. Скульптура. И. П. Мартос. Молодое поколение скульпторов. Живопись. Историческая живопись. О. А. Кипренский. А. О. Орловский. Сильвестр Щедрин и пейзажная живопись. В. А. Тропинин и портретисты начала XIX века. А. Г. Венецианов и развитие русского бытового жанра. Графика. Рисунок. Гравюра. Литография.

Авторами текста являются крупнейшие советские искусствоведы — покойный академик И. Э. Грабарь, сотрудники Института истории искусств Т. В. Алексеева, Ю. А. Егоров, М. А. Ильин, Н. Н. Коваленская, А. Н. Савинов, Т. М. Сытина, А. А. Федоров-Давыдов.

В конце книги приведена подробная библиография. В книге более 350 иллюстраций, в том числе много цветных.

В магазинах «Академкнига» имеются в продаже следующие разрозненные тома подписного издания «Истории русского искусства»:

Том IV. Семнадцатый век и его культура. 1959. 698 стр. 6 руб.

Том V. Русское искусство первой половины XVIII века. 1960. 570 стр. 6 руб.

Том VI. Искусство второй половины XVIII века. 1961. 494 стр. 6 руб.

Том VII. Живопись второй половины XVIII века. 1961. 510 стр. 6 руб.

Том XI. Искусство 1917—1934 годов. 1957. 646 стр. 6 руб.

Том XII. Искусство 1934—1941 годов. 1961. 616 стр. 6 руб.

Книги можно приобрести отдельными томами. Тома IX (в 2-х книгах) и X готовятся к печати.

Книги можно приобрести в магазинах «Академкнига». Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2/10, магазин «Книга — почтой» конторы «Академкнига», или в ближайший магазин «Академкнига».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГА»:

Москва, ул. Горького, 6 (магазин № 1); Москва, ул. Вавилова, 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Литейный проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 71-в; Новосибирск, Красный проспект, 51; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Уфимский пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 129; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Баку, ул. Джапаридзе, 13.

«АКАДЕМКНИГА»